



ГЮИСМАТЭС

ЖОРИС КАРЛ  
ГЮИСМАТЭС

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ  
В ТРЕХ ТОМАХ





ЖОРИС ҚАРЛ  
ГЮНСМАҢС

# ЖОРИС КАРЛ ГЮИСМАНС



# ЖОРИС КАРЛ ГЮИСМАНС

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ В ТРЕХ ТОМАХ

**ТОМ I**

МАРТА. ИСТОРИЯ ПАДШЕЙ

ПАРИЖСКИЕ АРАБЕСКИ

НАОБОРОТ

Москва 2010

 **КНИГОВЕЖ™**  
КНИЖНЫЙ КЛУБ | BOOK CLUB



УДК 821.133.1  
ББК 84(4Фра)  
Г99

Составитель  
Н. КУЛЬГИНА

**Гюисманс Ж. К.**

Г99      Собрание сочинений: В 3 т. Т. 1: Марта. История падшей: Новелла / Пер. с фр. И. Мандельштама под ред. Н. Кульгиной; Парижские арабески: Сб. рассказов / Пер. с фр. Ю. Спасского под ред. Н. Кульгиной; Наоборот: Роман / Пер. с фр. М. Головкиной под ред. Н. Кульгиной; Вступ. ст., сост., коммент. Н. Кульгиной. — М.: Книжный Клуб Книговек, 2010. — 496 с.

ISBN 978-5-4224-0129-1 (т. 1)

ISBN 978-5-4224-0128-4

Жорис Карл Гюисманс (1848—1907) — один из самых неординарных французских писателей, признанная икона декаданса. Отвергая современность, считая ее пошлой и безликой, он искал смысл жизни в средневековой философии, исполненной мистическим восторгом католицизма.

Ненавидя и боясь сегодня, он с упоением описывал величие готических соборов, возвышенность григорианских песнопений, изящность средневековых скульптур, хрупкую прелесть рукописных книг. Он весь вчера.

Под пером Гюисманса декаданс стал мировоззрением, образом мысли и образом жизни, эстетикой и поэтикой в одно и то же время.

В первый том Собрания сочинений, наиболее полного за всю историю издания Гюисманса на русском языке, вошли новелла «Марта. История падшей», сборник рассказов «Парижские арабески», которые были написаны под влиянием натуралистической школы, и «Наоборот», роман-манифест европейского декаданса конца XIX века.

УДК 821.133.1  
ББК 84(4Фра)

ISBN 978-5-4224-0129-1 (т. 1)  
ISBN 978-5-4224-0128-4

© Н. Кульгина, вступительная статья,  
состав, комментарии, 2010  
© Книжный Клуб Книговек, 2010



## Аромат ядовитых цветов

Родившись в семье голландских художников, Жорис Карл Гюисманс унаследовал цепкое зрение живописца, но не получил дара изображать жизнь на холсте. Другой музе суждено было осенить его крылом. Крылом Люцифера. И она вложила ему в руку перо, чтобы, смешивая краски слов, он мог предаваться микроскопическому исследованию мельчайших подробностей зримого, обнаруживая углубленную любовь к предметному, неодушевленному миру — не замечая красоты человека.

Выйдя на публику в 70-х годах XIX века, когда господствовала литературная школа, возводившая наблюдение действительности на пьедестал, он принес с собой склонность к миниатюрной живописи, к изображению природы безразличной, мелкой, будничной, вызывающей скепсис и болезненно-чувственное отвращение.

Скорее всего, Эмиль Золя был его главным учителем. Ни Флобер, ни Гонкуры с их реализмом не оставили в его душе заметного следа. А Золя с его мрачным холодом пессимизма, с отсутствием веры в людей указал Гюисмансу путь, по которому стало развиваться его творчество.

Озлобленный сирота, волчонок — ему открываются все краски мира как бы в насмешку над его неспособностью любить. Он живет лишь в параллельном мире, мире изощренной фантазии, капризов, изысков — здешний ему холоден и неприютен.

Ему отвратительны идеалы времени, отвратительны его герои, но нет ему выхода. И прячутся его герои в резных музыкальных шкатулках странных жилищ, но и там нет им покоя.



Порождение эпохи декаданса, Жорис Карл Гюисманс искал удовлетворение в противоестественном мистическом экстазе, в черной мессе словесности, тончайшей кистью нанося последние мазки на картину разложения.

Сколько Гюисманса в его героях? Сколько его одиночества, отверженности? Мучительное желание воспарить, воспрять над мерзостью действительности, уйти от нее приводило его героев на башню Сен-Сюльпис, в недвижимую патриархальную провинцию, в уединение, подобное монашескому, но только излишне роскошное, чересчур чувственное для монашеского уединения.

Что породило этот странный талант? Тягучими, долгими описаниями можно бы и наскучить. И вдруг видишь, как из разобренных кусочков смальты складывается блистательное панно, как из отдельных осколков цветных стекол возникает витраж. Мираж, просеивающий дневной свет, искажающий, преломляющий его, и делающий зрелище неизмеримо прекрасным, хотя и чуточку потусторонним.

Взгляд на мир. А мир глядит на тебя. А ты одинок. Рассказать о своих терзаниях. Кому? Был ли у Гюисманса свой Дез Эрми? Пусть на короткий миг, на небольшой отрезок времени, была ли у него передышка, наполненная пониманием?

Но каковы витражи! Вот колеблется в знойном мареве сельский пейзаж. Оттенки зелени и синевы плывут как слова церковного канона. Замок. Недалекая провинция. Замок-голубятня, треск проваливающихся половиц, осыпающиеся ставни, запахи прошлого. Замок живет странной жизнью вурдалака. А рядом поля. Живые и сочные. А угасающий замок полон порожденьями ночи — летучими мышами. Все болезненно-ломко, все рушится. Ложится пепельными тенями на сверкающие блики бегущей воды. Почему? Почему то, что могло бы стать пристанью, становится местом пытки?

Обывательская пошлость, вот она. Нелепое, почти детское плутовство. И такая же почти детская жестокость. Насколько глубина чувств порождает глубину сопереживания.

Почти первобытная дикость для одних, полная неспособность жить как все для других. Возможно, из-за полного непонимания, разных языков. Нет «Пристани». И единственный путь бегства — путь в Париж. В единственное прибежище.



Мучительная противоестественная любовь к Парижу. Не к живому городу, но к некоему призраку, позволяющему отгородиться от людей. Если взглядеться, то современный Гюисмансу Париж — ландкарта, названия улиц, и не более того.

Париж раннего Гюисманса, еще идущего в фарватере Золя, оживлен и цветист. Воят продавцы каштанов, рывкает кондуктор омнибуса, мелькают краски, оттенки, запахи, звуки. Мелькают лица, фигуры, тени. Но проходит час, день, год. И Париж становится таким же миражем, как и вся окружающая действительность. Туманная гряда, едва видимая с высоких башен Сен-Сюльпис. «Каштаны! Жареные каштаны!» Руки, обожженные холодом и огнем. В хриплом голосе звучит смутная надежда: несколько су, и откроются двери винной лавки.

Пробегают мимо субретки, придерживая шляпки, проходят сутенеры, зорко оглядывающие свои владения. А над улицей несетя: «Каштаны!..» Словно молебн, вопль по павшим.

Гюисманс вопиет и боится. Жизни, женщины, привязанности. Чувственное наслаждение в изображении людских пороков, холод пессимизма, отсутствие веры в человека. Это Гюисманс-хирург, взглядывающийся в гангренозное разложение души. Испытывающий наслаждение от вдыхания миазмов.

Женщина и Гюисманс. В любом его произведении она или жалка, или ужасна. Будто ветхозаветная Ева, она протягивает руку, обвитую Змием. И не избежать искуса. Суккубы наполняют воображение, высасывают жизненные силы. Продажные женщины предлагают любые услуги, любые утехи. Законные жены превращают жизнь в ад. Брак — форма рабства.

Все женщины Гюисманса — суккубы.

Безобразная Коломбина-Марта, сопровождаемая престарелым Пьеро. Он бриолинит останки волос. Он мажет рот помадой, он кривит его, выкрикивая скверные песенки. И умирает, как и следует Пьеро, потому что Коломбина оказалась фальшивкой. В какую грязь толкает Гюисманс свою героиню, почему видит только язвы души? Только распутство, пьянство, безысходность. Только пошлую роскошь «веселого дома». Предопределенность участи.

И при этом Марта — Немезида, Геката, жуткий призрак. Вглядитесь, как идет она, вихляя бедрами и, не вынеся бремени красот, несет на себе знак судьбы.



Идет она, высоко подняв на блюде голову Иоанна Крестителя трепещущими пальцами. И строен ее стан, и блестят бисеринки пота на коже. Она танцевала. О, как она танцевала! А в запахе пота послевкусием мелькает запах серы.

От нее следует затвориться, спрятаться в волшебном замке.

От нее и от действительности, столь же пошло вихляющей бедрами.

И Гюисманс создает в романе «Наоборот» идеальный образ декадента, бегущего от бесцельного и бесцветного существования в мир изощренной и извращенной чувственности. Его герой Дез Эссент, капризный, мнительный, пресыщенный избытком телесных впечатлений, ищет новые возможности насытить свою опустошенную душу удовольствиями эстетства, мечтами, дурманящими как ядовитые цветы.

Он бежит из мира степенных напыщенных матрон, потных кавалерчиков, нелепых обычаев, перезрелых девиц на выданье. От дезабилье. От серости.

Едва ли не библейским персонажем стал Дез Эссент при своем появлении в свете. Подражать ему, быть таким же утонченноизысканным, таким же болезненно-нервным. Создать свой мир — шкатулку в шкатулке, отгородиться от всего внешнего — не это ли идеал? Эпатировать своей неординарностью, презирать общепринятое — цель. А какова плата за это? Дез Эссент бесплоден. Затворничество ради затворничества, из-за скуки жизни, из-за ее неприятия. Эстетство, доходящее до крайностей. Меха, шелка, инкрустированная черепаха...

И восхитительный слог Гюисманса, тягучий и пряный. Описания мельчайших подробностей, крошечных поворотов взгляда. Запахи, шорохи, вкусы и послевкусия. Нежные переливы слов, зацепки на ткани бытия, голландские чепцы, ковры, лоции, рекламные проспекты, войлочные тапочки, нюхательные соли. Желание стать творцом собственного мира довлеет над Дез Эссентом. И оно же порождает род нервной горячки, странные болезни, почти безумие.

Книги, карты, ноты, корабельные снасти, пахнущие дальними странами. Несостоявшиеся путешествия. Английский твид. Возвращение как покаяние. Цветы, несущие отпечаток извращенной чувственности, непривычные взгляду, мясистые



или истонченно-изящные. Все накатывается на зрителя, уже не читателя, волной океанского прибоя, затопляя воображение причудливыми формами. И нет выхода, кроме окошка, обращенного практически в глухую стену.

Можно вернуться в Париж. И сделать короткий шаг. Шаг в «Бездну». Два главных персонажа дополняют друг друга в этом романе. И жестокосердный Жиль де Ре кажется более живым, чем главный герой романа, пишущий его историю, ищущий новых впечатлений в бездне сатанизма.

В этом повествовании вновь текут перечисления, которые так характерны для Гюисманса. Книги и имена, имена и книги. А параллельно история чудовища, которое, повернись история чуть-чуть иначе, могло бы стать святым. Не двойственность ли природы привлекла Гюисманса, не загадка ли, как человек, исполненный самых благих порывов, превращается в исчадие ада. Жиль де Ре, — один из самых необычных персонажей в истории Европы. Герой и убийца. Рыцарь и палач.

Гюисманс не смакует ужасающие подробности преступлений Жюля де Ре, он пытается понять, как произошло падение души воспарявшей, как разрушилась твердыня. И не может найти ответа. Или не может найти ответа его одинокий неприкаянный Дюрталь?

Казалось бы, чета Каре и Дез Эрми составляют подобие его семьи. Странно-уютное гнездо колокольни Сен-Сюльпис, прибежище странника, ищущего истину, должно бы подарить успокоение. Но тревожит Дюрталь бес сомнения, скребет когтистая рука демона. Все понять, все узнать, это ли не проклятье? Почему блистательный маршал Франции упал в бездну? Что повергло соратника Жанны д'Арк призывать чернокнижников, вызывать нечистого? И ищет Дюрталь путей недолжных, ложных. Суккуб ли его неожиданная подруга? Он и сам не знает. Она нужна ему только как средство проникнуть в секту сатанистов, не более того. Жиль де Ре настолько захватил его сознание, что Дюрталь готов на все, лишь бы понять мотивы его действий, побудительные причины его поступков. Истоки его зверств.

Дюрталь. Вновь персонаж, не знающий любви, не испытывавший ее. Он сумеет обрести это чувство, только обратившись к Богу. Только встретившись с аббатом Жеврезе и братьями-траппистами. Только тогда откроется его сердце. «В пути».



Через звучание григорианских песнопений, через суровую дисциплину проступают черты отеческой заботы и приязни. Уходит ужас сатанизма. Путем мучительных усилий, страха, сомнений достигается долгожданный покой. Покой?

Сколь создания Гюисманса есть он сам, сколь эта надломленность и безволие присущи ему самому? Гюисманс удалился в мистику католицизма, склонность к которой проявлял и в ранних своих произведениях, и обрек себя на добровольное уединение. Он отрекся от своего творчества, объявив его греховным. Когда Оскар Уайльд и Обри Бёрдслей попытались увидеться с иконой декадентства, он отказал им во встрече.

*Наталья Кулыгина*



# МАРТА. ИСТОРИЯ ПАДШЕЙ

Новелла







# I

— Видишь ли, дитя мое, — говорил Женжине, развалившись на измызганном бархате скамьи, — поешь ты неплохо, ты миловидна, у тебя есть некоторое сценическое чутье, но этого мало. Слушай меня внимательно, ты видишь перед собой старую театральную крысу, побывавшую и в провинции, и за границей, матерого волка сцены, который так же чувствует себя на подмостках, как моряк на корабле. Так уж ты мне поверь: в тебе еще мало канальства, понимаешь? Со временем оно у тебя выработается, но ты еще не умеешь с этакою негой играть бедрами в такт барабана. Посмотри-ка, у меня ноги — как кривые щипцы, руки — как виноградные лозы, рот — как у жабы, я подходящая фигура для тира, а вот поди ж ты: едва лишь ударят тарелки, я весь преображаюсь, тяну последнее слово куплета, полощу горло хриплой руладой, увлекаю публику. Ну-ка, пропой мне свой номер, я покажу тебе оттенки. Раз, два, три, внимание, папаша наставил свой слуховой рожок, папаша слушает тебя.

— Вам письмо, мадмуазель Марта, привратница просила передать, — прохрипела толстая, сопливая хористка.

— Вот так штука, — воскликнула Марта, — погляди-ка, Женжине, что мне прислали. Это, по-моему, дерзость, не правда ли?

Актер развернул лист бумаги, и углы губ у него поднялись до крыльев носа, обнажив десны, натертые красным



карандашом, да так, что густая маска из белил и гипса, облепившая его лицо, затрещала.

— Это стихи, — воскликнул он, по-видимому, встревоженный, — иначе говоря, у того, кто их прислал, ни гроша за душою. Порядочные люди не преподносят стихов.

Пока шла эта беседа, вокруг собрались остальные актеры. В этот вечер за кулисами стояла полярная стужа, ее нагнали сквозняки: вся труппа теснилась перед топившейся печью.

— Это что такое? — спросила одна актриса, декольтированная чрезмерно и нагло.

— Внемлите, — сказал Женжине, и посреди общего внимания прочитал следующий сонет.

### ПЕВИЦЕ

Флейтист мяукает, смешно гнусит фагот,  
Пиликает скрипач, рокочит гулко трубы,  
Старик натужился, и кажется, вот-вот  
Он выплюнет в тромбон последние два зуба.

Сопящий кларнетист мундштук засунул в рот,  
Грохочет барабан бессмысленно и грубо,  
Таков он, во главе с маэстро, — чей живот  
Весьма препятствует успехам женолюба.

Таков он, твой оркестр; а ты, мечта моя,  
Ты, нежная моя любовь, под эти звуки  
Куплеты гнусные пронзительно поешь;

Сложив сердечком рот, нелепо свесив руки,  
Богиня красоты, скотам улыбки шлешь.  
А я в тени молчу, дыханье затая.

— Подписи нет никакой.

— Знаешь ли, Женжине, это, по-моему, называется колоть сахар на голове дирижера. Надо будет показать ему эти стишки, утереть нос какофонисту.



— Медам, на сцену, — крикнул господин в цилиндре и синем пальто; — по местам, оркестр начинает.

Женщины поднялись, накинули шали на голые плечи, поживаясь от холода, и в сопровождении мужчин, отложивших в сторону свои трубки или прервавших партию в безик, прошли гуськом через маленькую дверь на сцену.

Дежурный пожарный стоял на посту, и хотя он околел от холода, в глазах у него мелькали огоньки, когда он поглядывал на нескольких танцовщиц, участвовавших в обозрении. Помощник режиссера стукнул три раза, занавес медленно поднялся перед битком набитой залой.

Зала эта, несомненно, являла более интересное зрелище, чем сцена. Театр Бобино не посещался, подобно Монпарнасу, Гренелю и другим старинным заведениям, рабочими, желавшими серьезно слушать пьесу. Его клиентуру составляли студенты и художники, самый шумный и насмешливый народ, какой только можно представить себе. Приходили они в этот барак, оклеенный дешевыми обоями малинового цвета, не для того, чтобы наслаждаться тяжеловесными мелодрамами или дурацкими обозрениями, а чтобы орать, хохотать, перебивать актеров, словом — веселиться.

Поэтому, едва лишь поднялся занавес, начался гадеж, но Женжине был не из тех, кого могли бы смутить такие пустяки: долгая сценическая деятельность приучила его к реву и свисту. Он изящно поклонился тем, кто его перебивал, завязал с ними разговор, примешивая к своей роли шутки по адресу крикунов; словом, сорвал аплодисменты. Пьеса, однако, шла весьма нестройно, захромав уже со второго явления. В зале поднялась буря. Особенно зрителей восхитило появление непомерно толстой актрисы, у которой нос плавал в озере жира. Тираду, которая вылилась из отверстия этой бочки, публика скандировала хором, припевая: «Лари-фла-фла-фла». Бедная женщина оторопела и не знала, оставаться ей или бежать. Появилась Марта: содом прекратился.

Она была мила в своем костюме, который скроила сама из обрезков тканей, шелковых и муаровых. Обшитое



поддельными жемчугами платье изысканного розового цвета, того блекнувшего оттенка, какой бывает у восточных ковров, обтягивало ее бедра, с трудом уместившиеся в шелковой тюрьме. В шлеме своих рыжих кудрей, с губами щекочущими, влажными, ненасытными, красными — она чаровала толпу неотразимым соблазном.

Два самых неутомимых крикуна, перекликавшихся друг с другом, один — в партере, другой — на галерке, перестали орать: «Кому кольцо для ключей, пять сантиметров, одно су! Оршат, лимонад, пиво!» При поддержке суфлера и Женжине Марта вызвала гром рукоплесканий. Но после ее номера рев разразился опять, и еще сильнее. Художник в креслах и студент в красной блузе, засевший в райке, горланили во всю мочь, а зрители были рады их шуткам и каламбурам, потому что, глядя на сцену, умирали со скуки.

Стоя перед рампою, у первой кулисы, Марта смотрела в залу и спрашивала себя, кто из этих молодых людей послал ей письмо, но к ней прикованы были все глаза, все они горели в честь ее. Нельзя было угадать среди всех этих поклонников автора сонета.

Занавес упал, а любопытство ее так и осталось неутоленным.

На следующий вечер актеры были в убийственном настроении, они ждали новых скандалов, и директор, исполнявший также обязанности режиссера по недостатку средств, лихорадочно расхаживал по сцене перед началом спектакля.

Вдруг его кто-то хлопнул по плечу, и, обернувшись, он оказался лицом к лицу с молодым человеком, который пожал ему руку и очень спокойно спросил:

— Как ваше здоровье?

— Мое?.. Благодарю вас... Так себе... А ваше?

— Живем понемногу, спасибо. А теперь давайте-ка познакомимся: вы меня не знаете, я вас — тоже. Так вот,



видите ли, я — журналист и собираюсь написать восторженную статью о вашем театре.

— Ах, очень приятно, весьма рад, помилуйте. В какой же вы пишете газете?

— В «Ежемесячном обозрении».

— Не знаю такой. А когда она выходит?

— Обычно каждый месяц.

— Что ж... Садитесь, пожалуйста.

— Благодарю, я не хочу вам мешать.

И он ушел в фойе, где болтали актеры и актрисы.

Ловкий малый был этот новопришедший! Сказал любезность одному, другому, всех обещал расхвалить в рецензии, а особенно Марту, на которую он поглядывал так сластолюбиво, что ей нетрудно было угадать в нем сочинителя письма.

Приходил он и в следующие дни, ухаживал за нею; словом, как-то вечером добился того, что увел ее к себе.

Женжине, следивший за маневрами молодого человека, пришел в неистовую ярость, которую излил бурными потоками на груди своего товарища и друга Бурдо.

Оба они сидели за столом в одном из самых мрачных кабачков и пили. Мой долг перед истиною заметить, что начал он пить еще днем; он говорил, что у него в горле — сушь пустыни, и орошал он эту пустыню волнами вина; голова у него вскоре начала склоняться все ниже, ниже на стол, нос попал в рюмку, и, не обращаясь к своему приятелю, который дремал, охмелев еще больше, пожалуй, он изрыгал монолог, прерываемый иканием и подергиванием.

— Дура девчонка, ах, какая дура, просто поразительно, до чего она глупа, помилуйте, любовник — это хорошо, когда он богат, а иначе лучше остаться при старом мурле Женжине... Что и говорить, он не красавец... Женжине... немолод, это тоже правда... Но артист! Артист! А она предпочла ему кота, который стихи сочиняет... При таком ремесле подохнуть можно, это ясно, какой голос... не сегодняшней, конечно... Сегодня я охрип, как черт... Все это



мне напоминает песню, которую я пел в Амбуазе, когда был первым тенором... Эх, угасшая моя слава!.. Песню про «мою жену и мой зонтик». Дурацкие, впрочем, куплеты! Слово баба и зонтик — не одно и то же! Оба они выворачиваются и предают тебя, когда погода дрянь. Эй, Бурдо, слушай, я говорил тебе, что был её отцом, благородным отцом, позволявшим ей стрелять глазами в богатых мужчин, но перед этакой голью, перед таким оборванцем, стихоплетом — ни-ни, не смей, к черту! Я становлюсь строгим отцом!

И растроганный до слез Женжине так хватил по столу кулаком, что вино в его рюмке заволновалось и забрызгало крупными красными каплями его старое бритое лицо.

— Дождь на улице, дождь в душе, — продолжал он, — почтение честной компании, иду спать. Эй, Бурдо, пойдем! Встань, твой друг зовет тебя. Это пелось когда-то в Амбуазе, вот не помню только, на какой мотив... Ах, проклятье, какие были у меня тогда верхи, какие низы! О ад, о муки! Подумать только, что все это потеряно вместе с волосами! А ты, мошенник, — крикнул он официанту, — вот горящие угли, потуши их, потуши их, получи за пять бутылок. Смело вперед, паладины, и плевать на мещан!

С этими словами он подхватил под руку Бурдо, который шлепал туфлями, посапывал носом, тряс животом, покачивал головою и во все горло пел дифирамб хорошему вину.

## II

После десяти лет бесплодной борьбы и невыносимой нищенской жизни художник Себастьян Ландузе, достигши некоторой известности, женился на Флоренции Эрбье, работавшей на фабрике поддельного жемчуга. На беду, его здоровье, уже расшатанное излишествами в работе и любви, с каждым днем ухудшалось, легочная болезнь свалила



его, он промучился полгода, умер и был похоронен, по бедности, в углу общественного кладбища.

Жена его, вялая и слабая по природе, воспрянула под влиянием постигшего ее удара и бодро взялась за работу; она умерла, когда дочь ее Марта уже достигла пятнадцатилетнего возраста и обучалась ремеслу. Жена, как и муж, погребена была на общественный счет.

Марта зарабатывала в ту пору на фабрике поддельного жемчуга четыре франка в день, но это был тяжелый и нездоровый труд, и часто она была не в силах работать.

Поддельный жемчуг изготавливается из чешуи рыбы уклеи. Чешую толкут и превращают в своего рода кашу, которую необходимо безостановочно перемешивать. Вода, щелочь, рыба чешуя — все это гниет и становится, при малейшем повышении температуры, очагом заразы, так что месиво это нужно готовить в погребе. Чем оно старше, тем больше ценится. Оно хранится в тщательно закупоренных бутылках и время от времени подвергается новому перемешиванию в щелочной ванне.

На бутылках, как у некоторых виноделов, помечается год их наполнения; подобно виноградному соку, этот святящийся сок повышается в качестве с течением времени. Впрочем, и без ярлыков можно отличить молодые склянки от старых: первые словно покрыты черноватой полудою, а вторые кажутся наполненными ртутью. Когда этот сироп как следует сгущается и приобретает надлежащую однородность, работницы при помощи трубочек вдувают его в крохотные стеклянные сосуды, шарообразные или грушевидные, смотря по форме жемчужины, и промывают все это спиртом, который также вдувают через трубочки, чтобы высушить массу; затем остается только, для придания веса стеклу и сохранения его амальгамы, накапать ярого воска в жемчужину. Если она имеет надлежащий серебристый оттенок и представляет собою то, что фабриканты называют изделием среднего качества, то цена ей от трех франков до трех с половиною.



Таким образом, Марта весь день наполняла стеклянные шарики, а вечером, после работы, уходила в Монруж к дяде с материнской стороны, инструментальному мастеру, или возвращалась домой и, дрожа от холода в своей пустой комнате, поскорее ложилась в постель, чтобы постараться сном забить тоску долгих светлых вечеров.

Она, впрочем, была девушкою странною. Непонятное томление, отвращение к работе, ненависть к нищете, болезненное влечение к неведомому; непримиренное с судьбою, мучительное воспоминание о тяжелых голодных днях у постели больного отца; убеждение, выросшее из затаенной злобы непризнанного художника, что одно только покровительство, приобретенное ценою любых подлостей и низостей, всесильно в этом мире; тяга к богатству и блеску; унаследованное от отца предрасположение к неврастении; какая-то инстинктивная лень, перешедшая к ней от матери, такой мужественной в тяжелые мгновения, такой малодушной, когда необходимость не терзала ее, — все это неистово бродило и кипело в ней.

Мастерская, к несчастью, меньше всего была способна поддержать ее иссякающее мужество, укрепить ее шаткую добродетель.

Женская мастерская — это преддверие Сен-Лазара. Марта скоро привыкла к беседам своих подруг; весь день сгибая спину над ковшем с чешуею, покончив с одной жемчужиной и принимаясь за другую, они тараторили без умолку, но все об одном и том же; всегда разговор вертелся вокруг мужчин. Такая-то жила с очень порядочным господином, получала от него столько-то, и все восхищались ее новым медальоном, ее кольцами, ее серьгами; завидовали ей и выпрашивали у своих любовников такие же подарки. Стоит девушке попасть в такое общество — и она погибла; разговоры воспитанников в учебном заведении — ничто по сравнению с теми, какие ведутся среди мастериц; мастерская — пробный камень добродетели, золото в ней редкость, меди — вдоволь. Не верьте романистам: не лю-



бовь толкает девушку на падение, не порыв чувственности, а в значительной степени тщеславие и в наибольшей доле — любопытство. Марта внимала подвигам своих подруг, рассказам об их сладостных и убийственных сражениях, расширив глаза, с горящими как в лихорадке губами. Они смеялись над нею, называли ее «дурочкой». Судя по их словам, все мужчины были отъявленными дураками. Такая-то накануне вышутила одного из них, не придя на свидание: пусть подождет, сильнее проголодается; другая мучила своего любовника: он тем крепче ее любил, чем чаще она ему изменяла; все обманывали своих обожателей или вертели ими как хотели, и все хвастались этим.

Марта уже не краснела, когда слышала гнусности, она краснела оттого, что не стояла на уровне подруг. Она уже решила отдаться, только ждала благоприятного случая. К тому же жизнь, какую она вела, была для нее невыносима. Никогда не посмеяться, не повеселиться! Единственное развлечение — дом дяди, лачуга, снимаемая понедельно, где копошились в тесноте дядя, тетка, дети, коты и собаки. По вечерам играли там в лото, в эту идеально глупую игру, и фишками служили пуговицы от брюк; по большим праздникам выпивали по рюмочке горячего вина, а иногда лакомились печеными каштанами. Эти улады бедняков приводили ее в отчаяние, и она предпочитала ходить в гости к подруге, у которой был сожитель. Но молодые люди не переставали целоваться. Роль третьего лица при таких дуэтах всегда смешна, поэтому она уходила от них в еще более раздраженном и грустном настроении. О, она пресытилась этой одинокой жизнью, этим непобедимым влечением к ласкам и золоту! Надо было покончить с таким состоянием, и она об этом раздумывала. Каждый вечер ее преследовали двое — человек уже пожилой, обещавший ей золотые горы, и юноша, живший в одном с нею доме, этажом ниже: он встречался с нею на лестнице и мягко просил прощения, когда его рука касалась ее руки. Выбор не представлял затруднений. Старик одержал верх на этих весах сердца,



где на одной чаше лежали только приятная внешность и молодость, а на другой — меч Бренна: благосостояние и золото. Старый еще тем прельстил девушку, что обладал манерами благовоспитанного человека, между тем как любовники ее подруг все были невежами или приказчиками. Она уступила... и не могла бы даже в свое оправдание сослаться на страсть, палящую, как огонь, и побуждающую отдаваться телом и душой... Она уступила и почувствовала глубокое омерзение. Однако на следующий день рассказала приятельницам про свое падение, о котором в действительности жалела. Показала, что гордится смелым поступком, и на глазах у всей мастерской взяла под руку старого негодяя, купившего ее. Но недолго она храбрилась; нервы ее возмутились, и как-то вечером она выбросила за дверь и деньги и старика и решила зажечь прежнюю жизнь. То же происходит с начинающими курильщиками: их тошнит, они клянутся бросить курение и опять за него принимают, пока желудок не даст себя укротить. После первой трубки — вторая, после одного любовника — другой. На этот раз она захотела полюбить одного молодого человека, как если бы это делалось по заказу. Он, со своей стороны, любил ее... почти, но был так почтителен и кроток, что она ожесточилась и стала мучить его. Кончилось тем, что они разошлись по взаимному согласию. О, потом пошло как у других: в неделю, в три дня, в два, в один — она пресыщалась ласками новых любовников. Затем она заболела, а как только встала с постели, очередной сожитель покинул ее; в довершение беды врач ей строго запретил работать на фабрике жемчуга. Что было делать? Что предпринять? Это была нищета, тем более гнетущая, что воспоминание о роскоши, которую она извела с первым любовником, не покидало ее. Она попыталась заняться другим ремеслом, но низкие заработки отбили у нее охоту продолжать попытки. Как-то вечером голод загнал ее в грязь проституции; она растянулась в ней во весь рост и уже не вставала.



Она покати́лась под гору, проедала все свои случайные заработки, голодала и холодала. Пройдя школу новой профессии, она получила степень рабыни первого встречного, специалистки по страстям. На публичном балу, где она искала счастья в обществе какого-то дылды с глазами цвета сиенской глины, она свела знакомство с молодым человеком, искавшим, казалось, приключений. Красные, как смородина, губы Марты, лукавая гримаска, какую она строила, когда он с нею шалил, осанка уличной богини, взгляд ее, жгучий и томный, — все это соблазнило простодушного юношу, и она увела его к себе. Это приключение вскоре перешло в привычку. Кончилось тем, что они зажили вместе. Их гнали из гостиницы в гостиницу, пока они не забились наконец в отвратительную нору на улице Шерш-Миди.

Не дом, а грязная ночлежка. Ржавая дверь в пятнах цвета охры и бычьей крови; длинный темный коридор, где стены сочились черными, словно кофейными, каплями; ветхая лестница, скрипевшая при каждом нажиме сапога, пропитанная гнусным смрадом сточных вод и отхожих мест, двери которых распахивались от сквозняков. В третьем этаже этого строения они занимали комнату, оклеенную обоями в цветочек, порванными во многих местах, и сквозь дыры мелкой пылью сыпалась штукатурка. В лачуге этой не было даже жалчайшей роскоши меблированных комнат — вазочек из алебастра и раскрашенного фарфора, часов без стрелок, засиженного мухами зеркала или цветной гравюры с изображением Наполеона, раненного в ногу, садящегося на коня. С потолка падали желтые капли, а пол со своими плитками яркого лака напоминал больную кожу, покрытую красной сыпью. Меблировка состояла из деревянной старой кровати, стола без ящика, ситцевых занавесок, заскорузлых от грязи, стула без сиденья и ветхого кресла у камина, которое развлекалось в одиночестве тем, что смеялось всеми своими дырами и показывало, словно



дразня жильцов, языки черного волоса сквозь все щели своих бархатных морд.

Там они прожили шесть недель, изворачиваясь на все лады, питаясь неопикуемой дрянью. Марта начинала мечтать о другом жребии, когда заметила вдруг, что беременна уже несколько месяцев. Она разрыдалась, призналась любовнику, что ребенок — не от него, сказала, что возвращает ему свободу, безоговорочно привязала его к себе таким приемом и, поддержанная этим несчастным, решила отказаться от всего излишнего, чтобы скопить сумму, нужную для родов.

Скопить эту сумму она не успела: упала с лестницы, и это ускорило разрешение от бремени. В светлую декабрьскую ночь, когда у обоих не было ни гроша в кармане, она почувствовала первые схватки. Молодой человек кинулся на улицу и сейчас же привел акушерку.

— Да ведь здесь мороз, — воскликнуло это привидение в чепце, войдя в комнату, — надо затопить печь.

Марта испугалась, как бы эта женщина, догадавшись об их нищете, не попросила денег вперед, и сказала поэтому любовнику, чтобы он поискал ключ от дровяного сарая, что он его найдет в кармане ее юбки или на камине. Тот был настолько озадачен, что стал почти серьезно искать этот ключ, но Марта в это время натужилась, протяжно закричала и откинулась, бледная и безжизненная, на подушку. Она произвела на свет девочку.

Повитуха обмыла ребенка, запеленала и ушла, пообещав утром прийти опять.

Ночь была непередаваемо печальна. Родильница стонала и жаловалась, что не может уснуть; юноша, умирая от холода, сидел в кресле и укачивал жалобно пищававшего младенца. Поднялась метель, ветер завывал в коридоре, тряся плохо пригнанными оконными рамами, задувая быстро гаснущую свечу, выметая из камина золу, носившуюся по комнате. Ребенок замерз и был голоден; в довершение



несчастия пеленки развязались, а юноше, у которого застыли руки от стужи, не удавалось их завязать.

Подробность, тривиально страшная: он заболел в этой нетопленной комнате и растерялся вконец, так как новорожденная кричала все громче, едва лишь он переставал ее качать.

В итоге этого ночного бдения ребенок и мужчина погибли: первый от слабости и холода, второй — от водянки, которую ускорила эта ночь. Только женщина пережила пытку, вышла из нее еще свежее, соблазнительней, чем была.

Некоторое время она кормилась, продавая себя на перекрестках, до того вечера, когда, приуныв и уже не находя грязи, в которой можно было бы подобрать корку хлеба, встретила с бывшей подругой по фабрике. Той не довелось разбиться о подводный камень, она пошла ко дну в открытом море со всем, что имела. Эта встреча решила судьбу Марты. Подруга объяснила преимущества своего положения; выпив несколько лишних рюмок, Марта проводила приятельницу до порога вертепа и решилась одной ногой перешагнуть его, думая, что сможет, когда захочет, отвести ногу назад.

На следующий день она проснулась пансионеркой публичного дома.

### III

Хотя она пила до потери сознания, только бы забыть свою мерзкую жизнь, она не в силах была примириться с этим самоотречением, с этой безысходной тюрмой, с этим гнусным ремеслом, не допускавшим ни отвращения, ни усталости.

Был вечер, когда уныние, омерзение Марты обострились до крайней степени. Она лежала минут двадцать,



развалившись на груди подушек, делая вид, будто слушает болтовню подруг, вздрагивая от каждого звука шагов. Чувствовала тошноту и усталость, как после долгого пьянства. По временам ее боль как будто утихала, и она точно сослепу обводила взглядом окружавшую ее роскошь. Эти жирандоли со свечами, эти штофные темно-красного цвета обои на стенках, с цветами, вышитыми на них белым шелком, отливавшим серебром, плясали у нее в глазах и мелькали, как белые искры на пурпуре костра; потом ее зрение прояснилось, и она видела себя в большом, со стеклянной рамой, зеркале, бесстыдно распростертою на диване, в бальной прическе, в пропитанных крепкими духами кружевах, оторочивших ее наготу.

Потом она с недоумением разглядывала причудливые позы своих подруг, вульгарно и забавно миловидных, раздражающе болтливых, растянувшихся на животе, подпирающих головы ладонями или сидящих на корточках пособачьи, или висящих, как мишура, по углам диванов; их разнообразные прически — волнистые спирали, завитые кудряшки, кольцевидные локоны, гигантские шиньоны, разубранные белыми и красными маргаритками, нитями поддельного жемчуга, черные и белокурые гривы, напомаженные или посыпанные снежною пудрой.

Шум, грохот, галдеж стояли в этой гостиной, напоенной неистовым запахом амбры и пачули. Смех трещал, как перестрелка, споры скрещивались во всех направлениях, перекатывая в своих стремительных волнах сальные слова и ругань.

Вдруг раздался звонок. Все стихло, как по волшебству. Все расселись по местам, а те, что задремали на диванах, мигом проснулись и протирали себе глаза, стараясь на мгновение зажечь огонь в своих взглядах для встречи пассажира, садящегося на корабль.

Дверь открылась. В комнату вошли два молодых человека.



Дебютантка опустила голову, изо всех сил стараясь съежиться, сделаться меньше, чтобы остаться незамеченной, упорно глядя на узоры ковра, чувствуя, как мужчины шарят глазами под кисею.

О, как она презирала этих людей, ее навещавших! Она не понимала, что большинство, искавших ее общества, приходили для того, чтобы в ее объятьях, в нервном возбуждении позабыть неотвязную тоску, кровные обиды, неиссякающую боль; не понимала, что, обманувшись в женщинах, любимых ими, хлебнув одуряющего вина из муслиновых стаканов, изранив себе губы об их осколки, они решили пить одно лишь дрянное вино из грубых кабацких кружек.

Один из гостей сделал ей знак. Она не трогалась с места, умоляюще глядя на подруг, но все смеялись и трунили над нею; только хозяйка вперила в нее мертвящий взгляд. Марта испугалась, встала, как мул, который упирается сначала, а потом вдруг бросается вперед под ударом хлыста; прошла пошатываясь через гостиную, оглушенная градом криков и хохота.

Она всходила по лестнице, держась за стены, чувствуя, как подступает к горлу желчная тошнота; служанка открыла дверь и посторонилась, чтобы их пропустить.

Он вошел, и она, теряя сознание, уронила за собою тяжелую портьеру.

Наутро она проснулась, пьяная от омерзения, с одной только мыслью, одною целью — вырваться из растленного дома, забыть вдали незабываемые страдания.

От воздуха этой комнаты, пропитанного тяжелым запахом косметики, от этих окон на замках, от этих плотных портьер, нагретых дыханием еще не погасших углей, от этой постели, расшатанной и разгромленной ночными грабителями, ее тошнило, чуть не рвало. Все спали в доме; она оделась, быстро спустилась по лестнице, отдернула засовы и кинулась на улицу. Ах, тут она перевела наконец дыхание! Она шла вперед наудачу, не думая ни о чем. Шла,



как пьяная. Вдруг ей сжало сердце осознание ее беды, она вспомнила, что сбежала от сатурналий, покинула место ссылки, — и она осмотрелась по сторонам взглядом испуганного зверя.

Она находилась в конце бульвара Сен-Мишель, когда увидела двух полицейских сержантов, спокойно шедших в сторону Сены. От безотчетного страха у нее пресекалось дыхание, подогнулись колени, ей почудилось, что эти люди сейчас арестуют ее и потащат в комиссариат. Солнце, дождившее золотистыми каплями на обсаженный деревьями асфальт, освещало, как ей казалось, только ее и всем показывало, кто она такая. Она бросилась в один из темных переулков, соединяющих бульвар с площадью Мобэр. Отдышалась в этом коридоре, источающем запах погребка, и пошла дальше. За эти несколько минут передышки волнение улеглось, она решила попросить приюта у одной приятельницы, жившей на улице Монж; тщетно стучалась к ней в дверь и, услышав от привратницы, что жилища отлучилась ненадолго, принялась расхаживать по улице взад и вперед. Остановилась перед витриной игрушечного магазина и со странным вниманием рассматривала кегли, лубочные картинки, зеленые лакированные формочки, граненые флаконы с духами в шапочках из белой замши, пакетики из черной бумаги с золотым гербом Великобритании, наполненные иглами, образки, карандаши.

Невидящими глазами насмотревшись на всю эту жалкую выставку, она вернулась к привратнице. Подруги ее все еще не было дома.

Опять она пошла бродить; в горле у нее пересохло от жажды; остановившись перед винным погребом, заколебалась, можно ли ей войти. Она стала боязливее ребенка. Не меньше десяти минут простояла она перед окном, читая вполголоса надписи на ярлыках, глядя на квадратные флаконы Данцигской водки с изображением золотого дождя, на литры оршата, напоминающие застывшее масло, на бутылки с коньяком и ликером, на банки с розовыми вишня-



ми, зелеными сливами, золотистыми персиками. Наконец распахнула дверь, и винный запах ударил ей в нос. Она попросила у торговца пол-литра вина и сифон сельтерской воды.

Ей показалось, что тот на нее смотрит дерзко. Не догадывался ли он тоже, из какой каторги она убежала? Обеспокоенная, пристыженная, она спряталась в комнатке, смежной с магазином.

Не меньше четверти часа заставил ее прождать хозяин, потом небрежно поставил заказанное на стол и кинулся навстречу человеку, который крикнул, войдя в дверь:

— Рюмку горькой, старина, и кусок пирога со сливами.

— Вас ли я вижу, господин Женжине? — воскликнул хозяин.

— Меня, меня! С самого утра я бегаю как оголтелый. Представьте себе, душа моя, я уполномочен этой обезьяной, моим патроном, составить трупку для театра Бобино. Чтобы стоило дешево, а звезды были первой величины, кометы, — вот какой девиз у этого малого. Как бы то ни было, побывал я у Родальна, у Машю, у Адольфа, ангажировал их; теперь ищу певиц.

Произнося эти слова, Женжине уничтожал большой кусок пирога и опрокидывал в глотку рюмку за рюмкой. Поднося одну из них ко рту, он заметил Марту, сидевшую с хмурым, почти злобным выражением лица в глубине кабинета. Тогда он принялся щеголять закулисными словечками, изоощряться в остроумии. Заметив, что она улыбнулась, предложил ей чашку кофе; она отказалась, но этот ловкий малый был так весел, так приятен, с виду он был такой рубаха-парень, что она завязала с ним беседу. Женжине присматривался к ней. «Великолепная штучка, — думал он, — в новом костюме она увлечет всю залу. Вид у нее помятый, пристыженный, верно, наделала глупостей, может быть, ей и деваться некуда; если у нее есть хоть



крохотный голосок, приглашаю ее немедленно; звезда, открытая в винном погребке! Я ее в две недели обучу петь и играть. Пусть нет таланта, была бы славная мордашка, это главное на сцене».

Она согласилась; чувствовала себя спасенной. Через две недели она дебютировала у Бобино.

Эта новая жизнь ей понравилась. Как все несчастные, загнанные нищетою или дурным примером на самое дно, она испытывала, вопреки рассудку, вопреки невыразимой гадливости, охватившей ее в первый раз, ту странную тягу назад, ту страшную болезнь, под влиянием которой каждая женщина, изведавшая эту жизнь, рано или поздно опять в нее погружается.

Это лихорадочное, хмельное существование с его вечной сутолокою, преодоленной сонливостью, шмыганьем по лестницам вверх и вниз, усталостью, которую побеждают алкоголь и смех, — действует на этих несчастных гипнотически, головокружительно, притягательно, как бездна.

Если Марта спаслась от ужасного рецидива, то произошло это потому, что она сравнительно мало времени пробыла в том доме, а главное — благодаря волнующей атмосфере кулис, выступлениям перед возбужденной публикой, товарищескому общению с актерами, той торопящейся суете, толкотне по вечерам, когда она одевалась и репетировала роли. Театральная лихорадка стала наиболее сильным противоядием против отравы, проникшей в нее.

#### IV

Марта и Лео, держась под руки, говорили дорогою о всяком вздоре. Они шли вниз по улице Мадам, направляясь к Круа-Ружу.

Разговор становился все глупее. Compliments по поводу ее костюма, ее голоса, театральные сплетни, распро-



сы, где кто живет, все было исчерпано. Собака проводила их взглядом и беспричинно залаяла: они заговорили о собаках. Он предпочитал кошек, а она — этих ужасных завитых шпицев, у которых дурно пахнет из пасти, когда они поедят мяса или сахару. Эта дискуссия была закончена скоро. Несколько минут они не произносили ни слова, потом из переулка выкатился пьяный, стучаясь о стены, они заговорили о пьяницах и опять умолкли. Прошел полицейский. У нее пробежал мороз по коже. Он попытался ее развеселить, она его, казалось, уже не слушала. В самом деле, им пора уже было прийти.

Газовые фонари потухли. Лео взял Марту за руку и повел ее двором до входа в коридор. Там они остановились, он зажег свечку и осветил первые ступени лестницы, уходящей во мрак. Он открыл дверь, яркий огонь камина бросал красные отблески на обои маленькой комнаты и пробегал сверкающими полосами по стеклу рамок, висевших на стенах. Марта сняла шляпку, соболью накидку и уселась в широкое кресло, которое он подкатил к камину. Сидя по-турецки у ее ног, он восхищался ее станом, гибким, как тростник, и умирал от желания поцеловать ее в волосы, вившиеся беспорядочными локонами по розоватому снегу шеи. Одна шпилька выпала из них, и длинная прядь спиралью развернулась по ее темно-зеленому платью, обтекавшему ее, очерчивавшему змеистую линию груди и карнизы бедер. Своими продолговатыми черными глазами, струившими дивный блеск, рдеющими губами, округлыми щеками она напоминала Саскию, первую жену Рембрандта, на великолепном портрете Фердинанда Боля, если не принимать во внимание живописный костюм последней.

Марта встала.

— Посмотри-ка, эти люди пьют, — сказала она, прикоснувшись розовым миндалем ногтя к копии с картины Йорданса «Бобровый король».



И она звонко расхохоталась, глядя на этого монаха в короне из фольги, у которого волосы разметались по салфетке, подвязанной к шее; ее смешил вид сидящих за столом весельчаков, горлающих, курящих, орущих во всю глотку: «Король пьет! Король пьет!» Лео взял ее за руку и показал, целуя, на женщин за столом, на дородную крестьянку, которая подтирает своего ребенка, между тем как собака обнюхивает его, и на двух других, более стройных и белокурых, которые смеются и пьют, обнажив свои тела, и на светящееся вино, и на янтарное пиво.

Мимолетно пронеслось у нее в голове воспоминание о былых попойках.

Но ни яркость эта, ни разгул, ни это буйство плоти в манере Рубенса, ни изгородь из лилий и алых цветов, ни эта полнота, эта роскошь тел, эта оргия, эти волны кармина и перламутра не задержали надолго ее внимания. Она обвела рассеянным взглядом другие картины, потом задумалась перед гравюрой Хогарта, эпизодом из жизни блудниц. Эти оголенные распутницы, этот пьяный, у которого очаровательная девчонка крадет часы из кармана, эти опрокинутые стаканы на подмостках, разъяренные девки, плюющие к лицу, грозящие ножами друг другу, эта негодница, чьи юбки, лиф, белье валяются смятые на полу и которая натягивает на шелковые чулки полусапожки с отворотами, эта фигура, у которой мухами искусаны губы и лоб и вываливается одна грудь из отвисшей рубашки, эти два оборванца у двери, которые что-то вопят, между тем как пламя свечи отражается на медном подносе, — все это вызвало в ней отчетливые воспоминания, и она стояла зачарованная, безмолвная, а потом, словно очнувшись от сна, процедила сквозь зубы: «Как это хорошо!»

Она опять опустилась в кресло; он сел на стул и начал перемешивать угли в камине. Все воспоминания ожили. Этот стиль трущоб, этот вульгарный пошиб, от которого она старалась освободиться, воспрянул внезапно и неотразимо пропитывал ее мысли. Чем больше она следила за



собою, тем больше странных слов, грубых оборотов, выражений, которые она хотела забыть, невольно наворачивалось на язык. Она оборвала разговор, который снова начал Лео, и глядела на огонь в камине с таким мрачным видом, что ее любовник уже не знал ни что говорить, ни что делать.

Между тем часы, которые болтали без умолку, словно смеясь над их молчанием, пробили два. Марта подняла голову. Лео воспользовался случаем и сказал:

— Не пора ли спать?

Когда она ушла в соседнюю комнату, он погрузился в покинутое ею кресло и задумался.

Невеселы были, по правде говоря, его размышления. Этот юнец рано вырвался из-под материнской опеки и так поспешил воспользоваться отвоеванной свободой, что разврат, мстящий за добронравие, отравил ему тело и душу. Чувствуя в себе подлинное дарование, которое должны были оценить артисты и осудить мещане, он кинулся очертя голову в трясину литературы. В месте, куда он нырнул, не было, к несчастью, воды хотя бы на фут глубиною; он так больно разбился о камни на дне, что встал, утратив мужество и даже не попытавшись выплыть на простор.

Он кормился пером, иначе говоря, кормился голодом. Муки слова, усилия выразить причудливые ощущения, осаждавшие его, повели к нервному расстройству, и он испытывал страшную усталость. Порой, в счастливые минуты, он набрасывал страницу, кишевшую дикими гротесками, суккубами, уродцами в стиле Гойи, но на следующий день чувствовал себя неспособным написать каких-нибудь три строки и с невероятным напряжением рисовал фигуры, ускользавшие от внимания критики.

О чем он мечтал, как о возбуждающем средстве, как об ударе гонга, способном разбудить его дремлющий талант, — о женщине, которая бы любила его, женщине, одетой в безумные наряды, поставленной в необыкновенные условия освещения, в странные сочетания красок,



женщине невероятной, написанной Рембрандтом, его кумиром; женщине нагло роскошной, в глазах которой горело бы то неопределимое выражение, тот жизненный пыл, почти меланхолический, запечатленный шедевром Ван-Рина «Женщина в квадратной зале Лувра». Такой она мечталась ему, с кожей янтарного оттенка, с легким алым налетом на скулах и голубым пеплом под глазами, и его вождение было изощренным и вымученным; в определенные мгновения она должна быть чрезмерною и смущающей, обычно — спокойною и преданной. Эта невозможная мечта, это неосуществимое стремление, эта тяга к хаосу, космосу, разграниченным во времени, терзали его. Марта, со своею буйною гривой, с торжествующими глазами, с алчным ртом, показалась ему осуществлением идеала, за которым он тщетно гнался. Он любовался ею на сцене, чередованием наглости и наивности в ее чертах; он рассчитывал на актрису и на любовницу, поручая ей своеобразную роль, сочиненную им.

Он думал об этом. Вспомнив вдруг, что его место — не в кресле, пошел в спальню.

Марта заснула изумленная. Она, безвольная рабыня каждого, еще не встречала такого человека; этот поражающий темперамент, эта яркая молодость, брызжащая восторженными словами, бешеным лиризмом, неуместным поклонением, восхитили ее. Она сказала себе, что, по видимому, таковы все те, кто любит, и была благодарна ему за то, что он не оживил на ее ложе воспоминания о былых унижениях. Она, столько путешественников возившая на Цитеру, по стольку-то за провоз, позабыла заняться сопоставлениями. Лео был поистине ее первым любовником. На рассвете следующего дня молодой человек взглянул на нее и замер в нерешительности: она спала, раскрыв колечком рот, вытянув ноги, туловищем изогнувшись в одну сторону. Он спросил себя, не спровадить ли ее, как всех других, и выпростал руку, лежавшую у нее под головой. Она открыла глаза и так мило улыбнулась, что он поцело-



вал ее и спросил, хорошо ли она спала. Вместо ответа она обвила его руками и стала целовать его в губы, быстро, без счета. Он потерял голову. Решил, что она достойна всей его нежности, всей преданности, но то, как она вставала, опять смутило его. Она одевалась, как все публичные женщины, с той же повадкой села на край постели, натянула сиреневого цвета чулки, головной шпилькой застегнула пуговицы на ботинках, опустила рубашку на ноги, и, подойдя к туалетному столику — как все они, — приподняла оконные шторы и поглядела во двор. Какая женщина не делала этого жеста?

Он упрекал себя за то, что считал ее не похожей на других, а все же, когда платье скрыло все сокровища, накануне разоблаченные, в нем шевельнулось какое-то сожаление. Ему было тяжело, что она уходит. Он попросил ее позавтракать с ним. Ее ждала дома прачка, ей надо было рано вернуться. Этот ответ привел его в отчаянье. Всех женщин, когда они хотят уйти, ожидает прачка, ему это было слишком известно. Однако она уступила и вновь сняла шляпку и накидку, а поэт, выгнувшись из окна, кликнул привратника.

Ромель — так звали его — поднял голову и важно ответил: «Иду!» Пришел он часом позже.

— Принесите, — велел ему Лео, — бифштексов, паштету, сыру, ватрушку и две бутылки вина.

— Слушаю-с.

И наклонившись к уху Лео с доверительным видом, Ромель шепнул:

— Кстати, я купил на этих днях восхитительное зеркало Луи XIV. Я бы вам его недорого продал...

Как бы это ни казалось странным, Ромель, по профессии привратник и сапожник, в молодости писал марины. Судя по его словам, у него были «здатки». Теперь же он перекупал всякую дрянь, стараясь продавать ее квартирантам, особенно по утрам, когда они были не одни. О прелестьях и обаянии ночных посетительниц он судил по тону



отказа — ибо отказы выслушивал неизменно. В это утро Лео сказал ему «нет» мягким тоном. Из этого он заключил, что женщина, которую привел квартирант, будет часто просить у него ключ от квартиры, и решил поклониться ей низко, когда она пройдет через двор.

Ромель отправился за завтраком в соседний ресторан, а Лео растопил камин, и когда Марта, сидя перед огнем, приподнимала голову, он медленно целовал ее в шею, в губы, в глаза, которые, смежаясь, трепетали под его горячим дыханием. Он думал о подвигах сына Юпитера и Алкмены, Геракла, истребителя чудовищ, когда Ромель вошел в сопровождении официанта, принесшего в салфетке еду и вино. Они накрыли на стол и ушли. Лео и Марта сидели друг против друга; она ела с аппетитом, а он не шевелился, прислушиваясь к мягкому трезвону ее челюстей; вода шипела в кипятильнике. Марта вылила ее в кофейник, потом их губы сблизились, и в промежутках между поцелуями вода пела, сбегая каплями сквозь фильтр. В нижнем этаже пианист наигрывал арию Фауста; со двора, чередуясь со звуками пианино, доносилось в зимней тишине пение нищенки, славившей любовь и неизгладимые победы Купидона. Их разморило от жара углей, не было сил открыть окно и бросить певце монету. Они задремали под монотонные звуки; наконец она встала, потянулась, поцеловала его и ушла, назначив ему свидание в тот же вечер, в театре.

Он почувствовал себя одиноким, едва она вышла за порог; комната показалась ему грустной и холодной. Он оделся и вышел. Надо было убить время. Отправился к издателю, который был ему должен; не выжал из него ни гроша. Потом бродил по бульвару и зашел в кафе. На буфетных часах пробило три. Он поставил себе задачей просидеть на месте час. Читал и перечитывал газеты, зевал, закурил сигару, сделал наблюдение, что люди вокруг него ведут идиллические разговоры; что два толстяка, из которых у одного была заячья губа, а у другого — раскосые глаза, смеются дрянненьким смехом, играя на бильярде; опять поглядел на



часы, кликнул официанта, который слишком быстро, по его мнению, явился на зов, и вышел, упрекая себя в том, что не досидел пяти минут до положенного срока.

Он шатался по улицам, стоял перед витринами, завернул в пассаж, улыбнулся девочке, прыгавшей через веревочку, быстрыми шагами дошел до Бастилии, отнюдь не восхитился ангелом, делающим антраша на вершине колонны, вернулся обратно, опять зашел в кафе, выпил горькой, перечитал газеты, которые уже знал, и вышел. Очень обрадовался, встретив на улице Вивьен одного приятеля, которого избегал обычно, угостил его абсентом и, когда стрелки показали шесть часов, неожиданно покинул его.

Приближалось время свидания с Мартой. Он плохо пообедал, не чувствуя ни аппетита, ни жажды; помчался на улицу Флетрюс и вошел в фойе, где уже собрались актеры.

Это был день премьеры. Женжине был в этот вечер особенно раздражителен и ворчлив. Шарниры у него расшатались, говорил он, хлопая себя по ляжкам. Вдобавок его грызла досада: он только что проиграл три партии в безик, да и четвертая стояла плохо, потому что Бурдо, его партнер, уже объявил 250, и так как у него на руках были два козырных туза, то противник его не имел никакой надежды на реванш. Женжине ворчал, носом уткнувшись в карты.

— Сорок! — заревел он яростно, швырнув четыре вала на стол, и встал на минуту, чтобы поглядеть сквозь глазок в занавесе, какова публика в зале.

Он вернулся в отчаянии.

— Одни только швейцары и ломовики, — кричал он, — какие-то дуры в шелку и парикмахеры. Во всем театре лоснится только один цилиндр, да и тот градом побит. Честное слово, противно играть перед такой рванью. А кстати, не посчитать ли нам ставки?

— Я играю только вперед на двадцать, — вздохнул Бурдо.



— А я на пятьсот, — завопил Женжине, — я про-  
дулся. Эй, Марта, скажи-ка, милочка, что случилось с  
этим писакою, твоим обожателем. Все еще любишь его,  
шельма? Да ну, брось, не куксись, разве не видишь, что  
я шучу? Опрокинем-ка по чашечке кофею и по рюмочке,  
хочешь?

— На сцену, на сцену! — крикнул помощник режис-  
сера.

— К черту! — заорал Женжине в бешенстве.

Но занавес поднялся, и пришлось актеру скрыть свое  
раздражение и выйти на сцену.

Лео, только что вошедший, поцеловал Марту и спря-  
тался в одну из кулис.

Пьеса с треском провалилась. На сцену полетели  
огрызки яблок, уханье вроде свиного заглушило шум, ко-  
торый производили в оркестре три лысых старца печально-  
го образа, щекотавшие животы виолончелей. Марта и Лео  
спаслись бегством, как и все остальные. Занавес упал. На  
сцене оставались еще Женжине и два автора пьесы, траги-  
чески смотревшие друг на друга.

Актер утешил их ласковыми словами.

— Молодые люди, — сказал он, — если ремесло дра-  
матурга не дает вам хлеба, то, по крайней мере, оно на-  
граждает вас яблоками. Они пригодятся вам для тортов.  
Что же касается моего мнения о вашем произведении, то  
вот оно каково: те, кто вас освистывал, святые люди; те,  
кто меня бомбардировал, — мерзавцы. А засим честь  
имею кланяться.

## V

У Марты вошло в привычку каждый вечер приходить к  
Лео ночевать. Под конец она даже перевезла к нему поло-  
вину своего гардероба, потому что не хотела в дождливую  
погоду рано вставать, возвращаться домой и переодеваться.



В течение месяца они думали, что любят друг друга. Затем разразилась двойная катастрофа. Театр прогорел, а газета, в которой работал Лео, приостановила платежи.

Поэт потерял при этом крушении сто франков гонорара, а Марта оказалась на улице, без места.

Она плакала, говорила, что не желает быть ему в тягость, что поищет другого ангажемента, и так как Женжине — ее друг, то в каком бы он театре ни устроился, наверное он там же устроит и ее.

Лео, ненавидевший актера и чувствовавший бешеное желание надавать ему пощечин всякий раз, как тот обращался к ней на «ты» или приставал к ней с вульгарными любезностями, заявил решительно, что ни за что не потерпит дальнейшей дружбы между ними.

— Так что же делать? — простионала она.

Он уныло покачал головой. В сущности, у обоих возникла одна и та же мысль, каждый ждал, чтобы ее высказал другой, в готовности сразу согласиться.

Два хозяйства были ему не по средствам! Нужно было придумать способ свести их к одному. Тогда бы вдвое сократились расходы. Можно было сберечь деньги, которых стоили ресторан и служанка. Марта бралась стряпать, содержать в чистоте квартиру, чинить и гладить его белье; она могла бы в случае надобности сама себя обшивать и делать шляпы. Лео пришел в конце концов к убеждению, что вдвоем они жили бы дешевле, чем жил он один.

Когда это решение было принято, поэт стал настаивать на скорейшем его осуществлении. Он начал ее торопить с переездом, занял денег, чтобы рассчитаться в меблированных комнатах, где она жила, ставил, переставлял, устраивая все наново у себя в комнатах, чтобы ей было где поместиться со своими вещами. Их первый вечер новоселья был бесподобен: Марта привела квартиру в порядок, вычистила ящики, отложила в сторону белье, нуждавшееся в починке, смахнула пыль с книг и картин, и, вернувшись к обеду, он застал у себя жарко топившийся камин, ровно

горевшую, — а не коптевшую, как обычно, — лампу, а в кресле — тепло одетую женщину, которая поджидала его, грея ноги у огня, сидя спиной к столу.

«Как у меня теперь работа закипит, — подумал он, — когда у меня так уютно дома».

Деньги меж тем таяли без удержу. Что ни день, то новые расходы: то стаканы, то графин, то тарелки; он был испуган, но утешал себя тем, что ему обещано место в новой газете, с окладом в двести франков ежемесячно; терпение, терпение — через несколько месяцев его положение будет лучше.

Газета умерла, не родившись, пришла нищета, и вместе с нею — ужасные разочарования конкубината.

В первое время каждый старается быть приятным, предупреждать желания другого, уступать ему во всем. Оба чувствуют ясно, что первая ссора повлечет за собою и другие. Нищета трезвит. Благодаря ей не успеешь оглянуться — уже перебродило вино любви.

Лео начинал прозревать. Его к тому же донимало то множество мелочей, которые постепенно изводят человека. Почему она упорно не желает оставлять его кресло перед письменным столом? Что за странная манера — читать его книги и загибать в них углы? А затем, — как объяснить это настойчивое желание вешать на его пальто и брюки свои юбки, пеньюары, тогда как их можно было бы, кажется, вешать на другой гвоздь и не заставлять его снимать целый ворох тряпок, чтобы добраться до своей куртки? Приходилось также выносить кухонный чад, тяжелый винный запах в соусах, тошнотворную вонь жарящегося лука, видеть валяющиеся на ковре хлебные корки, на креслах — мотки ниток; в его гостиной был полный разгром. В дни стирки было еще хуже. А ведь надо же было класть гладильную доску между его письменным столом и соседним, развешивать белье для просушки на перекладинах в прихожей. Эти лужи воды на паркете, этот кислый запах щелока и пар, оседавший на бронзе и зеркалах, приводили его в ужас.



Неприятности эти, повторяющиеся каждый день, отсутствие друзей, которых удаляет присутствие женщины, невозможность работать в одной комнате с любовницей, которая, покончив со своими делами, желает разговаривать и рассказывает вам про все неурядицы в доме, про дерзость привратника, лишившегося платы за услуги и мстящего за это бесконечными придирками; которая чувствует враждебное к себе отношение и настаивает перед любовником, чтобы тот вмешался и положил этому конец; досада на ее лице, когда он вечером уходил по делам или когда срочная работа заставляла его читать или писать в постели; жалобы по поводу ветхости платья, которое уже нельзя чинить, этот вздох, столь красноречиво говоривший, при взгляде на порванную сорочку, что через несколько дней понадобятся сорочки новые; наконец, эта манера стенать по поводу безденежья и подавать бог знает что на стол, когда нужны новые перчатки, — все это доводило его до отчаяния.

А затем, — что выгадал он, потеряв свободу? Куда они девались, эти платья со шлейфами и юбки с оборками, эти корсеты из черного шелка, все то внешнее, что он обожал? Актриса, любовница исчезла, осталась только экономка. У него не сохранилось даже той радости, которую он испытывал в первые дни их связи, когда говорил себе, возвращаясь домой: сегодня вечером она придет. Торопливая походка, — поскорей бы прийти! — и даже эта тревога, какую мучишься, когда условленный час прошел, а все еще не слышишь знакомых шагов, поднимающихся по лестнице и останавливающихся перед дверью, — о, как это все далеко! Миновала пора приятных бесед с приятелями у камелька, культурных споров по поводу той или иной картины или книги. Попробуйте-ка говорить о литературе и живописи с женщиной, зевающей в ладонь, поглядывающей на стенные часы и словно говорящей: «Скорей бы уж в постель!» Это самоубийство интеллекта, называемое «связью», начинало удручать его.

Она, со своей стороны, была удовлетворена не в большей мере. Он казался ей холодным, занятым больше своим искусством, чем ею; возмущалась, когда он бывал неразговорчив или сердит. Они обвиняли один другого в неблагодарности. Лео воображал себе, что пошел на большую жертву, взяв Марту спутницей жизни, а она была убеждена, что жертвовала собой ради него. Она делала все: перетирала мебель, мыла пол и посуду, стирала его белье, перестала встречаться со своими приятельницами, которых он вежливо спровадил, и взамен этого жила в нищете! Даже на новое платье ей не хватало денег.

К тому же ей скоро надоела черная работа, пыль она выметала кое-как, обед стряпала на скорую руку; принесла из съестной лавки зажаренного кролика или бараньи котлеты. Лео был этим недоволен.

— А деньги? — говорила она.

И когда он возражал, что жарить мясо дешевле дома, чем покупать его в готовом виде, она плакалась, говорила, что замучилась, что мечтает только о том, как бы выспаться. Она уже не убирала со стола, раздевалась точно обессиленная, ложилась в постель и каждые четверть часа спрашивала любовника, продолжавшего работать: «Что же, скоро ли ты ляжешь?»

Он огрызался; потом, устав бороться, бросал работу и ложился. Тогда она не шевелилась, притворяясь, будто спит, с трудом отодвигаясь на край постели, чтобы дать ему место у стены; упорно поворачиваясь к нему спиной, быстро отводя ноги, как только он приближал к ним свои, чтобы согреться. Теряя терпение, он тушил лампу и старался заснуть.

Эти ребячливые обиды, эти женские капризы раздражали его и из-за того, что они повторялись всякий раз, когда она ложилась в постель одна, он сдался в конце концов и, чтобы иметь нежную любовницу, должен был закрывать глаза на ее сумасбродство. Марта, впрочем, не чувствовала



к нему за это благодарности, находя его слабовольным и собираясь при первом случае воспользоваться его слабостью.

Вдобавок он был ревнив, и после одной ссоры, когда он заметил засохшую грязь на подоле ее платья, ясно говорившую о том, что она, вопреки ее настойчивым уверениям, уходила из дома, их совместная жизнь сделалась невыносимой.

Пока он правил корректуры в газетной редакции или сидел в библиотеке, роясь в книгах, она покидала квартиру, а говорила, будто носа не показывает на улице. Принудить себя к слезке за ней он не мог, но иногда проверял расходную книгу, доискиваясь, записаны ли в нее бархатная лента, шляпа, которые она купила. Считал и пересчитывал, боясь, что эти покупки не вошли в общую сумму, интересуясь, все ли деньги, отданные им, израсходованы на хозяйство и на какие деньги удалось ей приобрести обновки.

Вдруг она перестала отлучаться из дому; с упорством, которого он не смог сломить, отказывалась выходить с ним на улицу. Он объяснил себе эту резкую перемену одним из тех женских капризов, борьба с которыми безнадежна. Чтобы понять ее упрямство, ему надо было бы знать ее прошлое, а известны ему были из этого прошлого только обрывки, которыми она поделилась в минуты рассчитанной откровенности. Правда заключалась в том, что Марта побывала у своих прежних подруг, что, задавшись однажды, в унылом настроении, вопросом Маргариты: «Люблю ли я его немножко, крепко, страстно?» — ответила себе: «Крепко». Но в конце концов можно чувствовать привязанность к человеку и изменять ему, это явление заурядное. Она сделала поэтому попытку свести знакомство с купцами хлебного рынка, у которых денег куры не клюют, и уже почти соблазнила одного из них, когда встретилась на улице с одним полицейским агентом, который проводил ее пристальным взглядом.

Ее положение не было ясным. В любую минуту ее могла арестовать полиция; она состояла в бегах, ибо самовольно покинула каторгу любви; сыщики могли ее поймать.

Дошло до того, что ее бросало в дрожь, когда ветер тряс дверь, или человек, приносящий воду, поднимался по лестнице. Выходила она только за провизией и сейчас же возвращалась. Ни на мгновение не покидала ее тревога. Она напивалась, чтобы успокоиться; пила ром стаканами, сидя на ковре перед тлеющими углями камина, и улыбалась пламени, одурелая, безмолвная, дрожа и бессильно проводя руками по лбу; жар очага лишал ее сознания, голова кружилась, воля сгибалась вместе с телом, она не могла шевельнуть ни ногою, ни рукою, точно связанная, и дремала, мертвецки пьяная, перед гудевшим и обжигавшим её лицо огнем. А подчас, вместо этой одури, которой она искала, ее охватывала лихорадка и вместе с нею — галлюцинации и долгие обмороки, после которых она чувствовала себя разбитой, мертвой. Мысли путались, голова качалась на шее, как у китайского болванчика, а потом грузно падала на приподнятые колени, и она сидела, безжизненная, отупелая, пока не приходил Лео, который распахивал все окна и в ярости тащил ее дышать свежим воздухом. Его терпение было на исходе. Однажды, когда она спотыкалась о мебель, истерзанная и словно ослепленная жестокой мигренью, он выбросил все бутылки в окно. Она взглянула на него с покорностью побитой собаки, потом встала и, вся в слезах, крепко сжала его в объятиях, прося прощения, обещая больше не болеть, сделать опять счастливою его жизнь.

Как-то вечером, возвращаясь домой, он поднял с пола письмо, которое привратник, не дождавшись его, сунул под дверь, и когда распечатал его, подойдя к лампе, то страшно побледнел, и две крупные слезы брызнули у него из глаз.

Марта расплакалась. Услышав, что мать ее любовника серьезно заболела, она забилась в нервном припадке, упав



на постель. Он был умилен этим избытком чувствительности. В сущности, это был скорее разряд нервного напряжения, чем подлинное волнение, но все же при слове «мать» ее словно что-то ударило в грудь. Детство, о котором она старалась не думать, внезапно припомнилось ей; припомнилось, как ее родная мать, которую свела в могилу нужда, склонялась над ее колыбелью, целовала ей руки, когда она их высовывала из-под одеяла, улыбалась ей сквозь слезы, когда в комнате стояла стужа. Старая мелодия, которую мать ей напевала, отрывочно звучала у нее в ушах; она постаралась вспомнить ее всю, но это усилие памяти надломило ее вконец, она уснула мертвым сном и проспала до утра.

Когда она проснулась, ее любовник был уже на ногах и готов к отъезду. Она пылко расцеловала его, обещала ему писать, хотела проводить его на вокзал, но уже не было времени. Он опоздал бы на поезд, если бы стал ждать, пока она оденется. Пришлось отказаться от проводов. Когда Лео уехал, она быстро натянула на себя платье. Она испытывала потребность в ходьбе, в свежем воздухе. Страх перед полицейскими показался ей идиотским, и, переходя от одной крайности к другой, она мечтала увидеть их всех перед собою, издеваться над ними, сказать им прямо в лицо: «Сволочь вы этакая»; но это возбуждение улеглось, как только она вышла на улицу.

Она отправилась к одной из приятельниц, служившей в крохотном кабачке на улице Вожирар. Зала, когда она вошла в нее, была почти пуста и еще не подметена. Зеркала, засаленные помадою прислонившихся к ним голов, помутнели снизу; пол в красных крапинках звездился засохшими плевками, окурками сигар и пеплом трубок; на липком мраморе столов лежали грязные кружки из-под стаканов, а в глубине, на диване, растянулся — олицетворенная низость — отец хозяйки, обязанностью которого было качать пивной насос. В зале стоял запах застарелого

табачного дыма — специфический запах пивных. Старик дремал и храпел, а Мария, подруга Марты, зевала во весь рот, сидя на табурете. Поцеловавшись с Мартою, она увела ее в кухню и быстро спросила:

— Получила ты мое письмо?

— Нет.

— Да ведь тебя разыскивает полиция, дорогая моя. Это мне сказал рыжий; на днях тебя узнал один агент. Он было потерял твой след, но потом опять его нашел.

Марта остолбенела. Значит, недаром она боялась! Полиция нравов притянет ее к ответу за побег! Агенты придут на квартиру к Лео; привратница все узнает и расскажет ему, когда он вернется, кто она такая, какую жизнь она раньше вела.

— Я бы тебя спрятала у себя на несколько дней, — говорила Мария, — но я живу не одна, и мой сожитель был бы недоволен. Пойди лучше к Титине.

— Где она живет?

— Ах, вот уж не помню точно; мне говорили, что она живет недалеко от рынка, но я не помню ни улицы, ни номера дома. Впрочем, оставайся до вечера, а там видно будет. До тех пор успеешь подумать и принять решение.

Настал вечер, а Марта не знала, на что решиться. Боясь сыщиков, которые устраивали облавы на женщин во всех кабачках квартала, она ушла от Марии и, не зная, куда спрятаться, пошла вдоль набережных до Пон-Нёф, убеждая себя, хотя сама этому не верила, что ей повезет, и что она встретит по дороге Титину.

Взойдя на мост, она почувствовала такую усталость, такое отчаянье, что стала на колени на скамье в одном из полукруглых выступов парапета. Со слезами на глазах следила она за водою, бурливо огибавшей быки.

Сена в этот вечер катила волны свинцового цвета, там и сям испещренные отражением фонарей. Справа, в грузженной углем барже, ошвартованной у железного кольца,



передвигались неясные силуэты мужчин и женщин; слева расстилалась площадь со статуей короля. Дерево, растущее в ее конце, вырисовывало свои хрупкие контуры на шиферно-сером небе. Еще дальше выступал из тумана Пон-дез-Ар со своим венчиком газовых фонарей, и тень от его быков длинным черным пятном уходила в воду. Под сводом моста пробежал пароходик, обдав теплым паром лицо Марты, оставив за собою длинную борозду белой пены, которая мало-помалу исчезала в саже реки. Заморосил дождь.

Марта уже не думала ни о чем. Она смотрела на Сену, даже не видя ее. Дождь пошел сильнее, крупные капли стали хлестать ее по лицу. Она очнулась, как ото сна. Призрак полиции вырос перед нею, неумолимый; она нагнулась над парапетом, и на миг ее озарила мысль покончить со всеми несчастьями, потом она испугалась, отшатнулась и уже хотела в ужасе бежать, когда ее ухватил за руку вдрызг пьяный человек.

— Марта. Смотри-ка, пожалуйста. Что это ты на Сену загляделась, под дождем и в промокшем пальто?

И заметив, как она бледна, Женжине спросил, не больна ли она.

Она призналась ему, что чуть было не кинулась в воду.

— Вздор, малютка, — трагически завопил пьяница, — что тебе на ум взбрело — топиться? С голоду ты, что ли,дохнешь, убила кого-нибудь, вцепилась в волосы подруге? Или тебя подобрали в луже в пьяном виде, оскорбляющую государственную власть? Ах, Марьетта, бросьте эти штучки, — продолжал неугомонный шут, держа палку как ружье, — пусть бы даже были вы маленьким капра-лом, здесь вам не пройти!

Она молчала.

— Но, птичка моя, — продолжал актер, — какой же был бы тебе прок от того, что ты бы утонула? Это глупо, как всякая смерть... даже в пятом действии драмы. Ну,

послушай, подумай немного, можешь ты себе представить, какова бы ты была в морге, со своими рыжими волосами и зеленым животом? Не заставляй ты меня, пожалуйста, в такую погоду играть роль ангела-хранителя. Она у меня еще не разучена. Пойдем-ка лучше разопьем со мною бутылочку, хотя вы и привыкли, сударыня, к обществу поэтов. Согласна, что ли? Нет? Вот дуреха, не отвечает! Держу пари, что во всем виноват этот плут, которого ты взяла в любовники, что тебя огорчил этот господин Лео. Так брось же его к черту.

Услышав имя своего любовника, Марта расплакалась.

— Ну вот, — вздохнул пьяный, — теперь вода потекла! Спасайся кто может.

— Ах, лучше бы ты не удерживал меня от смерти, — всхлипывала она, и ее возбуждение все усиливалось, чем дольше она плакала, — думаешь, что ли, мне так хочется умереть? Конечно, на миг дуреешь, думаешь, что это очень просто — взобраться на парапет и прыгнуть. Но это недолго длится, страх находит, жутко становится от этого водоворота под мостом, горло сжимается, точно тебя душат. Глупый это страх, потому что лучше бы разом все порешить, чем вести жизнь, какая у меня впереди! Ах, да и надоела мне эта жизнь с ее вечными страхами, надоело спасаться от травли! Я сдаюсь. Ты что на меня пялишь глаза в испуге? Уж не думал ли ты, что ангела невинности нашел, когда мы встретились в винном погребе? Ты меня в грязи подобрал, друг мой, а сам знаешь, как ни мойся, всегда следы остаются, проступают, как маслянистые пятна на сукне. Да и не все ли мне равно, в конце концов? Ни отца, ни матери, ни здоровья, так это еще удачей называют, когда нашей сестре в таком ремесле везет.

Видишь, — продолжала она, погружая ботинок в лужу, — вот она, грязь! Да это еще что! Я окунусь в нее до подбородка, и клянусь тебе, что не подниму головы, а буду держать ее, пока не захлебнусь, не задохнусь, не околею!



«Да она с ума спятила, — подумал Женжине, с изумлением увидев, что она кинулась в сторону рынка. — Она наделает глупостей. Проклятье, я не шучу, я догоню ее».

Он ее почти настиг на углу улицы; на беду, ноги у него чересчур отяжелели, подкашивались от вина; пришлось остановиться, отдышаться, засунуть обратно рубашку, выползшую на животе из брюк. Потом он опять пустился бежать по тротуарам, то теряя ее из виду среди экипажей, то замечая вдали, окликая ее и рискуя попасть в руки стражам порядка.

Был момент, когда он галопировал почти босиком: его ботинки испустили дух во время этой головокружительной скачки. Расслоившись и вздувшись, они завязли в куче мусора, ноги разъехались в стороны, и хозяин их грохнулся ничком, растянувшись во весь рост.

Он встал, оглушенный ударом, и с настойчивостью, которая объяснялась не столько привязанностью к Марте, сколько инерцией, свойственной алкоголикам, опять бросился в погоню за нею. Он издали увидел, как она рванула какую-то дверь и скрылась. Разбитый, промокший, запыхавшийся, он добрался до этой двери, поднял руки к небу, уронил палку и, задыхаясь от изумления, пробормотал:

— О, Господи помилуй, вот так история!

И он свалился, как туша, на кучу кочерыжек и сора, устилавших уличную мостовую.

## VI

Он был поражен, проснувшись наутро в кутузке. Постарался вспомнить, какие он мог совершить преступления. Не припомнив ни одного, пришел к тому разумному выводу, что был мертвецки пьян; вдруг в памяти его возникла вчерашняя встреча с Мартою и погоня за нею. «Это

приснилось мне, — говорил он себе, — это невозможно». Однако, зная адрес Лео, решил пойти к нему, как только его отпустят.

И действительно, добившись освобождения через приятеля, он помчался искать Марту. Привратница рассказала про ее исчезновение и приход агентов. В это время к дому подъехал Лео с дорожным чемоданом.

Он поклонился весьма холодно Женжине, а тот сказал ему с большим достоинством:

— Милостивый государь, если вас интересует Марта, то советую вам обратиться за справками в полицейскую префектуру (второй стол первого отделения, полиция нравов): там вы их получите. Что же касается меня, то, сокрушаясь о драматической артистке, бывшей моей ученице, я восхищаюсь женщиной, бывшей моей любовницей. У нее есть по крайней мере одно преимущество перед другими: она отказывается впредь обманывать мужчин. Марта не будет больше лгать, так как ей не представится возможности стимулировать гримасы совершенной любви: то, что на языке мещанина называется окунуться головой в клоаку, опуститься на дно позора, то я называю искуплением, возвращением на стезю добродетели.

Сказав это, величественный, как никогда, актер приподнял шляпу, которая, после всех испытаний, коробилась плачевным образом, напоминая мехи аккордеона, готовый прогудеть похоронный марш, и его трагикомическая фигура скрылась за углом дома.

## VII

Уехав к опасно захворавшей матери, Лео совсем не думал о Марте. Он обожал свою мать, и тревога за ее жизнь всецело поглотила его, когда он сидел в поезде.

Несколько дней провел он у ее постели, опасность миновала, его волнение улеглось, и воспоминание о Марте



стало преследовать неотступно. Действительно ли он любил ее? Он этого сам не знал. Она, несомненно, пленила его больше, чем все прежние любовницы. Пока они не жили вместе, пока не изведали неприятности совместной жизни, он чувствовал себя сильно увлеченным ею. После семидневной близости все это обаяние новизны, каким при всех условиях обладает женщина в первое время и которое есть лишь следствие преднамеренной слепоты, испарилось, все гадкие стороны естества, которые каждый старается не замечать в другом и скрывать от другого, — все это было известно, не составляло тайны, без которой угасает всякая страсть. Вкус к роскоши, к прикрасам притупился. Отведав изысканных яств, он проник в тайны кухни, и аппетит пропал у него вместе с желанием лакомиться этими тонкими и пряными блюдами. Он начал пресыщаться этим безнадежным однообразием, этим дуэтом, повторяющимся во всех домашних регистрах; к тому же Марта отравляла ему жизнь своими причудами и припадками неистовства, своею склонностью к пьянству и приступами слабости, взрывами чувственности, сменявшимися плохо прикрытой холодностью; если бы он уехал из Парижа по какому-нибудь другому поводу, не по тому, который ему представился в действительности, он смотрел бы на этот отъезд, как школьник — на каникулы, освобождающие его от подчинения наставникам.

Под влиянием праздности в домике матери мысли его невольно вернулись к Парижу. Ему припомнились веселые обеды, ребячество первых дней, вероломство поединков, где оружием были губы. На расстоянии все недостатки кумира позабылись; Марта рисовалась ему как бы идеализированной и более прекрасной, чем он когда-либо видел ее; поэт возродился в любовнике, он снова поднял на пьедестал богини ту куклу, под розовыми покровами которой прозревал раньше паклю; словом, он томился по ней. Ему не сиделось на месте, он заскучал; мать выздоровела, ничто не удерживало его в деревне. Он уехал.

В поезде дорожная тоска еще усилила его тягу к Марте. Тщетно старался он убить время, пытаясь заинтересоваться маневрированием поездов, паровозами, пробежавшими в клубах пара, солнечными бликами на медных частях, на рельсах, блестящих как тонкие струйки воды, — он думал только о Марте; разглядывая пассажиров, переполнявших вагон, он развлекался несколько минут их физиономиями и костюмами; это были преимущественно крестьяне и крестьянки; поэта забавляла эта коллекция носов: были в ней и приплюснутые, и вздернутые, и горбатые, лиловые, черные, клыки всякого вида, висящие над губой, перекосившиеся в деснах. Он даже вынул записную книжку и стал зарисовывать шеи сидевших к нему спиною людей, шеи с кожей в пупырышках, как у кур, шеи в широких складках; потом это надоело ему, он стал у окна и долго смотрел на вереницу домов и деревьев, словно взявшихся за руки и плясавших у него перед глазами гигантскую фарандолу.

Затем он опять ушел в грустные мысли. Северный вокзал выступил наконец из тумана. Он вышел из поезда, вскочил в фиакр. Сердце у него колотилось, когда он въезжал во двор. Теперь же, после беседы с этим отвратительным Женжине, он упал в кресло, убитый тем, что слышал.

Следующие дни были мучительны. Он вел жизнь тех парижских холостяков, не имеющих ни товарищей, ни родни, которые в обеденный час натягивают сапоги на ноги, чтобы пойти в дешевый ресторан. Это помещение, куда приходят принарядившиеся люди есть безвкусное и недожаренное мясо, эти крики служанок, скользящих между мраморными столиками, эта грубая посуда, это обжорство дураков, съедающих на два, а выпивающих на восемь франков, эта страшная грусть, какую испытываешь при виде какой-нибудь одетой в черное старухи, в одиночестве забившейся в уголок и медленно жующей кусок говядины,



весь этот тошнотворный запах, все эти оглушающие крики, вся эта давка и теснота терзали его в течение нескольких месяцев. Он выходил из трактира с чувством гадливости и усталости, не зная, что делать, раздражаясь при виде веселых лиц, мучаясь неутихающей тоскою, потом замечал где-нибудь на перекрестке фигуру, платье как у Марты, и тогда у него сразу холодело в груди; он возвращался домой, сгорбившись, волоча ноги; пытался набросать несколько строк, в ярости бросал перо, принимался за книгу, поглядывал на часы, чтобы дожидаться десяти и лечь спать. Ах, и днем было тяжело, но вечером, в раздражающем полусвете сумерек и алеющего осеннего неба, еще упорнее оживала его боль. За что бы он ни брался, он думал о Марте. Она являлась ему возбуждающая и лукавая, он вспоминал изгибы ее тела на диване, горящий взгляд, оскал зубов, и он вставал в смятении, хватался за шляпу и выбегал на улицу. Ко всем его страданиям присоединились те отвратительные житейские мелочи, которые способны надломить самого стойкого человека. Эти пустяки, это белье в дырах, которого не чинят, эти оборвавшиеся пуговицы, эта бахрома на брюках, которая придает тебе вид оборванца, весь этот вздор, который женщина умеет убрать с пути двумя поворотами иглы, донимал его бесчисленными уколами, давая ему чувствовать еще острее свою покинутость. Впервые в жизни стал он подумывать о женитьбе, но безденежье превращало в химеру эту мысль. Он упрекал себя в том, что не задержал Женжине, не спросил у него адреса Марты, и безуспешно разыскивал его во всех кафе, где тот бывал обычно, пока не встретился как-то вечером, шатаясь по улицам, с одним приятелем, студентом-медиком, работавшим в больнице Ларибуазьер. Он рассказал ему про свои невзгоды и спросил на всякий случай, не знает ли тот адреса актера.

— Конечно, знаю, — ответил приятель, — Женжине сделался ресторатором на улице Лурсин, но только он

скоро вылетит в трубу, и если ты хочешь его видеть, поторопись.

Лео ухватил под руку молодого человека и, не дав ему опомниться, потащил его в извилистые улочки квартала Гоблен.

## VIII

Пройдя слева от Обсерватории по бульвару Порт-Руаяль, они, после нескольких минут ходьбы, достигли лестницы, спускающейся под мост и выходящей на одну из самых мерзких в Париже улиц, на улицу Лурсин. С одной стороны — пустырь и на нем — кадки с водою, груда обтесанных камней и протянутые между столбиками веревки, на которых, как флаги, развевались выцветшие кофты в горошинку, синие блузы, зеленые кальсоны и другая рваная ветошь; с другой стороны, против этого склада камней тянулся ряд расползшихся домишек с выгнутыми, обваливающимися цинковыми кровлями. Там приютились сапожные мастерские, где чинили старую обувь и продавали пробковые подошвы, лавчонки мелочные, фруктовые, бакалейные, где в кучу навалены были, разобщенные стеклянными перегородками, сушеные морщинистые яблоки, волны золотистого миндаля, сахарные головы, бисквиты, круги швейцарского сыра, банки с вареньем, оранжевым и розовым, прозрачным и мутным, коробки с консервами. Были там и трактиры, где в витринах сохла жареная рыба и висели освежаванные кролики посреди закрытых судков и салатников с черносливом, увязающим в тине своего соуса.

Лео и его друг осматривались по сторонам. Точный адрес Женжине не был им известен. Наконец они направились в табачную лавку, где в окне, над кожаными кистями, красовались гроздь белых трубок, головы девушек и турок, козлов и зуавов, сатиров и патриархов.



Толстощекая девица, развешивавшая нюхательный табак, показала им дом, недавно вымазанный в запекшуюся розоватую краску, словно землянику раздавили в белом сыре или пролили вино на гипс. И действительно, там они увидели за стойкой, обитой цинком и прорезанной отверстиями для стока вина, жестикулирующего и горланящего Женжине. Подвязанный черным передником, с засученными рукавами, с красным, как свекла, лицом, скаля свои редкие гнилые зубы, актер и алкоголик по склонности пил с четырех часов дня до полуночи со своими посетителями, преимущественно рабочими из кожевенных и бумажных фабрик.

Но рабочие приходили только на рассвете или с наступлением сумерек. Поэтому с девяти утра до восьми вечера большая зала была почти безлюдна, если не говорить о кучке гуляк, закусывавших сосисками и требухой. По вечерам она была зато битком набита, но актер тогда покидал свой пост, передавая заведование буфетом рослому малому в плюшевых брюках — бывшему надзирателю, который вел книги и прислуживал иногда гостям, — и присаживался в другой комнате, куда ход из залы был через кухню, к своим приятелям и товарищам, компании певцов и газетных репортеров. Эти гости пили напропалую, не имея ни гроша за душою; но Женжине, находясь в их обществе, охотно давал им кредит, уважая их сценические заслуги, почти тоскуя по своей былой нищете и даже сокрушаясь, когда он выпивал не в меру, о смерти дяди, оставившего ему в наследство это заведение.

Приятели в меньшей степени жалели о перемене в его судьбе и помогали ему проесть наследство, а он предоставлял им в этом отношении свободу с прекрасным бескорыстием, объяснявшимся, несомненно, его привычкою не выходить из пьяного состояния в течение круглых суток. Он в этот вечер с трудом узнал Лео; в кухне он влил в себя такое количество спиртного, что раскачивался, как потерпевший

крушение корабль, причем из всех щелей просачивалось вино, а не вода.

Лео ухитрился отвести в сторону алкоголика и спросил его, что случилось с Мартою. Женжине заорал во все горло:

— Она мне жизнь, она моя!

Затем, подмигивая и хлопая по ляжке поэта, проговорил:

— Что, сынок? Гложет вам сердце этот червячок? Спору нет, она шлюха, но признайтесь, что лицом она похожа на парикмахерскую куклу, со своими черными гляделками и волосами как огонь!

— Эй, чучело, — проревел чей-то голос, — после будешь лясы точить, дай-ка нам сначала пива.

Так и не удалось Лео продолжить с ним разговор. Он хотел уйти с тем, чтобы вернуться в дневные часы, но все выходы были запружены телами. Ликующий грохот стоял в зале; человек двенадцать валялось на полу и храпело, раскинув ноги в разные стороны, а женщины с растрепавшимися волосами горели под палящими взглядами и бились в объятиях у нападающих, которые мяли их и душили. Лео и его приятель добрались наконец до двери, но она распахнулась, впуская новую ораву проституток, трясших юбками, смеявшихся дурацким смехом и кричавших во все горло:

— Танцевать! Танцевать!

Лео едва не лишился чувств. Он узнал Марту среди этих шутих; она страшно побледнела и ждала его приближения. Он остановился перед нею с горящим взглядом, дрожа всем телом. Хотел заговорить, но его словно кто-то душил за горло. Обезумев от ярости, лепеча что-то бессвязное, он сделал жест омерзения и, увлекаемый своим приятелем, оглушенный бранью людей, которых они расталкивали, очутился, сам не зная как, на улице.

После его ухода Женжине заметил слезы в глазах у Марты. Он призадумался, подозвал ее к себе, повел вверх



по лестнице в свою комнату, чулан из решетин и штукатурки, и, скрестив руки, произнес:

— Ну?

Она молчала, и он продолжал, чувствуя все большую ярость по мере того, как говорил:

— Ну, знаешь ли, у меня сердце переполнилось. Я вытащил тебя из ямы, где ты валялась, ноги задрал, я сделал так, что полиция вычеркнула тебя из списков, я поселил тебя здесь, ты пьешь, ты жрешь, ты куришь, — кажется, чего еще в жизни желать? Всякая женщина может позавидовать твоей доле, а в благодарность за этот рай, за эту роскошь, за эти удовольствия ты поднимаешь меня на смех, как шута, нос мне натягиваешь, черт меня побери со всеми потрохами! Не желаю я этого, слышишь! Я за свои деньги желаю иметь удовольствие! Ей-богу, всему есть предел! Я тебя знаю, тебя и всю вашу породу, иметь восемьдесят любовников, по одному в час, это ничего не значит, блуди не блуди — мне все равно, это, по-моему, дело естественное, но я не желаю, чтобы ты с другими любила, понимаешь ты меня? Я требую поэтому, чтобы ты не встречалась больше со своим поэтом! Если бы он тебя опять подцепил, он имел бы не только женщину, но и любовницу. Женщину — пожалуйста, но любовницу — ни за что! Вот и решай: если согласна — оставайся, а нет — убирайся вон!

— Я ухожу, — сказала Марта.

— Уходишь? И с Богом! Ступай к своему оголтелому любовнику. Нет, постой, не уходи еще несколько минут и подумай. С ним — постоянное безденежье, со мною — изобилие, веселье, вечная масленица.

И так как Марта, не слушая его, собирала свои пожитки, Женжине взял ее за руку и продолжал:

— Послушай, в конце концов, я, может быть, и не прав, потому что не твоя, в сущности, вина, что он сегодня пришел. Знаешь что, не будем больше спорить, а то я

совсем охрип. Я незлобив, ты тоже, не так ли? Скажи-ка, не выпить ли нам пуншу? Что ты на это скажешь? Я крикну Эрнесту, чтобы он принес нам большой жбан... Не хочешь? Да ты не бойся, я тебе настоящего пуншу поднесу, не того, что внизу подают; я велю в него подлить бутылку грава, то-то вкусно будет, а? Да что же нужно сделать, чтобы развеселить тебя? Брось ты свой узел, ведь не сегодня же ты его унесешь? Да и куда ты пойдешь? Ведь не к Лео, черт возьми... Ах проклятье, если ты к нему пойдешь...

— Ну, что тогда? Что, если я к нему пойду? Уж не думаешь ли ты, что я слушаю всю чепуху, которую ты несешь? Ты меня выгнали из моей тюрьмы, это правда. Но для чего? Для того, чтобы посадить меня за стойку и поднимать настроение в зале. Я — вывеска в твоём трактире. Я — спичка, а сгореть по-настоящему не вправе. Что до моего оголтелого любовника, как ты его называешь, то я, может быть, любила бы его, будь он не таким растяпою, будь у него больше гнева в сердце, словом, будь он мужчиною. Но это все равно, сегодня вечером я почти брежу им; он высокомерно погнушался мною, это меня возбудило. О, я не скрою от тебя, я готова была побежать за ним.

— Как же! Так бы он тебя и взял!

— Он бы меня не взял? Да ты дурак, что ли? Разве не все мужчины прощают женщинам, которые мучат их? Хитрая, подумаешь, штука вас приманить! Да ведь это вот как просто, гляди!

И почти касаясь его, она протянула ему свои дивные губы, красные как пионы, полыхающие белым пламенем зубов.

Женщине загорелся и протянул руки вперед.

— Лапы прочь, старый, — сказала она. — Я играю комедию, и меня этому научил ты. Я тебя морочу. По правде сказать, ты гадок мне со своим трясущимся брюхом, у тебя щеки шелушатся, у тебя нос на трюфель похож, твоя рожа мне разонравилась. Прощай!



— Знаешь что, Марта? — сказал Женжине, очень бледный, — мне ох как хочется надавать тебе оплеух, которых ты стоишь.

— Оплеух? Ты? Не подходи, а не то я разобью этот графин о твою башку.

Женжине не стал дольше ждать: он ринулся на нее, край брошенного ею графина ударил его по голове, но он ухватил ее за руки и со всего размаха швырнул на пол.

Сильно ушибшись, она поднялась и посмотрела на него взглядом, в котором было больше удивления, чем гнева.

— Ты свое заработала, — сказал актер, — ступай теперь спать.

И он вышел, дважды повернув за собою ключ в замке. Он стал спускаться по лестнице, потом хлопнул себя по лбу, опять поднялся, приоткрыл дверь и сказал Марте:

— Кстати, знаешь ли, если тебе угодно пойти к Лео, я тебя не удерживаю, душа моя.

Она не промолвила ни слова.

## IX

Женжине рассудил правильно. Марта дошла до той психической стадии, когда чувства живут только судорогами. Любовь, боязливая, питающаяся только грубостью и оскорблениями, нервная система, напряженная до крайности и растягивающаяся только под давлением физической боли, упоение грязью, умиленная ненависть самки к мучающему ее самцу, бешеные вспышки возмущения против рабства, желание ударить своего укротителя, хотя бы тот потом раздавил свою жертву, — все это довело Марту почти до умопомешательства. У нее бывали минуты безволия и прострации, когда она принимала побои не шевелясь, пока, вопя от боли, не начинала его умолять пощадить ее жизнь. Но и взрывы бывали, бывали мгновения, когда она

бросалась на него с яростью и ревом, испытывала острое наслаждение, вцепившись в него, покотившись на пол, разбивая все, что попадалось под руку, а затем, задыхаясь, страстная и дикая, она обхватывала своими омертвелыми руками подлого балагура, который уходил вниз подкрепиться водкою и говорил гостям, испуганным криками:

— О, это пустяки, я стираю рубашку своей жены.

Как-то он сошел в залу с лицом в крови. Посетители расхохотались. Эти насмешки вывели его из себя; он вернулся в свою комнату и чуть было не убил Марту, топча ее сапогами. Ее пришлось у него вырвать из рук и бросить в фиакр, чтобы перевезти в первую попавшуюся гостиницу.

Мгновенно излечилась она от своей любви. Проснувшись на следующее утро, разбитая, с лицом в кровоподтеках, она изумилась, что способна была выносить это мерзкое издевательство, и преисполнилась отвращения к человеку, который так ее избивал. У нее в кармане оставалось еще несколько су; она прожила в гостинице, пока не исчезли следы истязания; потом оделась тщательно, как могла, и решила поискать пристанища у одной подруги, бывшей актрисы театра Бобино, адрес которой вспомнила.

Женщина эта, в возрасте тридцати пяти лет, сделалась содержанкою женатого старика, увядшие прелести любовницы предпочитавшего красоте жены.

Когда Марта пришла, Титина, развалясь на диване, занималась хиромантией: горничная, рассматривая ее ладонь, объясняла ей на тарабарском наречии пагубное влияние линии Сатурна и удивлялась, что у женщины столь легких нравов так мало изборужден бугор Венеры.

— Ты удачно пришла, милочка, — ответила Титина, когда Марта, прервав сеанс, в нескольких словах объяснила ей, какой услуги от нее ждет, — сегодня как раз у меня собираются гости. Будет очень весело, увидишь.



Я жду нескольких богатых молодых людей и могу, если хочешь, свести тебя с кем-нибудь из них. Это, милая моя, не жизнь — сегодня с одним, а завтра с другим. Вполне достаточно иметь одного, кто тебя содержит, и другого, кого ты содержишь. Вот я так очень счастлива; любовник у меня, правда, нескладный, но по ночам он почти никогда не приходит, это большое преимущество. Подцепи, по моему примеру, женатого старика или совсем молоденького человека, который женится только после того, как даст себя разорить; оба друг друга стоят. Главное, чтобы любовнику не было под тридцать. Эти люди, еще не страстные и уже не любящие, — это наша погибель.

Вечеринка была очень оживленная. Богатый негодник явился с угощением, принес паштет с трюфелями и вино. Этот любитель шляться по непотребным местам был веселым и добродушным малым, приземистым, пузатым, с одышкой, а его лицо с бакенбардами имело ту странную особенность, что нос был цвета пьяной вишни, а лоб, щеки, подбородок — багровые. Марте он наговорил сладеньких любезностей, объяснил, что три года женат на молодой женщине, с которою, однако, разошелся ради Титины, что он обожает молодежь и что нет для него большего удовольствия, чем ужинать с веселыми ребятами и красивыми девочками. Звонок не переставал трещать. Гости входили один за другим. Церемонные старички, сложившие в игривую улыбку беззубые рты; молодые люди в коротких пиджаках, широких брюках, башмаках с кисточками; немало перезрелые женщины, напудренные и накрашенные; девицы с мужскими голосами, с дряблою и плоскою грудью; юнцы, только что со скамьи колледжа, с пробором посреди лба и в полосатых носках, — все это толкалось в маленькой гостиной. Гости не долго чувствовали стеснение: мужчины осмелели, толстый коммерсант раскатисто хохотал. Титина напустила на себя важный вид хозяйки дома, служанка вела себя развязно, как это свойственно

компаньонкам кокоток, пунш зашипел в бокалах, и разговоры становились все глупее. Кто-то предложил размять ноги. Кадриль началась почти прилично, но танцующие мало-помалу разгорячились, толстяк, не совладав с собою, принялся нести непристойный вздор, танец принял фантастический характер. Старики расстегнули жилеты, прыгая так, что фалды фраков подлетали в воздух, обливаясь потом, сопя, задыхаясь, стуча ногами, тряся туловищем.

Служанка распахнула дверь в столовую. Все бросились к столу, расселись как попало, женщины — на колени к мужчинам, и принялись за трюфели и зеленый горошек. Выпятив живот, похотливо поблескивая глазами, папаша ликовал. Он велел разлить шампанское, предназначенное для дам, то, что с розовой пеной, и целовал в плечи своих соседок. Это послужило как бы сигналом. Мужчины и женщины стали обниматься. Марта сидела подле молодого человека, рассказывавшего ей про скачки и про то, что он играл на Филину, великолепную, по его мнению, кобылу.

Исчерпав эту тему, он попотчевал Марту несколькими тяжеловесными мадригалами, на которые она отвечала только улыбками, решив сначала узнать у Титины, кто этот фронт.

— Это ужасный дурак, — объяснила ей Титина, — дурак и богач; навостри свои зубки, дитя мое, и вцепись хорошенько. Будь мила, но спуску ему не давай, иначе нельзя с такими сопляками.

Встали из-за стола и перешли в гостиную пить кофе и ликеры. Забившись в кресла, старички уже не шевелились; они переваривали пищу, сонные и важные. Молодые порхали по комнате и курили папиросы. Некоторые, сильно побледнев, исчезли; другие подсели к женщинам и приняли их лапоть. Марта стала холодна, как мрамор, когда хлыщ, поощренный свободой, с какой вели себя другие пары, хотел ее обнять. Он был немного озадачен, но утешился, будучи весьма доволен тем, что выудил в этой луже



женщину, умевшую себя держать и не позволившую взять себя в первый же вечер.

— Ты останешься ночевать у меня? — спросила Титина.

— А разве можно? Ведь твой любовник остается, — сказала Марта.

— Он-то? — произнесла Титина, пальцем показывая на старика, который осоловел на диване, красный и опухший, — полно, слишком бы ему хорошо жилось, будь он в состоянии, нажравшись и напившись, оставаться со мною!

## Х

Не прошло и недели, как Марта имела в распоряжении большую квартиру, которую обставила с нелепой роскошью. Вознаграждая себя за то, что ей когда-то приходилось есть пальцами, она пожелала иметь серебряную посуду и не упустила закупить поддельной бронзы, мебели розового дерева, зеркал в рамах с чрезмерной позолотой и этих неизбежных канделябров «аплике» с розовыми свечками. Ее любовник не выражал, впрочем, неудовольствия по этому поводу; только бы его содержанка эксцентрично наряжалась и показывалась на скачках, — это было все, чего он желал, и его восхищало, когда жалостливые люди говорили, поднимая к нему глаза:

— Этот дурень разоряется.

Мысль, что он способен проесть свой капитал, приводила его в восторг. Марту возмущал кретинизм этого создания. Когда он приводил с собою ораву бородатых младенцев, завитых, как бараны, и намаженных опопонаксом, и когда они, валяясь на диванах в гостиной, тараторили целыми часами, расхваливая с энтузиазмом идиотов Тартинку, которая обошла на голову Гиацинта, она царапала себе руки от раздражения.

Ради разнообразия в следующий понедельник любовник привел к ней других людей, солидных, степенно пьяных, которые брали ее за подбородок и говорили с таинственным видом:

— Вы знаете, не правда ли, что завтра настроение рынка будет весьма неустойчивым, колеблясь между игрой на повышение одних акций и снижением котировок других.

— Не знаю, меня другое интересует, я хочу увериться, что Сарагосса стоит твердо и даст хорошие дивиденды.

— Ну и это не слишком блестящее дело. Если даже некоторые акции обладают известной твердостью, слабость нашего рынка поистине прискорбна, и ничего, кроме наших рент, обладая которыми можно совершать сделки, не может вызвать коммерческого интереса. Ну, кроме железных дорог. На них-то можно положиться ...

— О, — восклицала Марта, негодуя, — мне ближе обыкновенные проходимцы, коли на то пошло!

Ее любовник решил, что она дурно воспитана, и приписал эту странную выходку тому, что она выпила два бокала шампанского.

Марта упрекнула себя за грубость и с тех пор молчала, задыхаясь от ярости и раздражения. Ее любовник не понравился ей с первого же дня; он стал ей противен с первого же вечера. В два часа ночи он явился с игривым выражением в глазах, с толстой сигарой во рту. Заговорил о лошади, на которую хотел поставить в ближайшем гандикапе, и, как бы по рассеянности задрав брюки, показал женщине, что у него кальсоны розового цвета. Так как ее не привела в восторг эта клоунская элегантность, то он их оттянул немного и сказал, выпятив губы:

— Посмотри, какой гибкий шелк.

Она молчала, ожидая той банальной обходительности, той ласковости, какую всякое существо, как бы оно

ни было грубо и тупо, выказывает, хотя бы в первую ночь, женщине, которую собирается победить. Ей пришлось бы долго ждать. Докурив свою сигару и растоптав окурок на ковре, он пробормотал удовлетворенным тоном:

— Держу пари, ты не догадываешься, что у меня в чемодане. Правда, не догадываешься? Ах, что за недогадливый народ эти женщины! Да ведь это мой ночной костюм.

И он с чувственным удовольствием развернул перед нею желтую фуляровую рубашку с лентами огненного цвета.

В первый раз со времени разлуки с Лео Марта подумала о нем. Как не похожи были друг на друга дебюты этих двух мужчин. Как резво почтителен, как замедленно тороплив был поэт при раздевании! Он снимал с нее одну за другою юбки, распускал ее корсаж, шелк свистел и бил ее по бедрам, грудь привольно круглилась под расправившейся вдоль всего тела сорочкою. Когда он брал ее на руки, уносил в постель, осыпал поцелуями, тело ее обмирало, таяло в его объятиях. Правда, первый вечер, когда она пришла к нему, первые мгновения были тягостны, но потом, когда схватка разгорячила их, какие знойные они извели наслаждения! Неизгладимое воспоминание о ночах, из которых выходишь с красными плечами, с искусанными волосами, о мгновениях, когда руками водит страсть, об этом напряжении нежности, обо всем этом счастье, от которого захватывает дыхание, нахлынуло на нее, и она в алькове отшвырнула от себя любовника, который ударился об стену и пролепетал, засыпая:

— Ну, послушай, не сердь меня, лежи, пожалуйста, спокойно.

Он повадился ходить к ней каждый вечер и раздражать своим присутствием; она с радостью задушила бы этого болвана, который, не шевелясь, рассматривал ее, когда



она ложилась в постель. В конце концов он так ей надоел, что ей даже не доставляло больше удовольствия проедать его состояние; она не выходила из дому целыми днями, не вставала, курила папиросы, пила грог, пришибленная и оторопелая. Это добровольное одиночество, эта не покидавшая ее сонливость должна была окончиться, как и в прошлый раз, когда она жила у поэта, отвратительным запоем. Она вливала в себя без конца спиртное и пиво, но когда голова у нее наполнялась туманом, перед нею всплывала комната Лео; этот любовник, которого она когда-то мучила словно ради забавы, мстил ей тем, что не уходил у нее из головы.

Марта пила, чтобы развеять тоску и навсегда прогнать образ поэта, но желудок ее уже отказывался принимать алкоголь, у нее появились жестокие боли в животе. Пришлось бросить пьянство, и как-то вечером, измучившись от бессонницы, в таком нервном состоянии, что ей хотелось кататься по полу, она вскочила с кровати, оделась, послала за фиакром и поехала к своему прежнему любовнику.

Это был машинальный, почти бессознательный поступок. От свежего воздуха, врывавшегося в оконце фиакра, она пришла в себя. Было десять часов вечера, она уже готова была остановить кучера и выйти из экипажа. Надо было в самом деле сойти с ума, чтобы в такой час отправиться к Лео. Живет ли он все там же, где раньше, дома ли он, не застанет ли она его с другой женщиной? А затем, какой ее ждет прием? Если бы она пошла к нему на следующий день после встречи у Женжине, то он, несомненно, раскричался бы, разнес бы ее, но в конце концов упал бы в ее объятия; теперь его ярость должна была пройти, а вместе с нею такое непреложное ее следствие, как малодушие чувств, слабость сердца. Что, если он просто попросит ее удалиться? Когда фиакр остановился, Марта все еще колебалась. Она сделала движение, как бы для того, чтобы не дать себе времени повернуть обратно, поднялась по лестнице и, задыхаясь,

постучала в дверь рукою. Дверь отворилась, изумленный Лео посмотрел на Марту и сказал:

— Ты?

— Да... я, знаешь, проезжала мимо, зашла проведать тебя... ты здоров?

— Да, но...

Она закрыла ему пальцами рот и продолжила:

— Не надо, не говори мне ничего, не будем говорить о былом, что прошло, того не вернуть. И не для того я взобралась к тебе на четвертый этаж, чтобы ссориться с тобой... Будем говорить о чем угодно. Много ли ты работаешь? Весело ли живешь? Нашел ли издателя?

Лео смотрел на дверь с выражением досады на лице.

— А, ты ждешь ее, — пробормотала она, — я должна была догадаться... В таком случае я ухожу... Она брюнетка или блондинка?

— Блондинка и, что еще важнее, честная.

— Честная! Значит, есть честные женщины, которые в полночь приходят к мужчине! Она, — как мы все, я знаю. Больше или меньше статности в походке, больше или меньше порыва, когда раздевается, а что еще? Хотела бы я на нее поглядеть, я бы ей глаза выцарапала. Посмотрел бы ты тогда, шелушится ли ее честность... Но какая же я дура! Какое мне дело, честна она или нечестна?

В этот миг зазвенел колокольчик. Молодой человек шагнул к двери. Марта почувствовала, что погибла, если дверь откроется. Она загородила Лео путь и повисла у него на шее; он попытался высвободиться, но глаза у Марты разгорелись, ее губы обожгли его своим влажным огнем, она потащила его, трепетная, расстегнутая, к окну... Колокольчик уже не звонил.

— Я люблю тебя, — пробормотала она, — не открывай; я вцеплюсь ей в волосы, если она войдет сюда.

Он сдался в ярости. Шаги удалились... Любовники смотрели молча друг на друга

Марта села к нему на колени и обняла его; он не отталкивал ее, но и не отвечал на ласки; тогда, словно договаривая мысль, которая ее преследовала, она воскликнула:

— О, все они похожи один на другого! Как же ты хочешь, чтобы я их любила? Женщина их интересуется, как пустой орех. Так уж это полагается — взять себе девку и компрометировать себя с нею. Только для того мы и нужны, чтобы их можно было бранить за то, что они якшаются с такой дрянью, как мы, а нас жалеть за то, что мы живем с такими ослами, как они; а надоест им женщина — прощай, найди себе другого, дитя мое! А нас еще упрекают, что мы разоряем их! Да ведь это война, в конце концов! На войне разоряют и грабят! Вот ты мне рассказывал как-то про женщину, забыла я, как ее звали, я неученая; она была статуей и ожила, говорил ты мне, от поцелуя мужчины, который ее изваял. Теперь, наоборот, мы становимся мрамором, когда нас целуют! Ах, если бы ты знал, как я устала от этой роли. Слушай, это неправда, я не случайно пришла к тебе, я нарочно пришла, мне хотелось согреться подле тебя, и это глупо, то, что я тебе скажу, но, понимаешь, бывают дни, когда хочется провести вечер вдали от богатых; и к тому же ведь это понятно, что ненавидишь своих кормильцев.

Он даже не слушал ее. Она решила тогда овладеть им вновь, любой ценою. Обхватила его голову обеими руками и, покрывая ее поцелуями, опрокинула его, смяла в бешеной атаке ласк.

Он плохо спал, поднялся на рассвете, сел в кресло и взглянул на Марту, которая дремала в алом потоке своих волос, разлившемся по белому холму подушек. Он окончательно пресытился ею, она была ему отвратительна; с тех пор как он узнал ее образ жизни, она казалась ему презреннейшей из всех, и тем не менее, как устоять против магнита ее глаз, как спастись от соблазна ее губ?

Она повернулась и, улыбаясь, немного запрокинув голову, в открытой сорочке, сквозь кружева которой места-



ми проступала белая кожа, тихо вздохнула. Он смотрел на нее, удивляясь, что не чувствует больше влечения к этой женщине, которая когда-то так его зажигала; он ощущал теперь уже только стыд, своего рода приниженность от сознания, что принял ее ласки, которые она, несомненно, так же широко расточала всем, кто ей встречался на пути.

Конечно, женщина, навещавшая его теперь, была как любовница ниже Марты. Вместо безумного темперамента, вместо неистовства плоти, — глубокая уравновешенность, беспробудная косность. Он как-то вечером подобрал ее, нагнувшись, и она последовала за ним с равнодушием растительного существа. Вдобавок она была замужем, но разошлась со своим супругом, который нещадно избивал ее. Однако, вспоминая о нем, она бывала близка к слезам, сокрушаясь о своей доле и неустанно повторяя, что ей хотелось бы жить с ним и иметь детей. Она была б невиносима, если бы не служила поэту гаванью, куда он привел свою разбитую ладью. В конце концов, он даже привязался к этой бедной женщине, такой робкой, что она не решалась поднять глаза, и столь чуждой кокетства, что на ночь она надевала чепчик из полосатой материи.

Он жалел, что не открыл ей двери, и был в гневе на Марту в этот миг, стараясь не глядеть на нее, но она открыла глаза и подозвала его к постели. Он чуть было опять не поддался ее обаянию, так была обворожительна эта развратница с ясными зрачками! Но дневной свет, золотистой пылью пробивавшийся сквозь шторы, озарил ее лицо, на котором синими тенями лежали следы ночных распутств, и позу, по которой видна была извалявшаяся во всех городских клоаках продажная женщина; он не отвечал и, насвистывая, глядел в окно.

Марта встала, медленно оделась и сказала ему:

— В конце концов, ты прав, мой милый, мы истаскались; я думала, что смогу вернуть былые наши восторги,

но у нас обоих нет уже сил их оживить; лучше покончить с этим и не встречаться больше. Я ухожу, и на этот раз — навсегда.

Она ему протянула руку; он почувствовал себя не в силах не поцеловать ее в щеку и был взволнован сильнее, чем хотел показать, когда за нею захлопнулась дверь.

## XI

Марта вернулась домой изнеможденная и злая. Любовник ждал ее всю ночь и приготовил к ее приходу ряд почувствительных-полунасмешливых фраз. Не успел он заговорить, как она посмотрела на него в упор и спросила:

— Квартира снята на мое имя?

И услышав утвердительный ответ, крикнула:

— В таком случае вы хорошо сделаете, если уберетесь ко всем чертям!

Он был изумлен, пробормотал несколько ругательств, но в конце концов забрал свой шелковый ночной костюм и исчез.

Когда он вышел, она легко вздохнула и, подбежав к шкапу, разом опрокинула в себя большой стакан вишневки, а потом с яростью схватила бутылку и стала тянуть прямо из горлышка.

Напившись, она заболела, и еще мрачнее стало у нее на душе. Молодые люди приходили к ней толпами, предлагая себя в заместители изгнанного друга; она предпочла иметь их всех вместо одного и зажила снова по-прежнему, не испытывая никакого чувства, никакой нежности ко всем этим людям, проходившим вереницей перед ее постелью, словно ее сжигал пожар любви. Она до того дошла, что стала брать в любовники профессиональных сутенеров с хохолком на лбу и в картузах набекрень. Эти подлецы внушили ей еще большее омерзение, и она устроилась так, что проводила ночи одна. Тогда под пологом бледного

шелка, страдая неизлечимой бессонницей, она принялась перебирать в памяти прошлое. Вспомнила со слезами свою девочку, умершую сейчас же после рождения, и почти с любовью — молодого человека, заботившегося о ней в те страшные дни; затем, перед нею разворачивалась ее жалкая жизнь, подобно меняющимся картинам калейдоскопа, она содрогалась, измеряя глубину своего падения, и призрак публичного дома возник перед ней, возрождая время, когда она служила любимым прихотям плоти.

Припомнилось ей, как она в смущении вошла и как сердобольные с похмелья женщины говорили ей: «Не бойся, привыкнешь скоро». Потом ее раздели, и она оказалась одетой только в кисейный пеньюар, сквозь который просвечивало ее розовое тело. Принесли стаканы и стали пить пиво и играть в карты до прихода Лири, парикмахера, заведовавшего прическами женщин. Когда у каждой над макушкой воздвигалась башня накладных волос, а над лбом повисли пукли в ленточках и цветочках, опять взялись за карты в ожидании часа, когда надо было сняться с якоря, держа курс на Лесбос или Цитеру; наконец, после обеда, все сошли в залу, а у порога стояла на дозоре мамаша Жюль...

...Приходили двое, трое, двадцать человек; заказывали выпивку, поднимались на второй этаж, потом раздался звонок, — и все женщины, толкаясь, щипля, щекоча друг друга, скатывались по лестнице, и в красном освещении газовых рожков мелькала вихрем театральная мишура их нарядов, или вырисовывалась на поддельном мраморе стен их белая нагота.

Так ждали одиннадцати часов, стол был накрыт к ужину, и весь эскадрон, опять поднявшись наверх, объедался вареной колбасой, тартинками с свининой, кроличьим мясом с картофелем, — до нового звонка: наскоро проглотив недожеванный кусок, они тогда с криками и грохотом в двадцатый раз мчались в залу и опять возвращались, за



исключением одной или двух, которые приходили позже и у которых сквозь чулки поблескивали серебряные или золотые монеты.

Но крайнего напряжения содом достигал к часу ночи. Гостей все прибывало; тут уж топот ног и визг не умолкали ни на миг, женщины состязались между собою в глупости и веселии. Они прыгали, тряслись, извивались, скаля натертые пемзою зубы из-под пунцовых губ. Подхлестываемые вином, пришпоренные алкоголем, они ржали, брыкаясь, или валялись утомленные и вялые на диваны.

Случалось иногда, в четвертом часу ночи, когда все женщины спрашивали у мужчин, который час, и оглушали их вечным припевом «угости пивом», — входил гость и говорил одной из них: «Одевайся, едем со мной», и садился, скрестив ноги, куря сигару, ожидая вручения покупки, завернутой в черную шаль; на лестнице раздавались тогда голоса, женщина просила рубашку у хозяйки, булавками пристегивая юбки, взятые у подруг; наконец сходила вниз, смыв с себя пудру и румяна, и целовалась на прощанье с приятельницами, словно боялась, уезжая ночью неизвестно куда, что уже не вернется. Спускалась по лестнице к выходу, а хозяйка, перегнувшись над перилами, резко кричала вдогонку отданной напрокат: «Я жду тебя завтра в полдень, не развлекайся по дороге».

Эта добела накаленная жизнь, это кувыркание, эти пируэты, эти драки между женщинами из-за ленты или из-за мужчины и примирения в чаду галопа — все это было для Марты гипнозом, притяжением бездны, над которой наклоняешься; она со странным удовольствием вспоминала эту хмельную лихорадочную атмосферу, в которой она корчилась и ярилась, подобно воющим и пляшущим дервишам, доходящим до исступления в своих бешеных, головокружительных хороводах.

Да, благодаря Женжине, который за нее поручился, объявив о своей готовности жениться на ней, она вышла

из-под полицейского надзора и при мысли, что ей предстоит снова попасть в списки этого скота, который должна держать под наблюдением и травить полиция, у нее мороз пробегал по коже.

Она не скрывала от себя мучительных сторон этого рабства и всё же влеклась к нему, как насекомое к свету лампы. Да и все, любые бури, беспощадная травля, все казалось ей лучше этого раздражающего одиночества, которое снедало ее.

Приходя в себя от этих видений, с туманом в голове, с ледяным потом на лбу, она задыхалась в своей комнате, выходила иногда подышать свежим воздухом и пробиралась вдоль стен волочащеюся походкою, с жестами умирающей. Утренняя прохлада, яркое солнце рассеивали эти грезы, и она падала на скамью в общественном саду или сквере, глядя в землю, роя песок носками ботинок, пропуская его сквозь пальцы. При виде детей, лепивших пирожки жестяными формочками, она приходила в отчаяние. Они напоминали ей те годы, когда и она валялась в песке и втыкала веточки в кучку камешков. Тогда она пускалась бродить по Парижу и однажды, шатаясь бесцельно по улицам, очутилась перед какой-то казармою в тот час, когда нищие приходят за бесплатным обедом.

Она остановилась в тупике, образованном с одной стороны казармою и кабачками, где под сенью ветвистых сосен пили вино несколько толстых стариков, с другой — лавчонкою, где продавались оладьи, жареный картофель, молоко и сливки, и магазином старьевщика, у которого на двери висели в беспорядке расплзшиеся кринолины, звеневшие на ветру своими проволочными каркасами.

Поближе к выходу из тупика три дерева с морщинистыми стволами выпрастывали из земли руки свои жалкие и уродливые.

Кучка несчастных валялась в грязи, в ногах у этих трех деревьев. Нищенки с чахлою грудью, с глинистым цветом

лица, калеки, слепцы, выводки сопливых ребятишек, сосавших пальцы, ждали корма.

Сидя на корточках или лежа вповалку, они держали в руках невероятную посуду: кастрюли без ручек, перевязанные веревками глиняные горшки, гнутые кружки, дырявые миски, чайники без ушек, горшки из-под цветов, заткнутые снизу.

Солдат им сделал знак, и все они кинулись вперед, прыгнув головы, с собачьим лаем, а наполнив посуду, убежали с алчностью во взглядах и принялись пожирать похлебку, сидя на плитах панели, свесив ноги в лужу.

Марта содрогнулась, заметив одного старца, хлебавшего суп прямо из судка, и в замешательстве глядела на это лицо, поросшее серой бородою, на мигающие мутные глаза, на красный нос, прорезавший дряблую омертвелую кору щек. Пушистый череп; державшиеся на веревках лохмотья цвета коровьего навоза; заношенные, продырявленные, измызганные штаны; заскорузлый, замусоленный от дождей и солнца, сморщившийся жилет; неопикуемые башмаки, стоптанные, растрескавшиеся, приоткрывшие оконца рыжей кожи, чтобы пропустить в них пальцы ног; наконец, эта фигура, расшатанная беспутною жизнью, эти мерзко трясущиеся колени, эти руки, дергавшиеся механически во всех направлениях... У нее защемило душу от жалости, и она побледнела, когда нищий приблизился к ней и тихо сказал:

— Узнаешь меня? Я — Женжине.

— Ох, — воскликнула она, ошеломленная, — неужели ты? Как ты до этого дошел?

— Да вот пришлось... Все проел, все пропил, вылетел в трубу, как настоящий коммерсант; вышел в тираж, душа моя; и притом же голосу капут, ни звука не могу вытянуть из глотки, язычок моего колокольчика затерялся. Видно, я проглотил его по ошибке, опрокидывая кружку в горло. Что, изменился? Да, признаться, одет я без претензий на



моду, суконце поистерлось, все по швам расползлось, и сапоги каши просят. Что прикажешь делать? От нищеты и вечной жажды старится человек. Но давай-ка поговорим лучше о тебе. Знаешь ли, ты все еще мила и, что важнее, лихо одета. Ты, видно, богата. Тебе бы следовало дать мне несколько су на водку. — И, протягивая руку, прибавил со страшною улыбкою: — Помогите бедному, красавица, вам Бог поможет.

В глазах у Марты мелькнуло хмельное выражение.

— Что, — сказала она, — не везло тебе, видно, с тех пор, как ты меня тузил; нелегко тебе, должно быть, просить у меня подаянья.

Затем, при виде этого лица, выдубленного и словно закопченного нищетою, гнев ее улегся, жалость опять шевельнулась в сердце и, бросив ему все, что у нее было в кармане, она сказала:

— Эх, мы стоим друг друга! Если бы начать жить сначала, уж лучше бы изнывать в работе, больше бы толку было!

## XII

Человек, совмещающий в больнице Ларибуазьер должности писца и уборщика анатомической залы, вышел через маленькую дверь в покойницкую, опустил над койками белые занавески, смахнул пыль с аналая, налил хлору в миски, прикрепил к одному из гробов слетевшее с него свидетельство о смерти, засунул под простыню ногу женского тела, выпил рюмку вина, по-видимому, не смущаясь ужасным запахом, стоявшим в обоих помещениях, и вернулся в первое.

Единственными предметами в этой комнате были подмости, обитые цинком, и водопроводная раковина подле двери. Человек мимоходом бросил равнодушный взгляд на

труп старика, который лежал на подмостках со сдвинутыми ногами, вздувшимся, как мяч, животом и страшно искаженным лицом, взял губку и принялся мыть столы.

Он проверил, не закупорены ли сточные отверстия, подвешены ли под ними жестяные ведра; выжал в раковину губку, выпил еще рюмку вина и, внезапно обуйанный духом опрятности, выстроил вдоль стены чан с отрубями, пару галош, две банки со спиртом, где плавал какой-то ужасный ком с розовыми прожилками, открыл отдушины над окнами, вышел и встретился в коридоре с двумя практикантами в белых передниках и черных тапочках.

— Как бы то ни было, — говорил один, — когда принесли на носилках этого бедного Женжине, у меня в груди похолодело, в один миг припомнилась мне вся моя тогдашняя жизнь, то время, когда я в красной куртке ревел в курятнике Бобино, браня Женжине и аплодируя Марте; вспомнил я и тот знаменитый вечер, когда повел Лео на улицу Лурсин.

— А кстати, что случилось с Лео? — спросил второй.

— Ах, душа моя, это целая история, наконец-то я получил от него ответ на мое письмо. Представь себе, что... А впрочем, прочти-ка лучше сам; уверяю тебя: письмо интересное.

В этот миг к ним приблизился сторож.

— Ну что, дядя Мантэн, что нового? — спросили они его.

— Я вас искал, — кашлянул старик. — Сегодня случай, для вас интересный. Будут вскрывать человека, который, говорят, умер от пьянства; болезней у него, как врач говорил, куча, и одна забавней другой. Но вы о нем, вероятно, слышали, господин Шарль, койка номер двадцать восемь из палаты Сен-Венсан.

— Ах, черт возьми, — воскликнул молодой человек, — значит, Женжине умер, а я собирался проведать его. Ну что ж, пойдем хоть посмотрим, как он выглядит изнутри, бедняга.

И они пошли быстрее. Анатомирование еще не началось. Обменявшись рукопожатиями с ассистентами, они прислонились к стене подле раковины и вполголоса стали читать:

«Ты спрашиваешь меня, что я делаю и как провожу время. Я брожу, мой милый, по берегу реки, смотрю, как течет вода, и не ужу рыбу. Гуляю и сплю. А еще — поливаю цветы, курю трубку, сытно ем, пью терпкое вино, словом, чувствую себя превосходно и с трудом разыскал чернильницу, чтобы написать тебе эти несколько строк.

Но поговорим теперь о тех, кого я покинул в Париже уже несколько месяцев тому назад. Марта, говоришь ты мне, вернулась в притон, где когда-то уже жила. О, сообщая мне эту новость, ты мог бы не стараться о смягчении выражений: между нами все было кончено, и ты это знал. Не только привязанности, но и участия к ней я больше не чувствую; в ее жизни уже невозможен поворот, разве что будут сменяться богатство и нищета, но спастись она не может: кончит тем, что умрет от белой горячки или бросится в Сену. Да и как могла бы меня интересовать ее участь? Я ведь должен сообщить тебе важную новость: я женюсь.

Погоди, не падай в обморок, слушай: помнишь, как мы собирались у меня в комнате, как издевались мы, как смеялись над браком! Пошлость, глупость! Два индивида в условленный час соединяются, под звуки органа и в присутствии гостей, которым не терпится сесть за ужин и бесплатно нажраться, затем по истечении определенного числа месяцев, если все идет нормальным ходом, они порождают ужасных ребятишек, которые пищат целые ночи напролет под тем предлогом, что у них режутся зубы, и по всем этим причинам мы, пыхтя трубками, приходили к заключению, что артист во что бы то ни стало должен избегать серьезной связи.

Как прожужжали вы мне уши этой пресловутой свободой, которую убивает брак! А уйдя от меня, торопились



терять ее с продажными женщинами... Искал и я возбуждения в запахе пудры, в гриме, в тумане кружев, купающим грудь и прорезаемом молниями бледных лент. И я был искренен тогда. Я любил в женщине не столько ее самое, сколько ее украшения и тряпки. Какая нелепость! И как теперь, когда я вернулся к рассудку, поражает меня то, что я был так глуп! Я не стану, к вящему твоему изумлению, расхваливать тебе свою невесту; не бойся, я не буду тебя уверять, что она красива, что глаза у нее как сапфиры или агаты и что губы у нее — киноварь, о нет, она даже нехороша собою, но что в том? Пусть будет прозою смотреть по вечерам, как она штопает мои носки, и слушать оглушающие крики моих мальчишек, — согласен; но так как, несмотря на все наши теории, мы ничего лучшего не нашли, то я удовольствуюсь этой жизнью, какую бы она ни казалась тебе банальной.

Но я надоел тебе, приятель. Прости и дай мне руку. Я ее крепко жму».

— Черт возьми, — сказал молодой человек, складывая письмо.

Но товарищи толкали его локтями, чтобы он замолчал, и профессор Брике, рассекая череп актера, заговорил тягуче:

— Алкоголизм, милостивые государи...

# ПАРИЖСКИЕ АРАБСКИ

Сборник рассказов





## КОНДУКТОР ОМНИБУСА

— Стой-те, остано-ви-тесь!

Дзинь!

— Уф! — И дородная мамаша в высоко подоткнутом платье и с лицом красным, как пион, вваливается в вагон, поддерживаемая под руку кондуктором, и, тяжело отдуваясь, опускается между двух ручек красного дерева, которыми отмечено ее место.

Порывшись в сумке, кондуктор подает сдачу дебелий великанше, не уместяющейся на скамейке, затем карабкается на крышу омнибуса, где, прилепившись к деревянной скамье, тела сидящих мужчин тяжело раскачиваются за спиной кучера, щелкающего бичом. Прислонившись к перилам империаала, он собирает с них по три су, спускается и усаживается на подъемной скамеечке, заграждающей вход в вагон. Все сделано.

Наш знакомец пренебрежительно начинает рассматривать несчастных, которые трясутся под лязг железа, под дребезжанье стёкол, сопенье лошадей, звонки колокольчика. Слушает гульканье малыша, болтающего ногами на коленях у матери, задевая колени соседа. Потом, наскучив видом вытянувшихся двумя рядами пассажиров, кланяющихся на каждом толчке друг другу, он отворачивается и туманно созерцает улицу.

О чем он думает, когда катится колымага вкривь и вкось, все по тому же курсу, все теми же путями? Быть

может, развлекается вздымаемыми ветром объявлениями о сдающихся квартирах, или лавками, закрытыми по случаю смерти или свадьбы, или соломой, разостланной у подъезда больного богача? Все это хорошо утром, когда катящаяся бочка начинает свою работу Данаид, поочередно принимая и изрыгая волны пассажиров; но днем — что делать, о чем думать днем, когда он уже прочел афиши и подразнил собаку фруктощицы, обязательно его облаивающую? Нестерпимо однообразной была бы жизнь, если б время от времени не случалось поймать руку карманника в кармане — но только не в своем. А разве не неиссякаемый источник радости это зрелище собравшихся вместе женщин и мужчин?

Миниатюрная дама сидит, чуть прищурившись, напротив молодого человека. Какими ухищрениями удастся этим впервые видящимся существам, не обменявшись ни единым словом, сойти по обоюдному согласию вслед друг за другом и завернуть за тот же угол улицы. Ах! Без слов, без жестов, какую пламенную, какую мечтательную фразу способна выразить нога, которая мимолетно приближается, чтобы коснуться ноги соседки, и, словно ласкающаяся мурлыкающая влюбленная кошка, слегка отодвигается, чувствуя, как ножка отстранилась, и потом возвращается, чтобы, встретив менее упорное сопротивление, нежно прикоснуться к ступне!

Или вспоминаешь ты, кондуктор, юность? Вспоминаешь о своих юных годах, когда хорошо одетый господин, с брюхом, препоясанным шарфом, еще не сочетал тебя во имя закона неразрывными узами с мукой твоей жизни, с Маланьей твоих горестей! Ах! Довольно у тебя досуга поразмыслить об этой мужичке, которая пилит тебя, кормит остывшей стряпней, поносит, как бездельника и лгуна, если больше обычного испил ты божественного алкоголя!

Если б хотя найти способ развестись, взять другую, быть как Машю, который так счастлив в своем семейном гнезде! Жизнь не казалась бы тогда столь жестокой, лучше

росли, сытее были бы детишки, легче сносились бы замечания начальства. И разочарованный муж созерцает ученицу модистку, которая из глубины экипажа сквозь оконные стекла разглядывает над крупами скачущих лошадей уличный муравейник. У малютки нежный вид, руки еще красные; с такой юной можно бы зажить счастливо; да, но...

— Кто едет в Курсель!

— Есть сообщение?

— Садитесь в номер 8, 9, 10.

Дзинь! Дзинь! Дзинь!

И вновь движется экипаж с грузом голов, рук, ног. Девочка сошла и со своим клеенчатым коробом семенит вдали.

Кондуктор не в состоянии оторваться от нее в своих думах и мысленно обзирает ее воображаемые прелести.

Ему чудится, будто она краснеет под мягкой щетиною его усов. О, еще бы! Конечно, ее не сравнить со сварливой, своенравною женой! И за сто лье от действительности он весь уносится в страну грез, как вдруг хорошо знакомый крик опять зовет его к обязанностям службы.

— Стойте, остановитесь!

Дзинь!

## ЖЕНЩИНА УЛИЦЫ

Как и с подобными ей, с ней порок сделал свое обычное дело. Придал изысканную привлекательность вызывающей некрасивости ее лица.

Ничего не утратив из прирожденных прелестей предместья, девушка своей искусственной красотой и дерзкими чарами стала манящей искусительницей пресыщенных вкусов, ленивых ощущений, которые возбуждаются лишь острым испарением румян и смятением платьев, выставленных в толпе напоказ!



Она достигла средь падших той высоты, которая так восхитительна в девушках из народа, приучивших себя к чистоте. Неряха освободилась от загара и смрада грязной бедности. Трубочный дым сменился пеплом, упавшим с краев трубок, топорные кружки пикколо и дешевого вина — бокалами, стаканчиками, длинногорлыми бутылками, окутанными пылью; железная кровать превратилась в широкое ложе под балдахином из тканей и зеркал. Женщина улицы процветала, выставляя фасад своего тела, тщательно подправленного двуххлористой ртутью и напудренного, как вдруг однажды вечером совершился жестокий разгром. Неосторожно замешкался Ипполит, который тайком угощал ее своей любовью, посоленной пинками, а степенный щедрый кассир покинул ее и вернулся в свою семью, где имел обыкновение ежедневно упрекать сыновей за их распутный нрав.

Начинается отныне смена верхов и низов. Люди всякого возраста перебивали у нее в изобилии. Насторожившись, стоит она перед дверью кафе, и манят подведенные бистром глаза. Но бесстыдная, скорбная улыбка рта пугает покупателей из толпы, ищущих счастья в обычных поцелуях, в предсказуемых гримасах.

Непонятой теряется ее таинственная угрюмая красота, и в жару, в холод выслеживает она добычу целыми вечерами, ночами. Охотится, ловит ускользящую дичь, толкает пьяных в эти ночи погони за удачей.

Но все чаще возвращается без поживы, голодная, обманывая желудок алкоголем, яростно давясь хмельной икотой, и, разбитая, укладывается одна, думая о беспутном головорезе, который погубил ее, об их нетерпеливых свиданиях в таверне на площади Пинель, срамной фронтоной которой цветится словами: «Выпьем стаканчик».

Как ни далеки те времена, но женщине с улицы они наяву снятся в часы светлой бессонницы, порожденной пьянством не допьяна и великою усталостью. Опустошенная,

обессиленная, она еще и теперь дрожит, вспоминая утехи и ласки, которыми уголяла этого человека. Восстают перед нею подробности волнующие, тупо влекущие. Мерещатся его волосы, зачесанные над ушами в виде бычьих рогов, рубашки горохового цвета, галстуки, которые сама завязывала ему, его поцелуи, любезности, когда он выманивал у ней деньги, чтоб угостить свою новую победу стаканчиком мораскина — розового сока, щедро пропитанного ванилью, едкой вишневой настойкой!

И утро наполняет комнату, и протекает полдень. Но надо вставать и вновь впрягаться в обыденность суровой жизни. *Сегодня* тянется подобное *вчера*, похожее на *завтра*, которому придет черед. Лишь покупателей все меньше, да случается, что они подло крадут у ней плату за труд.

Снедаемая ночью, подтачиваемая днем, томится она неугасимой жаждой, но под силу ей утолить лишь жажду Ипполита, который в награду угощает ее пинками.

Властная нужда нарастает. Любовь и побои, голод и блуд буравят глаза, впавшие на истощенном лице. Под страхом голодной смерти необходимо отныне сдерживать корсетом взбухающее, жиреющее тело. Волосы, китовый ус, лакировка лица, приправа румян начисто опустошают кошелек женщины улицы. Созрела жатва ее пороков, и угрожает серп. Что ж! На телегу и прочь в житницы Лурсин!

## ПРАЧКА

Со времен докучливой памяти гомеровской Навзикаи не моют королевы больше сами своего белья и, за исключением богинь, избираемых на карнавале среди лязга наполненных кружек и сдвигаемых стаканов, издавна вверено мытье юбок и чулок славным толстухам, грубые руки

которых вращают рукоятки. Уж многие годы не благоухают прачки росным ладаном и амброй, подобно мыльщицам Ланкре, а если встречаются и такие, то, конечно, ремеслу своему служат не иначе как урывками, и истинное занятие их, без сомнения, более прибыльное, но менее почтенное.

Ах! про них ходит дурная слава... Ах! скитаются старухи, как собаки, жрут и напиваются, распаленные огнем печей!.. Ах! непотребствуют молодые в безумии любовном, подолгу шатаются по выходе из прачечных!... Так что же? Подумайте, что и им нужна радость жизни, что вправе погребать они печаль длинных дней на дне кружек, в недрах постелей! Ах! пусть любят они, пускай пьют! Не забудьте, что работать стоя под дождем, падающем с висящего на веревках белья, ощущать дрожащим затылком струйку воды, которая медленно стекает по спинным изгибам, полной грудью вдыхать пары щелока, обжигать бедра огнем машины, раскачиваться с грудой простынь на плечах, сгибаться под тяжестью огромных корзин, ходить, бегать, никогда не знать отдыха, мочить в синьке рубашки, выжимать, сушить, раскладывать их на жарком огне, крахмалить манжеты, гладить чепцы, быть как можно неисправнее, снимать с белья метки, терять, портить его, сдавать женщинам, не получая с них по счету, и навязывать белье мужчинам за наличную уплату — таков страшный труд их, ужасная их жизнь! А скольким из них суждены последние ступени страдания! Крестный путь их начинается у пылающего очага и кончается на плотомойнях рек! Загасят наконец годы рокот тела, и высшим утешением им станет стаканчик водки. Случается — тщетно проблуждав по рынку Рю-окс-урс в поисках хозяйки, у которой есть спешная работа, бредут они с больными легкими в квартал города, который Бьевра омывает своими больными водами табачно-иргового цвета. От алеющей зари и до закатной дымки сидят они там на корточках возле чудовищ, одетых



в рубища, с головами, повязанными косынками, по самые подмышки забравшихся в бочки, — сидят, взбивают руками мыло, бьют вальками белье, с которого струится на плот вода.

Смотря сзади, видишь, как их заливают пенная, мыльная вода, видишь спины их в грязных кофтах, пряди растрепанных волос, ниспадающих на кожу, похожую на луковую шелуху. И работают они там исхудалые, угрюмые, укрывая под старыми красными зонтами свои седые головы; подобно волчицам завывают в ответ на брань уличных шалунов и, выпрямив спину, искривленную тяжестью корзин с бельем, упершись кулаком в бок, поднося другую руку в виде рупора ко рту, изрыгают на всех прохожих ругательства, за которые на улице их прозвали «безутешные лоханки».

## ПЕКАРЬ

Печальный создатель черных глаз, без пламени пылающих губ, одновременно и холодных и волнующих, живописец обезоруженных сидализок, в синеве озер отражающих переливы своих розовых шлейфов — о, Ватто! Я вспоминал в эти недавние холодные ночи о твоём насмешливом Жиле, белое лицо которого освещено тревожными зрачками, разрезано ртом закругленным, подобно алому О, в молочном овале тела.

Однажды, бродя по бульвару прежних предместий, когда омываемые луной решетки мясных лавок отбрасывали на уличную пыль ломаные линии своих теней, я увидел призрак безмерно высокий, который направлялся вдоль рядов, держа в одной руке кружку, а в другой трубку.

Я ничуть не сомневался, что странный человек не кто иной, как игривый, лукавый паяц, великий осушитель

девушек и соблазнитель бутылок, вечный соперник Арлекина — Пьеро. Он жался к стенам, спешил, бросая вокруг хитрые взгляды. Остановился вдруг перед домом, толкнул дверцу, провалился в черную щель и вновь показался в подвале, который осветился вровень с тротуаром.

Сквозь выпуклый переплет решетки, мелкое рваное кружево которой беспорядочно извивало свои нити, увидел я пол, припорошенный мукой, череду мешков, топор, лопату, квашню и двоих бледных полуголых людей, которые с натужным уханьем бросали тесто в деревянное корыто.

Рычали, вопили, выкрикивали нечленораздельные звуки, выпускали душераздирающие стоны, резкими ударами избивали рыхлое месиво. Ган! Ган! Ган! Ган! Клак! Паф! Ган! И подобно убегающим кольцам ужа, вилась клейкая масса под их кулаками. Играли бицепсы, пот катился ручьями с тел, крупные капли блистали на лбу и смачивали приставшую к вискам муку. Как бешеные колотили они тесто; наконец последний крик исторгся из самого нутра, и остановилась толчея рук. Схватив бутылки, с остервенением припали они к ним, запрокинув головы, и адамовы яблоки перекатывались, распаленные, под кожей шеи.

Порывистым движением метнулись вперед, отняли горлышки от губ, и по обе стороны ртов потекли струйки, сгущаясь по мере впадения в складки подбородка, присыпанные мукой.

Ах, Ватто! Вновь познал я твой тип мошенника и пьяницы! Встретил наконец подлинного твоего повесу и бездельника, но всего лишь на несколько секунд. Стихло гармоничное журчание в глотках. И опустошив бутылки, опять принялись эти люди за свой ожесточенный труд в хлебопекарне.

Один формовал тесто, а другой сажал его в кирпичный сосуд, огромное жерло которого алело словно пожар, пла-

меня костром горящих дров. О пекари! вы изнемогающие Пьеро! Вы потеете, сопите и вздыхаете в тот час, когда по канавам рыщут в поисках добычи черные Фифи, в тот торжественный миг, когда одни взламывают двери других, а другие покупают себе звонкой монетою любовниц! Начинайте вокруг скрипучей квашни ваши воинские крики, вашу каннибальскую пляску! Обжирайтесь, завывайте, как волки, пейте, как пропойцы, и наравне с Богом бедняков примите усердную молитву: о, дайте нам хлеб наш насущный, белые бойцы! Из чистой пшеницы и без плевел! — Сие да будет!

## ПРОДАВЕЦ КАШТАНОВ

Дрожат мостовые, разбиваемые колесами ломовиков и дрог. Собаки улепетывают во все лопатки, люди прибавляют шаг, оглушенные и ослепленные яростным вихрем дождя и града. С безумным скрежетом вертятся флюгера домов, душераздирающе стенают плохо закрытые окна, неистово скрипят ржавые петли, и лишь он, продавец каштанов, невозмутимо стоит на углу улицы, в нише, рядом с лавкой виноторговца, и зазывает прохожих: каштаны горячие! Каштаны горячие!

Сколько перевидал этот человек событий суетных и тяжких, когда, повернувшись к огню животом и лицом к ветру, ссыпал на свою ажурную сковороду орехи в золотой скорлупе или шевелил каштаны, варящиеся под грязными тряпками. Сколько комедий, драм, сколько прологов романов, сколько эпилогов, новелл переслушал он в зимние утра, когда занимается зябкая, леденящая заря.

А он опять в своей будке и разжигает головни, и раздувает угли тагана, и отовсюду слышит трескотню, болтовню, сплетни молочниц и привратников.

Перед ним проходят все телесные немощи квартала, все пороки соседних домов. К сплетням прихожей и

привратницей, разоблачающих рога господина, обитающего во втором этаже, выбалтывающих точный день и час, когда его раз в неделю обманывает жена, присоединяются сетования нянек, жалующихся на скудную дачу вина, рассказывающих о влечениях своих хозяек, о покушениях хоззяев, о скороспелых детях.

Какую мог бы собрать он летопись срама с того дня, когда облачился в передник с двумя карманами и согласился опустошать большие полотняные мешки! Сколько парочек, бормотавших, визжавших бранчливые или ласковые слова, задело его! Скольких пьяных женщин, скольких поддельно влюбленных, скольких пьяниц, скольких сварливых обольстительниц хватало на его глазах за шиворот полицейские стражи! Сколько созерцал он падений, несчастий с экипажами, переломанных ребер, вывихнутых ног, раздавленных плеч, скопищ толпы перед аптеками, когда он рассекал единым взмахом резака шоколадную одежду каштанов, и переворачивал деревянным ножом щелкающие, гремучие орехи!

Ну и собачье же ремесло! Потешаются над ним ветер, дождь, изморозь, снег. Трещит и стонет таган, раздираемый вихрями, клубится дымом, подсекающим голос, щиплющим глаза. Быстро сгорает пламенеющий уголь, спешат мимо прохожие, уткнувшись в воротники пальто; никто не останавливается перед будкой, а позади несчастного, за стеклами, отделяющими его от винного погреба, ослепительные полчища бутылок на дощечке перед зеркалом — пыльные, манящие, высокогорлые, пузатые. Сколь обольстительны они, сколь чарующи! О! неопикуемые прелести вина и пива. Не смотри на них, жалкий нищий, забудь холод, голод, бутылки и гнусаво распевай свою роковую жалобную песенку: каштаны горячие! Каштаны горячие!

Иди, надрывайся, мерзни, лопайся, раздувая смрадные головни, полной грудью вдыхай испарения варева, набивай себе глотку пеплом, мочи в воде свои обваренные



руки, свои сожженные пальцы, сжеживай капли с каштанов, лущи орехи, набивай кулечки, продавай свой товар прожорливым детям и запоздавшим женщинам. Ну же! Философ, смелее! Пой до темной ночи, при газовых огнях, на морозе, пой во все горло свой припев нищеты: каштаны горячие! Каштаны горячие!

## ПАРИКМАХЕР

Усаживаешься перед психеей<sup>1</sup> красного дерева, на мраморном подзеркальнике которой выставлены фиалы с омовениями, голубые стеклянные пудреницы с рисовой пудрой, головные щетки из толстого конского волоса, металлические гребни с остатками волос, раскрытая банка с помадой, являющая отпечаток указательного пальца на желтом тесте.

И начинается чудовищная пытка. С телом, закутанным в простыню, с салфеткой, собранной в кружок и засунутой между шеей и воротником рубашки, чувствуя, как мелкий пот удушья выступает на висках, приемлете вы толчок руки, нагибающей голову вашу направо, и холод ножниц, повергающий вашу кожу в дрожь.

Дождем рассыпаются волосы под шумный лязг железа, которым орудует мастер, они попадают вам в глаза, застревают в ресницах, прилепляются к ноздрям, щекочут, колют, а новый толчок руки вдруг наклоняет вашу голову влево.

Голову направо, голову налево — смирно! И длятся подергиванья марионетки, отягощенные скачкой ножниц, работающих вокруг ушей, пробегающих по щекам, задевающих кожу, странствующих вдоль висков, загораживающих глаз, который косит, ослепленный их светлыми отблесками.

---

<sup>1</sup> Большое зеркало на ножках.

— Угодно почитать газету, сударь?

— Нет.

— Хорошая погода... Правда, сударь?

— Да.

— Не всякий год стоит такая мягкая зима.

— Да.

Наступает пауза. Зловещий садовник умолкает. Захватив обеими руками ваш затылок, он, попирая наиболее неоспоримые основы гигиены, очень быстро раскачивает его вверх и вниз, борода его свисает вам на лоб, и дыша вам в лицо, он исследует в зеркале психеи, достаточно ли ровно срезаны ваши волосы. Снова подстригает то здесь, то там, опять начинает играть в прятки с вашей головой и, чтобы лучше судить о последствиях своей стрижки, изо всех сил сдавливает ваш череп. Мука становится нестерпимой. Ах, где они, благодеяния науки, хваленые анестетики, бледный морфий, верный хлороформ, умиротворяющий эфир?

Но вот вздыхает парикмахер, изнемогший от своих усилий, отдувается, как бык, и вновь набрасывается на вашу голову, скребет ее мелким гребнем, без усталости строгаёт двумя щетками.

Вздых сокращения вырывается у вас, а он сложил свои скребницы и отряхивает вашу простыню.

— Угодно вам, сударь, освежить волосы?

— Нет.

— Или вымыть шампунем?

— Нет.

— Напрасно, сударь. Это укрепляет кожу волос и уничтожает перхоть.

Умирающим голосом соглашаетесь вы на шампунь; усталый, побежденный, вы больше не надеетесь ускользнуть живым из этого вертепа. И некая роса, капля за каплей стекает на вашу растрепанную шевелюру, которую брадобрей ерошит, засучив рукава. И вскоре роса, пахнущая оранжадом, превращается в пену, и, оцепенев, вы в

зеркале видите свою голову в уборе взбитых белков, разрываемых грубыми пальцами.

Настал миг, когда пытка достигает наивысшей остроты. Словно меж воланами, неукротимо крутится голова ваша в руках мыльщика, рыкающего и беснующегося. Трещит ваша шея, искры сыплются из глаз, начинается кровоизлияние, грозит безумие. В последних проблесках здравого смысла, в последней молитве молитесь вы небо, заклиная даровать вам плешь, телячью голову, сделать вас лысым.

Наконец операция подходит к концу. Бледный, подобный выздоравливающему после долгой болезни, встаете вы, пошатываясь, в сопровождении палача, который ввергает вашу голову в лохань и, овладев затылком, орошает ее обильными холодными потоками воды, с силой выжимает при помощи салфетки и опять водворяет в кресло, где, точно обваренная говядина, недвижимо покоится она, бледная как полотно.

Теперь, когда вы перенесли жестокие страдания, вам остаётся лишь претерпеть последние отвратительные злоключения — обмазку смолой, растертой меж ладонями и наводимой на голову, снова раздираемую зубьями гребней.

Кончено — вы развязаны, свободны, на ногах. И отклонив предложение мыла и духов, расплачиваетесь и во все лопатки удираете из опасной лаборатории. На вольном воздухе рассеивается смятение, восстанавливается равновесие, мысли спокойно настраиваются на свой обычный лад.

Вы чувствуете себя лучше — менее зрелым. Выполов вашу растительность, бровей, словно чудом, омолодил вас на несколько лет. Атмосфера кажется более милостивой, более юной, расцветают зори вашей души и, увы! сейчас же блекнут, ибо дает себя знать зуд от волос, упавших за рубашку.

И медленно, с затаенной простудой, возвращаетесь вы домой, изумляясь героизму иноков, которые денно и нощно терзают плоть свою жестким волосом суровых власяниц.

## ИНТИМНЫЕ ФАНТАЗИИ

### БАЛЛАДА В ПРОЗЕ О САЛЬНОЙ СВЕЧЕ

*Габриелю Тьебо*

Еще в те времена, когда властвовала Карсель, освещая покои зажиточных семейств, ты одна лишь озаряла те чердаки, где девушка, еще не созревшая, исчисляла в мечтаньях цену своих распускающихся прелестей, о, сальная свеча, потрескивающая свеча!

В любострастье созревшее, портится тело. Морщится живот, наплывает шея. Иссакают монеты, в поте лица вырученные продажей чар, и водворяется голод. Не Юлия, но старая Жиль, напившись, снимает твой нагар, о, сальная свеча, потрескивающая свеча!

Но вот пробуждаются во мне твоим видом отзвуки более близкие, более интимные. Пред твоим фитилем, в озере сала оплывающим и краснеющим, вновь вижу свое детство, долгие зимние вечера, когда мать, наскучив моими слезами и криками, отсылала меня на кухню к служанке, громким голосом по складам вычитывавшей толстую книгу снов, о, сальная свеча, потрескивающая свеча!

Понемногу стираются во мне далекие зовы, и встают жалостные воспоминания об идеалах, навсегда погибших. И думаю на этот раз об убогой меблированной комнате, где в смятении, настожившись, ожидал я прихода любовницы и, мысленно повторяя, что не придет она, смотрел на смрадных мушек, которые плясали вокруг тебя, обжигаясь о твое пламя, о, сальная свеча, потрескивающая свеча!



И пусть ты свергнута ныне керосином и сланцем и покинута даже бедняками, но зато, о свеча курящаяся, преклонялись перед тобой, как ни пред одною королевой.

В бессмертных страницах восславили тебя Рембрандт, Герард Доу, Схалкен. Им повинуюсь, освещала ты розовую белизну тела, желтые ленты, обвивавшие прекрасных фламандок, укрывавших тебя своей рукой от дыханья ветра, о, сальная свеча, потрескивающая свеча!

### Прощальная строфа

Принцесса! Пускай другие воспевают фосфорические отблески лун, рдеющие огни ламп, желтое пламя газа, но тебя одну лишь люблю я, пред тобой лишь хочу восторгаться, мечта, цветущая на картинах великих мастеров, о, сальная свеча, потрескивающая свеча!

## ДАМЬЕН

*Роберту Казу*

Вопль вырвался у меня в остроте мучительного блаженства. Закрылись глаза, и зашумело в ушах. Словно возмутились нервы, и разрывалась голова. Я чуть не потерял сознание, но, медленно придя в себя, напряженно прислушался, и далеко-далеко, как во сне, почудился мне плеск воды и шорох двери. Открыл наконец глаза и осмотрелся. Я был один. В комнате, оклеенной красными обоями, кисейные занавеси скрывали оконные переплеты. Над кушеткой, затянутой кружевным вязаным покрывалом, круглое зеркало, слегка склоненное над стеной, висело, отражая часть комнаты, и, повернувшись к нему спиной, я увидел камин, увенчанный часами и канделябрами без свечей, два кресла, глубоких, очень низких, над которыми,

в безмолвии комнаты, два газовых рожка с шипеньем горели по обеим сторонам мраморного умывальника.

Подобно гроздьям ослепительных тюльпанов, посаженных вокруг ясного водоема, цветные огоньки зажглись в кольце граней деревянной золоченой рамы, окаймлявшей круглое зеркало. Горели мои замороженные глаза. Мне хотелось оторвать взор от ленты пылающих цветов, освежить его, погрузив в воду зеркальности. Но меж отсветов мебели брызнула с камина золотая точка и, заискрившись, стала жечь своими сухими огнями мои воспаленные зрачки.

В последнем усилии я отвел глаза и, запрокинув голову, поднял их вверх к небу, моля о ниспослании мне стойкости, притока свежих сил. И странное зрелище открылось мне.

Человек распростерся неподвижно на постели, натянув рубашку на колени, с голыми ногами и скрюченными ступнями, с заочневшими руками, прилепившимися к телу. О горестях неизлечимых, скорбях безутешных, невзгодах изнуряющих говорили впалые, бледные, перекошенные черты, и долгие содрогания пробегали по коже все еще дышавшего трупа.

Мне казалось, что когда-то я видел этого несчастного, умиравшего на ложе. Тщетно блуждал я в закоулках памяти, как вдруг во внезапном просветлении озарились мои воспоминанья.

Это было на улице Бонапарт, перед витриной продавца эстампов. Там среди вороха рисунков меня привлекла старая наивная гравюра. Она изображала человека, простертого на тюфяке, крепко скрученного ремнями, с безумно вращавшимися глазами на измученном лице. Возле него стояли с мечами в руках внимательные солдаты, в париках и треуголках, одетые в мундиры, отороченные галунами, и в панталоны, пышными складками собранные у колен. А за ними двое судей в маленьких аббатских брыжах,

с перьями в руках, важно смотрели на свод темницы, где разыгрывалась сцена.

Я вдруг вспомнил заглавие, которое карандашом написано было под старинным эстампом: «Дамьен». И чрез века перенеслись мои мысли к этому человеку, который столь ребячески покушался погубить короля острием перочинного ножа. Предо мною восстала навеянная гравюрой торжественная картина допроса, потом я представил себе, как четырьмя лошадьми виновного четвертовали на Гревской площади. И затрепетал: ибо образ, возникший в моем сознании, был моим собственным отражением, запечатлевшимся в зеркале, вделанном в балдахин ложа, на котором лежал я с изнуренным лицом и потускневшим взором, с окоченевшими, прижатыми к телу руками и рубашкой, натянutoю на колени.

Скрип двери, близившийся топот шагов разбили наваждение, захватившее меня. Когда я уселся на постели, печальное отражение исчезло, я снова обрел свой личный облик, влез наконец в собственную шкуру.

Встал и, направляясь к камину, на доске которого блистало золото приготовленной мною двадцатифранковой монеты, — усмехнулся и подумал: быть может, с духовной точки зрения, еще справедливее то внешнее подобие тела неловкого смертоубийцы, которое открылось мне в моем собственном облике.

И правда, разве постигшая меня нравственная казнь не тождественна каре, растерзавшей тело цареубийцы?

Разве не влекли, не терзали меня на идеальной Гревской площади, не четвертовали четыре разных мысли: сперва помышление грешное и похотливое; после того разочарованность вожделения, охватившая сейчас же после входа в эту комнату; затем покаянное сожаление об истраченных деньгах. И наконец — та искупительная скорбь, которую, свершившись, оставляют за собой лживые злодейства плоти.

## ПРОЗАИЧЕСКАЯ ПОЭМА О ГОВЯДИНЕ, ИЗЖАРЕННОЙ В ПЕЧИ

*Алексису Орса*

Вы, коварные ростбифы и обманные бараньи окорока, зажаренные в ресторанных печах, — вы возбуждаете соблазном сожительства изъязвленные души старых холостяков.

Настал миг с омерзением насыщаться говядиной, теплой и розовой, ее водянистым привкусом. Бьет семь часов. Холостяк ищет место, за которым он привык сидеть в привычной таверне, и с горечью видит, что оно занято.

Из шкафчика, привешенного к стене, достает он свою салфетку в винных пятнах и, обменявшись несколькими безразличными словами с соседями по столу, пробегает неизменное меню, чтобы затем угрюмо усесться перед супом, который приносит слуга, всякий вечер окунающий в вареве большой палец.

Чтобы возбудить аппетит, убогий обед напрасно дополняется салатом, остро приправленным уксусом, и полусифоном сельтерской воды.

Проглотив суп, окуная в ежедневный красный соус жилистые куски сухого мяса, пытается холостяк усыпить свирепое отвращение, от которого у него захватывает дух и сжимается сердце.

Не читая, он смотрит в газету, извлеченную из кармана, и овладевает им первое видение. Он вспоминает молодую девушку, на которой десять лет тому назад мог бы жениться. Видит себя связанным с нею браком, поедающим упитанную говядину, попивающим доброе бургонское. Но восстает сейчас же обратная сторона, и развертываются пред его скорбным духом ступени ненавистного супружества. Мысленно переносится он в недра своей новой семьи, слышит вечный обмен тупыми речами, участвует в непре-



рывных партиях лото, уснащаемых веселья ради старыми забавными прозвищами, даваемыми цифрам.

Видит себя усталым, стремящимся к постели, на которой его ожидают неоднократные оскорбления сварливой супруги. Видит себя во фраке зимой на балу, когда свирепый взгляд жены вырывает его из дремоты, в которую он собирался погрузиться.

Слышит женины укоры, которым по возвращении домой он обречен за свое угрюмое стояние у дверных косяков. Наконец, ему вдруг чудится, что свет справедливо смотрит на него как на роконосца... И дрожит размечтавшийся холостяк и смиреннее поедает кусок тоскливого фрикасе, стынувшего на его тарелке.

С усилием пережевывая безвкусную, жесткую говядину, мучительно и едко рыгая от сельтерской воды, он вновь поддается печали холостого одиночества и задумывается на этот раз о славной девушке, утомленной необеспеченным существованием, желающей пристроиться; задумывается о женщине зрелой, исчерпавшей вспышки любовного алкания, о матерински заботливой, бодрой подруге, которая в обмен на хлеб и угол примирится со всеми давними его привычками, со всеми его старыми причудами.

Не надо будет делать семейных визитов, страдать на балах; каждый вечер будет накрыт дома свой прибор, отпадает страх рогов; маловероятно, в общем, что родятся детишки, которые пищат под предлогом, что у них прорезываются зубы. И мысль о сожительстве, питаясь непрерывно растущим отвращением к обеду, вкушаемому в таверне, становится неотвязнее, властнее, и холостяк воспрядает и духом и телом, созерцая в далеком мареве радостный, как солнце, алый вертел, пред которым могучие бифштексы мерещатся ему, сочась крупными каплями.

Вы, коварные ростбифы и обманные бараньи окорока, — вы возбуждаете соблазном сожительства изъязвленные души старых холостяков.

## КОФЕЙНАЯ

Возле железнодорожного вокзала, в углу сквера, помещается музей естествоведения, где играют и пьют.

Это уголок сонливый и мирный. Кофейная завсегдаев, не знающая случайных посетителей, кофейная, дверь которой открывается лишь перед лицами знакомыми, встречаемыми криком «ура» и смехом. Кофейная, где десяток рантье, всякий вечер собравшись во круг стола, хлопают картами, обмениваются пошлыми политическими взглядами и выказывают преувеличенное внимание к толщине хозяйки и кошки.

Кофейная, где у каждого есть трубка, на которой выжжено его имя, — трубка, изо дня в день подаваемая слугой, который с незапамятных времен дремлет, уткнув нос в газету, и, нахмурившись, процеживает «сейчас!», когда ему приказывают подать новый бокал.

Странен вид залы. Над круглыми диванами, обтянутыми шоколадного цвета кожей, вдоль стен возвышаются две серые, с бледно-голубыми полосами, деревянные витрины, сверху донизу заставленные подкрашенными чучелами птиц.

В первой, против входной двери, расположились на нижней полке лебеди с желтыми деревянными клювами, животами, вспученными трухой, с узкими шеями, неровно набитыми, изгибающимися белыми загогулинами. А подле них священные ибисы с вылощенными щеткой лапами, с головой того грязно-красного цвета, который принимает смородинное варенье, намазанное на хлеб.

Стая птиц громоздится далее на полках, протянувшихся доверху, — птиц больших, средних, малых, искривленных, косолапых, прямых, — летунов с видом милых ребятишек или злых ворчунов, вытягивающих клювы, изогнутые в виде железной кирки, удлиняющиеся острием гвоздя, — клювы, похожие на трубки и сахарные

щипцы. И у всех одинаковые глаза, круглые, оранжево-черные, одинаковый взгляд, бессмысленный и неизменный, одинаковая одежда цвета мускатного ореха и перца, перья, уныло поблекшие, и смешная тупость довольных собою скоморохов.

Широкое невнятное пятно, которым расплываются в стеклянных шкапах собранные воедино темные цвета, вблизи разлагается и являет зрелище тварей, размещенных без различия дружбы и породы, перемешанных в горести и тленье, — хищников с мощными клювами, которые со сварливым и угрюмым выражением рассматривают маленьких перепелов, воздевающих глаза к небу, молящих, нежных, заблудившихся между династиями красноватых куликов и козодоев, между семьями цапель, которые ожидают неведомо чего и, стоя на одной ноге, быть может, грезят о рыбах несбыточных — чучелах, подобных им.

Но три птицы своими перьями, которые когда-то цветились яркими тонами, пытаются нарушить грустную гармонию картины: грязно-желтая птичка, потерявшая свой ярлычок; сизоворонка, застывшая в прыжке, сохранившая свою былую одежду, вызывающе зеленую, и фазан, сентиментально лирический в потухшем золоте своих огненных перьев.

Назло скорбной и шуточной осанке пленников, словно солдаты под ружьем, выстроившихся однообразными рядами, прилепившихся густо лакированными лапами к полкам черного дерева или взмоستившихся на ветви, украшенные поддельным мхом, — витрина эта является великолепной противоположностью другому шкапу, который кажется выставкой отрывков птичьей мелодрамы.

На рядах полок теснится здесь стадо тварей, мрачных и безобразных: стаи хищных птиц, окутанных слоями пыли, изгибающих клювы, похожие на ножницы, распускающих

крылья пепельного и трutowого цвета, — угрюмых сов с чванливыми ярлыками, именующими их по-латыни, «*Strix nebulosa*», — сов уральских, с сосредоточенным видом слепцов, — больших филинов с головой коварной и жестокой, воронов, печальных и тупых, потрепанных джентльменов, вздрагивающих от стужи под тонкой одеждой черных перьев.

Немного выше это кладбище дополняется группой пернатых, взятой где-нибудь из аукционного зала, из общего узла, купленного при чьем-либо банкротстве: вороны и галки, более любезные и светские, разочарованно рассматривают своих соседей — стаю старых коршунов, бескостных и ворчливых, важничающих в своих лохмотьях, изъеденных клещами; тут же примостился подле клан соколов, с обличьем повес и хвастунов, луни, с ужимками своенравных забияк.

В плену неотвязной мысли, по-видимому, был хозяин заведения, изобретатель этого музея-кофейной. Он не удовлетворился, набив свои шкапы птичьими остовами, хранимыми в камфаре и ароматах, но и окна также убрал напоминающими вываренный спарадрап желтыми занавесями, на фоне которых водружен был — без сомнения, случайно — герб города Ла-Гэ: аист, сжимающий змею в клюве. Колонны кофейной он обвил лощенными пифонами, набитыми паклей. Потолок покрыл туманными осетрами, подвешенными на крючках, и большими плоскими рыбами, подобными гребням. И наконец, как дивное диво, повесил старого крокодила, раздвигающего лапы и разевающего пасть, без намека на зубы и клыки, гладко обтянутую сапожной кожей, загаженную подвизающимся на челюстях воинством мух.

Крайне велико бывает удивление слуги, когда любопытные спрашивают его о происхождении и назначении кофейной. Думая, что над ним издеваются, он сперва молчит, потом, отдав себе отчет в невинности вопро-



шающих, отвечает со снисходительным презрением: «О! Еще бы, в Герцогской кофейной есть на что посмотреть!»

И, успокоившись на таком ответе, вы допиваете свой стакан и в последний раз обводите взглядом уродство всех этих птичьих ливрей. Вы не чувствуете никакого желания навещать Герцогскую кофейню, и пред столами этих старых рантье, уткнувших носы в карты, недвижимых, законсервированных в могильной обстановке, вы невольно размышляете о низкопробном Версале, об Египте плохой выделки, о кладбище птиц и людей.

## РИТУРНЕЛЬ

Покойный муж терзал ее побоями и, сделав ей троих ребят, умер, весь пропитанный абсентом.

С тех пор шлепает она в грязи, тащит тележку и оглушительно горланит: «Рыба! Свежая рыба!»

Она невероятно безобразна. Чудовище, у которого на мощной шее вращается багровое лицо, прорезанное кровавыми глазами и горбом носа, в широких вспухших ноздрях хранящего заряды табаку и усыпанного прыщами.

Аппетит хороший у троих ее ребят: для них шлепает она в грязи, тащит тележку, горланит изо всей силы: «Рыба! Свежая рыба!»

Соседка ее умирает.

Покойный муж терзал ее побоями, сделал ей троих детей и умер, весь пропитанный абсентом.

Чудовище приютило их, не задумываясь.

У них аппетит хороший, у шестерых ребят! К делу! За работу!

Без усталы, без передышки шлепает она в грязи, тащит тележку и оглушительно горланит: «Рыба! Свежая рыба!»

# NATURES MORTES

## СЕЛЕДКА

*Альфреду Алавуаню*

О, селедка! Одеждой своей подобна ты солнечным закатам, окиси старой меди, темно-золотому оттенку кордовских кож, сандалным и шафрановым тонам осенней листвы!

Словно золотой шлем, о селедка, пламенеет твоя голова, и глаза твои — как черные гвозди, вбитые в медные круги!

На твоей чешуйчатой одежде попеременно угасают и вспыхивают все оттенки печальные и тусклые, все оттенки сверкающие и радостные.

Бок о бок с красками горной смолы земель иудейских и кассельских, спаленных теней и шильевских кислот, смуглых вандейковских ликов и флорентийских бронз, ржавчины и умерших листов, ослепительно сияют муравленое золото, желтая амброзия, опермент, охра ручьев, хром, оранжевые переливы бабочек!

О, зеркальная и поблекшая копчушка! Созерцая твою кольчугу, я помышляю о картинах Рембрандта, вновь вижу пред собой красоту его голов, его телá, его окутанные солнцем драгоценности, мерцающие на черном бархате, вновь вижу его лучи, пронзающие тьму, вихри золотой пыли во тьме, его зори в сумраке аркад.

## ЭПИНАЛЬСКИЙ ЭСТАМП

*Эжену Монрозые*

Городок в Брабанте, возле Брюсселя. Слабо отделяются на серо-бумажном небе дома, очерченные линией бледных чернил.

Заостренные фронтоны, церковь, увенчанная крестом, зубчатые крыши с башенками, круглыми и трубчатыми, главки в виде колпаков, крепостная башня, пронизанная бойницами. Большая стенная башенка телесного цвета висит под ярко-красным куполом, закругляя угол таверны и желтого балкона, на котором склонилась дама в трубчатом воротнике, в платье столь же красном, как башенная кровля.

По-видимому, городок объят необычайным изумлением, ибо на площади шесть человек, по меньшей мере, спрашивают некоего старца.

Два важных господина, в костюмах времен Людовика XIII — один высокий, щегольского вида, тучный, имеющий вид веселого собутыльника, добродушного остряка, обходительного души-парня, безбородый, в невозможно алой одежде, с высокой шеей, белые линии которой погружаются в красную ткань, в одной руке держит серую фетровую шляпу, испачканную голубой краской, которою были намалеваны его штаны, а другую указывает старцу на кувшин пива, пенящегося на столе, пестреющем зелеными пятнами и украшенном четырьмя желтыми ножками. Эти ножки светятся, разливая повсюду вокруг широкие полосы такого же цвета.

Старец отказывается от угощения, предлагаемого крупным толстяком, и, словно отвергая дары Артаксеркса, касается его одежды простертыми пальцами, хранящими пурпуровый отблеск.

Второй господин — тощий, с небольшими усиками, обрамляющими его рот. Этим единственно нарушается полнейшее их сходство. У обоих розовые лица, и губы их, глаза, уши, волосы — все сливается в едином колорите. Местами краска скользит с лиц и струится на одежды и дома. Усатый, приветливо улыбаясь, держит большую шляпу, желтизна которой кропит его пальцы.

К старцу, кажущемуся весьма древним и очень усталым, скудно одетому в старый алый колпак, в кожаный

передник и зеленую мантию с коричневыми и красными вставками, испещренную заплатами и швами, у подола зазубренную, подобно рачьему хвосту, в просторный голубой плащ, на который ниспадают волны длинной бороды, столь белой, столь белой, что чудится, будто пар клубами вырывается из уст его и носа и стелется волнисто до земли, — к старцу обращались оба они со словами: «Привет вам, учитель! Благоклонно разрешите нам побыть хоть мгновенье в вашем обществе».

И он отвечал, он, казавшийся столь древним и усталым: «Господа милостивые, я глубоко несчастлив, я никогда не останавливаюсь, иду без перерыва».

А они в один голос возразили: «Войдите в этот дом, присядьте, благоволяете выпить кувшин свежего пива, мы угостим вас самым отменным».

И старец повторил: «Верьте, господа мои, я смущен вашей добротой, но не могу присесть, ибо должен стоять». Сильно изумились тогда обходительные господа, и толстяк спросил: «Хотелось бы знать ваш возраст?» А тощий прибавил: «Не тот ли вы старец, о котором столько говорят, — тот, кого называют Вечный Жид?»

И ответил им старец, с бородою столь белой, столь белой, что она казалась паром, который, клубясь, вылетал из уст его и носа: «Имя мое — Исаак Лакедем, и от роду мне восемнадцать сотен лет. Да, дети мои, я тот, которого прозвали Вечный Жид». И рассказал им о своих долгих скитаниях по белу свету, о хождениях по долам и горам, по морям и весям, и воскликнул, окончив свою жалостную повесть: «Пора, прощайте, господа мои, кланяюсь вам и благодарю за учтивость вашу». И оперся на свой длинный посох, а маленький ангел в красной одежде, с зелеными крыльями, с мечом в одной руке, с пылающим лучом, выскользнувшим из другой, открытой, знаком повелел ему идти, идти навек.



Реял ангел этот над городком близ Брюсселя в Брабанте. Реял над домами, которые чуть отделялись на серобумажном небе, отчерченные линией бледных чернил.

Реял над заостренными фронтонами и церковью, увенчанной крестом, над зубчатыми крышами с башенками, круглыми или трубчатыми, над главками в виде колпаков, над крепостной башней, пронизанной бойницами.

## ПАРАФРАЗЫ

### КОШМАР

Загадочный облик мелькнул сперва, скорбный и надменный, выплыл из сумерек, местами пронизанных лучами света: голова халдейского мага, царя ассирийского, старого Сеннахериба, который, воскреснув, сокрушенно и задумчиво созерцает течение реки времен, реки, неизменно катящей напыщенные волны людского неразумия. Подносит к губам руку, худую и тонкую, подобную точеной руке маленькой инфанты, и раскрывает глаз, отражающий вечные печали, от сотворения мира несомые и воссоздаваемые душою рода человеческого. Изначальный ли это пастырь человеческий, созерцающий шествие бесконечных стад, сталкивающихся и истребляющих друг друга из-за клочка травы и куска хлеба? Или образ незабвенной меланхолии, которая пред доказанным бессилием радости свидетельствует о совершенной ненужности всего сущего? Или опять обновилась в нем легенда истины, мимолетно познающей неизменного человека, под мишурой и многообразными масками запечатленного все теми же добродетелями и пороками, — человека, прирожденная жестокость которого ничуть не уменьшилась работою веков, но лишь спряталась за вкрадчивым, осторожным лицемерием, даром цивилизованных народов.

Кто б он ни был, но меня пленил таинственный призрак. Тщетно пытался я исследовать взор его, рассеянно витавший вдали. Тщетно хотел вглядеться в лицо, которого не могла бы избородить так только личная мука. Но исчез священный, печальный облик, и жестоким пейзажем сменилось современное видение древних веков — равниною воды, стоячей, выцветшей и черной. И расстиралась вода до горизонта, замкнутого небом, — небом подобным панно из цельного куска слоновой кости, не спаянного белизною Млечного Пути, не иссеченного серебром звезд. И вдруг чудовищный стебель небывалого цветка воспрянул из сумеречных вод под опаловыми небесами.

Словно твердый булатный жезл воздвигся, обросший металлическими листьями, жесткими и гладкими. Побег пробивался от него, подобные головастикам, начинающимся зародышевым головам, белесоватым пузырям, безносым, безглазым и безустым. Наконец раскрылся один из отпрысков, светящийся, будто смазанный фосфорическим маслом, и закруглился в виде бледной личины, безмолвно качавшейся над ночью вод.

Грусть бесконечную и совершенно особую источал синеватый цветок. Печаль увядшего Пьеро сквозила в его чертах, тоска одряхлевшего клоуна, оплакивающего свой согбенный стан, томленье древнего лорда, источенного спином, мука стряпчего, осужденного за искусные банкротства, отчаяние старого судьи, который после хитроумных злодейств ввергнут во двор смиренного дома!

Я вопрошал себя: каким чрезмерным горем болеет этот бледный лик, ради какого вешего искупления мерцает он над водами, подобно светящемуся бакену, подобно сигнальному фонарю, возвещающему путникам жизни о пагубных подводных камнях, скрытых под волнами, которые рассекает плывущее к будущему человечество?

Но не успел как следует ответить на поставленный себе вопрос, как уже испарился фантастический живой лотос, страшный цвет срама и страдания, угас его фосфорический

ореол. Новое видение, не менее ужасное, сменило поблекшего стряпчего, бескровного клоуна, бледного лорда. Водяная пелена, серая и мрачная — безбрежная и бесконечная — омывала неизмеримый бассейн, гигантский водоем с колоннами, подобный акведукам Дюи или Ванскому. Со сводов упала могильная тишина. Тусклый день пробивался сквозь невидимые матовые стекла. Ледяной ветер тоннеля пронизывал меня всего насквозь, и охваченный страхом неодолимым, напряженным, задыхался я на каменной скамье, которая, точно набережная, тянулась вдоль мертвых вод.

Странные существа зароились вдруг под грозными немymi сводами. Бестелая голова порхала и жужжала, как волчок, голова, пробуравленная огромным циклопическим оком, зияющая жерлом рыбьего рта, перегороденная желобом носа, грязным носом пристава, набитым табаком! И голова эта, белая, обваренная, высвобожденная из некоего подобия котла, лучилась особым блеском, озаряя вальс других голов, почти аморфных, зародышей с едва обозначенными черепами, расплывчатых инфузорий, туманных бактерий, смутных монад, протоплазм причудливых, как геккелевский бафибий, но менее дряблых, менее бесформенных.

Исчезла первородная материя, рассеялся постыдный символ головы, расточилось наваждение вод.

Просветлел на миг кошмар. Солнце с черным ядром вдруг выплыло из мрака, заблестало, как шелковая лента, неравными, мерными лучами. Лепестки цветов упали из неведомых пространств, подобно бильярдным шарам катились луковицы-почки с неуловимыми раскосыми зрачками, и решетка кофейного торговца висела в воздухе, раскачиваемая сверхчеловеческим жонглером, чрезмерные, расширенные глаза которого были искажены ножом хирурга, а зрачки походили на ступицы, прилаженные в середине колеса.

Человек, колдовавший планетами, приборами бакалейщика и цветами, походил жестокой осанкой своей на сурового галла, на барда властного и кровожадного. Завороженный, млея, мороз пробегал у меня по коже под его разверстыми глазами, будто бы насаженными на железное кольцо. Наступило затишье. Дух, зачарованный призраками, попытался оправиться, причалить к берегу. Но снова развернулось пройденное зрелище, напоминая о подобных же видениях минувшего, почти забытых на расстоянье лет. На месте болотного порождения показался иной человеческий цветок, виденный ранее на выставке, и явил изменчивость, трогательный и нежный.

И иссохли воды — воды ужаса, и опустошенная пустыня раскинулась на месте их, земля, разъеденная вулканическими извержениями, истерзанная, вздутая, потрескавшаяся, подернутая застывшей лавой. И чудилось, что в искусственных странствиях, предпринятых по карте Бэра или Медлера, созерцаешь один из немых цирков луны — море Нектара, Дождей или Бурь, и что блуждаешь средь безмолвной, мертвой пустыни, в безвоздушной пустоте, в холоде никогда не изведанном, блуждаешь, уstraшенный безмерностью гор, повсюду вокруг воздымающих в головокружительную высь свои кубкообразные кратеры, такие как Тихо, Калип, Эратосфен.

И ствол, только что воспрявший из вод, вырос из белой земли, и распушались почки на его металлических ветвях, и вращался бледный круг головы. Только осталась печаль более чем двусмысленная в иронии страшной улыбки.

Вдруг рассыпался кошмар, и в смятении пробуждения охватила меня своей железной рукою явившаяся непреложность действительности и повлекла к жизни, к занимающемуся дню, к докучным занятиям, которые несет каждое новое утро.



Таковы были видения, вызванные во мне альбомом, который посвятил славной памяти Гойи Одилон Редон, князь таинственных снов, пейзажист подземных вод и опрокинутых лавою пустынь, — Одилон Редон, чародей, ясновидец человеческих лиц, изысканный литограф печали, некромант карандаша, ради наслаждения нескольких аристократов искусства блуждающий в демократической среде современного Парижа.

## УВЕРТЮРА ТАНГЕЙЗЕРА

На фоне пейзажа, какого не создать природе, — пейзажа, где солнце бледнеет изысканно смягченными, восхитительными, золотисто-желтыми тонами, где под небом болезненно сияющим опаловые горы над синеющими долинами поднимают кристальную белизну своих вершин; на фоне пейзажа, недостижимого художникам, сотканного из видений призрачного, из безмолвных трепетаний, из колыханья воздушных паров, — песнь возносится, песнь необычно величавая, царственная кантика, исторгаемая душой усталых паломников, толпой бредущих издалека.

И звучит эта песнь, чуждая женских излиятий, ласковых молитв всей современной благодати, отважно домогающихся, чтобы отпустил Господь любовное свидание, и возносится с той убежденностью в прощении, с той верой в искупление, которыми проникнуты были смиренные души Средневековья. Исполненная почитания, возвышенная, мужественная и честная, свидетельствует она о безмерных тяготах грешника, нисшедшего в склепы своего сознания, о неизменном отвращении духовного ясновидца, лицом к лицу столкнувшегося с нечестием и грехами, накопленными в пучинах души, и, испустив вопль искупления, возвещает о сверхчеловеческом счастье новой жизни, о несказанных восторгах обновленного сердца, как бы преображенного лучами мистической сверхсущности.

Понемногу слабея, стихает песнь. Удаляются пилигримы, темнеет твердь небесная, гаснет сияющая пелена дня, и сумеречными отблесками затопляет оркестр картину необычайного, сотворенного пейзажа. Краски слабеют, расплываются оттенки, звуки утончаются, как слюда, и умирают в последнем эхе распева, который теряется вдали. Ночь упадает на созданную человеческим гением бесплотную природу, проникновенно застывающую в тревожном ожидании.

Облако выплывает, переливаясь радугой редкостных цветов — потухающих фиалок, умирающих роз, предсмертно белых анемонов — и развеивает свои кудрявые хлопья, в которых сливаются восходящие оттенки, струятся невдомые ароматы, где библейский привкус мирры мешается с любострастно затейливыми запахами современных благовоний.

Вдруг оркестр гремит среди музыкального пейзажа, эфирного и драматического, узором геральдической мелодии. Несколькими смелыми начертаниями с ног до головы освещает приближающегося Тангейзера. Лучи блещут в сумраке, завитки облаков облакаются в манящие формы бедер и, упруго закругляясь, трепещут шеи, нагота заполняет голубые небесные лавины. Вопли вожделений, зовы сладострастия, сверхплотские порывы изрыгает оркестр, и Венера восстает над волнистым хороводом изнемогших, обессиленных нимф — не античная Венера, древняя Афродита, своими безгрешными очертаниями пленявшая богов и людей во времена языческих алканий, но Венера вещая и грозная, Венера христианская, — да отпустится противоестественный грех такого сближения слов!

Пред нами не неувядаемая красота, предводившая земными радостями, влечениями художественными и чувственными, как понимало ее пластическое вдохновение Элады, но — самое воплощение Духа Зла, истечение всемогущего сладострастия, образ Сатаны, неотразимо-

го, великолепного, без усталости подстерегающего христианские души, разящего их своим чарующим злотворным оружием.

Созданная Вагнером Венера являет телесную природу бытия, аллегория зла, борющегося с добром, символ нашего внутреннего ада, противного нашему внутреннему небу; она мгновенно увлекает нас в глубь веков, к неопостижимому величию символической поэмы Пруденция, живого Тангейзера, который целые годы утопал в блуде и, вырвавшись наконец из объятий победоносной дьяволицы, укрылся в покаянном культе Богоматери.

И кажется, что Венера музыканта происходит от блудницы поэта, белой властительницы, умощенной благоволениями, губящей жертвы своей силой дурманящих цветов; и кажется, что манит и пленяет вагнеровская Венера, подобно опаснейшей богине Пруденция, имя которой не может начертать бестрепетно поэт: *Sodomita libido*.

Но напоминая своим обликом аллегорические сущности Средних веков, она вместе с тем не лишена и пряной приправы современности, вкрапляя искусительную изысканность ума в катящийся поток дикого сладострастия; преувеличенными ощущениями она украшает наивную канву древних времен и обостренной нервностью восторгов повышает вероятность падения героя, неожиданно посвящаемого в многообразную мозговую извращенность века, в котором мы живем.

И уступает дух Тангейзера, и изнемогает его тело. Зачарованный несказанными обещаниями, пламенным дыханием, согрешив, падает он в оскверняющие объятия обвивающих его облаков. И в торжествующем гимне зла исчезает лик его мелодии. Стихает рыкающая буря плоти, потухают зарницы, слабеют рокошущие в оркестре взрывы электричества. Смиряется несравненный гул больших медных труб, казалось воплощавших ослепительный пурпур, пышность золота, — и в светлеющем ночном эфире звенит блаженно тонкий шелест, чуть уловимая дрожь

сталкивающихся звуков, восхитительно голубых, воздушно-розовых. Заря занимается; будто расписанное белыми звуками арфы, белеет колеблющееся небо, окрашивается тонами неуверенными, понемногу крепнущими и, наконец, блистающими в пышном «аллилуйя», в оглушительном сиянии кимвал и медных труб. Солнце восходит, вырастает снопом, пронзает расширяющуюся ленту горизонта, словно восстает из глубины озера, переливчатые воды которого бурлят, зажигаясь отраженными лучами. Кантика парит вдали, по временам прорывается, — верная кантика паломников, очищающих последние язвы души, истощенной дьявольскою битвой. И во славу искупления устремляются материя и дух, в светлом апофеозе соединяются добро и зло, целомудрие и сладострастие сплетаются в обоих мотивах, которые змеятся, смешивая быстрые истощающие лобзанья скрипок, сверкающие скорбные ласки ослабевших и натянутых струн с хором, текущим величественно и спокойно, с доверчивой мелодией, с песнью души, ныне коленопреклоненной, славословя погружающейся в Господа, обретающей на лоне Господнем нерушимую опору.

В трепетном восторге выходишь из обыденной залы, где свершилось чудо проникновенной музыки, и уносишь с собой неизгладимое воспоминание об увертюре Тангейзера — дивном вступительном изложении трех его действий.

## ПОДОБИЯ

*Теодору Ганнону*

Поднялись ткани, и близились ко мне одно за другим чудеса красоты, теснившиеся за завесой.

Тепловатой дымкой заструились умирающие испарения гелиотропа и ириса, вербены и резеды и овеяли меня причудливо жалобными чарами туманных осенних небес,



фосфорической белизною полнолуний, чарами женщин с неуловимым обликом, с кольшущимися очертаниями, с волосами пепельно-белокурыми, с розовой кожей, отливающей голубизной гортензии, в рдеющих многоцветными потухающими отблесками одеждах, — близились, источая потоки благовоний, и претворялись в скорбные краски старых шелков, в умиротворенные, словно заглушенные запахи забытых пудр, которые долгие годы лежат где-нибудь взаперти, в темном ящике пузатого комода.

Но рассеялось видение, и брызнули изысканные ароматы бергамота и франжипана, чайной розы и шипра, маршала и сена, рассыпанного то здесь, то там и, подобно сладострастному мазку Фрагонара, ронявшего розовые лепестки в утонченно приторную гармонию, — ароматы нарядные, влюбленные, с волосами, напудренными снегом, с ласкающими и задорными глазами, великое смешение лазурных тонов с персиковым цветом, — и все понемногу растаяли, испарились бесследно.

На смену маршалу, сену, гелиотропу, ирису — всей радуге оттенков любострастных или утишающих, явились тона более яркие, краски дерзостные, запахи сильные: сандал, гавана, магнолия — благовония креолок и африканок.

После прозрачных эфиров, лазурного дыхания, ароматов ласковых и дремотных, после слабеющих роз и умирающей синевы, после спаянных красок и тропических возлияний яростно откликнулись докучные шумы черни: давящая охра, тяжесть густой зелени, каштановые глубины, серые печали, голубоватая чернота сланцев. Блаженно радостные, хохотали во все горло тяжкие истечения чуберника, гиацинтов, портулака, с хохотом раскрывая свой облик, пошло-красивый, с черными, напомаженными волосами, с нарумяненными и набеленными щеками, в одежде, беспощадно ниспадающей, облекающей дряблые, полные тела. Опустились призрачные явления, зачатые кошмары, навязчивые привидения рисовались на кипучем фоне,

на фоне сернистом, серо-зеленом, утопали в фисташковых сумерках, в фосфорической синеве; выплывали безумства, прекрасные и поблекшие, погружая свои необычные прелести в мглистую фиолетовую скорбь, в жгучее оранжевое пламя. Женщины истерзанного образа, Эдгара По и Бодлера, мерцали с жестоко кровавыми губами, с глазами, запечатлевшими огонь тоски, раскрытыми в сверхчеловеческих восторгах. Горгоны, Титаниды, женщины сверхземные струили незнанные ароматы со своих пышных одежд, дыхания томные и яростные, сжимающие виски сильнее конопляных паров, смущающие и опрокидывающие разум, — лики великого современного мастера Эжена Делакруа.

Исчезли своим чередом эти зовы из иного мира, эти бушующие пожары и сумеречные отзвуки, и заблестала радуга красок, чудесных, неслыханных.

Хлынул искрометный пурпур, загремели запахи, десятикратно сгущенные, доведенные до наивысшей остроты, и показалось в рамке врат торжественное шествие. Девы развернули на своих пышных нарядах всю фугу, все великолепие, все восторги красного, начиная с кроваво-алой камеди до синеющей настурции, до ослепительно надменных сатурнов и киноварей. Всю роскошь, всю лучистость, весь блеск желтого, от бледных хромов до гуммигута, до болотной желтизны, до кадмия и золотистой охры, и приблизились, с телом влекущим и пурпуроподобным, с рыжими волосами, усыпанными золотой пудрой, с губами ненасытными и горящими глазами, обжигали яростным дыханием пачули и амбры, муската и опопонакса, дыханием страшным, сжимали удушливой тяжестью теплицы, разражаясь бурями, воплями аутодафе, раскаленностью красного и желтого, пожарами красок, благовоний.

Все рассыпалось, и явились тогда и слились предомно в долгом поцелуе первозданные цвета — желтый, красный, голубой, изначальные ароматы сложных запахов — мускат, тубероза, амбра.

Ослабевали тона, и запахи умирали на устах, сливающихся с устами. Подобно возрождающемуся из пепла фе-

никсу, оживали они в новых формах, в форме красок многоцветных, благоуханий производных.

Оранжевым сменились цвета красный и желтый, зеленым — желтый и голубой, фиолетовым — голубой и красный. Вслед им явилась бесцветность черного и белого, из сплетающихся объятий которых грузно вывалился серый цвет — тучный увалень, ограненный мимолетным поцелуем голубого, утончившего его в грезящую сидализку — в жемчужный колорит.

Подобно тону, сливающимся и разнообразно возрождающимся, эссенции мешались, утрачивали свою особую природу и, смотря по пыли или томленью своих ласк, перевоплощались в многочисленных или простых потомков: маршалъ возносился из муската амбры, туберозы, жасмина, померанца и акации. Франжипан источался бергамотом и ванилью, шафраном и бальзамами амбры и муската. Жокей-клуб рождался из смешения туберозы с померанцем, муслина с ирисом, меда и лаванды.

И еще... и еще... оттенки сиреневые, сернистые, бледно-каштановые и искристо-розовые, китайско-лаковые, кобальтово-зеленые. И еще... и еще... букет, муслин, народное миро — вспыхивали и курились без конца, прозрачные, слитные, нежные, тяжелые.

Я проснулся — все исчезло. Лишь в ногах у меня на постели Икария моя кошка подняла правую лапу и розовым языком вылизывала свою рыжешерстную одежду.

## НАВАЖДЕНИЕ

*Эдмону де Гонкуру*

«Фондовые повышаются, с промышленными устойчиво, Панама колеблется, с суэцкими крепко. Шарады и ребусы; верные решения: Поль Ишинель, отец Спикас, Ястр в Кане, леди Скорд, мисс Тигри, Эдипы кофейной

Большого Балкона. Макассар Роланда и капсюли Гюйо. Русский мозольный пластырь и бумага Вленси. Здоровая кормилица ищет места. Нет больше лысых! Прошу убедиться, действие верное и энергичное! Маллерон. Секретные заболевания, язвы, истечения, лишаи: Шабль, Эмманюель, Пешне, Альбер!»

На обочине дороги, в деревне, затерявшейся вдали.

Читаю рекламы последней страницы разорванной газеты, найденной мною в недрах кармана, и проходит столь желанное умиротворение, которое удалось мне обрести. Этот лист вновь уносит меня в Париж, и опять осаждают меня опасности забытой на миг действительности. Невольно высчитываю дни. Еще неделя — и надо укладывать чемодан, отправляться в город, искать экипаж. Потом — вагон, набитый кучей существ с противными лицами. Возвращение в Париж, и после тревожного сна вновь начнутся на другой день все муки бытия, отравленного печальными сомнениями мысли, непрерывным обманом алканий плоти, необходимостью из-за куска хлеба, из-за крова преодолевать свои выношенные антипатии. Ах! И подумать только, что лишь *прежде* и *после* даны нам, и никогда не длится *ныне!*

И пробуждаются в памяти прежние приезды. Я вспоминаю тоскливый вид вокзала, забытый разврат улиц. Вспоминаю духовный неуют жилища, охлажденного отсутствием, невозможность в первые дни собраться с мыслями, скрываться от невыносимой, докучливой болтовни, изрыгаемой толпою, которая не может замолчать. Все вспоминается: заранее переживаю блуждания в поисках денег, предвижу скаредные предложения, учтивые отказы, великодушные советы, весь медлительный вертеп беспощадного существования, в которое еще раз предстоит мне окунуться.

Но как красиво, однако, здесь, на холмистой дороге, где я прислушиваюсь к своим думам! Наступившая ночь прервала жизнь полей. Старая церковь очерчивается над долиной, окутывающей ее беспредельными, глубокими тенями, и сквозь расположенные друг против друга окна корабля мне видны сумрачные дымки, плывущие по небу!

Но пусто теперь для меня настоящее, и я пытаюсь отвлечь мысль мою назад, воскресить в памяти успокаивающие впечатления вчерашнего дня, когда одиноко на пустынном утесе можжевельники предстали предо мной со своими зелеными иглами и голубыми зернами.

Я не могу приковать свое внимание к пережитому образу, и, едва запечатлевшись, он стирается в сознании. Силуюсь найти самого себя, настроиться на прежний лад, загасить вспыхивающие заботы, отбросить ощущаемое мною бремя страхов, но тщетно. Прибегаю к благовидным чаяниям, вкрадчивым доводам, лукавым надеждам. Окончилось *сегодня*, осушенное до дна, миновала передышка, и поднимаются вновь все муки, все терзающие меня оковы, и трубят яростным набатом, и преследует, и покоряет меня наваждение реклам ненавистного газетного листа:

«Фондовые повышаются, с промышленными устойчиво, Панама колеблется, с суэцкими крепко. Шарады и ребусы; верные решения: Поль Ишинель, отец Спикас, Астр в Кане, леди Скард, мисс Тигри, Эдипы кофейной Большого Балкона. Макассар Роланда и капсули Гюйо. Русский мозольный пластырь и бумага Вленси. Здоровая кормилица ищет места. Нет больше лысых! Прошу убедиться, действие верное и энергичное! Маллерон. Секретные заболевания, язвы, истечения, лишай: Шабль, Эмманюель, Пешне, Альбер!»



# ПЕЙЗАЖИ

## БЪЕВРА

Природа привлекает меня лишь тоскливою и немощной. Не отрицаю чудес ее и блеска, когда своей могучею улыбкой она расщепляет броню мрачных утесов или спалает на солнце зеленые вершины, но, сказать правду, не проникаюсь пред ее расточительною мощью чувством той безмятежной прелести, которую во мне будят заброшенный уголок большого города, оголенный холм, канавка воды, плачущей меж двух чахлах деревьев.

Печалью, в сущности, создается красота пейзажа. И Бъевра больше, чем что-либо иное, чаровала меня своим сокрушенным течением, своим задумчиво-страдающим видом. И как сугубое преступление, оплакиваю я истребление ее лощин и деревьев! Только и оставался у нас этот грустный сельский уголок, эта речка в рубище, долины в лохмотьях, а теперь их рассекают на части! Хотят прибрать к рукам каждую пядь земли, продать с торга каждую миску воды, засыпать топи, вырвать одуванчики и терновник, эту растительность мусора и пустырей. Исчезает улица Молочного Горшка и дорога из Фонтеня в Мюлар, которые обвивают местность, утопающую в извести и щебне, усыпанную черепками цветочных горшков, кое-где усеянную гнилыми фруктами, поедаемыми мухами, местность пыльную, обильную лужицами, смердящую мокрой трухой тюфяков и нечистотами, которые грудами накапливаются в жидкой тине. И тупыми радостями, пошлым базаром новых домов сменяются печальные виды артезианских колодцев и Перепелиного холма, дали, в которых Пантеон и Долина милосердия, разделенные фабричными трубами, закругляются своими фиолетовыми куполами в рдеющем тумане тающих облаков.

О, конечно, — безучастны всегда были люди, решившие учинить расхищение и разграбление этих берегов,

к неистребимой лени бедняков, к трепетной улыбке больных! Они поклоняются лишь природе надменной, разукрашенной! Они никогда в дни сплина не поднимались, наверное, на обрамляющие Бьевру холмы! Не видели странной речки, подлинной заводи всевозможных нечистот, этого гноища свинцово-аспидного цвета, местами вскипающего зеленоватыми всплесками, журча пробегающего плотины и исчезающего со стоном в стенных дырах! Иногда вода кажется увечной, источенной проказою. Она прерывает течение, плещется в своем потоке сажи и вновь струится, замедляемая грязью. Ободранные хижины, покривившиеся сараи, облупившиеся стены, заплесневелые кирпичи, скопление тусклых оттенков, среди которых, подобно трубному звуку, вспыхивает висящее из окна красное перкалевое одеяло. Глухие срубы сыромятников. Опрокинутые тачки, острога, грабли, раскиданные комья мертвой шерсти, холм дубильной коры, в котором роется чернохвостая курица с алым гребешком. Развешанная шерсть колеблется ветром, скобленные кожи вытянулись, своей резкой белизной выделяясь на гнилых, плесневеющих оградах. Стоят кадки с водой, исполинские бочки, в которых мокнет размягченная кора кож грязно-голубого и мертво-лиственного цвета. Дальше тополя поднимаются из топкой глины. Скученные лачуги громоздятся, лепятся одна к другой, смрадные закуты, где целое население детворы кишит в окнах, расцветченных грязным полотном.

О да — Бьевра лишь движимый навоз! Но зато она орошает последние городские тополя. Правда, она источает затхлую вонь гнили и резкий запах мертвечины, но поставьте к подножию одного из деревьев ее орган, и пускай изрыгает он в долгой икоте мелодии, которыми полно ее чрево, пусть вознесется в этой долине скорби голос нищеты, который жалостно пропоет одну из песен, заполняющих наши концерты, романс, прославляющий птичек и молящий о любви, — и скажите, неужели не пронзят вас

его вздохи до глубины души и не почудятся вам в этом рыдающем голосе безутешные вопли бедного предместья!

Проблески солнца — вспыхивают чудеса изъязвленных радостей: лягушки квакают в кустах, собака потягивается, растопырив лапы, подняв хвост трубой; женщина проходит с корзиночкой в руках, мужчина в фуражке плетется с носогреюкою в зубах, и под охраной валяющихся в грязи мальчишек призрак белой клячи пасется на туманных пустырях.

Начались работы. Уже загражден горизонт насыпью улицы Тольбиак. Молочно-белая маска извести укрывает многоцветные раны страждущего квартала. Быстро загромождаются далекие серые небеса, на которых еще вырисовываются ажурные сушильни кожевников и мастеров замши. И навсегда расстанутся поклонники интимности с вечно чарующей прогулкой по долине, которую неумоимо бороздит деятельная, убогая Бьевра.

## ТАВЕРНА ТОПОЛЕЙ

Бесплодная, выцветшая, раскинулась долина. Густые поросли крапивы, можжевельника, местами перерезанные осушенными топями мертвой Бьевры.

Налево блистает лоскут пруда, словно стекло, играющий на солнце. Вся остальная гладь воды заплесневела, подернутая зелено-фисташковым налетом водяной чечевицы.

Вдали одна-две хижины, в окнах которых мотаются вывешенные тюфяки и видны цветы, посаженные в плошки и кухонных горшках. Подобно нищим, протягивают свои парализованные ветви беспорядочно рассеявшиеся деревья, покачивают верхушками, шелестящими под напором ветра, изгибают стволы, скудно питаемые скаредной, неизлечимой почвой. Направо тонкой лентой течет в глубь долины река, окаймляя дорогу, которая уходит под арку моста и

тянется до зияющего отверстия в валах. Кое-где на почве менее тощей зеленеют огороды, и восемь могучих тополей окружают домик, стены которого своей розовой штукатуркой отбрасывают блики, сочетаясь с желто-зеленым кружевом листвы. Наверху, под самой крышей, красуется надпись: «Виноторговля», и перед этими задорными красками, перед беседками, склонившимися над водой, невольно помышляешь о декорации театральных кабачков и невольно представляешь себе зал, напудренный песчанником, ореховый, окованный железом шкаф, украшенный оловянными жбанами, посудой, на которой намалеваны цветы и петухи. И думаешь, что хорошо бы, сидя в углу за столом, выпить кислого винца, отрезать толстую краюху круглого домашнего хлеба и средь обильных возлияний поест сочной яичницы, посыпанной мелким зеленым луком или заправленной свиным салом.

Но приближаешься, переходишь по мосткам чрез недвижимую речку, и омрачается, превращается в берлогу, в воровское гнездо таверна, такая манящая и благодушная вдали. Улетела розовая улыбка ее стен. Скороспелая, постыдная старость согнула стропила, покривила крышу. Резко краснеет облупившаяся штукатурка. Незаметно лачуга наводит на мысль об отвратительной грязной девке, которая выходит, когда наступает ночь. Черные узоры татуировки виднеются под отталкивающей кожей растерзанного гипса, и можно еще разобрать слова, изъеденные течением времен: «Жареные кролики, пиво, вина, — свидание под тополями». Тревожное молчание реет над конурой, уныло и подозрительно смотрят старые фонари, висящие на блоках вдоль стен. Дрожь охватывает, если вообразить, что вечером, замешкавшись, вдруг забредешь сюда один.

Усевшись под тенью, перед изображающей стол деревянную доской, укрепленной на четырех планках, и яростно накричавшись, вы увидите в глубине аллеи светлое пятно — служанку с выпяченным животом, с головой,

обмотанной полотенцем, с ввалившимися глазами, со щеками впалыми и испачканными в отрубях.

Ей мерещатся, по-видимому, сыщики, и, посоветовавшись сначала с хозяйкой, опасливой, недоверчивой, она приносит тяжелые стаканы, хранящие плохо стертые следы губ. Наливает бурды, изготовляемой в огромном здании, возвышающемся над равниной, — в пивоварне, что у прежней Белой заставы, — и проследив девушку взглядом, вы сквозь листву соседнего боскета видите спящего рабочего, в ситцевой рубашке с расстегнутым воротом, в мешковатых штанах, перетянутых в талии кожаным поясом. Он поворачивается, проклиная мух, и вы видите отталкивающую часть его лица, подобно стенам вертепа обгавленную большим пятном винной гущи и крови.

Не смущают покоя пустынной улочки ни дроги, ни тележки. Изредка докатывается сюда лишь грохот поездов. Белый дым стелется клубами и свивается под толчком беседки. Петух поет, встряхивая своим красным шлемом, поводя султаноподобным перистым хвостом зелено-бутылочного и золотого цвета. Стадо уток бросается с несносным кряканьем в Бьевру, и пробужденная речка источает свое смрадное навозное дыхание. Обернувшись к укреплениям, созерцайте горизонт, подчеркнутый кольцом, и снизойдут на вас мысли безутешные и целительные.

Застилая небо, исполинская громада Бисетра вздымается высоко-высоко, возносится, словно угроза, надо всем Парижем и напоминает извращенным силам наших исступленных чувств, нерасчетливому расходованию нашего мозга, горести наших связей, скорби обманутого честолюбия — об ожидающем их безотрадном конце. Бисетр — грозный исполинский бакен, указующий на буруны города, дополняет печальный образ, который пробуждает в нас Бьевра. Столь радостная и голубая в Бюке, она темнеет и хиреет по мере приближения к Парижу, изнуренная взваленным на нее бременем неустанного труда,



и, кончив свою тяжкую работу, обессиленная, растленная, изнеможенно падает в сточную трубу, которая поглощает ее единым мигом, уносит далеко и изрыгает в безвестном уголке Сены.

## КИТАЙСКАЯ УЛИЦА

*Жюлю Бовену*

Для людей, которым ненавистны шумные радости, сдерживаемые целую неделю и выплескивающиеся по воскресеньям, для людей, желающих вырваться из докучной роскоши богатых кварталов, — Мениль-Монтан пребудет навсегда землей обетованной, Ханааном печальных наслаждений.

В одном из уголков этого квартала тянется Китайская улица, столь необычная, очаровательная. Укороченная и обезображенная сооружением госпиталя, который отягчил стыдливо замкнутое впечатление обнесенных частоколами и тынами домиков горестным зрелищем человеческих страданий, витающих над дорогой, над площадками без деревьев и цветов, — улица все же сохранила приветливый вид сельской улочки, пестреющей палисадниками и убогими домишками.

В том виде, как сейчас, улица эта является отрицанием надоедливой симметрии, противоположностью пошлого равнения больших новых проспектов. Никакого благоустройства и порядка: ни бута, ни камней, ни кирпичей. Незамощенное полотно дороги, посередине пробуравленное водосточною канавой, с обеих сторон окаймлено бревенчатými заборами, опущенными зелено-мраморными мхами и позлащенными темно-золотистою смолой. Вперемежку с ними идут опрокинувшиеся частоколы, повлекшие за собой гроздья плюща, чуть не повалившие ворот, видимо купленных где-нибудь на распродаже, украшенных резьбой,

нежно-серые завитки которой еще проглядывают сквозь коричневый налет, постепенно наслоившийся от прикосновения грязных рук.

Сквозь кружево покрывающего одноэтажный домик пятилистного плюща чуть видны перемешавшиеся мауны, штокрозы и большие подсолнечники, золотистые головки которых обнажаются, являя черные плечи, подобные кругам мишени. За дощатой изгородью вы неизменно увидите цинковый чан, две груши, между которыми протянулись веревки для белья, и клочок огорода, где цветут ясно-желтым цветом тыквы, зеленеют гряды щавеля и капусты, на которые сумахи и тополя набрасывают кружевные, клетчатые тени.

Вереница домов с фиолетовыми и красными крышами, края которых чуть виднеются из-за светозарной, зеленой опушки. Чем дальше, тем уже становится улица, изредка унизанная старыми масляными фонарями, и распадается, извивается, стелется по мере приближения к унылой, бесконечной улице Мениль-Монтана.

Китайская улица и смежные с нею, ее пересекающие, такие как улица Орфила, столь фантастическая со своими зигзагами и резкими поворотами, с плохо отесанными деревянными заборами, нежилыми беседками и пустынными, вконец запущенными садами, где произрастают дикие деревья и безумные травы, — вносят совершенно особую, умиротворяющую, безмятежную ноту в этот необъятный квартал, где скудные заработки обрекают на вечные лишения женщин и детей.

Иное настроение навеивается здесь, чем в Долине Гобеленов, где хилая природа гармонирует с бесконечно скорбью жителей. Китайская улица кажется деревенской дорогой, где большинство прохожих имеют вид людей сытых и довольных. Она — вожделенный уголок художников, ищущих уединения, заветная гавань душ тоскующих, которые домогаются благодного покоя вдали от толпы.

Пасынки судьбы, обездоленные жизнью, находят здесь облегчающее утешение в неизбежном лицемерии госпиталя Тенон, который пронзает небо своими высокими трубами и в окнах которого толпятся бледные лица, склоненные к долине и созерцающие ее глубокими, жадными глазами выздоравливающих.

О, милосердна улица эта к скорбящим, добра к ожесточившимся, ибо воистину детскими, воистину пустыми кажутся собственные страдания и жалобы при мысли о несчастных, лежащих в исполинском госпитале в длинных залах, полных белыми кроватями. И пред укромными домиками улочки мечтаешь о блаженном убежище, о маленьком достатке, который позволил бы работать когда хочется, не спешить ради нужды с отделкою творчества.

Правда, вернувшись в сердце города, не без основания, пожалуй, раздумываешь, что гнетущая скука может придавить человека в одиночестве домика среди безмолвия и пустынности дороги. Но впечатление остается неизменным всякий раз, как только окунаешься в тихую грусть улицы. И чудится, что забвение и мир, искомые в однообразии морских берегов, здесь, в конце линии омнибуса, обретены запечатленными в образе сельской улочки, которая затерялась в Париже среди радостных и горестных шумов его больших бедных улиц.

## ВИД С ВАЛОВ СЕВЕРНОГО ПАРИЖА

С высоты валов открывается дивный грозный вид равнин, изнеможенно стелющихся у подножия города.

На горизонте высокие кирпичные трубы, круглые и четырехгранные, изрыгают в облака клубы сажи, а ниже выбрасывают с шипением белый пар тонкие литые трубы, чуть выделяющиеся над плоскими крышами мастерских, крытыми толем или просмоленным картоном.

Тянется оголенная долина, вспучиваемая холмиками, на которых детвора гурьбой запускает бумажных змеев, изготовленных из старых газет и расцвеченных раскрашенными картинками реклам, раздаваемых у дверей магазинов и на углах мостов.

Сараи под бледно-красной черепицей, окаймляющей прозрачные озера стеклянных крыш; подле них массивные тележки простирают свои закованные цепями длани, осеняя иногда идиллию предместья. Вот мать, у которой малыш с ожесточением сосет сухую грудь. Там пасется коза, привязанная к столбику. Мужчина опочил, опрокинувшись на спину, надвинув фуражку на глаза. Женщина присела и медленно приводит в порядок свою растерзанную обувь.

Великое молчание спускается в равнину. Понемногу угас рокот Парижа, но еще доносятся дрожащие шумы виднеющихся фабрик. Подобно страшному стенанию, слышится глухой, хриплый свист проходящих поездов Северного вокзала, скрытых откосами, которые обсажены дубами и акацией.

Совсем вдали широкая дорога белеющим подъемом утопает в небесах, и там на вершине клубится облако, словно вздымает хлопья пыли невидимая колесница, скрытая дугой земли.

Еще беспредельнее и печальнее становится пейзаж в сумерки, когда дымчатые облака катятся над умирающим днем. Расплываются очертания фабрик, подобных теперь чернильным массам, испиваемым сизым небом. Шире стелется долина, разошлись по домам женщины и дети, и лишь нищий Мендиго, как прозвали его сыщики, по пыльной дороге бредет к ночлегу, вспотевший, изнуренный, согбенный, с трудом преодолевая косогор, посасывая носогрейку, уже давно пустую, преследуемый полудикими псами — отпрысками беззастенчивых смешений, псами,

подобно господам своим привыкшими сносить любой голод и холод.

Именно в эти часы всего сильнее льются скорбные чары предместий, пышно расцветает всемогущая красота природы, ибо пейзаж вполне гармонирует с глубокой печалью обитающих здесь семей.

Природа, не законченная творением, в предвидении целей, которым ее обрекут люди, ждет от своих властителей довершения — последнего удара.

Пышные здания, дополняющие вид кварталов, населенных богачами; виллы, пятнающие мирные веселые долины желтыми, маслоподобными бликами и прохладной белизной; парки Монсо, столь же многоцветные, как и отдыхающие в них женщины; большие печи, высокие горны, вздымающиеся на лоне пейзажей, подобно им величественных и изнуренных, — таков закон непреложности. И творя его, повинувшись пленяющему нас инстинкту гармонии, послали мы инженеров, чтобы ограничить природу в соответствии с нашими запросами, уподобить ее жизням сладостным и горестным, которые она обречена внедрять и отражать.

## ПАРИЖСКИЕ НАБРОСКИ

ФОЛИ-БЕРЖЕР В 1879 г.

### I

Претерпев крики продавцов программ, зазывания ваксильщиков, предлагающих почистить ботинки, и миновав контору, где молодой человек на деревянной ноге и при орденской ленте стоит посреди восседающих господ и отбирает билеты, — вы оказываетесь перед театральной



сценой посреди занавеса перерезанной нависающим балконом. Взору открывается нижняя часть занавеса и два решетчатых окна, а перед ним изгибается подкова оркестра, полного голов, — неровное, волнующееся поле, где женские шляпы повсюду сверкают снопами перьев и цветов над однообразным сиянием мужских лысин и лоснящихся причесок.

Громко гудит собирающаяся толпа. Теплые испарения заволакивают залу, мешаются с разнообразными выделениями, они насыщены острой пылью ковров и выколоченных кресел. Запахи сигар и женщин становятся все сильнее. Туманнее горит газ, повторяемый зеркалами, взаимно отраженными с одного конца театра на другой. Через толпу едва проберешься, и из-за густой стены тел почти не видно акробата, ритмично проделывающего опасные упражнения на неподвижном бруске. В разрыв, на миг образовавшийся меж двумя головами и контурами плеч, видишь две искривленные ступни, цепляющиеся за перекладину, ускоряющие свой яростный круговорот, в котором сливаются формы человека. Искры сыплются, подобно тому золотому дождю, который, вращаясь, изливают искусственные солнца. Музыка несется в унисон, понемногу замедляя свой полет, и так же исподволь проясняются формы клоуна, трико розовеет меж золотых блесков, мерцающих от быстрых движений, встав на ноги, человек приветствует толпу обеими руками.

## II

*Людовику де Франкменилю*

Вы поднимаетесь на верхнюю галерею залы, взбираетесь меж женщин, шелестящих шлейфами, преодолеваете ступени лестницы, на которой гипсовая статуя держит га-

зовые рожки, как бы делая двусмысленный намек, — и музыка рокочет вам вслед сперва слабо, потом на повороте громче и отчетливее. Струя теплого воздуха брызжет вам в лицо, и здесь на площадке открывается зрелище, дополняющее виденное внизу. Занавес ниспадает с высоты сцены, перерезанной посередине красною каймою открытых лож, подобных полумесяцу закругленно протянутых вокруг балкона, который висит под ними несколькими футами ниже.

Привратница в белой шляпке с развевающимися розовыми лентами предлагает вам программу — истинное чудо искусства, соединяющее спиритуализм с позитивизмом: индеец, гадающий на картах, дама, именующая себя хироманткой-графологом, магнетизер, ясновидящие, гадалка на кофейной гуще, прокат волюнок, фортепьяно, дешевая продажа плаксивых нот, — это для души.

Для тела — объявления о конфектах, корсетах и подтяжках, радикальное излечение секретных болезней, совершенно особое врачевание болезней рта.

Но вторглось сюда и нечто чуждое: реклама швейных машин. Я бы еще понял фехтовальный зал — свет не без тупиц! Но Молчальница и Зингер — не из тех орудий, которыми привыкли пользоваться здешние работницы. Остается предположить, что это объявление помещено здесь как символ честности, призыв к труду и целомудрию. Быть может, это иная форма нравственных брошюр, которые англичане раздают порочным созданиям, обращая их на стезю добродетели.

Нет, фантазия решительно вещь прекрасная. Позволяет нам приписывать людям мысли несомненно глупее даже тех, которые их занимают.

Песлыханны они и ослепительны, когда попарно выступают в окаймляющем зале полукружии, напудренные и покрашенные, с глазами, подведенными бледной синевой, с разрезанной дугой пунцовых губ, с грудями, выдавшимися вперед над стянутыми бедрами, — выступают, изливая дыхание опопонакса, которое разносится колышимыми веерами, мешаясь с острым запахом подмышек и изысканным цветочным ароматом, струящимся с корсажей.

Плененный, рассматриваешь эту группу дев, под музыку шествующих на тяжелом красном фоне, разрезанном зеркалами, и кажется, что видишь карусель, медлительно вращающуюся под звуки органа вокруг грани алого занавеса, украшенного лампами и зеркалами. Видишь бедра, движущиеся под одеждой, окаймленной у подола, словно всплесками пены, белизной юбок, которые колышутся под шлейфом ткани. Дрожь пробегает, когда следишь за движениями этих женских спин, стремящихся навстречу мужским грудям, которые направляются с обратной стороны, раздвигаясь пред ними и замыкаясь; в разрывах между мужскими головами мелькают шиньоны, озаренные золотыми огоньками драгоценностей, сиянием самоцветных камней.

Наскучив нескончаемым тактом, который непрерывно отбивают все те же самые женщины, вы прислушиваетесь к поднимающемуся из залы гулу, которым приветствуют появление дирижера оркестра, высокого, тощего человека, знаменитого своими задорными польками и вальсами. Сверху и снизу с боковых галерей несется взрыв аплодисментов из лож, где женщины смутно белеют в по-

лутьме. Маэстро кланяется, поднимает голову, причесанную в виде узкой щетки, с усами цвета китайского перца, пересыпанного солью, носом, оседанным пенсне, и повернувшись спиной к сцене, облаченный в черный фрак и белый галстук, спокойно перебирает ноты, усталый, как бы в полудремоте, потом поворачивается вдруг к трубам, вытягивает свою палочку, выуживает раскат припева, сухим жестом извлекает ноты, точно вырывает зубы, и, сверху вниз бичуя воздух, выкачивает наконец мелодию, подобно машине, накачивающей пиво.

#### IV

*Полю Даниелю*

Умолкла музыка, сменившись тишиной, и дребезжит звонок. Поднимается занавес; сцена пуста, но по всему залу бегают люди в серых холстинных блузах с позументами и красными воротниками, натягивают веревки, ввинчивают скобы, закрепляют узлы. Опять загудела толпа, а на сцене двое-трое людей суетятся, управляемые старшим. Готовятся раскинуть исполинскую сетку посреди сцены, над оркестром. Кольшется сеть, скрученная возле балюстрады балкона, движется и, скользя на медных кольцах, шумит, подобно морю, плещущемуся среди валунов.

«Браво!» вспыхивают по всему залу. Оркестр наигрывает вальс акробатов. Женщина и мужчина выходят в трико телесного цвета, в наплечниках и набедренниках японского стиля, индигово-синих, бирюзово-голубых, осыпанных блестками серебристой бахромы. Женщина-англичанка, чрезмерно покрашенная, с светло-рыжими волосами, выставляет дебелый круп на сильных ногах;

мужчина по сравнению с ней тоньше, с резко очерченным лицом и закрученными усами. Застывшая улыбка блуждает на лицах разряженных атлетов. Ухватившись за веревку, мужчина карабкается к трапеции, которая висит на потолке перед занавесом, посреди канатов и балок, между люстр, и, усевшись на перекладине, быстро продельывает несколько головокружительных приемов, время от времени вытирая руки носовым платком, привязанным к одной из веревок.

Женщина, в свою очередь, взбирается на сгибающуюся под ней сетку, проходит ее с одного конца на другой, отталкиваясь с каждым шагом, словно от трамплина, и в сиянии пляшут вокруг затылка ее пепельные косы. Вскрабавшись на маленькую площадку, подвешенную над балконом, она стоит напротив мужчины, отделенная от него целым залом. На нее устремлены все взоры.

Два потока электрического света, льющегося ей в спину из глубины зала, преломляются на закруглении бедер, обрызгивают с головы до ног, расписывают ее серебряными тонами и почти невидимым течением отдельно струятся сквозь люстры, смыкаются и расцветают, достигнув мужчины, который красуется на трапеции, окутанный голубоватым светом, зажигающим бахрому его искристого набедренника, блистающего как сахарные кристаллы.

Медленнее звучит вальс, сопровождая замедленные колыхания гамака, чуть уловимая рябь колыбельной песни аккомпанирует тихо волнуемой трапеции, и оба электрических снопа налагают на верх занавеса двойную тень мужчины.

Наклонившись немного вперед, женщина одной рукой схватывается за трапецию, другой придерживается за веревку. Мужчина в это время опрокидывается и, протянув руки, неподвижно висит на ногах головой вниз на перекладине своей трапеции.



Мгновенно затихает вальс. Наступает полное молчание, вдруг пронзаемое как бы хлопнувшей бутылкою шампанского; по толпе пробегает мимолетная дрожь; «all right» перекачивается в зале. Метнувшись со всего размаха, женщина стрелою летит под огнями люстр и, выпустив трапецию, падает на руки мужчины, который, покачав ее с минуту за лодыжки, бросает в сетку, где, подобно рыбе, подпрыгивающей и трепещущей в сетях, она плещется в своем лазурно-серебряном трико.

Топочут, хлопают, стучат палками о пол, приветствуя спускающихся акробатов. Разрастается буря криков, после того как они скрылись за сценой, и мужчина с женщиной выходят снова: он низко кланяется, она шлет дождь воздушных поцелуев, а затем опять исчезают за кулисы мелкими детскими прыжками.

Поднимают сетку, все еще наполняющую зал шумами бушующих волн.

И вспоминается мне Антверпен, большой порт, где среди схожего рокота несется «all right» отплывающих в море английских моряков. Так, в причудливом на первый взгляд подобии соприкасаются места и вещи самые различные. И там, где мы есть, пробуждаются в нас наслаждения уголков, где нас нет. Двоятся чувства, сплетаются утечи. Выдыхается, увядает краткая радость, рожденная настоящим, и мы сгибаем, претворяем, длим ее в иной форме, сквозь эту призму воспринимаем реальнее, нежнее.

## V

Начинается балет. Декорация смутно изображает обстановку серая, полного женщин, закутанных чадрами, как медведиц, переваливающихся с боку на бок. Маскарадный турок в тюрбане, с чубуком во рту, щелкает

бичом. Ниспадают покрывала, и показываются алмеи, набранные в глубине предместий, и прыгают вереницей под звуки музыки, по временам оживляемой мотивом «Кепи отца Бюго», вводимым в мазурку, наверно, чтобы оправдать появление стайки женщин, которые облачены в костюмы «спаги».

Нагое тело в вихре белого тюля, обрызганного голубыми огоньками, кружится на сцене, залитой электрическими волнами. Первая плясунья выплывает, выделяясь своим шелковым трико, делает несколько па на каблуках, встряхивает поддельными цехинами, окутывающими ее кольцом золотых искр, подпрыгивает и, приседая, утопает в юбках, изображая подкошенный цветок, поникший стеблем.

Но весь этот балаганный Восток, сверкающий в гроте апофеоза, не может заслонить от ценителя ту, что среди дебелих дев, размеренно колышущих свой газ, одна лишь влечет, наряженная офицером спаги, в широких развевающихся голубых шальварах и крошечных красных сапогах, в спенсере с золотыми галунами и алом жилетике, плотно обрисовывавшем грудь, подчеркивающим стройность ее линий. Пляшет она как коза, но зато восхитительна, сладострастна в своем кепи с позуменгами, с своим осиным станом, полными бедрами, вздернутым носиком, лицом соблазнительно-задорным, молодецким. Своей внешностью девушка будит образы уличных баррикад и разобранных мостовых, источает фимиам пороха и спирта, отзвуки народных легенд и пафоса гражданских войн, приправленного беспутными пирами с оружием в руках.

Невольно задумываешься, глядя на нее, о тех иступленных временах, о тех восстаниях, когда Марианна де Бельвиль разнузданно металась во имя свободы родины иль чтобы выбить дно у бочки.

Кладбище в глубине. Направо могильная плита с надписью: «Здесь покоится... убитый на дуэли». Ночь. Слабая музыка под сурдинку. На сцене ни души.

Вдруг из-за кулис справа и слева медленной поступью приближаются два пьеро в черных одеждах, сопровождаемые секундантами. Первый напоминает тип, созданный Дебюро: высокий, тощий, с длинной лошадиной головой, обсыпанной мукой, с моргающими под белесоватыми веждами глазами. Другой крепче, толще, весельчак, с коротким носом, с алым разрезом рта на бледной маске.

Леденящее, жуткое впечатление рождается при выходе этих людей. Исчезает комический диссонанс черных тел и напудренных лиц. Отлетает смрадная химера театра. Реальная жизнь восстает пред нами, победная и содрогающаяся. Пьеро прочитывают надпись на плите и отшатываются. Трепетно оборачиваются и видят врача, невозмутимо развертывающего бинты и раскладывающего инструменты. Испуг пробегает по лицам, искажает их набеленные черты. Грозный нервный припадок мгновенно повергает их в смятение, болезнь, имя которой — страх.

Их ставят друг против друга, и при виде мечей, извлекаемых из ножен, ужас охватывает их еще сильнее. Порывистее дрожат руки, трясутся ноги, спирает в горле, прилипает к гортани иссохший язык, дух захватывает, пальцы ищут, царапают галстук, который надо развязать.

Растет страх, властный, жестокий, и единым ударом дробит разбушевавшиеся нервы, которые уносятся безудержным потоком. Неотвязная мысль о бегстве рождается в потрясенном мозгу. И стремглав бросаются противники куда попало, преследуемые секундантами, которые хватают и водворяют их к барьеру, с мечами в руках.

Вслед за последней мятежной вспышкой плоти, восставшей против навязываемой ей резни, на них нападает упорство загнанного зверя, и, обезумев, кидаются они друг на друга, наугад колют, рубят, подскакивают невероятными прыжками, в беспамятстве, ослепленные, оглушенные лязгом и грохотом оружия, и вдруг, изнемогши, падают, подобно куклам, в которых лопнула пружина.

Жестокий этюд о человеческой машине, объятый страхом, кончается исступленной клоунадой, необузданной карикатурой, от которой со смеху покатывается и стонет зал. Внимательно наблюдая хохочущих, я пришел к убеждению, что в удивительной пантомиме публика, видит лишь представление канатных плясунов, предназначенных довершить образ ярмарки, являемый Фоли-Бержер с теми его уголками, где ютятся столы для рулетки и шлюхи, усатые женщины и тиры.

Для умов мыслящих и деятельных вопрос стоит иначе. Вновь выразилась вся эстетика английской карикатурной школы, инсценированная Ганнон-Ли, акробатами зловещими и стремительными. Столь правдивая в своем холодном безумии, столь жестокая в своей чрезмерности, пантомима их есть новое чарующее воплощение траурного фарса, угрюмого шутовства, свойственного странам сплина и высказанного и запечатленного дивными могучими художниками: Гогартом и Роландсоном, Жильере и Крюиксганком.

Есть вальсы двух видов, которые мыслимы в Фоли и которыми там можно наслаждаться: первый, порхающий и радостный, перепевает колыханья трапеции, головокружительные прыжки клоунов, ритм тела, которое поднимается и опускается силою рук, опрокинувшись висит на ногах, вытягивается, пригнув к животу голову, и, зацепившись руками, бичует воздух башмаками, натертыми мелом. Другой, болезненно-чувственный, рисует распаленный взор и трепещущие руки застигнутых

любовников, порывы, спугнутые чужим присутствием, сладострастие, поникшее среди высшего кипения, тела, цепенеющие в судорогах ожидания и наконец последний вопль муки и восторгов достижения, выпускаемый в победном грохоте кимвал и медных труб.

Бесмысленно было бы в этой зале играть, например, «Роберта Дьявола». Так же, как видеть в плутне голову благородного отца. Здесь нужна музыка растленная, низменная, нужно нечто, окутывающее уличными поцелуями, двадцатифранковыми потехами толпу людей, пообедавших изысканно и дорого, людей, утомленных обстряпыванием мутных дел, волочащих за собой здесь, на галереях, скуку грязных делишек, тревожимых своей темной возней с фондами и девами, радостно смакующих удачу своих набегов и под звуки распутной музыки пирующих с накрашенными женщинами.

## VII

Бульварный отпечаток лежит на этом театре, истинно чудесный, неподражаемый.

Смесь уродства и великолепия, вкусов оскорбительных с изысканными. Сад с верхними галереями, с арками, разомкнутыми кружевом грубой деревянной резьбы, с массивными ромбами и полыми трефолями, окрашенными охрой красной и золотой; с полосатыми черно-гранатовыми тканями потолка, убранными бахромой и кистями; с лже-фонтанами в стиле луврских — тремя женщинами, прислонившимися меж двух исполинских блюд поддельной бронзы, среди зеленеющих ветвей; с аллеями, обрамленными столами, плетеными диванами, стульями, конторками, за которыми сидят обильно подрисованные женщины. Сад этот весьма походит на ресторан улицы Монтестье и на турецкий или алжирский базар.



Альгамбра-Поре, мавританский Дюваль, разбавленный туманным запахом салонов-кофеен, встречающихся в прежнем предместье и украшенных восточными колоннадами и зеркалами, театр Фоли с зрительным залом, выцветшая алость которого и загрязненная позолота так не похожи на бьющую в глаза совсем новую роскошь мнимого сада, — театр Фоли есть единственный уголок Парижа, где сладостно смердит краска продажных ласк и пресыщенных исступлений любострастия.

## БАЛ В ЕВРОПЕЙСКОЙ КОФЕЙНОЙ

Я сел за столик кофейной, возле двух болтавших дам. Одна румяная, веселая, короткой рукой расправляла бант своего ярко-красного галстука. Другая желтая, слегка чопорная, упрямо нюхала табак из грубой роговой табакерки.

Заговаривая, дамы всякий раз обращались друг к другу по имени. Румяная именовала свою соседку госпожой Гомон, а та, в свою очередь, называла ее госпожой Тампуа.

С моего места на маленькой площадке, к которой вели две ступени, мне открывалось зрелище всего бала. Немного повыше, направо, помещался оркестр. Налево щетинил свои острия лжегрот, осеняя водоем стоячей воды, и в гроте три розовых гипсовых статуи в обломанных пеплумах воздымались против стены, на которой намалевана была швейцарская долина. Бальный зал «Европейской кофейни» распался на две части, перегородженные балюстрадой: первая образовывала широкий коридор, покоившийся на литых колоннах, вымощенный асфальтом, меблированный столами и стульями, с потолком, затянутым полотном, некогда зеленым, а теперь изъеденным сыростью и газовым освещением. Вторая половина тоже опиралась на колонны и тянулась подобно обширному са-

раю, увенчанная двускатною стеклянной крышей. Этот сарай, со своими выцветшими потрескавшимися стенами, производил впечатление маленького железнодорожного вокзала, и сходство еще подчеркивалось, с одной стороны, напоминавшим зал ожидания печальным освещением, тремя красно-зелеными фонарями, горевшими в чаду в глубине зала, с другой — огромной стеклянной переборкой, отделявшей зал от кофейни, — переборкой, дребезжавшей в волнистых парах газа, дававшей призрачное видение чуть освещенного пути, убегающего в туманную ночную даль.

Бесчисленная толпа кишела на этом дебаркадере предместья. Под пронзительный визг флейт, под рокот турецкого барабана и гуденье бакалейщиков, мелких чиновников, санитаров, писцов генерального штаба и рекрутского набора целое воинство эполет с белой бахромой металось, воздевая синие руки к небесам, топоча по полу красными ногами. Одни простоволосые, остриженные наголо, обливаясь потом, подражали ногами лезвиям ножиц, разводимым и сводимым. Другие, в сбившихся на затылок кепи, колыхались, придерживая двумя пальцами полы шинелей, как это делают плясуньи с своими юбками. Иные приподнятой рукой точно мололи кофе или вращали рукоятку, а некий санитар, в единственном числе изображая сам с собою кавалера, подпрыгивал и приземлялся, бешено вращаясь.

Женщины в большинстве были спокойнее, не так неистовствовали. Почти все они прыгали благопристойно. Щеголяли жеманными манерами, в своих праздничных платьях, изображали воскресную чопорность, подкрепляемую присутствием родителей, которые восседали вдоль стен на деревянных скамьях.

Некоторые были нарядны, украшены вызывающими драгоценностями и сохранили прежнее изящество девочек из благородных пансионатов, в которых обитали. Они облачены в длинные перчатки на восьми пуговицах, купленные

у красильщика за пятнадцать су. Две, стянутые костюмами индийского матово-черного кашемира, в янтарных ожерельях, кропивших шеи блистающими каплями, с восхищенными лицами баюкались на руках мясников гренельской бойни, сильных, румяных парней, кожа которых напоминала цвет сырой говядины, в ярких фулярах, повязанных узлом поверх триковых курток.

Эти парни не обладали развязной повадкой и ухарскими манерами военных. Не такие пройдохи, но еще неотесаннее, они в пляске пучили свое упитанное брюхо, раздували щеки, притворяясь, что задыхаются. Тяжело подскакивали, подобно извозчикам во время холодов, сомкнув точно связанные ноги и крестообразно закидывая руки на плечи.

— Стой, сюда, Нини, здесь, Нини, здесь!

Крик вонзился в грохот оркестра. Кучка пехоты раступилась, маленькая толстушка рванулась оттуда и метнулась в гущу кадрили, запрыгала, подоткнув юбку над животом, показывая голые ноги из-под белых мадаполамовых панталон.

— Ух, Титина! — кричала она своей визави, шестнадцатилетней девчонке с выпяченным ртом и вздернутым носом, из-под которого виднелись мелкие, редковатые, словно опиленные зубы. Среди круга танцоров девочка непрерывно закидывала вверх тощую ногу, которую еще больше утончал красный прозрачный фильдекосовый чулок.

— Правда, как отвратительно развязна она, когда танцует, — заметила госпожа Тампуа, показывая на Нини, которая молодецки уперлась руками в бока и, потряхивая грудью, выкатила к потолку свои тусклые глаза, проворно высовывая и пряча острый кончик языка.

— А девчонка-то со своими чулками, — отозвалась госпожа Гомон, складывая руки. — Подумайте только, в эти годы! Нет, воля ваша, довольно двух таких чудовищ, чтобы порядочные люди не вывозили дочерей своих на бал!

Обе старые дамы отпили по глотку пива, после чего восстановили равновесие плащей и шляп, грудой сложенных на стуле.

— Какая давка!

— Ох! И не говорите... просто задыхаешься!

— А как дела, мадам Тампуа?

— Помаленьку, мадам Гомон. Сами знаете, в лавочке не наживешь тысяч или сотен.

— Ах, но куда же запропастилась, черт возьми, Леония, — вздохнула госпожа Гомон. — Вы не видели ее?

Но госпожа Тампуа знаком дала ей понять, что ничего не слышит. Кадриль кончалась, и, словно в припадке безумия, из сил выбивались, чуть не разлетаясь вдребезги, корнеты, медные трубы стегали залу грохотом своих дробных звуков, а турецкий барабан гремел, дребезжа, как разбитое стекло, яростно сотрясаемый кимвалами.

Наконец замолчали изнемогшие музыканты. Одни отирали себе лоб и шею. Другие выдували слюну, застрявшую в их трубах. Подле молота успокоились на спине барабана кимвалы, желтые, запятнанные черными бляхами, точно большими блинами.

— Наконец-то! Вот и они! — произнесла госпожа Гомон, увидя свою дочь, которая приближалась к ней, ведомая под руку сержантом генерального штаба. — Подожди, Леония, закутайся хорошенько, — и она накинула на плечи ей плащ. Возьми, попей, — протянула она ей стакан теплого вина, заказанный во время танцев.

Но дочь протестовала: ее мучила жажда и хотелось выпить чего-нибудь прохладительного.

— Нельзя пить холодного, когда вспотеешь, — сказала мать, вытерла лоб дочери и поднесла к самым губам ее стакан.

— А ты выпьешь бокал, Жюль? — спросила госпожа Тампуа.

— С превеликим удовольствием, тетушка, — ответил сержант. — Не откажусь, жара адская, — и прищелкнул языком. — По совести говоря, недурно промочить горло, — продолжал он, утирая усы. — Смотрите, это Кабаннес! Гей, сюда, старина, как делишки?

— Помаленьку, — выговорил гнусавым голосом Кабаннес, рыжеволосый пехотный сержант с припухлым лицом.

Вежливо поклонился дамам и после минутного молчания прибавил:

— Пить как хочется, ужас!

Никто, по-видимому, не обратил внимания на замечание подошедшего.

— Что прикажете? — прокричал на ходу прислужник.

Никто не проронил ни слова.

— Ничего, — наконец произнесла госпожа Тампуа.

— Так-то лучше. По крайней мере, недолго ждать, — заметил Кабаннес с грустью, в которой сквозила легкая досада.

— Правильно, Огюст, — спокойно ответила славная дама. Вынула табакерку, угостила госпожу Гомон, высыпала себе на ладонь щепоть и долго втягивала табак, раздувая ноздри.

Началась полька, стекла задрожали, задрезбужали, словно ехал ломовик, нагруженный листовым железом. Жюль предложил руку Леонии. Кабаннес обвел взглядом стол, обеих старух, повертелся на каблуках и, не поклонившись, тоже исчез в потоках бала.

— Ничего не слышно из-за этой проклятой музыки, — заохала госпожа Тампуа. Медные трубы взрывались над самым ее ухом. Оглянувшись, она яростно посмотрела на старого тромбониста с большим носом, оседланным очками, с раздутыми пылавшими щеками, раскачивавшегося среди бульканья и громыханья медных труб.



— Боже милостивый! Слыхали вы, моя дорогая, что-либо подобное? — Но подруга не слыхала ее. Глазами вдали отыскивала в толпе свою дочь, прильнувшую лицом к лицу сержанта, и видела лишь ее спину. В вихре кружились и исчезали красные штаны, белые эполеты, чередуясь с черными платьями и юбками. Вскоре она совсем потеряла из виду свою Леонию. Рыжая пыль поднималась с пола, мешаясь с влажными парами. Внизу мелькали в давке неизменные красные штаны, а над ними развевались черно-синие полы курток, пронизанные серебряными или золотыми искрами пуговиц. Повсюду возле лиц кишела бахрома эполет, подобно белым червям.

Зал чуть не шатался. Огни газовых рожков медленно трепетали в густом тумане, и, словно варясь в горячей, мутной воде, двигались силуэты солдат и девушек.

Сгущаясь, пар оседал на потолке, и сверху падали капли. Госпожа Гомон подняла нос.

— Откуда бы это? Неужели протекает крыша?.. А, Тереза, как поживаете? — прервала она свою мысль, пожимая руку высокой, красивой девушке, поднимающейся по ступеням в сопровождении кирасира.

Накрашенная и все же красивая под слоем розовых румян, с кудряшками волос, спускавшимися ей на лоб, важно выступала она в дорогом чесучовом, со вставками шелка и сатина, черном платье, из-под которого виднелась голубая сатиновая юбка, отделанная кремовыми кружевами. Полоска золотисто-голубых чулок показалась вместе с коричнево-красными ботинками, когда, слегка откинувшись назад, она сняла шляпу с необъятными полями, слева проколотую булавкой с серым голубком.

— А у вас? Все благополучно? — спросила она, усаживаясь и щеголяя украшавшими ухоженные руки перстнями.

— Ты чего хочешь, вина или пива? — отрывисто обратилась она к кирасиру.

— Вина!

— Человек, бутылку! — И, отвернувшись от кирасира, продолжала: — А Леония? Что ее кашель?

— Все так же. Как ни утешаешь себя, что это пустяки, а невольно тревожишься. К тому же она неосторожна, слишком любит плясать. Да ты увидишь ее, она там.

Тереза искоса взглянула на огромного солдата, который молча пил рядом с ней. На бычьей шее тяжело сидела наголо остриженная голова с низким лбом и густыми рыжими усами. Казалось, девушка прикинула мельком силу его плеч, могучие ляжки и бедра, весь вызывающий облик дикого зверя, потом встала, вскинула глаза на коридор, обрамленный балюстрадой, и расценила, должно быть, широкие плечи и скотскую наружность других кирасир, теснившихся за столами. Усмехнулась довольной, снова села на стул и приказала подать еще бутылку.

— Тереза! — И госпожа Гомон тихо потянула ее за рукав, — вот Леония.

— Каково! Ну и негодница же эта женщина, — зашептала госпожа Тампуа, — она даже незнакома со своим солдатом...

Госпожа Гомон слащаво залебезила:

— Она дочь папаши Жиле, нэльского механика, знаете, который долго жил на нашей лестнице. Тереза развлекается, это ее дело... Но представьте, вы не найдете женщины более порядочной. Она прямо мухи не обидит. И потом, знаете, так роскошно живет, стоит посмотреть, милая моя... Она на содержании у человека богатого... — И конфиденциальным тоном прибавила: — У человека знатного, моя дорогая.

— Ба! — заметила госпожа Тампуа и с почтением посмотрела на Терезу. — Да, барышня, могу сказать, шикарная, — сказала она настолько громко, чтоб быть услы-

шанной. Тереза улыбнулась, и поощренная госпожа Тампуа подумывала, как бы похитрее вмешаться в болтовню Терезы и Леонии, без умолку трещавших, но в это время племянник-сержант отвлек ее внимание. Он вопросительно смотрел на нее снизу из бальной залы и сделал жест человека, осушающего стакан.

— Нет, нет, — ответила старая дама. — Ведь ты пил уже; слыханное ли дело!

Жюль не настаивал. Повернувшись, присоединился к кучке товарищей, которые, пока отдыхал оркестр, прогуливались в ограде, отведенной для танцев. Гоголем выступали, заложив руки в карманы, которые оттопыривались, когда они откидывали туловище. Оглушительно хохотали, останавливали женщин, развязно приставали к табачным работницам и маленьким прачкам, бегали друг за другом, как мальчишки, выпускали громкие крики, в пыли, вздымаемой их скачкой, и в шутку перебрасывались тумакami. Затерявшись между военными, смирно держали себя презренные штафирки: несколько сутенеров, ускользнувших из Марсова салона или трущобы Ардуаз, приказчики, рабочие высшего разряда, также одетые в тройки, но узнаваемые своими корявыми ногтями и потемневшими пальцами; несколько гренельских мясников, табачные рабочие, писцы из министерств, преимущественно военного ведомства. Но повсюду царили полчища интендантов, заносясь воинственно закрученными усами, молодецки изгибая стан, смело рассматривая зрителей, чувствуя себя кумирами женской молодежи Гро-Кэйу и Гренеля, неограниченными владыками покоренной страны.

Наряду с лагерем пехотинцев, шумливым и радостным, раскинувшимся под стеклянной крышею от самой площадки перед оркестром, другое воинство, более молчаливое, мрачное, разместилось в боковом коридоре под потолком, затянутым полотном. Отряды драгун, артиллеристов, саперов прохлаждались там бок о бок с целыми эскадронами

кирасир. Тяжелая одежда и вывешенное в разгар бала запрещение танцевать в шпорах, хотя бы обтянутых чехлом, не позволяли им пуститься в польки и кадрили. Свысока рассматривали пехотинцев и модисток, презируя и пехтуру и девчонок, не слишком-то прельщаемых их могучими телами. Ждали женщин более зрелых, более богатых деньгами и пороками, женщин, которые приезжают в полночь с того берега, ища беспутных утех народного квартала.

— Пойду плясать, — воскликнула Тереза, поднимаясь, — у тебя есть еще вино, пей, — бросила она курившему неподвижно кирасиру и погрузилась в гуцу пехотинцев. — А! Вот встреча! — остановила она человека, облаченного в иссера-красное пальто, худые шевиотовые штаны, лакированные ботинки со стоптанными каблучками, обмотавшего жирную шею фуляром смородинного цвета, скрывавшим рубашку. Но громкие вопли заглушали ее голос. Крики: «Визави, визави!» — раскатывались по всему залу.

— Побудь с нами, милочка, — просила Леонию госпожа Гомон. — Ты устала, уж поздно.

— Ах! Одну только фигуру, — сказала та, увидев подходившего к ней Жюля, и, влекомая сержантом, исчезла в тумане.

— Скоро полночь, — вздохнула раздосадованная мать.

— Сегодня воскресенье, ночной бал. Но серьезно, мне так хотелось бы уйти до появления горлопанок.

— Госпожа Тампуа, взгляните, — вот легки на помине — ведь это они!

И действительно, шумное столпотворение шляп и юбок ворвалось в большую открытую дверь. Из-под ветвившихся султанов и перьев, из-под фетровых широких шляп с сумасбродными полями опрокидывались розовые нарумяненные круги с алыми разрезами, исторгавшими вой. Неистовые «ура» раздавались в ответ, мешаясь с

тяжелым топотом попиравших пол сапог. Дрогнули кирасирские эскадроны и, простирая руки, ринулись на женщин. Слияние мундиров и платьев, радуга красного, черного и белого. Волнение тел, и в нем нагие руки белели, обвиваясь вокруг шеи кирасир, коротко остриженные затылки которых выделялись над султанами и перьями шляп.

Облако пыли окутало коридор, в котором толпилась конница.

Но загремели ураганы кадрили, покрывая смятенье зала.

— Что за чад! Ровно ничего не видно! — плакалась госпожа Тампуа. — Трудненько будет завтра отмываться.

— Чистый содом! — подтвердила госпожа Гомон, затыкая себе уши.

Не смущаясь кавалерийскими атаками, бросались своим чередом на приступ пехотные полки и подхватывали девочек за талию. В уголке Нини булавками скрепляла расплывшийся разрез панталон, и широкие струйки пота стекали с подмышек ей на грудь. С яростным запахом навоза и прогорклого сала, который испускали всколыхнувшиеся одежды конницы, мешался смердящий букет потной солдатской обуви и прелых сапог, приправленный зловонием запущенных подмышек и крашенных чулок.

— Баловница! — вздохнула госпожа Гомон, ища глазами дочь. — Ах, наконец-то! Однако ты не слишком топилась. Идем скорее, пора, уж поздно.

Женщины оделись, а маленький сержант обнял свою тетку и поочередно пожал с одушевлением руки остальных. Спустившись с возвышения, они попытались проскользнуть через лагерь кирасир, но с первых же шагов должны были остановиться.

— Вернемся и проберемся в танцевальный зал, — предложила Тампуа. — Не отставай, Леония, я буду держаться балюстрады.

Они направилась вдоль загородки, делившей залу на две части; но на этот раз отступление было отрезано. Они не могли двинуться ни назад, ни вперед. Мелькнул просвет, в который нырнула госпожа Тампуа. Госпожа Гомон и Леония устремились вслед за ней и ткнулись носом в ее спину. Тело лавочницы закупорило трещину, в которую ей удалось проникнуть. Госпожу Тампуа как бы прихлопнуло между двух дверей. Яростно надавила она всей своей тяжестью на окружающих, работая локтями, прокладывая себе путь в толпе, увлекая за собой Леонию, которую подталкивала мать, а я следовал за ними в арьергарде. Под вой затираемых женщин, под ругательства слуг кофейной, которые мчались, колыхая над головами подносы с бокалами пива, под каннибальские вопли, изрыгаемые воинством, достигли они дверей кофейной.

— Хорошенько застегни мантилью, дочурка, — сказала мать.

Но кофейная кишела солдатами; все выходы были заняты. Конница и пехота пили, перемешавшись без разбору в единую толпу. Два отдельных бала слились в огромной зале, уставленной скамьями, бильярдами; груды подносов и стаканов громоздились на столах. Повсюду были вколочены вешалки и крюки, на которых сверкали военные трофеи. Каски с пурпуровым плюмажем, с черными гривами кирасир, каски с алыми хвостами трубок, чаки с медной звездой под кокардами, кепи маренгового цвета, лядунки, штыки, длинные сабли, блиставшие стальными ножнами и медными рукоятками, висели повсюду по стенам. Оружие дребезжало, колеблемое ветром, врывавшимся из открываемых дверей, и трепетали гривы, и струились долгие волны над нашлемниками, шевелили плюмажи.

Непрерывный гул вздымался в парах луковых и капустных супов. Мгновеньями доносился отрывистый свист флейт и далекое рокотанье барабана.



— А! Леония!

Три женщины обернулись. В нише против пехотного солдата восседала юная девушка в бархатном набойном платье, и две пламенеющие искры горели в ее ушах.

— А! Это ты, Луиза, — сказала Леония, целуя ее в обе щеки.

— Как поживаете, госпожа Тампуа?

— Недурно.

— Вы с бала?

— Конечно.

— Дайте обнять вас, госпожа Гомон! Послушайте! Места хватит, присаживайтесь.

— Вот мило! Мы здесь как сельди в бочке, — пробормотал пехотинец.

— Могу я просить вас быть немного полюбезнее? — заметила госпожа Тампуа.

— Знаешь, Казимир, помолчи, — скомандовала Луиза.

— Нет, милочка, поздно. Пора спать, — заявила госпожа Гомон, отстраняя предложенный ей стул. Но девушка настаивала.

— Да, но Леония простудится, если стоять на сквозняке между дверями. Пожалуйста, мадам Гомон, присядьте, выпейте стаканчик.

— Ну, хорошо, — согласилась старая дама. — Только пусть Леония выпьет чего-нибудь подкрепляющего, — подогретого вина, что ли.

— Ах, нет, — воскликнула Леония. — Надоело мне ваше подогретое вино, я хочу пива.

Они пылко заспорили.

— Барышня могла бы выпить и того и другого, — предложил пехотинец.

Красноречивый взгляд, которым госпожа Гомон смерила с ног до головы солдата, должен был показать ему всю неуместность вмешательства в ее дела.

— Кружку пива! — прокричала Леония проходившему слуге кофейной.

Госпожа Гомон покачала головой.

— Ах! Молодость, молодость! — вздохнула она и заговорила с Луизой:

— Что нового, Луиза? Как дела с табаком?

— По-прежнему, мадам Гомон, все та же песня. Работашь с утра до вечера, а зарабатываешь гроши.

— Однако, — возразила старая дама, осматривая туалет девушки, — однако, если на эти деньги покупать такой бархат...

И объятая завистью, оцупала ткань большим и указательным пальцами.

— Ой, да ладно! — рассмеялась Луиза. — Попробовали бы покорпеть над свертыванием папирос!

— А как поживает Берта?

— Потихоньку.

— Работает в ручной?

— Нет, разве вы не знаете? Она перешла в механическую.

— Ба!

— Кстати, вы знаете, что Тереза на балу!

— Посмотрите-ка, он тоже здесь, — прервала госпожа Тампуа, указывая на сержанта Кабаннеса, который шатался около столов. — Напрасно, плут, ходишь, если ты голоден, съешь свой кулак, а если хочешь пить...

И не придумала конца фразы.

— Дети мои, — втягивая понюшку табаку, переменила она разговор, — здесь можно задохнуться.

— Сущая правда, — подтвердила рассеянно Луиза, привлеченная зрелищем двух женщин в вызывающих нарядах, с впалыми глазами и вычерченными ресницами, ронявшими краску на два румяных пятна, намалеванных на щеках, женщин в изящных, но обтрепанных платьях, прикрепленных к жесткому белью с помощью булавок и тесемок, по-видимому, двух девок, которые ускользнули из

вертепов того берега. Совсем одни, они тем не менее производили страшный шум. Заказали себе бутылку пива, и оглушенный зовами слуга бросил их, не откупорив бутылки. Они охрипли, подзывая его, а он проревел издали:

— Сейчас! — и понес на другой конец зала подносы с бокалами.

— Вот!.. — выбранилась одна из них. Решительно схватила горлышко бутылки и хотела зубами вырвать пробку. Но тщетно надсаживалась, и судорожно скривились черты ее белого, жирного лица. — Ничего не выходит, — и утерев носовым платком слюнявые губы, поставила на место бутылку, у которой верхушка пробки окрасилась розовым цветом.

Повсюду столы заставлены были яствами и питием, повсюду теснились на стульях военные и женщины.

Упившаяся женщина сидела на коленях у драгуна. А рядом другая, которой кирасир давил пальцы своей широкой лапой, ломая ее кольца, хныкала, от боли. Поодаль, через два ряда столов, высокая женщина в удивительном сатиновом болеро сливового цвета, осененная большой гроздью желтых перьев, невозмутимо поедала луковый суп подле пьяного артиллериста, сосала сыр и старалась поддеть его, повыше поднимая ложку.

Девочка пристально смотрела в пространство, одинокая, очевидно, покинутая, и задумчиво грызла концы спичек.

Шар сорвался с бильярда, выбитый неловким ударом пехотинца, и покатился по скамье.

Слышался скрежет двигаемых стульев, топот ног, визгливые крики женщин. Ведомый товарищами захмелевший солдат с искаженным лицом опустился на скамейку, издавая острое зловоние винной бурды. Захмелевшая женщина дремала перед тарелкой капустного супа, которую медленно выцеживал бакалейный приказчик.

Вопли вскоре поднялись в пьяном чаду этого лагеря, преображенного в бал. Пробудились бури воинского духа,

междоусобицы полков разного оружия, инстинкт раздора, жажда жестокости, дыхание битв. Ссора возгорелась сперва за одним столом, потом перекинулась на остальные. Мелькала спина стоявшего кирасира, удерживаемого за руки более трезвыми товарищами и наскაკивавшего на невидимого мне сидящего солдата, а из-за бильярда хриплый голос гренельского молодца грозил по выходе с бала разделаться с обидчиком ударом ножа.

— Какой срам, идем живее, проберемся, пока можно, — требовала госпожа Гомон.

И действительно, начиналось сущее бесстыдство. Довольно наглотался я солдатской вони и потных испарений. Меня обуяла жажда ласковых дуновений, безмолвия чистого воздуха. И я вышел, следуя примеру этих почтенных дам, слова и жесты которых я внимательно изучал.

Очутившись на Ловендальском бульваре среди ночи, в пустынности мертвого квартала, я проверил вынесенные мною наблюдения. По-моему, они единодушны и сливаются в такую аксиому: у девушек, едва расцветших, любовь в Гро-Кэйу и Гренеле начинается с писцов генерального штаба и бакалейных приказчиков, а для женщин перезревших — кончается могучими кирасирами и гусарами.

Очень часто отставные капитаны всех родов войск, в надежде угощаться абсентом на припрятанные в старом чулке монеты, берут в законные супруги этих лже-Магдалин, когда они так раздобрели, что даже тяжелая кавалерия страшится их, несмотря на верную поживу!

## ПО ТЕЧЕНИЮ

### I

Слуга заложил левую руку за спину, правой оперся на спинку стула и, покачиваясь на одной ноге, покусывал себе губы.

— Господи, это дело вкуса, — говорил он. — На вашем месте, сударь, я спросил бы рокфор.

— Хорошо, дайте рокфор.

И сидя перед столом, заставленным тарелками со стывшими на них обедками, пустыми бутылками, накладывавшими своим днищем голубые тени на скатерть, Жан Фолантэн поморщился, не сомневаясь, что ему предстоит отведать отвратительного сыра. Действительность не обманула ожиданий. Слуга принес нечто вроде белого кружева, подернутого синеватыми жилками, очевидно вырезанного из куска марсельского мыла.

Фолантэн не спеша управился с сыром, сложил салфетку и вышел, провожаемый слугой, который поклонился его спине и затворил дверь.

На улице Фолантэн раскрыл зонт и прибавил шагу.

Холод, острыми лезвиями резавший нос и уши, сменился тонкой тесьмою падающего дождя. Ослабел леденящий суровый мороз, три дня свирепствовавший над Парижем, и под разбухшим небом, как бы затопленным водой, шумливо растекался таявший снег.

Фолантэн стремглав неся домой, размышляя о камине, который он затопил перед уходом в ресторан.

Откровенно говоря, он побаивался. Против обыкновения, сегодня он поддался лени и не перестроил сверху донизу костра, воздвигнутого привратником; как трудно загорается, думалось ему. Одну за другой преодолел он лестницы, вошел и не увидел признака огня.

— Статочное ли дело, что не сыскать ни служанки, ни привратника, умеющих приготовить огонь, — проворчал он и, поставив на ковер свечу, не раздеваясь, не снимая шляпы, перевернул поддон и методически снова набил ее, стараясь в своем сооружении не закупоривать отверстий, опустил решетку, для растопки запалил бумагу и разоблачился.

Вдруг заметил, что лампа сильно вспыхивает, и вздохнул:

— Значит, масло вышло!

— Ах, вот другая, полная!

Прежде чем вывернуть фитиль, сокрушенно осмотрел его — он был старый, желтый, увенчанный обожженной каймой, вырезанной черными зубцами.

Несносная жизнь! — сказал себе Фолантэн, отыскивая ножницы. С грехом пополам исправил свой светильник, бросился в кресло и погрузился в думы.

Скверный выдался день. Мрачное настроение не покидало его с утра. Начальник канцелярии, в которой Фолантэн служил уж целых двадцать лет, сделал ему грубый выговор за то, что он явился позже обычного.

Он заупрямился и, взглянув на свои карманные часы, сухо ответил:

— Ровно одиннадцать.

Начальник в свою очередь вынул из кармана превосходный ремонтуар.

— Двадцать минут двенадцатого, — отразил он, — я точен, как биржа.

И презрительно соблаговолил извинить своего чиновника, умиловивленный старинными часами, которые тот показал ему.

В иронической манере прощения Фолантэну почудился намек на его бедность, и он горячо возразил начальнику, который тогда не удовольствовался старческими заблуждениями луковицы и, выпрямившись, опять резко упрекнул Фолантэна за неисправность. За худым началом последовало нестерпимое продолжение.

В мутном свете грязнившего бумагу дня он должен был копировать бесконечные отношения, выводить огромные таблицы и одновременно слушать болтовню старичка-товарища, который упивался разглагольствованиями, заложив в карманы руки.

Тот вычитывал весь журнал, без пропусков и дополнял его своими личными суждениями. Или хулил формулировки составителей и развивал другие, которыми он с удовольствием уснастил бы исходящие бумаги. Свои замечания он



разбавлял обстоятельными жалобами на плохое здоровье, которое, впрочем, по словам его, чуточку улучшается, благодаря постоянному употреблению тополевой мази и частым омываниям холодной водой. Наконец Фолантэн спутался, внимая этим занимательным речам. Сливались линии ведомостей, и беспорядочно плясали колонки цифр. Ему пришлось подскабливать страницы, вписывать над строками — впрочем, совершенно напрасно. Начальник вернул ему работу и приказал переделать.

Но вот кончилась служба, и чтобы добраться домой, а оттуда в ресторан, Фолантэн поплелся под нависшим небом, среди бурной непогоды, шагая по грязи и снежной жиже. И в довершение всего обед был отвратительный, а вино отзывалось чернилами.

С озябшими ногами, стиснутыми в ботинках, которые намокли в лужах на проливном дожде, Фолантэн почти не ел, сидя под шипевшим газовым рожком, жарко припекавшим его череп. Но этим не кончилось злосчастье: огонь в камине потухал, чадила лампа, табак отсырел и гас, пропитывая желтым соком папиросную бумагу. На него накатило гнетущее уныние. Пустота его зрелой жизни явилась перед ним, и, наклонившись с кресла, прижав лоб к каминному валику, привычно ворочая щипцами кокс, начал он пробегать крестный путь своих сорока лет и, сокрушенный, медлил на каждой остановке.

Безотрадно протекали годы его детства. Фолантэны всегда были неимущими. Правда, восходя к отдаленным временам, семейные летописи упоминали о некоем Гаспаре Фолантэне, который чуть не миллион нажил торговлей кож. Но хроника присовокупляла, что он растратил свое богатство и обанкротился. Не умирала память об этом человеке среди потомков, которые проклинали предка, указывая на него сыновьям как на пример, которому не должно следовать, без устали внушали детям, что, подобно ему, умрут они нищими, если будут посещать кофейни и знать-ся с женщинами.

Так или иначе, но Жан Фолантэн родился в злосчастной обстановке. Все отцовское достояние состояло из десятка блестящих монеток в тот день, когда разрешились роды матери. Тетка, сведущая в этих делах, не будучи повивальной бабкой, приняла младенца, омыла его водою с маслом и ради бережливости напудрила его вместо плавуна мукой, которую соскоблила с хлебной корки.

— Ты видишь, мальчик, каким убогим было твое рождение, — говаривала тетка Эвдора, посвятившая племянника в эти мелкие подробности, и Жан тогда уже не смел надеяться на достаток в будущем.

Отец скончался очень молодым. Писчебумажную лавку, которой он владел на улице Дур, пришлось продать из-за долгов, наделанных во время болезни. Мать и ребенок очутились на мостовой. Госпожа Фолантэн устроилась в услужение, сперва поступила продавщицей в магазин, потом кассиршей в бельевой склад, а ребенка поместила пансионером в лицей. Подлинно горестным было положение госпожи Фолантэн, и, однако, она добилась стипендии, отказывала себе во всем, откладывала из своего скудного жалованья, для того чтобы суметь впоследствии оплатить расходы на экзамены и дипломы.

Жан сознавал, какие лишения ради него выносит мать, и старался изо всех сил, получал все награды и успехами на годичных состязаниях ослаблял презрение эконома, с каким тот смотрел на нищего ученика. Он был мальчик очень умный, но очерстевший уже в ранней молодости. Видя жалкую жизнь, которую вела его мать, запертая с утра до вечера в стеклянной клетке, кашлявшая над книгами, прикрыв рукою рот, хранившая мягкую деликатность среди неумолчно гудевшего, набитого покупателями магазина, понял он, что не следует надеяться ни на какое милосердие судьбы, ни на какую справедливость рока.

Рассудительно не поддался Жан внушениям профессоров, которые, заботясь о своей репутации, убеждали его

добиваться ученых степеней. Работая без передышки, быстро сделался он бакалавром.

Без промедления следовало искать места, чтобы облегчить тяжкое бремя, которое несла мать. Тщедушный вид, хромо́й на левую ногу после несчастного случая, приключившегося с ним в детстве в лицее, он долго ничего не находил. Наконец улыбнулось ему счастье. После хлопот о месте чиновника в одном из министерств Жан был принят на жалованье в полторы тысячи франков.

Госпожа Фолантэн нежно улыбнулась, когда сын принес ей радостную весть:

— Наконец-то ты на своих ногах и ни в ком не нуждаешься, мой бедный мальчик! Что же, давно пора. — И правда, день ото дня таяло ее слабое здоровье. Месяц спустя она умерла, подхватив жестокую простуду в своей продувной стеклянной клетке, где сидела и летом и зимой.

Жан остался один. Давно уже схоронили тетку Эвдору. Разбрелись и перемерли остальные родственники. Да он и не знал их. Едва вспоминал имя одной двоюродной сестры, ныне проживавшей в провинции, в монастыре.

Завел нескольких друзей. Но настал миг, когда одни покинули Париж, другие женились. У него не хватало смелости завязать новые знакомства, и мало-помалу он зажил совсем одиноко.

Да, но как печально одиночество, — размышлял он, подкладывая на решетку кокс кусок за куском; и он задумался о прежних друзьях. Как изменяет все женитьба! Были на «ты», жили одной жизнью, были неразлучны, а теперь едва кланяемся при встречах. Женатый друг всегда слегка смущается, ибо он первый оборвал знакомство, вообразив, что ты насмехаешься над образом его жизни, и, наконец, он чистосердечно убежден, что занимает в свете положение более почтенное, чем холостяк. И Фолантэн вспоминал натянутость и некоторую спесивость старых товарищей, встречавшихся ему после женитьбы. Как все это

глупо! И усмехнулся, невольно перенесясь к тем временам, когда он знался с ними.

Двадцать два года было тогда ему, и все веселило его. Театр казался обителью блаженства, кофейные — очарованьем. Бюлье распаяло его своими женщинами, изгибающими стан под звон кимвал и в бесновании высоко закидывающими ноги. В чаду дурмана воображал их раздетыми; влажное, упругое тело мерещилось ему под панталонами и юбками. Испарения женщины поднимались в вихрях пыли, и он простаивал, плененный, завидуя людям в мягких шляпах, которые скакали, ударяя себя по ляжкам. Сам он был хром, робок, неимуц. Но что из того? Он переживал ту же сладостную пытку и, подобно многим юным беднякам, довольствовался сущей безделицей. Радовался брошенному на лету словечку, улыбке, кинутой через плечо, и, придя домой, грезил об этих женщинах, уверял себя, что краше других те, которые смотрели на него, ему улыбались.

Ах! Если б получать побольше жалованья! Безденежье не позволяло ему увозить женщин с бала, и он обращался к девкам коридоров. В глубине смутно мог он различить лицо, утопавшее в тени. И не останавливали его ни грубая подмалевка, ни ужас лет, ни срамота одежды, ни отвратительная комната. С отменным аппетитом поедал он в тавернах дурное мясо и, влекомый голодом плоти, насыщался любовными отбросами. Выпадали вечера, когда без гроша денег и, следовательно, без надежды насыщения он бродил, чтобы прикоснуться к женщине, по улицам Бюси, Эгу, Драгон, Неф-Гельемен, Берьер, и счастлив бывал, если его окликали. Болтал с шалуньей, когда та оказывалась знакомой, и, обменявшись приветствием, скромно удалялся, боясь разогнать ее добычу. Свободно вздыхал в конце месяца и, осязая жалованье, сулил себе необычное блаженство.

Славное время! И подумать только, что не манит его ничто теперь, когда он стал немного богаче, когда он мог

бы смаковать лучшие лакомства, претендовать на более свежее ложе! Деньги пришли слишком поздно, когда уж не прельщает его никакое наслаждение.

Но он пережил еще промежуточную полосу между бушевавшими в нем смутами крови и наступившим спокойствием, когда равнодушный, близкий к бессилию просиживал он дома, в кресле возле камина.

Годам к двадцати семи его охватило отвращение к уличным проституткам. Ему захотелось немного уюта, немного ласки. Мечтал, как хорошо бы не валиться наспех на диван, а посидеть сперва в неге и лени. Иметь содержанку ему было не по средствам; он был невзрачен, не обладал никакими светскими талантами, не отличался в вольной болтовне, в веселом вздоре и на досуге вдоволь мог размышлять о благодати Провидения, которое одним дает все — деньги, здоровье, почести, женщин, а другим ничего. По-прежнему неизбежно довольствовался обычной закуской, но платил щедрее, за что бывал приглашаем в покои поопрятнее и видел более чистое белье.

Однажды он возомнил себя счастливым. Познакомился с рабочей девочкой, и, пожалуй, та баловала его ласками, но вдруг беспричинно, не говоря ни слова, бросила, оставив на память подарок, от которого он едва мог исцелиться. Содрогаюсь, вспоминая, как мучился он тогда, вынужденный посещать канцелярию, несмотря ни на что. Правда, он был молод, не обратился к первому встречному врачу, но прибегнул к шарлатанам, не смущаясь надписями, бороздившими их объявления, расклеенные в будках, — надписями правдивыми, как, например: «средство очищающее...» да, кошелек; угрожающими: «вы потеряете волосы»; философски покорными, вроде: «лучше спать с женой»; а лепившееся к слову «лечение» прилагательное «бесплатное» повсюду было зачеркнуто, прорезано ударами ножей, и чувствовалось, что люди делали это яростно и убежденно.

Но миновала пора любви. Подавлены порывы. Успокоением, глубоким миром сменились лихорадочные вспышки. И какую чудовищную пустоту образовывало в его жизни отсутствие сладострастных помышлений!

Все это ничуть не смешно, рассуждал Фолантэн, покачивая головой и разводя огонь.

— Здесь замерзаешь, — пробормотал он. Жаль только, что топливо так дорого, какие можно было бы запаливать огни! Эта мысль сперва напомнила ему о топливе, которое им в кредит отпускали из министерства, и он задумался о чиновничьих порядках, о своей канцелярии.

Здесь тоже быстро рассеялись его миражи. Сначала он верил, что высших должностей можно достичь трудом, примерным поведением, но потом убедился, что покровительство — все. Чиновников родом из провинции поддерживали их депутаты, и они выдвигались само собой. Ему, парижскому уроженцу, не помогал никто, и все так же служил он простым экспедитором, целые годы копировал и переписывал груды депеш, вычерчивал неисчислимые линии итогов, сооружал груды ведомостей, тысячи раз прочитывал протоколы. Остыло рвение в томительной игре, и, не ожидая наград, без надежды на повышение, он превратился в чиновника нерадивого и малоусердного.

На свои 237 франков 40 су в месяц никогда не мог он устроиться в удобной квартире, взять служанку, понежиться в уюте и тепле. Наперекор, всякому здравому смыслу предпринятый в день слабости несчастный опыт был беспощаден, и через два месяца опять начались скитания по ресторанам, с довольным сознанием, что ему удалось избавиться от своей экономки — мадам Шабанель, старухи шести футов ростом, с мохнатыми губами и наглыми глазами, внедренными поверх отвислых, дряблых щек. Она была чем-то вроде маркитантки, лопала как извозчик и пила за четверых. Стряпала плохо, а фамильярность ее переходила границы допустимого.



Расставив кушанья как попало на столе, она усаживалась против хозяина и, почесываясь, весело ржала, подбоченясь, в сдвинутом на сторону колпаке.

Невозможная служанка. Но Фолантэн, пожалуй, стерпел бы эту унизительную бесцеремонность, если бы удивительная дама не обкрадывала его без зазрения совести. Исчезали фланелевые жилеты и носки, терялись туфли, испарялись напитки, сами собой сгорали даже спички.

Следовало положить конец такому порядку вещей. Фолантэн собрался с духом и, страшась быть начисто ограбленным этой женщиной во время своего отсутствия, без дальних разговоров отказал ей раз вечером, в разгар трапезы.

Мадам Шабанель побагровела и разинула беззубый рот. Потом задрогала ногами, всплеснула руками, но Фолантэн ласково заговорил:

— Я больше не буду обедать дома. Остается провизия, чем пропадать ей — лучше возьмите себе. Если хотите, давайте просмотрим вместе.

И он открыл шкафы.

— Пакет кофе и бутылка водки, не правда ли?

— Да, сударь, правда, — вздрогнула мадам Шабанель.

— Отлично, это не портится, я оставляю ее себе... — И так повторялось до конца.

В итоге обозрения мамаша Шабанель унаследовала лишь две склянки уксусу, щепотку поваренной соли и стаканчик светильного масла.

— Уф! — воскликнул Фолантэн, когда женщина эта спускалась с лестницы, спотыкаясь о ступени. Но скоро погасла его радость.

С той поры дома все у него пошло и вкривь и вкось. Вдову Шабанель он заменил привратником, который уминал постель кулачными ударами и разводил пауков, щадя их тенета.

Невозможной и несъедобной стала его пища. Привалы у окрестных кормильцев испортили его желудок. Наступили времена воды святого Гальмье и сельтерской, времена горчицы, маскирующей тухлый привкус говядины, разжигающей холодную щелочь соусов.

Пробужденная вереница всех этих воспоминаний повергла Фолантэна в глубокую скорбь. Долгие годы блестяще сносил он одиночество и признал себя побежденным сегодня вечером. Жалел, что не женился, убеждал себя теми самыми доводами, которыми пользовался, проповедуя безбрачие для бедняков.

Да, как подумаешь... Дети... Ну, что же, я бы вырастил их, немного поущемил бы свой живот. Черт возьми, стал бы делать как другие, корпеть над перепискою по вечерам, чтоб понаряднее одеть жену. Мясо ели бы мы только утром и, подобно большинству небогатых семейств, в обед довольствовались бы тарелкой супа. Что значат все эти лишения в сравнении с упорядоченной жизнью и вечерами, проведенными с ребенком и женой, в сравнении со скудным, но истинно здоровым питанием, починенным бельем, бельем, вовремя выстиранным и доставленным? Ах, эти прачки — сущее наказание для холостяков! Приходят когда вздумается, приносят рубашки мятыми, синими, носовые платки в лохмотьях, носки все продырявлены, как решето! И издеваются, когда я возмущаюсь! И какой всему этому конец — в больнице или богадельне, если болезнь затянется; у себя дома — вызывать к милосердию сиделки, если смерть не заставит себя долго ждать.

Слишком поздно... Нет больше сил, брак невозможен.

О да, я прошутил свою жизнь. А теперь, — вздохнул Фолантэн, — всего лучше лечь спать. И благодарность пробудилась в его душе к милосердному ложу, и восславил он его умиротворяющую благость, раскрывая одеяло и оправляя подушки.

## II

Протекло два дня, а тоска Фолантэна не рассеивалась. Неспособный бороться с раздиравшим его сплином, он предался на волю судьбы. Механически брел под ненастным небом в свою канцелярию, возвращался домой, ел в девять часов, ложился спать и утром вставал, чтобы начать ту же жизнь.

Мало-помалу он впал в полное духовное оцепенение.

И проснувшись раз утром, почувствовал себя очнувшимся от некой летаргии.

Погода была ясная, и солнце упало на посребренные изморозью окна. Сухая, светлая вступала в права свои зима, и Фолантэн пробормотал, вставая: «Вот как, мороз!» И ощутил себя повеселевшим. Дело не в этом, подумал он, надо искать средство против натисков ипохондрии.

После долгих размышлений он решил жить менее замкнуто, менять рестораны.

Но говорить легко, а на деле это решение оказалось трудновыполнимым. Он проживал на улице Святых Отцов, бедной ресторанами. Шестой округ безжалостен к холостякам. Положительно надо принять священство, чтобы найти здесь помощь — особые обеды в табльдотах, предназначенных духовным, чтобы жить в сплетении улиц, окружающих Сен-Сюльпис. Кто небогат и не может бывать в знатных домах, тому нет снеди вне религии. Не удовлетворявший этим условиям Фолантэн вынужден был столоваться у нескольких трактирщиков, рассеянных поблизости его дома.

Нет, право, начинало казаться, что в этой части округа обитают лишь люди женатые или живущие с наложницами. Если б хватило мужества на переезд отсюда! — вздыхал временами Фолантэн. Но здесь помещалась его канцелярия, здесь он родился, здесь же неизменно проживала его семья. Все его воспоминания были связаны с этим древним мирным уголком, уже обезображенным вновь

проложенными улицами, зловещими бульварами, спалеными летом и обледенелыми зимой, мертвыми проспектами, которые придали кварталу американский облик, навсегда разрушили в нем оттенок интимности и взамен не одарили его ни комфортом, ни радостью, ни жизнью.

Обедать надо на том берегу, повторял Фолантэн, но стоило ему переступить Левый берег, его охватывало глубокое отвращение. Притом же хромота мешала ему ходить, и он ненавидел омнибусы. Ужасался, представив себе вечерние странствия в розысках пищи. Лучше наведаться в те окрестные погребки, во все ближние столовые, которых он еще не посетил.

Первым делом он бежал из ресторана, в котором обычно обедал. Ходил сначала по столовым, где служили девушки, своими костюмами сестер милосердия наводившие на мысль о госпитальной трапезной. Но через несколько дней желудок, и без того уже притупленный кислыми испарениями, отказался поглощать безвкусную говядину, которая делалась еще противнее от цикорных и щавелевых приправ. Что за тоска источалась этим холодным мрамором, кукольными столиками, бесконечно малыми сиденьями, неизменным меню, кусками хлеба! Двумя рядами друг против друга жались посетители, и казалось, что они играют в шахматы, в тесноте расставляя попеременно свои приборы, бутылки, стаканы.

Уткнув нос в газету, Фолантэн завидовал мощным челюстям своих партнеров, разжевывавших жилистые филе, которых не пробивала вилка. Из отвращения к жаркому налег на яйца.

Заказывал их вареными в мешочек. Но обычно они подавались ему чуть не сырыми, и, счищая хлебным мякишем белок, он выуживал чайной ложечкой желток, утопавший в белковой жиже.

Было невкусно, дорого, а главное — уныло. Нет, довольно, сказал себе Фолантэн. Попробуем что-либо другое.

Но повсюду было то же самое. В зависимости от пристанища менялись неудобства. У торговцев отборными винами пища была лучше, вина мягче, порции обильнее, но трапеза длилась зато больше двух часов, ибо слуга обычно прислуживал пьяным, устроившимся внизу перед прилавком. Притом же в этих заведениях на обед однообразно подавали суп, котлеты и бифштекс, а брали дорого, так как, чтобы не сажать с рабочими, хозяин уединял вас в отдельный зал и зажигал два газовых рожка.

Отвратительные сборища, ошеломляющая грязь встречали Фолантэна, когда, спускаясь ниже, он посещал народные харчевни, трактиры последнего разбора. Столы воняли, стаканы хранили еще не изгладившиеся отпечатки ртов, ножи были тупые, сальные, а к жаркому приставали с тарелок брызги съеденных желтков.

Фолантэн спрашивал себя: какая выгода менять столовые, зная, что везде вино приправлено глетом и разбавлено водой, везде сварят яйца не по вкусу, подадут жесткую говядину и повсюду подобны старым тряпкам вареные овощи. Но упрямо стоял на своем: если искать, то, быть может, и найду, — и продолжал бродить по харчевням и кабачкам. Но его озабоченность только возрастала, особенно когда, спускаясь из дому, он на лестницах втягивал ароматы супов, видел полоски света под дверями, встречал людей, шедших с бутылками из погребка, слышал, как хлопотливо спешат по комнатам шаги.

Все, вплоть до благовония, доносившегося из каморки привратника, восседавшего, навалясь на стол локтями, перед миской супа, в парах которого утопал козырек его фуражки, — все усиливало огорчение. Он чуть не начал раскаиваться в том, что отказал мамаше Шабанель — этому ненавистному мамелюку. Будь я при деньгах, рассуждал он, я не расстался бы с ней, несмотря на ее несносные повадки.

Отчаяние овладело им, ибо к нравственным терзаниям присоединилось физическое истощение. Здоровье его,

и без того уже хилое, пошатнулось от скудного питания. Прибег к железу, но все воинственные препараты, которые он поглощал, только закоптили ему внутренности, не оказав другого заметного влияния. Принимал арсеник, и Фоулеровская настойка не укрепила его, но расстроила желудок. Доведенный до крайности, пустил в ход разжигающий хинин. Составлял смеси, соединял одну субстанцию с другой, — напрасный труд! Жалованье иссякало, грудями скоплялись у него в комнате коробки, баночки, флаконы — настоящая аптека, содержащая цитраты, фосфаты-протокарбонаты, молочнистые вещества, сернокислые закиси, йод, железо-йодистые препараты, капли Пэрсона, растворы Дезержье, капсулы Диоскорида, содово-мышьяковые и злато-мышьяковые пилюли, горечавковую и хинную настойки, эссенции кокосовые и колумбиновые!

«И как подумаешь, что все это вздор и выброшенные на ветер деньги!» — вздыхал Фолантэн, с грустью смотря на свои напрасные покупки.

Привратник, хотя никто и не спрашивал его, был того же мнения. Еще неряшливее прибирал теперь комнату и чувствовал, как в нем закипает презрение к этому хилому жильцу, который жить не может без лекарств.

Все так же однообразно тянулась жизнь Фолантэна. У него не хватало сил вернуться в свой прежний ресторан. Добрался раз до двери, но не смог переступить порога, обращенный в бегство запахом жаркого и видом бассейна шоколадно-кремово-фиолетового цвета. Менял таверны, столовые и раз в неделю останавливался в провансальской кухмистерской. Суп и рыба здесь были сносные, но отнюдь не следовало требовать ничего другого; говядину подавали сморщенную, жесткую, как сапожная подошва, и все кушанья источали острый привкус светильного масла.

Подбодряя аппетит, помимо всего прочего притупленный отвратительными питиями кофейных: абсентом, смердящим кожею; вермутом — опивками жестких белых вин; мадерой — водкой, разбавленной карамелью и патокой;



малагой — черносливым соусом на вине; можжевеловой водкой — водой Бото по дешевке от знахарей, — Фолантэн испытал возбуждающее средство, которое действовало на него в детстве — через два дня на третий отправлялся в баню. Такая прогулка радовала его особенно тем, что убивала два часа между канцелярией и обедом, давала возможность, не заходя домой, ожидать трапезы одетым и обутым, с часами в руках. И на первых порах переживал блаженные мгновенья. Плескался в теплой воде. Тешился, вздымая пальцами бури и бороздя потоки. Нежная истома нападала на него под серебристое журчанье падавших из клювов лебедей капель, расходящихся в большие круги, которые ударялись о стенки ванны и содрогались от яростных звонков, несшихся по коридорам и сопровождавшихся шумом шагов и хлопаньем дверей.

По временам наступало молчание; тихо лепетали краны. Отлетали все его горести, и он предавался мечтаньям в окутанной водяными парами каюте, и слабели, рассеивались его мысли, бледнели в тумане, как опалы. В сущности, все к лучшему. Да, грызет его тоска. Но, Бог мой, у всякого свои тягости, а он все же избегнул невзгод супружества — самых острых, наиболее мучительных.

Как низко пал я в тот вечер, когда оплакивал свое безбрачие! И подумать только, что мне, любящему калачиком свернуться под одеялом, пришлось бы не шевелиться, в любое время терпеть прикосновения женщины, утолять ее, когда ничего другого не хочешь, кроме сна!

Еще хорошо, если не будет детей! Полбеда, если женщина окажется искусной или действительно бесплодной. Но разве на это можно полагаться! И готовься тогда к вечным белым ночам, к непрестанной тревоге.

Смотришь, сегодня малыш пищит, потому что у него режется молочный зуб, завтра, наоборот, из-за того, что не режется. Вся комната, конечно, провоняет грязным бельем и испражнениями. И где, главное, залог, что найдешь женщину приветливую, славную девушку? А откуда их взять,

таких жен! Со своим обычным невезением я женился бы на наглай жеманнице, на маленькой ведьме, которая без конца вымещала бы на мне свои женские болезни, обычные последствия родов.

Нет, будем справедливы: во всяком положении есть свои неудобства и тревоги. И потом, подло плодить детей человеку неимущему. Это значит, обрекать их людскому презрению, когда они вырастут. Беззащитных, безоружных ввергать в отвратительную борьбу; преследовать и карать невинных, посылая их начинать жалкую жизнь отца. Ах! по крайней мере, хоть угаснет вместе со мной поколение печальных Фолантэнов!

И утешенный Фолантэн по выходе из бани лакал по-мойный суп и раздирал увлажненную подошву мяса.

Дотянул он так, с грехом пополам до конца зимы, и жизнь потекла сноснее. Кончилось домашнее сидение, и Фолантэн не слишком пожалел о своей теплой дремоте пред камином.

Начались прогулки по набережным.

Уже украсились деревья кружевом желтых листков. Отражая облачную лазурь небес, катилась Сена в крупной сине-белой чешуе, которую пересекали лодки, взбивая пену. Казалось, помолодела окружающая декорация. Как бы ожили и перекрасились две исполинские кулисы: первая, — олицетворенная павильоном Флоры и всем фасадом Лувра, вторая — протянувшая до дворца Академии линию высоких домов. А в глубине, на смягченном, совсем новом, живописном ультрамариновом фоне рисовались башенки Дворца правосудия, игла Сен-Шапель, спираль и башни Нотр-Дама.

Фолантэн любил эту часть набережной, пролежавшую между улицею Бак и улицей Дофина. Выбрав сигару в табачной лавочке возле улицы Бон, прохладжаясь, шествовал он мелкими шажками, скользил рукой по выпуклым перилам или на правой стороне рассматривал книжные прилавки расположившихся под открытым небом букинистов.

По большей части сваленные в лари книги были отбросами книготорговли, ничего не стоящим хламом, мертворожденными романами, изображающими великосветских женщин и кукольным языком повествующими о событиях трагической любви, о дуэлях, убийствах и самоубийствах. Другие все пороки приписывали людям титулованным, все добродетели — народу. Были, наконец, и такие, которые преследовали религиозную цель. По благословию епископа такого-то, они подносили читателю чайные ложечки благословенной воды в сиропе липкой прозы.

Все эти романы были сочинены бесспорными тупицами, и Фолантэн не застаивался перед ними, переводя дух лишь перед стихотворными томиками, привычными к дождю и непогоде. Очевидно, никто не открывал их, и они смотрелись чище, не такими затрепанными. И он проникался милосердным сожалением пред этими покинутыми сборниками. А сколько было их! Сколько их было! Старые, из тех времен, когда вступал в литературу Малек-Адель. Позднейшие, вышедшие из школы Гюго, воспевавшие нежного Мессидора, сень дубрав, божественные чары юной прелестницы, которая в жизни, вероятно, занималась перелицовкой платьев. И все это прочитывалось в маленьком кружке, где, самоуслаждаясь, собирались несчастные поэты. Бог мой! Ведь не рассчитывали они на шумный успех, на рыночный сбыт, не ожидали ничего, кроме легкого одобрения людей изысканных и просвещенных. Но ничто не сбылось, не суждена им даже крупница признания. Изредка пошлая похвала безвестной газетки, благоговейно хранимое забавное письмо великого учителя — только и всего. И Фолантэн думал: всего печальнее, что эти горемыки вправе ненавидеть публику, ибо нет правосудия в литературе. Стихи их не лучше и не хуже тех, которые раскупаются и авторов своих выводят в Институт. В таких мечтаниях раскуривал Фолантэн сигару, узнавал букинистов, которые, как и в прошлом году, суетливые, болтливые, устраивались

возле своих ларей. Узнавал библиофилов, прошлой весною расхаживавших вдоль перил, и восхищался при виде этих незнакомцев. Все они были симпатичны ему, казались добродушными маньяками, славными тихонями, бесшумно изживающими свою жизнь, и он завидовал им.

Если б походить на них, вздыхал он и пытался подражать им, сделаться библиоманом. Справлялся в каталогах, перелистывал словари, книжные объявления, но еще ни разу не находил вещей любопытных и заранее угадывал, что даже обладание ими не заполнит тоскливой пустоты, которая медленно овладевала всем его существом. Увы! влечение к книгам не прививалось, да и что мог бы добывать себе Фолантэн? Антикварные редкости были ему недоступны по его скудным средствам. Не любил он ни великосветских романов, ни романов с похождениями. Гнушался водянистой стряпней Фелье и Шербюлье. Его тянуло к описаниям действительной жизни. И подобранная им библиотека не превышала пятидесяти томов, которые он знал и любил. Скудость книг для чтения не последнее место занимала в его горестях. Тщетно пытался пристраститься к истории. Однако не пленяли и не убеждали его все эти сложные объяснения простых событий. Но от нечего делать рылся в книгах, не надеясь наткнуться на томик, который бы он пожелал присоединить к своим. Тешился прогулкой и, наскучив перетряхивать бумажную пыль, склонялся над крутизной, любуясь зрелищем просмоленных судов с каютами, расписанными густо-зеленой краской, и с высокой мачтой, водруженной на деке. Зачарованный, простаивал, смотря на котел, под открытым небом дымившийся на тагане; на вечную черно-белую собаку, бегающую вдоль борта, загнув трубою хвост; на примостившихся около руля белокурых детей с нависшими на лоб волосами и засунутыми в рот пальцами.

Хорошо бы пожить так, думал он, и невольно улыбался своим ребяческим мечтам. Даже рыболовы, выстроившие-

ся недвижимой цепью, разделяемые коробками с червями, возбуждали в нем приязнь.

В такие вечера Фолантэн чувствовал себя моложе, бодрее смотрел на часы и, если до обеда оставалось еще долго, переходил через мостовую на противоположный тротуар и поднимался вдоль домов. Брел, заглядываясь и здесь на книги, корешки которых вытягивались в витринах; восторгался древними переплетами из гладкого красного сафьяна, на котором золотились тисненные гербы. Как и подобало дорогим изданиям, книги эти прятались за стеклами, и касаться их могли одни лишь избранные. И он проходил дальше; рассматривал магазины, наполненные старинной дубовой мебелью, от которой тщательная починка не оставила ни одного прежнего кусочка; лавки, предлагавшие старые руанские тарелки, выделяемые в Батиньоле, большие мустьерские блюда, обожженные в Версале, картины Гоббеми: ручеек, водяная мельница, дом, увенчанный черепичной кровлей и осененный группой деревьев, окутанных потоком желтого света; картины, изумительно малюемые неким живописцем, влезшим в шкуру старого Мейндерта, но неспособным усвоить манеру никакого другого мастера и самостоятельно, конечно, не создавшим ни единой собственной картинки. И беглым взглядом в дверь Фолантэн пытался пронизать глубину лавки, где никогда не видал покупателей; лишь старушка обычно ютилась в подобии ниши, выгороженной среди беспорядочного смешения товаров, и устало раскрывала рот в долгом зевке, который заражал кошку, прикорнувшую на консоле.

Странно, однако, думал Фолантэн, как меняются торговки стариной. Изредка проникая в кварталы Правого берега, он ни разу не встречал среди груды редкостей славных старых дам вроде этой, но всегда мелькали из-за стекол высокие, красивые, раскованные женщины лет тридцати-сорока, тщательно напомаженные, с накрашенным лицом. Смутный аромат проституции исходился из этих

магазинов, где глазки продавщицы предназначены умасливать скупых покупателей. Да, исчезает ласковый уют. Перемещаются центры. Все антиквары, все торговцы редкими книгами ныне прозябают на этом берегу и покидают его по мере того, как исчезают покупатели. Через десять лет всю набережную здесь завоюют кофейни и таверны. Ах! Париж становится решительно каким-то сумрачным Чикаго! И объятый грустью Фолантэн повторял: используем срок, дарованный нам перед окончательным вторжением скотства Нового Мира. По-прежнему гулял, останавливаясь перед лавками эстампов, где были напоказ вывешены произведения XVIII века, хотя гравюры того времени, в сущности, совсем не нравились ему своим цветом, а обрамлявшие их в большинстве витрин английские гравюры — своими черными тонами. Он жалел о фламандских эстампах повседневной жизни, загнанных в папки влечением коллекционеров к французской школе.

Наскучив шататься перед антикварными магазинами, заходил для разнообразия в зал телеграмм какой-нибудь газеты — зал, украшенный рисунками и картинами, изображающими итальянок, алмей, младенцев, обнимаемых матерями, средневековых пажей, на балконах пощипывающих мандолины, — целой серией мазни, предназначенной, очевидно, для украшения гостиных. И отвернувшись, проходил, предпочитая лицезреть фотографии убийц, генералов, актрис, всех этих людей, которые преступлением, резней, шансонеткой на неделю выдвинулись над толпой.

Впрочем, обозрение было малоутешительным, и, выбравшись на улицу Бон, Фолантэн вдосталь дивился несокрушимому аппетиту извозчиков, которые располагались в кабачках, и, глядя на них, как бы запасался голодом. Ощущал желание поесть при виде этих блюд говядины, покоившейся на толстом капустном ложе, этих бараньих рагу, едва умещавшихся на небольших тяжелых тарелках, этих треугольников бри, этих наполненных стаканов. Его возбуждали эти люди, за обе щеки уплетающие огромные ку-



ски хлеба, державшие в грубых руках ножи острием вверх и облаченные в кожаные выгоревшие шляпы, которые опускались и поднимались в такт чавкающим челюстям. И Фолантэн уходил, стараясь в пути сохранить аппетит. К сожалению, стоило ему только усесться в ресторане, как сжималось горло, и он грустно созерцал жаркое, вопрошая себя, какой прок ему от горького корня, который маринуется у него в графине на письменном столе.

Прогулки все же разгоняли слишком мрачные мысли. Так проводил он лето: до обеда ковылял вдоль Сены, а поднявшись из-за стола, присаживался где-нибудь к дверям кофейной. Курил, втягивал легкую сырость и, несмотря на отвращение к венскому пиву, изготавливавшемуся по фландрийской дороге выпивал два бокала, мало склонный укладываться спать.

В это время года менее тяжело протекала жизнь и днем. В одном жилете дремал он у себя в бюро, сонно внимая повествованиям сослуживца, а пробудившись, опаживался календарем, работал меньше, продумывал маршруты прогулок. Прекратилась тоска зимнего расставанья с натопленной канцелярией, когда надо было промокшими ногами бежать обедать и возвращаться домой в холодную комнату. Наоборот, испытывал облегчение, вырываясь из зловонного покоя, обдававшего запахом пыли и промозглой затхлостью папок, бумаг, чернильниц.

Удобнее, наконец, теперь жилось ему и дома. Привратнику не надо было растапливать камина, и Фолантэн примирялся с плохо взбитой, неоправленной постелью. Голый ложился на простынях и одеялах. Наслаждался сознанием, что лежит один, растянувшись, в душные ночи, когда потеешь как в бане, ворочаясь на пыльной простыне. Жаль мне людей, спящих вдвоем, думал он, перекатываясь на постели в поисках местечка посвежей. И судьба в такие мгновенья казалась ему милосердной, не столь ожесточенной.

### III

Скоро смягчилась гнетущая жара, укоротились дни, посвежел воздух, потускнели, как бы подернулись плесенью раскаленные голубые небеса. Осень возвращалась, неся туманы и дожди. Фолантэн ужаснулся, предвидя томительные вечера, и вновь отдался своим замыслам. Решил первым делом порвать с своею нелюдимостью, навещать столовые, знакомиться с сотрапезниками, даже бывать в театрах.

Случай помог ему. На пороге канцелярии столкнулся он однажды с знакомым. Целый год обедали они бок о бок, предостерегали друг друга от кушаний испорченных или невкусных, одолжались газетой, обсуждали достоинства различных поглощаемых ими железистых препаратов, в течение месяца дружно пили смоляную воду, изрекали предсказания о переменах погоды и соединенными усилиями искали для Франции дипломатических союзов.

Этим ограничивались их сношения. Обменявшись на тротуаре рукопожатием, расходились каждый своей дорогой. Фолантэн, однако, печалился исчезновением единомышленника и теперь порадовался этой встрече.

— Вы, Мартине! Как поживаете?

— Фолантэн! Ба! Сколько лет, сколько зим! Что подельваете?

— Ах вы изменник! Какой унес вас дьявол? — пошутил Фолантэн.

И разговорились по душам. Мартине, ныне пользовавшийся столом некоего табльдота, не преминул расписать его баснословными хвалами.

— От восьмидесяти до ста франков в месяц. Чистота, порядок. Наедаешься досыта, сидишь в приятном обществе. Вам обязательно следует там отобедать!

— Я недолюбливаю табльдотов, — ответил Фолантэн. — Вы знаете, я несколько нелюдим. Никак не решусь беседовать с незнакомыми.

— Кто заставляет вас беседовать! Вы у себя дома. Там не сидят все вместе вокруг одного стола. Там точно так же, как в любом большом ресторане. Послушайте меня, испытайте... Идем сегодня вечером.

Фолантэн не решался, колеблясь между приятной перспективой насыщаться не в одиночестве и страхом, который внушали ему всякие людные трапезы.

— Смелее! Вы не должны отказываться, — настаивал Мартине, — иначе я вас назову предателем! В кои веки встречаюсь с вами, и вы покидаете меня!

Фолантэн боялся показаться неучтивым и уступчиво последовал за товарищем по лабиринту улиц.

— Здесь. Надо подняться. — И Мартине остановился на площадке перед зеленой дверью.

Громкий звон тарелок и неумолчное гуденье голосов доносились оттуда. Открылась дверь, и с шумом какие-то люди ворвались на лестницу, постукивая тростями о порог.

Фолантэн и спутник его посторонились, затем, в свою очередь, толкнули дверь и вошли в бильярдную. Фолантэн отпрянул, задыхаясь. Комната утопала в густом табачном дыму, в который вонзались удары киев. Мартине повлек своего гостя в смежную комнату, еще гуще, пожалуй, окутанную дымом. Почти невидимые, лишь угадываемые по легкому колебанию воздуха, двигались тела среди попыхивающих носогреек, среди взрывов хохота и громающих костей. Оглушенный Фолантэн остановился, ощупью отыскивая стул. Мартине исчез. Фолантэн смутно видел, как в облаке выплывает он из двери.

— Надо немного подождать, все столы заняты. О, не беспокойтесь — недолго.

Прошло полчаса. Много отдал бы Фолантэн, чтобы никогда не переступить порога этого заведения, где можно курить и нельзя есть. Мартине выбегал время от времени и удостоверился, что все еще нет свободных стульев.

— Два господина принялись за сыр, — сообщил он с довольным видом, — я занял их места.

Прошло еще полчаса. Фолантэн подумывал, не ускользнуть ли ему на лестницу, пока товарищ выслеживает свободный стол, как Мартине вернулся и возвестил об отбытии обоих сыроедов. Они проникли в третью комнату и уселись, теснясь, как сельди в бочке.

На теплую скатерть, выпачканную соусными пятнами и усыпанную хлебными крошками, швырнули им тарелки и подали жесткое, жилистое жаркое, безвкусные овощи, упругий, коробившийся под ножом ростбиф, салат и десерт. Фолантэну зал напоминал трапезную пансиона, но пансионера худо содержащегося, где позволяется застольный рев. И правда, не хватало лишь ковшей с вином, всласть разбавленным водой, да опрокинутого блюдечка, с которого, выискав местечко почище, выложили чернослив и варенье.

Еда и напитки были, конечно, ужасны. Но еще ужаснее было окружавшее общество. Кушанья приносили тощие служанки, иссохшие, с резкими и суровыми чертами лица, с враждебными глазами. При виде их человеком овладевало совершенное бессилие. Посетитель чувствовал, что за ним надзирают, и ел робко, с опаскою, не смея оставить кожу или жилы и боясь вторично наложить себе кушанья под этими испытующими глазами, заглядывавшими в рот и загонявшими назад в утробу аппетит.

— Ну, что я вам говорил, славно здесь, не правда ли? — настаивал Мартине. — А каково мясцо!

Фолантэн не проронил ни слова. Оглушительно гудели вокруг него за столами.

Всевозможные племена юга заполняли стулья, харкали, катались в грязи, рычали. Выходцы из Прованса и Лозеры, гасконцы, уроженцы Лангедока — все эти люди с помраченными эбеновой щетиной, с волосатыми пальцами и ноздрями, с раскатистыми голосами неистовствовали как

угорелые. И подчеркнутая судорожными жестами речь их дробила фразы, хаотическая смесь которых сыпалась на барабанную перепонку.

Почти все принадлежали к учащейся молодежи, к той славной молодежи, которая пошлостью своих мыслей обеспечивает правящим классам бессмертную преемственность их тупоумия. Перед Фолантэном разворачивались все общие места, все плоскости, все устарелые литературные мнения, все парадоксы, истрепанные вековым употреблением.

Ум рабочих казался ему изысканнее, и более утонченным — разумение приказчиков. Помимо всего еще стояла удушливая жара. Пары стлались над тарелками, обволакивали стаканы. Табачные выделения прорывались в бурно сотрясаемые двери. Прибывали все новые стада студентов. И своим нетерпеливым ожиданием давили сидящих за столом. Словно в железнодорожном буфете, через силу пожирались двойные куски и наскоро глоталось вино.

Так вот он, тот самый табльдот, который некогда выкармливал начинающих политиков, — думал Фолантэн, и сердце заныло у него при мысли, что люди, вакханалией своей ныне наполняющие эти залы, сделаются, в свою очередь, важными особами, будут осыпаны почестями и должностями.

Лучше жрать дома колбасу и пить простую воду, нежели обедать здесь, думалось ему.

— Хотите кофе? — спросил Мартине любезным тоном.

— Нет, благодарствуйте, я задыхаюсь — пойду на свежий воздух.

Но Мартине не расположен был с ним расставаться. Догнав на площадке, он взял его под руку.

— Куда ведете вы меня? — уныло спросил Фолантэн.

Мартине ответил:

— Видите ли, дорогой товарищ, я замечаю, что табльдот мой вам не очень нравится...

— Нет, почему же... почему же... За такую цену там кормят изумительно... Одно лишь — несносная жара, — робко промямлил Фолантэн, боясь, что сотрапезник оскорблен его бегством и пасмурным выражением лица.

Мартине сердечным тоном продолжал:

— Знаете, мы так редко видимся, и мне неприятно будет, если вы расстанетесь со мною под дурным впечатлением. Кстати, как бы нам убить вечер? Если вы любитель театра, то не отправиться ли в комическую оперу? Мы еще не опоздали, — заметил он, взглянув на часы. — Сегодня вечером идет «Ричард Львиное Сердце» и «Лужайка Клерков». Ну, что вы скажете?

— Как вам угодно. — Быть может, это развлечет меня, думал Фолантэн. Да и неудобно отказывать этому славному парню, которому я уже охладил столько восторгов.

— Вы позволите вас угостить сигарой? — спросил он, заходя в табачную лавочку.

Тщетно старались они возбудить воспламеняемость гаванн, которые отзывались капустой и не курились. Еще одно исчезающее наслаждение, подумал Фолантэн, — не достать нынче сносной сигары даже за дорогую цену!

— По-моему, лучше бросьте, — продолжал он, обращаясь к Мартине, который надувался, затягиваясь гаванной, слегка дымившейся из-под коробившейся оболочки. — Но вот мы и пришли. — И подбежав к окошечку, Фолантэн купил два места в партере. В пустой зале начался «Ричард».

Фолантэн испытывал странное ощущение во время первого акта. Цепь клавишных песенок напомнила ему музыкальный прибор в одном из кабачков, где он иногда бывал. Старинные мелодии журчали и звенели, когда рабочие вращали рукоятку. Нечто весьма протяжно-нежное слышалось, а изредка ноты хрустальные, звонкие врывались в механическое гуденье ритурнелей.

Иное впечатление породил в нем второй акт. Облик бабушки воскресила песнь «Пылающая лихорадка», которую



та мурлыкала, восседая на утрехтском бархате своего вольтеровского кресла. И на миг ощутил во рту вкус бисквитов, которыми старая дама угощала его, если он — совсем тогда еще ребенок — вел себя послушно. И он перестал следить за представлением. Певцы были совершенно безголосые, только и делали, что трубочкой вытягивали рты над рампой. Оркестр дремал, утомившись выбивать пыль из этой музыки.

В третьем акте Фолантэн уже не думал ни о кабачке, ни о своей бабушке, но почувствовал вдруг запах принадлежавшего ему старинного ларца, аромат туманный, заплесневелый, как бы хранивший дыхание корицы. Бог мой! какая старина!

— Красивая опера, правда? — осведомился Мартине, беря его под руку.

Фолантэн упал с небес. Разрушилось очарование. Они поднялись, когда опускался занавес, приветствуемый хлопками клаки.

Фолантэна ужаснула сменившая «Ричарда» «Лужайка Клерков». Когда-то он восторгался знакомыми мелодиями. А теперь все эти романсы казались ему ходульными, крикливыми и раздражали исполнители. Тенор на сцене держал себя как полотер, гнусавил, когда невзначай его глотка исторгала высокие ноты. Не лучше были декорации и костюмы. В любом заграничном или провинциальном городе публика свистала бы, ни за что не стерпела бы столь смешотворного певца, таких жалких певец. И однако, зал наполнялся, и зрители рукоплескали ариям, подчеркнутым неумолимой клакой.

Фолантэн неподдельно страдал. Рассеялись добрые воспоминания, уцелевшие у него о «Лужайке Клерков».

Все, как назло, против меня — мысленно молвил он с тяжелым вздохом.

И когда Мартине, восхищенный времяпрепровождением, предложил ему возобновлять иногда эти увеселительные прогулки, вместе отправиться, если угодно, в Комедию,

Фолантэн возмутился, забыл, что принял решение блюсти учтивость, и яростно объявил, что ноги его не будет в этом театре.

— Но почему же? — спрашивал Мартине.

— Почему? Да прежде всего потому, что если б нашлась даже пьеса правдивая и хорошо написанная, — а я лично не знаю ни одной такой, — то я прочел бы ее дома в кресле. А во-вторых, я вовсе не нуждаюсь в услугах скорморохов, по большей части невежественных, которые пытаются передать мне мысли господина такого-то, поручившего им торговать своим товаром.

— Но позвольте, — возразил Мартине, — не отрицаете же вы, что актеры французского театра...

— Они! — воскликнул Фолантэн. — Полноте, бросьте! Они холопы Пале-Рояля, соусники — только и всего! Годятся лишь поливать подносимые им яства соусами — неизменным белым соусом, если идет речь о комедии, и вечным красным соусом, когда ставится драма. Изобрести третий соус они не способны. Впрочем, им не позволила бы этого традиция.

Ах! это пошлые образцы истинного рутинерства! Но надо отдать им справедливость, они постигли значение рекламы. У больших модных магазинов заимствовали того сановитого человека, которого в полном блеске там выставляют напоказ, дабы он возвышал своим присутствием обаяние торгового дома и привлекал покупателей!

— Но согласитесь сами, Фолантэн...

— Никаких «но», это так и есть. Но, в сущности, я ничуть не досаую на случай, который позволил мне откровенно высказаться о лавочке Коклена. А затем, дорогой мой, всего наилучшего! Я очарован нашей встречей. Лышу себя надеждой... до скорого свидания!

Вечер этот повлек за собой благотворные последствия. Вспоминая его томительность, его мучения, Фолантэн примирялся с обедами где придется и начал ценить вечера, проведенные у себя в комнате. Рассудил, что одиночество

имеет свою хорошую сторону и что лучше наедине перебирать воспоминания и забавляться сказками с самим собой, чем вращаться в обществе людей, с которыми ни убеждений общих нет, ни вкусов. Потухло желание приблизиться, коснуться локтя соседа, и еще лишний раз повторил он безотрадную истину: когда исчезнут старые друзья, не следует искать новых, надо решиться жить особняком, привыкать к уединению.

Пытался сосредоточиться, развлечься мелочами, делал бодрящие выводы из жизни, которую он наблюдал вокруг своего стола. В течение некоторого времени обедал в маленькой столовой близ Красного Креста. Учреждение это обычно посещалось людьми пожилыми, старыми дамами, ежедневно приходившими сюда в шесть без четверти, и тишина зальца вознаграждала Фолантэна за однообразие яств. Казалось, что у гостей этих нет ни семьи, ни дружеских привязанностей, и отыскав сумрачный уголок, они в молчании отбывают повинность. И Фолантэну легче дышалось в этом мире обездоленных людей, замкнутых и учтивых, без сомненья знавших лучшие дни и более содержательные вечера.

Почти всех их он признал в лицо и ощущал свое сродство с этими прохожими, которые нерешительно выбирали кушанье по карточке, крошили хлеб, почти не пили вина и вместе с обветшавшим желудком несли скорбную пустоту жизни, влачимой без надежды и без цели.

Не слышно было там ни криков, ни шумливых зовов. Тихим голосом спрашивали посетителей служанки. Никто из этих мужчин и дам ни разу не обменялся ни единым словом, и, однако, они приветливо раскланивались, входя и уходя, вносили в эту харчевню привычки светских гостиных.

Я, в сущности, гораздо счастливее всего этого люда, думал Фолантэн. Они, быть может, оплакивают детей, жен, погибшее богатство, жизнь когда-то горделивую, а ныне поверженную в прах.

И в сочувствии к другим слабело чувство жалости к себе. Возвратившись домой, он невольно помышлял, что горести его довольно пусты и бедствия не слишком глубоки.

Сколько людей в этот час блуждают по мостовой без крова! Сколькие позавидовали бы моему большому креслу, камину, неистоцимому кisetу с табаком!

И опаяя туфли, разводил он пламень камина, стряпал золотистые, горячие гроги. Рассуждал, что жизнь была бы вполне сносно́й, если б попадались у книготорговцев книги истинно художественные. Так протекали недели, и сослуживец его объявил, что Фолантэн молодеет. Он болтал, с ангельским долготерпением выслушивал всякий вздор, проявлял даже участие к недугам своего товарища. С наступлением холодов аппетит стал правильнее, и такое улучшение Фолантэн приписывал поглощаемым им креозотовым винам и марганцовым препаратам.

Наконец-то наткнулся он на лекарство вернее и действеннее всех прочих. И расхваливал его всем, с кем встречался.

Дотянул так до зимы. Но с первым снегом вернулась меланхолия. Наскучила столовая, в которой он обедал с осени, и Фолантэн опять принялся за свои розыски, питался наудачу где попало, странствовал, переходил не раз на тот берег, везде испытывая новые рестораны. Но слуги в сумятице носились, не отвечая на призывы, или, швырнув на стол кушанье, убегали, когда у них просили хлеба.

Пища была не лучше, чем на Левом берегу, а прислуживали заносчиво и нерадиво. Фолантэн махнул рукой и отныне не покидал своего округа, твердо решив впредь не сниматься с якоря.

Вновь пропал аппетит. Еще лишний раз засвидетельствовал он бесполезность желудочных и возбуждающих, и присоединились к другим лекарствам в шкаф те самые снадобья, которые недавно он столь превозносил.

Что делать? С грехом пополам истекала неделя будней. Но тяжко давило воскресенье.

Раньше он в праздники любил бродить в пустынных кварталах, шагать по улочкам забытым, по улицам провинциальным, бедным, и в окна нижних этажей подсматривал тайны небогатых очагов. Но ныне разрушены улицы спокойные, немые, сметены любопытные переулки. В полуоткрытые ворота не увидишь теперь старых зданий; не заметишь ни клочка сада, ни колодезной кровли, ни уголка скамьи. Не натолкнет такой двор на думы о жизни менее жестокой, менее отвратительной, не помечтаешь о тех временах, когда удастся, быть может, удалиться в тишь и отогреть свою старость на покое.

Все исчезло. Нет ни лиственной опушки стен, ни деревьев, и куда ни глянешь — одни лишь бесконечные казармы. И в этом новом Париже Фолантэн испытывал чувства тоски и страха.

Он ненавидел роскошные магазины и ни за что в мире не переступил бы порога нарядной парикмахерской или одной из тех новых бакалейных лавок, где в сиянии газа переливается выставка товаров. Любил лавки старинные, простые, где вас встречают радушно и без притязаний, где торговец не старается пустить вам пыль в глаза, не унижает вас своим богатством.

И он отказался от воскресных прогулок среди всей этой безвкусной роскоши, которая вторгается даже в предместья. В отличие от прежнего, его перестали тешить блуждания по Парижу. Чувствовал себя более хилым, более маленьким, затерянным, одиноким меж высоких домов с вестибюлями в мраморной одежде, с безрадостными привратничками, которые подражают манерам мещанских гостиных.

И все же часть его квартала пребывала неприкосновенной, возле обезображенного Люксембурга хранила благотворную интимность площадь Сен-Сюльпис.

Иногда завтракал в винном погребеке, образовавшем угол улиц Старой Голубятни и Бонапарта, и, сидя в антресоли у окна, погружался в созерцание площади, смотрел на

выходящих от обедни детей, которые немного впереди родителей с книгами в руках спускались с паперти, — на всю эту толпу, растекавшуюся вокруг фонтана, украшенного епископами, приютившимися в нишах, и львами, которые восседают на задних лапах над водоемом.

Несколько нагнувшись над балюстрадой, Фолантэн видел угол улицы Сен-Сюльпис — страшный угол, терзаемый ветрами с улицы Феру и также занятый виноторговцем, у которого угощались спяемые жаждой певчие. Его привлекала эта часть площади, и он с любопытством разглядывал людей, которые, схватившись руками за шляпы, пошатываются от ветра подле широких бурых кузовов омнибусов Лавилет, друг за другом выравнивавшихся вдоль тротуара.

Площадь оживлялась, но не было ни шума, ни веселья. Отдыхавшие фиакры дремали перед пятисантиметровой уборной и пивной. Огромными желтыми батиньольскими омнибусами с грохотом бороздились улицы, пересекаемые маленькими зелеными омнибусами Пантеона и двухконными бледными каретами Отейля. В полдень семинаристы потупив глаза выступали попарно вереницей механической походкой автоматов, длинной черно-белой лентой развертывались от Сен-Сюльпис до семинарии.

Обливаемая солнцем площадь становилась восхитительной. Золотились высокие башни храма, золотые вывески пламенели, обрамляя лавки риз и причастных чаш, оживали, ярче вспыхивали краски большой вывески перевозчика, и приютившаяся на ограждении писсуара реклама красильщика — две алых шляпы, блистающие на черном фоне — пробуждала мысли о пышностях религии, о высоких степенях священства в этой местности дьячков и ханжей.

Добавим, что ничего нового не открывалось Фолантэну в этом зрелище. Не раз бродил он в юности по площади, чтобы взглянуть на старого вепря, в те времена служивше-



го украшением дома Бэйли. Не раз по вечерам внимал возле фонтана стенаньям уличного певца, не раз бродил возле семинарии в дни цветочного рынка.

Уже давно испил он прелесть этого безмятежного уголка, и, чтобы вновь смаковать его, надо было наведываться сюда пореже, посещать после долгих промежутков.

Площадь Сен-Сюльпис теперь уже не была его воскресным утешением, и воскресенью он предпочитал будни, когда хождение на службу скрадывало его праздность. Ах это воскресенье, оно решительно тянулось бесконечно! Позавтракав немного позже обычного, Фолантэн насколько возможно засиживался за столом, чтобы привратник успел прибрать комнату, — но к его приходу она не бывала никогда готова: спотыкался о скатанные ковры, шествовал в облаках, вздымаемых метелкой. Раз, два — и лентяй, оправив постель, расстилал ковры, а потом уходил под предлогом, что не хочет беспокоить постояльца.

Фолантэн прикасался к мебели, и пальцы его покрывались слоем пыли, развешивал сваленное на стуле платье, кое-где отбивал удар метелкой и насыпал песку в плевательницу. Иногда проверял белье, принесенное прачкой. Но при виде разодранных рубашек его обуревало такое отвращение, что он швырял их в ящик комода, не считая.

Сравнительно легко заполнялся день до четырех. Он перечитывал старые письма родных и друзей, давно умерших. Перелистывал кое-какие книги, смаковал отборные страницы, но часам к пяти начиналась его мука. Близился миг переодеванья. Его голод испарялся при мысли, что надо уходить из дому, и случались воскресенья, когда Фолантэн не шевелился или в туфлях спускался и покупал два хлебца, паштет, сардины, чтобы насытить запоздалый аппетит.

В шкапу у него всегда хранилось немного шоколада и вина, и он закусывал, блаженно сознавая себя дома, радуясь, что может раскинуться, расправить локти, не

стесненный отведенным местом ресторана. Лишь ночи бывали тяжелы. Внезапно пробуждался в судорожном трепете, и бессонница длилась иногда целый час, а во мраке оживали все скорбные думы, осаждали те же самые печали, как и днем, и он начинал сожалеть, что у него нет сожительницы.

Брак в мои годы невозможен. Ах, если б в юности была у меня любовница и если б сберечь ее, я вместе с ней провел бы остаток моих лет и, приходя домой, находил бы зажженный огонек, приготовленную трапезу. По-иному устроил бы свою жизнь, если б можно было начать жить сызнова! Запасся бы подругой старых дней. Нет, правда, я слишком переоценил свои силы, мне долгие не стерпеть!

И утром вставал с разбитыми ногами, с тупой, туманной головой.

Приспело мучительное время. Зима свирепствовала, и так манило сидеть дома; такими ненавистными казались столовые, где то и дело распахивались двери. Вдруг у Фолантена появилась надежда. Однажды утром он заметил, что на улице Гренель водворяется новая кондитерская. Над окнами пламенели медные буквы надписи: «Отпускаются обеды на дом».

У Фолантена закружилась голова. Неужели суждено сбыться заветной, взлелеянной мечте и он сможет трапезничать дома? Но остановился в унынии, вспомнив, как тщетно разыскивал он в этом квартале харчевню, которая согласилась бы посылать на дом кушанье.

Наконец вошел, рассудив: спросить ведь ничего не стоит.

— Конечно, сударь, — ответила укрывавшаяся за прилавком молодая дама, стан которой утопал в тартинках и пирожных. — Вы живете от нас в двух шагах, ничего нет проще. В котором часу прикажете вам доставлять?

— В шесть, — ответил Фолантен, весь задрожав.

— Отлично.

Чело Фолантена омрачилось.

— Мне, видите ли, — продолжал он, слегка запинаясь, — хотелось бы получать суп... жаркое... овощи. Сколько это будет стоить?

Дама, видимо, погрузилась в размышление. Задумчиво подняв глаза бормотала:

— Суп... жаркое... овощи. Вина вам не нужно?

— Нет, у меня свое.

— В таком случае два франка, сударь.

Лицо Фолантэна просветлело.

— Хорошо, я согласен. А когда мы начнем?

— Когда вам угодно. Если хотите, сегодня вечером.

— Отлично, сударыня, сегодня же вечером. — И поклонился, почтенный из-за прилавка поклоном столь глубоким, что нос дамы чуть не пробуравил пирожного и не пронизал тартинок.

На улице Фолантэн остановился, пройдя несколько шагов. Неужели правда! Вот счастье! Но потом умерил свою радость. Пускай пиршество мое окажется лишь сносным! Довольно! Я не вправе быть особенно разборчивым, столько гнусных яств переел я за свою бедную жизнь! Дама мила, продолжал он свои думы, некрасива, но у нее выразительные глаза. Дай ей Бог всяческой удачи! И ковыляя, мысленно пожелал процветания кондитерской.

Затем хитроумно отразил неудобства первого вечера. Заказал у бакалейщика шесть литров вина, а придя в канцелярию, составил листок съестных закупок.

Варенье.

Сыр.

Бисквиты.

Соль.

Перец.

Горчица.

Уксус.

Масло.

Хлеб мне каждодневно будет доставлять привратник. Ах! черт возьми, — если удастся, я спасен!

Жадно ожидал, когда кончится день. Мечтал в одиночестве насладиться своей радостью, и нетерпение замедляло время.

То и дело посматривал на часы.

Сослуживец улыбнулся, изумленный восторженным видом грезившего о своем жилище Фолантэна.

— Сознайтесь, что вас ждет она, — заметил он.

— Кто это она? — спросил сильно удивленный Фолантэн.

— Полноте, старого воробья на мякине не проведешь, шутки в сторону, — белокурая она или брюнетка?

— О, друг мой, смею заверить вас, что мне есть о чем подумать кроме женщины.

— Да, да, знаю... Рассказывайте! Ах! ах! Притворщик, да, вам пальца в рот не клади, да!

— Послушайте, господа, сейчас же перепишите это. Обе бумаги нужны мне для подписи сегодня вечером. — И вошедший начальник исчез.

— Это нелепо, четыре убористых страницы, мне не управиться к пяти часам, — ворчал Фолантэн. Бог мой, как глупо! — жаловался он ухмылявшемуся сослуживцу.

— Что делать, милейший, начальство не может входить в наши делишки!

Кляня судьбу, окончил с грехом пополам работу и кратчайшим путем вернулся к себе, нагруженный свертками; и карманы его оттопыривались от закупок. Добравшись до дому, вздохнул свободнее, разоблачился, обмахнул салфеткой свою скудную посуду, вытер стаканы и, желая выправить лезвия ножей, придал им некоторый блеск, погрузив клинки в землю старого цветочного горшка за неимением точила и брусков. Уф! Все готово, — вздохнул он, придвигая стол к камину. Пробыло шесть.

С нетерпением ждал Фолантэн мальчика из кондитерской, слегка сжигаемый той самой лихорадкой, которая в юности не давала ему усидеть на месте, когда, бывало, он поджидал на условленное свиданье запоздавшего друга.

Задрезбезжал наконец в шесть с четвертью звонок, и задорный мальчуган показался, сгибаясь под бременем большой эмалированной ведроподобный кастрюли. Фолантэн помог расположить на столе тарелки и раскрыл их, оставшись один. Увидел маниоковый суп, жареную телятину, цветную капусту под белым соусом.

Не худо, подумал он, одно за другим пробуя кушанья. И аппетитно наевшись, выпив немного больше обычного, впал в тихие грезы, увлеченный созерцанием своей комнаты. Издавна шевелилось в нем намерение украсить свое жилище, но он всегда обрывал себя, повторяя: баста! К чему это! Я не живу дома. Если впоследствии смогу создать иную жизнь, тогда устрою свою обитель. И ничего не покупая, мысленно отбирал, однако, немало безделушек, на которые зарился, скитаясь по набережным и улице Ренн.

Он осушал последний стакан, и, как по мановению ока, внедрилась в него мысль убрать ледяные стены своей комнаты. Испарились былые колебания. Твердо решившись израсходовать деньги, которые он копил для этого несколько лет, Фолантэн пережил восхитительный вечер, заранее распределяя наряды своего убежища.

Встану завтра пораньше, первым делом произведу обход торговцев утварью и редкостями, завершил он свои думы.

Кончилось уныние, им овладела новая цель. Он ожил, поглощенный заботою разыскать несколько гравюр, несколько фаянсов за не слишком дорогую цену, и после канцелярии спешил, как в лихорадке, карабкаясь по этажам Дешевого Рынка и Святого Фомы Малого, перебирал груды тканей, одни находил слишком темными, другие — очень светлыми, то слишком широкими, то слишком узкими, отвергал брак и остатки, которые старались всучить приказчики, вынуждал их выкладывать товары более добротные. Не унимался, и, заставив их провозиться с собой целые часы, кончил тем, что попросил показать ему готовые занавеси и прямо пленившие его ковры.

Остался без гроша после этих закупок и яростных пререканий с продавцами редкостей и гравюр. Исчерпались все его сбережения. Но подобно ребенку, которому дарят новые игрушки, исследовал, перебирал Фолантэн со всех сторон свои покупки. Вскрабавшись на стул, прикреплял рамы и в ином порядке разместил свои книги. Уютный уголок, думалось ему. И впрямь комната сделалась неузнаваемой. Вместо продырявленных бумажных обоев, хранивших старые следы гвоздей, стены исчезали под гравюрами Остаде, Тёрнера, всех живописцев реальной школы, которыми Фолантэн безумно увлекался. Любитель, конечно, пожал бы только плечами пред этими неизвестными гравюрами, но Фолантэн не был ни любителем, ни богачом. Покупал главным образом сюжеты жизни смиренной, которые тешили его, и смеялся над подлинностью своих старых блюд, лишь бы краски переливались и оживляли стены комнаты.

Не мешало бы переменить мою мебель красного дерева, раздумывал он, смотря на массивную кровать, два вольтеровских кресла, обтянутые красных бархатом, расколотый мраморный туалет. Но, пожалуй, это обойдется слишком дорого, и в общем обстановка достаточно обновилась занавесами и коврами, а мебель, подобно моему старому платью, сжилась с моими привычками и движениями.

С каким наслаждением входил теперь Фолантэн к себе, зажигал полный свет и опускался в кресло. Мороз, казалось, бессилен был проникнуть в этот интимный, заботливо обновленный уголок. И блаженство его усугублялось падающим снегом, который заглушал все уличные шумы. Чарованьем дышал обед, когда, протянув ноги к камельку, Фолантэн сидел перед тарелками, гревшимися у камина, подле нагретого вина. И в безмятежном покое улетучивались скучные заботы канцелярии, таяла печаль безбрачия.

Не прошло, однако, и восьми дней, как кондитерша стала сдавать. Неизменный маниоковый суп изобиловал комками, а бульон изготовлялся химическими средствами. Соус жаркого отзывался острым запахом ресторанной мадеры, и все яства отличались каким-то совершенно особым, неопределенным привкусом, напоминавшим слегка заплесневелый клейстер и теплый слабый уксус. Фолантэн доблестно осыпал жаркое перцем, уснащал горчицей соуса. Довольно! Как-нибудь проглочу. Главное в том, чтобы привыкнуть к этой снеди!

Но на этом дело не остановилось; ухудшение кушаний шло исподволь своим порядком, отягченное беспрестанными опозданиями юного кондитера, который являлся в семь часов с остывшим судком, с подбитыми глазами и с расцарапанными щеками. Фолантэн не сомневался, что, поставив кастрюлю подле тумбы, мальчуган пускался в рукопашную со своими уличными сверстниками. Сделал ему мягкое замечание, и тот захныкал, простирая руку, выставив вперед ногу, начал, сплевывая, божиться, что он ни в чем не виноват, но не исправился и после этого. Фолантэн, сжалившись, смирился и из боязни повредить мальчишке не решался жаловаться в кондитерскую.

Еще целый месяц стойко претерпевал бедняга все эти невзгоды. Сердце сжималось у него, когда он извлекал жаркое из эмалированной посуды, ибо случались дни, когда точно буря разыгрывалась в кастрюле, когда все перемешивалось и опрокидывалось вверх дном, когда белый соус сливался с маниоковым супом, в котором утопало жаркое.

К счастью, наступила передышка. Маленького пирожника уволили, вняв, без сомнения, жалобам людей менее снисходительных. Преемником его оказался длинный верзила, сущий болван, с бледным лицом и красными руками. Он являлся ровно в шесть часов, но отличался отвратительной неряшливостью. Его истрепанная поварская одежда затвердела от грязи и жира, щеки были испачканы



мукой и потом, а плохо утертый нос источал две зеленые струйки, растекавшиеся вокруг рта.

Фолантэн пытался храбро отразить новую напасть. Отказался от соусов, замаранных тарелок. Перекладывал жаркое на собственную тарелку, отскабливал, отчищал его, ел с голой солью.

Но настал миг, когда, наперекор всякому смирению, от некоторых кушаний его стало тошнить. Повсюду натыкался он на куски неудавшихся паштетов, пирожное подгоревшее или испорченное сажей. Во всех яствах выуживал черствые комки тортов. Поощряемая благодушием Фолантэна, кондитерша отбросила в сторону всякую совесть, всякий стыд и кормила его всеми объедками своей кухни.

Отравительница! — бормотал Фолантэн перед кондитерской. Пирожница больше не казалась ему такой милой, и, косо поглядывая на ее дверь, он теперь отнюдь не желал процветания ее делам.

Прибегнул к яйцам вкрутую. Покупал их каждый день, страхась невозможного обеда вечером. Ежедневно набивал салатами свою утробу. Но яйца смердели, ибо, пользуясь его неведением, фруктощицы продавали ему самые залежавшиеся из своей лавочки.

Что ж, как-нибудь доживем до весны, подбодрял себя Фолантэн. Но силы таяли с каждой неделей, а плохо питаемое тело страдало от истощения. Потухла его радость. Померкло жилище. И шествие былых печалей вновь терзало его пустую жизнь.

Будь у меня хотя какая-нибудь страсть! Люби я женщин, канцелярию; люби я кофейные, кости, карты, печалился он, я бы тогда бродил по городу и не сидел бы дома. Но уввы! ничто не радует меня, ничто не развлекает. День ото дня расклеивается мой желудок! Ах, это не фраза, что люди, у которых мощны хватит, чтобы насытиться, но которые не могут есть из-за потери аппетита, столь же достойны сожаления, как те несчастные, у которых ни гроша нет, чтобы утолить свой голод!

Раз вечером, когда он нехотя поглощал яйца с заплесневелым привкусом, привратник подал ему уведомительное письмо, которое гласило:

«Милостивый государь,  
монахини общины святой Агаты смиреннейше просят Вас поминать в молитвах Ваших пред Господом и во святом литургическом причастии душу возлюбленной сестры их Урсулы Аврелии Бужар, инокини хора, скончавшейся 7 сентября 1880 г., на семьдесят втором году своего жития, иноческого же искуса на тридцать пятом, и сподобившейся причаститься Святых Даров святой матери нашей церкви.  
De profundis!

Будь спасением моим, кроткое сердце Девы Марии.  
(300 дней поминовения)».

Умерла одна из его двоюродных теток, которую он видел когда-то в детстве.

Ни разу не вспомнил он о ней за двадцать лет, и все же смерть этой женщины нанесла ему тяжкий удар. Она была последней его родственницей, и Фолантэн почувствовал себя еще более одиноким после кончины ее в глухой провинции. Завидовал ее жизни, безмолвной и спокойной, скорбел об утраченной им вере. Несравнимо ни с чем занятие молитвой, не сыскать времяпрепровождения лучше исповеди, развлечений — отраднее обрядов культа. По вечерам уходишь в храм и утопаешь в созерцании, и отлетают житейские невзгоды. Истекают воскресенья в медлительности служб, в протяжных песнопениях и бдениях, и бессильна тоска над душами благочестивыми.

Да, но зачем доступно религиозное утешение лишь нищим духом? Правда, если веришь... Да, но я уже не верю!

И наконец, его возмутила нетерпимость духовенства.

Одна только религия могла бы врачевать раздирающую меня рану. Пусть так, но ошибаются, указуя верующим на

тщету их молений, ибо счастливы преемлющие все бедствия, все муки земной жизни как испытание преходящее. Ах! тетка Урсула умирала, конечно, без сожалений, убежденная, что разверзаются пред ней восторги бесконечные.

И думая о ней, старался вспомнить ее облик, но ни единой черты не сохранила его память. Тогда, желая к ней приблизиться, хоть немного слиться с существованием, которое она вела, Фолантэн перечел захватывающую, вдохновенную главу «Отверженных» о монастыре Пти-Пикпю.

Черт побери! Недешево, однако, достается загробное блаженство!

И монастырь представился ему смиренным домом, обителью уныния и страха.

Да, но что из того! Я больше не завидую судьбе тетки Урсулы, но мне от этого не легче; чужое горе не утешает меня в собственном, а снедь кондитарской становится все более неудобоваримой.

Два дня спустя случилась с ним новая напасть.

Забрел в ресторан, желая передохнуть за обедом, уснащенным десертом и салатом. Не было ни души. Но обслуживали медленно, и вино отдавало бензином.

Зато простор, будем ценить и это, утешался Фолантэн.

Дверь открылась, и ветер обдал ему спину. Послышался громкий шелест юбок, и стол его покрылся тенью. Женщина стояла перед ним и двигала стул, о перекладину которого он оперся ногами. Уселась, возле его стакана сложила перчатки и вуаль.

Черт бы побрал тебя, — мысленно ворчал он, — столов хоть отбавляй, все свободны, а она как раз усаживается за моим!

Бессознательно поднял глаза, потупленные над тарелкой, и не мог удержаться, чтобы не рассмотреть соседку. У ней было лицо обезьянки, помятая мордочка со вздернутым носом, под которым протянулась линия рта, казавшегося несколько большим. На верхней губе чернели кро-

шечные усики. Несмотря на игривый вид, она произвела на него впечатление особы скромной и учтивой.

Время от времени метала в него взгляд и сладким голосом просила передать то хлеб, то графин. Наперекор своей застенчивости Фолантэну пришлось ответить на несколько брошенных ею вопросов. Понемногу завязался разговор, и за десертом они за неимением лучшей темы сетовали на северный ветер, который завывал на улице и леденил их ноги.

— Нехорошо спится в такую погоду одному, — заметила женщина мечтательным тоном.

Фолантэна оглушила такая фраза, и он счел нужным на нее не отвечать.

— Не правда ли, сударь? — настаивала она.

— Бог мой, сударыня... — И подобно трусу, который бросает оружие, уклоняясь от боя с противником, Фолантэн откровенно описал свое целомудрие, свою взыскательность, свое влечение к плотскому покою.

— Вот как! — И она пристально посмотрела ему в глаза.

Он смутился тем более, что придвинувшийся к нему корсаж источал аромат амброзии.

— Не двадцать мне лет, и поверьте, теперь я живу без притязаний, если они когда-нибудь у меня и были, не те уж мои годы. — И показал на свою лысую голову, поблекшую кожу, свое платье, вышедшее из моды.

— Полноте, вы смеетесь, напускаете на себя старость, — и прибавила, что не любит юношей, но предпочитает людей зрелых, которые знают, как обходиться с женщиной.

— Конечно... Конечно... — бормотал Фолантэн, спросив общий счет. Дама не вынимала кошелька, и он понял, что следует испить чашу до дна. Заплатил усмехающемуся слуге за оба обеда и намеревался на пороге двери распротиться с женщиной, но та невозмутимо взяла его под руку.

— Уведи меня с собой, дружок?

Придумывал отговорки, извинения, лишь бы избежать опасного шага, но смешался и ослабел под взором женщины, от духов которой у него сжимались виски.

— Не могу, — ответил он наконец. — Ко мне в дом нельзя водить женщин.

— В таком случае пойдем ко мне. — И прижимаясь к нему, начала болтать, поведала, что у ней в комнате славный огонек. Потом вздохнула, заметив его унылый вид. — Я вам не нравлюсь?

— Помилуйте, сударыня... напротив... Но бывает, что находишь женщину очаровательной... а все-таки...

Она расхохоталась.

— Вот чудак! — и обняла его.

Фолантэну совестно было этого поцелуя среди бела дня на улице. Он чувствовал забавное впечатление, которое производит пожилой хромой мужчина, открыто ласкаемый публичной женщиной.

Прибавил ходу, желая увернуться от ее ласк и вместе с тем опасаясь, что попытка к бегству повлечет за собой смехотворную сцену на потеху толпе.

— Сюда, — и слегка подтолкнув его, шла за ним по пятам, преграждая отступление. Поднялись на четвертый этаж, и вопреки уверениям женщины он не узрел ни намека на топящийся камин. Объятый стыдом, созерцал он стены комнаты, казалось трепетавшие в кольшем озарении свечи, — комнаты, мебель которой была обтянута голубым кретоном, а диван покрыт восточным ковром. Грязный ботинок валялся под стулом, а против него на столе красовались кухонные щипцы. Булавками были приколоты к стене рекламы торговцев манной муки, целомудренные хромофотографии, которые изображали младенцев, пичкаемых супом; кочерга виднелась из-под неплотно опущенной решетки камина, на поддельной мраморной доске которого приютились будильник, стакан с остатками питья, игральная карта, табак и завернутые в газету волосы.

— Располагайся как дома, — пригласила женщина.

И хотя Фолантэн отказывался раздеться, стянула с него пальто за рукав и овладела его шляпой.

— Ж. Ф. ... Бьюсь о заклад, что тебя зовут Жюлем, — сказала она, рассматривая буквы на тулье шляпы.

Он сознался, что его имя Жан.

— Имя неплохое. Скажи, миленький!.. — И насильно посадив его на кушетку, прыгнула к нему на колени. — Скажи, миленький, сколько ты подарить мне на перчатки?

Фолантэн горестно извлек из кармана пятифранковик, быстро растаявший в ее руках.

— Знаешь, дружок, дай мне еще один, я разденусь, и ты увидишь, какая я хорошенькая.

Фолантэн уступил, уверяя, что ему больше нравится, если она не будет голой.

В припадке усердия замешкался на миг и услышал: «Не обращай на меня внимания... Делай свое дело... не обращай на меня внимания...»

В великом омерзении спуускался Фолантэн от этой женщины и окидывал в едином взоре унылый горизонт жизни, направляясь к своему жилищу. Понял тщету искания путей, бесплодность порывов и усилий. Надо плыть по течению. И думал, что прав Шопенгауэр, говоря: «Подобно маятнику, движется человеческая жизнь между страданием и скукой». Напрасный труд пытаться ускорить или замедлить вращение маятника, и остается лишь скрестить руки и постараться уснуть.

В недобрый час захотел я воскресить дела минувшего, захотел бывать в театре, курить хорошие сигары, глотать возбуждающие, посещать женщин. В недобрый час расстался я с плохим рестораном, чтобы бродить по вертепам ничуть не лучшим и, наконец, злополучно опочить на гнусных пирогах кондитерской.

В таких думах добрал он до дому. На лестнице, шаря в карманах, вспомнил, что у него нет спичек. Проник в комнату; леденящее дыхание стужи пахнуло ему в лицо, и он

вздыхнул, пробираясь во тьме: всего проще примириться со старой харчевней, вернуться в прежнее логовище. Да, воистину — нет лучшего для людей без гроша, им суждено лишь худшее.

## ДИЛЕММА

### I

Столовая была обставлена изразцовой печью, плетеными стульями на витых ножках, буфетом старого дуба, сработанным в парижском предместье Сент-Антуан и под стеклами своих дверей являвшим никелевые жаровни, бокалы для шампанского, цельный сервиз белого фарфора с золотой каймой, никогда, по-видимому, не употреблявшийся. Под портретом Тьера, тускло освещенным висючей лампой, разливавшей свет на скатерть, сложили салфетки мэтр ле Понсар и Ламбуа и умолкли, обменявшись значительным взглядом при приближении служанки, которая внесла кофе.

Открыв палисандровый ларец с ликерами, женщина удалилась, и Ламбуа, сперва бросив недоверчивый взгляд в сторону двери и, очевидно, успокоившись, заговорил со своим сотрапезником:

— Итак, дорогой ле Понсар, теперь, пока мы одни, побеседуем немного на досуге о занимающей нас теме: вы нотариус; с точки зрения права, каково, по-вашему, истинное положение вещей?

— Дело обстоит так, — ответил нотариус, отрезая кончик сигары перочинным ножиком в перламутровой оправе, — сын ваш умер бездетным. У него не было ни брата, ни сестры, ни их нисходящих. Состоянье, доставшееся ему от матери, делится пополам, как гласит статья 146 Гражданского кодекса, между восходящими по отцов-



ской линии и восходящими по материнской, иными словами, каждому из нас, если только Жюль не растратил своего капитала, вернется по пятьдесят тысяч франков.

— Хорошо. Теперь остается лишь узнать, не оставил ли бедный мальчик часть своего имущества некоей особе по завещанию.

— Вопрос, который действительно необходимо выяснить.

Ламбуа продолжал дальше:

— Допустим, что сто тысяч франков Жюля целы и что он умер без завещания, — как отделаться нам от этой твари, с которой он вступил в связь? — И после минутного размышления прибавил: — Предполагая, что она не учинит никакой попытки шантажа, не предпримет сюда в город скандальной поездки, которая бы скомпрометировала нас.

— В этом вся штука; но у меня свой план, я думаю отвязаться от негодяйки без особых трат.

— Что вы подразумеваете — «без особых трат»?

— Бог мой! самое большее полсотни франков.

— Без мебели?

— Конечно, без мебели... Я прикажу запаковать ее и отправить сюда малой скоростью.

— Отлично, — решил Ламбуа, отодвигая от печки свой стул и с трудом протягивая правую распухшую подагрическую ногу.

Ле Понсар прихлебывал из стаканчика. Смакуя коньяк, прищелкнул губами, сложив их сердечком.

— Изумительно! Все тот же старый коньяк, который вы получаете от дяди?

— Да, такого не найти в Париже, — безапелляционным тоном ответил Ламбуа.

— Еще бы! Но шутки в сторону, — продолжал нотариус, — надо быть во всеоружии, и никакие предосторожности не лишни перед отъездом моим в столицу. Подведем еще раз итог всему, что мы знаем о бесстыднице. Нам

неизвестны ни родители ее, ни обстоятельства, при которых ваш сын увлекся ею. Очевидно, она не получила никакого образования, это ясно вытекает из почерка и стиля письма, которое она прислала вам и на которое по моему совету вы благоразумно не ответили.

— В общем, сведений маловато. Я могу повторить вам лишь прежний мой рассказ. Когда врач написал мне, что Жюль опасно заболел, я сел на поезд и, приехав в Париж, застал беспутницу переселившейся к сыну, ухаживающей за ним. Жюль уверял меня, что эта женщина — его служанка. Я не поверил ни словечку, но, повинувшись предписаниям врача, запретившего раздражать больного, вынудил себя смолчать. К несчастью, тифозная лихорадка прогрессировала, я остался и до конца терпел присутствие мнимой служанки. Впрочем, надо отдать ей справедливость, она вела себя предупредительно. Вы знаете, что после кончины немедленно перевезли сюда тело моего бедного Жюля. Поглощенный покупками и разъездами, я с нею не видался и ничего не слышал о ней с тех пор вплоть до письма, в котором она заявляет, что беременна, и просит помочь ей, прислав хотя немного денег.

— Прелюдия шантажа, — заметил нотариус, помолчав. — А какова она как женщина?

— Высокая, красивая девушка, черноволосая, с карими глазами и ровными зубами. Неразговорчива, с виду невинна и скромна, но производит впечатление особы искусственной и опасной. Боюсь, мэтр ле Понсар, что вы проиграете партию.

— Ба, ба, ба! Вряд ли у этой курочки такие острые зубки, чтобы загрызть старую лису вроде меня. К тому же у меня в Париже есть товарищ, полицейский комиссар. В случае нужды он мне поможет. Какой бы пронырой она ни оказалась, я тоже не простак и не сплошаю, если она затеет брыкаться. В три дня экспедиция закончится, я возвращусь и в награду за усердные старания снова потребую у вас стаканчик вашего старого коньяку.

— И мы разопьем его с легким сердцем. Да, знаете! — воскликнул Ламбуа, на миг забыв свою подагру. — Ах, дурачок! — продолжал он, заговорив о сыне. — Представьте, до этого открытия он не причинял мне никаких хлопот. Добросовестно занимался своим правом, выдерживал экзамены, жил даже, пожалуй, слишком нелюдимо, дикарем, без товарищей и без друзей. Никогда, ни разу не делал долгов и вдруг дал себя опутать женщине, которую он выудил неведомо откуда! Нет, согласитесь сами...

— Это в порядке вещей: в тихом омуте черти водятся, — изрек нотариус, который встал и грел у печки ноги, подняв полы сюртука. — Старая история, — продолжал он, — они встречают женщину, которая кажется им менее наглой, нежнее остальных, воображают, что обрели сокровище, и тогда пиши пропало! Первая встречная вертит ими как заблагорассудится, будь она даже безобразна и неуклюжа, как гусыня!

— Хорошо вам говорить, — возразил Ламбуа, — Жюль не такой был мальчик, чтобы сесть ему на голову.

— Господи! — философски рассуждал нотариус, — теперь мы с вами люди пожилые и недоумеваем, как эти юбки так легко обольщают молодежь. Но когда перенесешься во времена проворной юности, — ах! и нам женщины кружили голову. Вот вы удивляетесь, а ведь вы тоже не всегда посматривали со стороны? Так-то, старина!

— Черт возьми! До женитьбы мы развлекались как весь мир, но позвольте, ни вы, ни я не были настолько простофилями, чтобы — скажем прямо — впутаться во внебрачную связь.

— Разумеется.

Они усмехнулись. Дыхание юности овевало их и брызнуло пузырьком слюны на вздутых губах Ламбуа, зажгло искорки в глазах старого нотариуса. Они всласть пообедали, пили старое вино, слегка выцветшее, фиолетового цвета. В теплом замкнутом помещении раскраснелась голая кожа их черепов, увлажнились губы, возбужденные явлением

вторгшейся к ним женщины, и им захотелось распоясаться здесь на просторе без свидетелей. Развязались малопомалу языки, и в двадцатый раз начали они посвящать друг друга в свою расценку женских прелестей.

На взгляд мэтра ле Понсара, женщины хороши лишь полные, маленькие, пышно разодетые. Ламбуа предпочитал высоких, худощавых, не надевающих крикливых нарядов. Изысканность на первом плане.

— Э! Изысканность — дело пустяшное, парижский шик — это я понимаю, — сказал нотариус, в глазах которого загорелись огоньки. — Самое главное, в постель не уложить с собою мумии.

И, вероятно, он поведал бы свою теорию блуда, если б не прервала его кукушка, шумно прокукувавшая часы над дверью.

— Черт побери! Десять! Пора возвращаться в пенаты, иначе не встанешь завтра к первому поезду.

И нотариус натянул свое пальто. Свежий воздух передней охладил пыл их воспоминаний. Они обменялись рукопожатием, озабоченные, чувствуя, как теперь, когда рассеялись видения женщин, в них нарастает ненависть к этой незнакомке. С ней они хотели бороться в предположении, что она ретиво будет оспаривать у них наследство, на которое дает им право кодекс — памятник правосудия, обожаемый ими как святая святых.

## II

Тридцать лет тому назад мэтр ле Понсар обосновался нотариусом в Бошампе, местечке, расположенном в департаменте Марны, унаследовав свою должность от отца, состояние которого, увеличенное проделками сомнительной честности, давало неистощимую пищу для сплетен в медлительном течении провинциальных вечеров.

Окончив курс наук, мэтр ле Понсар перед возвращением на родину провел некоторое время у парижского стряпчего, который посвятил его в вероломнейшие ухищрения делопроизводства.

Уже тогда отличался он уравновешенным нравом и тратил деньги не слишком скупно, но только до предельной суммы. Позволял себе во время парижского искуса мотать по мелочам, не скряжничал излишне с женщинами, но в обмен требовал уплаты наслаждениями, которые расценивал по тарифу таблицы сладострастия, составленной им для своего обихода. Справедливость во всем, — рассуждал он и, платя звонкою монетой, мнил себя вправе на свои деньги получать ростовщический процент утех, требовал от должника столько-то процентов ласками, столько то обязательной предупредительности.

В его глазах только хорошая еда и женщины претворялись в ценности, которыми уравновешивались вызванные ими траты. Все остальные радости жизни не что иное как обман, и никогда не достичь им того восторга, которым веселят сердце даже бездейственные деньги, когда их на досуге созерцаешь в сундуке. Поэтому он ввел у себя в обиход мелкие изощренности, изобретенные провинцией, в которой скупость держится с цепкостью проказы. Пользовался особыми подставками, насаживая огарки на иглу, чтобы палить свечи до последней крупички фитиля. От каменного угля и кокса у него делалось удушье, и он зажигал у себя в камине тот вдовый огонек, когда два одиноких полена рдеют без пламени и без тепла. Чтобы подешевле приобрести вещь, бежал на другой конец города и чувствовал удовлетворение, сознавая, что другие платят дороже в неведении особенных мест, которые он, однако, остерегался выдавать, и втихомолку смеялся, весьма гордясь собой, считая себя продувным парнем, когда товарищи похвалялись перед ним мнимыми выгодами.

Подобно большинству провинциалов, нелегко доставал он из кармана кошелек. Входил с твердым намерением купить, боязливо исследовал товар, и хотя вещь нравилась ему, казалась дешевле и добротнее, чем всюду, он в решительный миг колебался, спрашивал себя: да полно, так ли нужна эта покупка, сможет ли обладание ею возместить расход? Подобно большинству провинциалов, не отдавал своего белья стирать в Париже из опасения прачек, которые, говорят, травят его хлором. Но в сундуке пересылал все по железной дороге в Бошамп, ибо в деревне, всякому известно, прачки честные и гладильщицы смиренные.

В общем, лишь плотские страсти были настолько могучи, чтобы до некоторой степени одолевать его влечение к стяжанию. Необычно осторожный, когда требовалось помочь другу, мэтр ле Понсар не дал бы в долг, и чем помочь сотней су товарищу, умирающему с голода, предпочел бы, если уж нельзя увернуться от услуги, скорее угостить его заимообразно восьмифранковым обедом, памятуя, что сам он тоже будет участником трапезы и тем извлечет известную выгоду из своего расхода.

После смерти отца, водворившись в Бошампе, он не преминул жениться на женщине богатой и безобразной. От нее у него родилась дочь, не менее безобразная, болезненная, и он выдал ее совсем еще подростком за Ламбуа, которому шел тогда двадцать пятый год и купеческое положение которого слыло в городке «преуспевающим».

Овдовев, мэтр ле Понсар продолжал свое нотариальное дело, хотя часто чувствовал желание продать его и переселиться на постоянное жительство в Париж, где пронырство и ловкие ухватки его не заглохли бы в атмосфере столь заплесневелой и пресной.

И, однако, где еще нашел бы он среду более благоприятную и менее враждебную? В Бошампе он был самым уважаемым лицом; здесь не скупилась по отношению к нему на поклонение, которое, говоря правду, слагалось из почтения и страха. Вслед за похвалами, которые воскури-

вались его имени, обычно проскальзывала такая осторожная фраза: «Так или иначе, но полезно быть в числе его друзей». И, судя по кивкам, которыми встречалось это замечание, позволительно предположить, что месть мэтра ле Понсара не была пустой угрозой.

Самый облик его подстерегал неосведомленных, сбивал их с толку. Его водянистая кожа, скулы, испещренные розовыми жилками, горбатый нос со вздернутым кончиком, седые волосы, откиннутые на затылок и ниспадающие на уши, его рабочие плечи виноградаря, веселое брюхо жирного священника — все влекло своим добродушием, и неосторожный, которого сперва тянуло довериться, в шутку похлопать нотариуса по животу, сейчас же застывал под его свинцовым взглядом, под стужею его холодных глаз.

Никто в Бошампе не разгадал, в сущности, характера этого старца, которого восхваляли прежде всего как видимое воплощение парижской изысканности в провинции, и который не изменил, однако, своему происхождению оставаясь чистейшим провинциалом и после пребывания в столице.

Он являлся в глазах всего города чистейшим парижанином, ибо платье и мыло получал из Парижа, выписывал «La Vie Parisienne», от терпимых вольностей которой зажигались его свинцовые зрачки. Эти светские вкусы он умерял подпиской на «Мольериста», журнала, в котором несколько любителей трудились над освещением темной жизни «великого комика». Сотрудничал в журнале даже сам — ему понятен был мольеровский смех — и столь сильно любил эту общепризнанную знаменитость, что перелагал в стихи «Мещанина во дворянстве». Уже семь лет корпел он над этим удивительным занятием. Тщась дословно передать текст, пожинал безмерное почтение за свою благородную работу, иногда прерываемую, чтобы мастерить стишки по случаю, которые читал в интимном кругу в дни рождений и празднеств, когда провозглашались тосты.



Был он в высокой степени провинциалом. Любил сплетни, был чревоугодник и скряга. Подавлял свои любово-страстные наклонности, которые в маленьком городке не мог удовлетворить, не возбуждая сплетен и пересудов, и предавался прелестям обжорства, задавал лакомые обеды, скаредничая на освещении и сигарах. Мэтр ле Понсар поестъ умеет, говаривали сборщик налогов и мэр, завистливо превозносившие его обеды. На первых порах эта роскошная трапеза и выписка дорогого парижского журнала превышали даже ту дозу парижанства, которую Бошамп мог переварить. Нотариус рисковал приобрести репутацию фата и транжира. Но вскоре сограждане поняли, что он из их числа, одушевлен теми же страстями, так же ненавидит, как они. Дело в том, что, храня, конечно, профессиональные тайны, мэтр ле Понсар поощрял злословие, развлекался пересудами, обожал наживу, превозносил накопление, и сограждане в упоенье внимали его речам, блаженно потрясенные до глубины души теориями, которым они готовы были каждодневно поучаться и которые всегда казались им новыми, всегда захватывающими. Тема для них неистощимая. Повсюду говорили лишь о деньгах. Произнося чье-либо имя, сейчас же исчисляли вслед за тем его имущество, перебирали, что у человека есть и чего он может ожидать. Чистые провинциалы упоминали при этом даже о родителях, рассказывали анекдоты, по возможности зложелательные, исследовали происхождение богатства, толковали о нем и вкривь и вкось.

Ах! это большой ум, одаренный великой скромностью! — говорилось в избранном буржуазном обществе Бошампа. И какой изысканный человек! — добавляли дамы. Как жаль, что он стоит несколько особняком! — подхватывал хор, ибо мэтр ле Понсар, ради вящего поддержания своего престижа, кокетливо облакался некоторой неприступностью, несмотря на воскуряемый ему

фимиам. Часто уезжал по делам в Париж, и бошампское общество, в складчину выписывавшее «Фигаро», испытывало легкое изумление от того, что газета не отмечает приезда в Париж столь важной особы в рубрике «Прибывшие и выбывшие», где ежедневно переименовываются уехавшие и приехавшие «в наши стены» халифы промышленности и дворянчики, печатаемые к живейшему удовлетворению читателя, которого, конечно, не могут не занимать эти лица, большей частью неизвестные ему даже по именам.

Слава, осиявшая мэтра ле Понсара, косвенно озарила его зятя и друга Ламбуа, бывшего чулочника, разбогатевшего торговлей в Реймсе и удалившегося на покой в Бошамп. Вдовый, подобно тестю, и совершенно праздный, Ламбуа заполнял свой досуг делами кантона, интересовался здоровьем животных и успешностью произрастания злаков. Осаждал депутатов, префекта, супрефекта, мэра, советников, помышляя о выборах в генеральный совет, в который хотел выставить свою кандидатуру. Участвовал в избирательных комитетах, отравлял жизнь своим депутатам, донимал их рекомендациями, обременял поручениями, разглагольствовал в собраниях, говорил о нашей эпохе, которая стремится к будущему, утверждал, что поставленный перед народным трибуналом депутат счастлив вновь окунуться в недра своих доверителей, восхвалял величественное самодержавие народа, объединенного в комиссиях, подчеркивал мирное оружие избирательного бюллетеня, цитировал даже несколько изречений де Токвиля о децентрализации, без передышки битых два часа выкладывал тот политический товар, который действует наверняка. Грезил о полномочиях генерального советника, ибо еще не настолько окреп, чтобы овладеть креслом своего депутата, который догадывался о его происках и бдительно оберегал свое место от воровских покушений.

Мечтая насытить свои вожделения, думал не о себе одном, но и о сыне, которого предназначал к священнослужению префекта. Ламбуа надеялся, что своим искательством, своими ухищрениями он добьется назначения Жюля супрефектом, когда тот окончит курс наук. Предполагал, что вследствие усиленного его давления депутаты поставят сына во главе департамента Марны, и тогда родное дитя Ламбуа, бывшего чулочника, удалившегося от дел, будет руководить его согражданами, управлять родимым департаментом. В облечении сына столь высокой степенью ему, очевидно, чудилось как бы некое дворянство, жалуемое его семье, простолюдинством которой он, однако, кичился как своего рода знатностью, противопоставляемой истинной родовитости, которую он хулил и которой тайне завидовал.

Но рушилась башня всех этих стремлений. Смерть ребенка омрачила его будущее тщеславие, заволокла горизонты его спеси. Справившись с ударом, он в личном честолюбии растворил честолюбие семейное, перенес последнее на первое. Столь же жадно домогался вступления в генеральный совет и при поддержке мэтра ле Понсара, напутствовавшего каждый его шаг, исподволь, без помех, подвигался к намеченной цели, иногда пресмыкаясь и надеясь на благоприятные выборы, без серьезных соперников, без тяжелых расходов. Все протекало соответственно его желаниям, и вдруг перед ним восстала угроза распутницы, собирающей местный люд вокруг маленького Ламбуа, заключенного во временной темнице ее взбухшего чрева.

В часы излияний Жюль поделился, наверно, с ней моими замыслами, горестно подумал он в тот день, когда получил просьбу о деньгах, подписанную этой женщиной.

— Ах! Это наше слабое место, наша ахиллесова пята, — прочтя послание, вздохнул нотариус и наперекор

принципам, которыми они кичились, оба пожалели о старых «грамотах заточения», дававших некогда возможность по сходным основаниям упрячивать людей в Бастилию.

### III

— Что может быть лучше этого на свете? — прохрипел мэтр ле Понсар, после обильного завтрака, восседавший в ротонде Пале-Рояля, которую он, подобно всякому истому провинциалу, считал единственным местом, где можно выпить настоящего кофе. Отдувался, отяжелевший, откинув слегка голову и чувствуя, как блаженная истома переливается по всем его жилам. Ему везло, день обещал выдаться удачным. В девять утра он наведлся к нотариусу, который в Париже вел дела внука. Никаких следов завещания. Оттуда забежал в Лионский кредит, где хранились деньги, мысль о возможной растрате которых смущала его сны, — вклад был цел. Нет, решительно с плеч свалилась самая тяжкая забота: женщина, с которой ему предстояло помериться силами, не обладала, по крайней мере по его разумению, никаким юридическим козырем. — Да, день начинается под счастливой звездой, — пробормотал он, выпуская маленькими голубыми кольцами дым сигары.

Потом на него напало философическое раздумье над жизнью, столь часто сменяющее первое оцепенение людей, у которых ум колобродит, когда радостен наполненный желудок. Как хотите, а женщины словно сговорились сжирать мужчин! — думал он. И продолжил развивать эту мысль, которая постепенно разветвилась, слилась со всеми прелестями, облакающими женщину ее роковой властью. Думал о трапезе бедер, о десерте рта, о салатах груди, смаковал воображаемые подробности, которые наконец сблизились, слились воедино — в женщину

сладострастно нагую, всем обликом своим подсказавшую ему второе изречение, столь же общеизвестное и бывшее лишь напрасным подтверждением предыдущего: «Они обуздают самого строптивого».

Да, он в этом смыслил кое-что, мэтр ле Понсар, сангвинический нрав и широкий размах которого не уменьшились с годами.

Зрение заметно ослабело к шестидесяти, но тело оставалось бодрым, прямым. После смерти жены он страдал мигренями, плохим пищеварением, и врач, не колеблясь, приписывал это постоянному воздержанию, на которое обречен был нотариус в Бошампе.

Пробил шестьдесят пятый год, а все еще осаждали его сластолюбивые вожделения. В юности и в зрелом возрасте здоровый аппетит позволял ему наслаждаться досыта не столько обилием яств, сколько их добротностью. Под старость он сделался лакомкой. Но и здесь провинция преобразовала по своему подобию его влечения. Его воздыхания об изяществе обличали в нем человека далекого от Парижа, богатого мужика, выскочку, который покупает побрякушки, хочет мишуры, ослеплен крикливым бархатом, тяжелым золотом. Прихлебывая из чашечки, как в Бошампе, когда, переваривая обед, он восседает за своим бюро перед слоями папок, — вызвал теперь нотариус видения утонченных пленительных утех, всецело слетавших со страниц «La Vie Parisienne», которую он выписывал и прочитывал с благоговением, словно требник. Она раскрывала ему перспективы шика, казавшиеся тем желаннее, что в юности у него не хватало ни изобретательности, ни денег, чтобы приблизиться к ним. Да и сейчас, пожалуй, поколебался бы самолично проверить их на деле. Отвращаемый от таких трат врожденной родовой скупостью, ограничивался созданием идеала, который охотно признавал недосыгаемым, жаждал лишь коснуться его, а если отведать, то подешевле и в условиях, возможно, ме-

нее унижительных, ибо здравый смысл уравновешенного старца нотариуса смирял поэзию площадей, и он откровенно признавался себе, что в его возрасте неуместна надежда нравиться женщинам.

Таковы были мысли, посетившие его в Париже, когда, одинокий и свободный в своих поступках, укрывшись от взглядов городка, сидел он с туго набитым кошельком, с головой, слегка распаленной поддельным бордо.

Прочел последний номер «*La Vie Parisienne*», в которой все восхищало его, начиная с обсахаренных рассказцев и рисунков первых страниц и кончая соблазнами реклам. Его воспаляли стремительные победы конницы и поражения светских дам, хотя он сомневался, чтобы так грешило Сен-Жерменское предместье; но еще острее, чем этот пустой звон, поразительно неправдоподобный, влекла его в мечтанья реклама, точная, ясная, чуждая лживой оболочки сказки. И хотя он учитывал неизбежные преувеличения, вызываемые потребностью сбыта, но все же был изумлен и одурманен непреложной достоверностью объявлений, восхвалявших вещь существующую, покупаемую — вещь, которую никак нельзя счесть выдумкой журналиста, уткой, измышленной для статьи.

Крем «Мамилла» погрузил его в улыбку, не преминул раскрасить пред ним зрелище в меру закругленной шеи.

Самое чувство недоверия, которое, если поразмыслить, запрашивалось на благодеяния этого снадобья, столь ретиво возглашаемые, даже оно помогало ему унести в приятное блужданье, в котором меж строк рекламы он отчетливо читал неписанный способ употребления помады, видел, как творится действие, как нежно натирается шея, высвобожденная из рубашки, и нагота сжимаемых грудей окрыляла его грезы, по ступеням перенесшиеся к тем исполинским грудям, которые он так любил чувствовать в своих руках. Эта напичканная делопроизводством, насыщенная

восторгами стяжания старая душа размякла, погрузившись в фантастическую ванну, в газетное омовение, сверкавшее лучами благовоний, ярлычки которых лирическими напевами звенели, возглашая сомнительное восхваление коже, восстанавливаемой и умащаемой, щекам, освобождаемым от морщин, носам, избавляемым от прыщей!

Да, я решительно не создан жить в такой дыре, в провинциальной глуши, вздохнул мэтр ле Понсар, ослепленный этим шествием изысканности, которое развевалось в его мозгу. И втайне польщенный, усмехнулся, лишний раз убеждаясь, что он обладает душой поэта. По ассоциации идей, от рассуждений о женщинах вообще перескочил к мысли о той, которая послужила причиной его путешествия. Любопытно будет взглянуть на эту дурочку. Если верить Ламбуа, она соблазнительная, разбитная бабенка с карими глазами, толстая смуглянка. Ого! Если так, то у Жюля был хороший вкус. Попытался представить себе ее, создал идеальный облик в ущерб подлинной женщине, которая неотвратимо разочарует его по сравнению с воображаемой роскошной блудницей, подробно рисовавшейся ему своими полными манящими прелестями.

Но потухла игра воображения, и он вернул свое спокойствие, посмотрел, который час: еще рано идти к любовнице внука; и он попросил слугу подать ему газеты. Пробежал их без любопытства. В его мыслях царила женщина, сгибала волю, хотевшую окунуться в политику, исключительная, внедрилась в его мозг, восставала перед глазами.

Показавшись самому себе смешным, покачал головой и, чтобы рассеяться, оглядывал кофейную, пытался проследить линии труб, предназначенных снабжать газом изумительные люстры с подвесками, спускавшиеся с потолка, который был закопчен подобно старой пенковой трубке.



Развлекался, считая ложки, веерообразно выглядывавшие из мельхиоровой урны, стоявшей на прилавке. Разнообразия ради рассматривал в окна пустынный в эти часы сад, который раскидывался со своими обезображенными статуями, пестрыми киосками и аллеями деревьев, кривоствольных, опушенных зеленью. Вдали фонтанчик вздымался над блюдечком, подобный полковничьему плюмажу. Это напоминало один из тех игрушечных садиков, которые всегда пахнут клейстером и елью, — выцветшую новогоднюю безделку, стиснутую меж четырьмя стенами одинаковых домов, словно в большой открытой коробке, сделанной из домино.

Быстро наскучило ему это зрелище. Снова занялся он внутренностью кофейной. Здесь тоже было почти пусто. Два иностранца курили. Трех господ почти не было видно из-за развернутых газет. На виду остались лишь пальцы рук, а под столом виднелись коротковатые панталоны и башмаки. На стуле слуга позевывал с салфеткой через плечо, и подводила счета кофейная дама. Мэтру ле Понсару нравился источаемый этим уголком смутный затхлый запах Реставрации, смешанной с Луи-Филиппом. Казалось, душа старой национальной гвардии, шерстяных колпаков и белых штанов овеивает этот круглый стеклянный ящик, где провинциалы и иностранцы утоляли жажду, не оставляя по себе никаких следов. Наконец он поднялся и ушел. Погода стояла сухая и холодная. Рассеялись чары. Нотариус вылупился из человека, одержал верх делец; кончилось пищеварение; он прибавил шагу.

Я рискую не застать ее дома, пробормотал он, но лучше было не предупреждать о моем посещении. Она, конечно, не успела еще принять мер. Мне легче справиться с ней, захватив ее врасплох.

Трусил по улицам, сверялся с эмалированными дощечками на домах, боясь заблудиться в Париже, который в этой части был ему незнаком, с грехом пополам добрался

до улицы Фур, всматривался в номера и остановился перед новым домом. Комфортабельными показались ему стены вестибюля, оштукатуренные под цвет миндального пирожного, ковры под медными прутьями, стеклянные шарики перил, широкая лестница. Суровым и пышным выглядел привратник, похожий на сановника протестантской церкви, видимый сквозь большую дверь с витражными стеклами. Но потянул дверную ручку, и впечатление изменилось. Казалось, какой-то сыч священнодействовал в каморке, смердевшей луком и капустой.

— Госпожа Софи Муво? — спросил нотариус.

Привратник смерил его взглядом и ответил осипшим от частых возлияний голосом:

— Четвертый этаж, третья дверь направо, в конце коридора.

Мэтр ле Понсар начал восхождение, проклиная нескончаемость ступеней. Взобравшись на четвертый этаж, отдышался, осмотрелся в темном коридоре и, ощупью пробираясь вдоль стен, нашел третью дверь, в скважине которой торчал ключ. После тщетных поисков звонка или колокольчика осторожно и тихо постучал рукоятью зонта.

Открылась дверь. Женская фигура обрисовалась во мраке. Мэтр ле Понсар проник в совершенную тьму. Объявил свое имя, звание и положение. Не говоря ни слова, женщина отворила вторую дверь и провела его в маленькую спальню. Ночь сменилась сумерками среди бела дня. Свет упал во двор, шириной с каминную трубу, и, печальный, серый, покато изливался в комнату сквозь глухое чердачное окно.

— Бог мой! А у меня не прибрано, — произнесла женщина.

Мэтр ле Понсар сделал безразличный жест и начал:

— Я уже имел честь объявить вам, сударыня, что я дед Жюля. Как сонаследник усопшего и доверенный отсутствующего Ламбуа, я сперва попрошу вашего позволения заняться бумагами, оставленными моим внуком.

Женщина смотрела на него, ошеломленная и жалостная.

— Так как же?

— Да, но я, право, не знаю, где Жюль хранил свои дела. В одном из ящиков он складывал письма: вот здесь, в этом столе.

Мэтр ле Понсар склонил голову, снял перчатки, сложил их на поля шляпы и уселся перед одним из тех маленьких бюро красного дерева, у которых трудно выдвинуть дощечку, обтянутую бараньей кожей. Он успел привыкнуть к полумраку комнаты и понемногу различал мебель. Над бюро фотография Тьера чуть косо висела на зеленом шнурке, завязанном в кольцах рамы, фотография, подобная украшавшей столовую в Бошампе — по-видимому, этот государственный человек был предметом особого поклонения в семье Ламбуа. Налево протянулась смятая кровать со скомканными подушками, направо вздымался камин, заставленный лекарственными склянками; на другом конце комнаты позади мэтра ле Понсара приютилась низенькая кушетка, обтянутая голубым репсом, выцветшим и порывевшим от солнца и пыли.

Женщина села на кушетку. Нотариуса стесняло ощущение постороннего у себя за спиной, и, полуобернувшись, он попросил женщину не прерывать из-за него своих занятий, поступать совершенно как дома, и намеренно подчеркнул слегка эти слова, делая первые шаги к сближению. Она не поняла, очевидно, смысла, вложенного им в свою речь, и по-прежнему восседала безмолвная, упрямо рассматривая камин, украшенный флаконами.

Черт возьми! Девушка не из податливых, подумал мэтр ле Понсар, рта не раскрывает из страха себя скомпрометировать. И повернувшись спиною к ней, а животом к столу, начал сердиться на такое вступление. Если оправдаются его сомнения и женщина эта действительно усвоила систему, которую он предполагал, то ему предстоит

ставить точки над и вслепую двигаться вперед, наудачу ринуться на врага; неужели в руках у нее есть завещание? — спросил он себя, и вдруг виски его оросились потом.

И тревожила и раздражала нотариуса ее наружность, которую он успел подметить, пока наклонялся к ней. Никакой мысли невозможно было прочесть на лице этой женщины, казавшейся смятенною и онемевшей. Пусто смотрели карие глаза, превознесенные Ламбуа. Не проскальзывало в их блеске никакого определенного намека.

Мэтр ле Понсар размышлял, разбирая кипы писем. Кончилось благополучное пищеварение и улетучился принесенный им с собой оттенок благосклонности. Однако какая эта девка замараха! Хорошо сложенная, но скорее тощая, чем полная, одета она была в серый фланелевый капот с коричневыми полосами, в голубой фартук, фильдекосовые чулки, заправленные в старые башмаки со стоптанными подметками и расцарапанными каблуками.

Безразличием, даже презрением сменилась инстинктивная снисходительность, которой он проникся к женщине, им измышленной, к красивой, дебелой распутнице с ямочками на щеках, обутой в шелковые чулки и сатиновые туфли, пахнувшей пряностями и дорогой пудрой! Бог мой, какой еще юнец был бедный Жюль! — подвел он мысленно итог. И вдруг в мозгу его вспыхнула мысль об ее беременности.

Извлек очки, которые, как подобает старому ловеласу, спрятал, мечтая встретить женщину изящную, полную, и порывисто повернулся.

И впрямь слегка раздалось и выступали бедра. Живот выдавался под фартуком. По пристальном рассмотрении лицо показалось несколько помятым. Нет, в письме она написала сущую правду. Женщина взглянула на него, изумленная таким упрямым любопытством. Мэтр ле Понсар счел полезным прервать молчание.

— Есть у вас контракт? — спросил он.

— Контракт?

— Да. Подписал ли Жюль с домовладельцем договор, которым ему обеспечивалось бы при известных условиях пользоваться этой квартирой в течение трех, шести, девяти лет?

— Насколько мне известно, сударь, — нет.

— Тем лучше.

И повернувшись к ней спиной, взялся за работу.

Бегло сверял вскрываемые письма, все маловажные, не заключающие в себе никаких намеков на эту женщину, мысль о родителях которой тревожила его. Связка следовала за связкой, не обогащая нотариуса никакими сведениями. Ограничился записью адресов лиц, подписи которых значились на письмах, чтобы в случае крайности, если потребуется, написать и посоветоваться с ними. В заключение просмотрел пакет оплаченных счетов, отложенный отдельно. И не преминул спрятать его к себе в карман. В итоге не нашел ни одной бумаги, которая бы проливала свет на волю усопшего. Но почему знать, не утаила ли женщина завещания, рассчитывая предъявить его в удобный миг. И сидел как на иголках, негодуя на внука и на эту девушку. Решил выйти из неизвестности, которой отсрочивалось немедленное осуществление его замыслов, и колебался в то же время поставить вопрос круто, опасался раскрыть перед ней слабые стороны своего натиска, признаться в своих страхах и направить этим женщину на путь, о котором, быть может, она не помышляла.

— О! Это во всяком случае невероятно, — пробормотал он в ответ на последнее предположение... И наконец решился: — Послушайте, милочка, — его отеческий тон удивил Софи, смущенную леденящими, безмолвными взглядами этого нотариуса, — послушайте, вы хорошо уверены, что не осталось после нашего бедного друга никаких

иных бумаг, ибо, говоря откровенно, я поражен, не отыскав ни словечка, ни единой строки, которые бы посвящены были его друзьям. Обыкновенно люди сердечные, — а Жюль отличался безмерной добротой — дарят что-нибудь на память лицам, любившим их, ну, хотя безделушку, пустяк, вот нож этот, что ли... подушечку... Как объяснить, что Жюль, располагавший вполне достаточным временем для составления распоряжений, умер, так сказать, столь себялюбиво, не подумав о других?

И выжидательно уставившись на женщину, он увидел, как глаза ее наполнились слезами.

— Вы с таким самоотречением пеклись о нем, нет, невозможно, чтобы он вас забыл! — И в его голосе зазвучали участливые, негодующие ноты.

Тем хуже, подумал он, я играю ва-банк. Подмеченные слезы внезапно напрягли его решимость. Она разнюнилась; если прижать, она сознается во всем. И изменив свою тактику, наперекор прежнему решению поставил вопрос открыто, хотя смягченно, тем более что почувствовал себя увереннее, почти не сомневаясь, что у женщины нет никакого завещания; никогда бы не подумал, что она способна оплакивать память своего любовника, но без запинки объяснил скорбь ее неимением документа.

Утирая глаза, она ответила:

— Да, сударь, Жюль, когда опасно захворал, хотел оставить мне на прожиток, но умер, не успев написать.

— Столь легкомысленна юность, — сурово изрек мэтр ле Понсар.

И умолк, в продолжение нескольких минут скрывая обуревавшее его ликование. Гора свалилась у него с плеч. К нему пришли все козыри.

Встал, с озабоченным видом прохаживался по комнате, исподлобья разглядывал Софи, которая сидела неподвижно, комкая меж пальцами платок.

Нет, у внука был грубый вкус, она удивительная деревенщина — эта славная девушка! Искоса поглядывал на ее руки, грубоватые, с большим пальцем, потемневшим от шитья, с ногтями, потускневшими на домашней работе, потрескавшимися на кухне. Незаметно для него самого открытие это усилило неприязнь его к женщине. Плохо причесанные волосы, ниспадавшие ей на щеки, распалили его злобу и жестокость. Остановившись перед ней, сказал:

— Сударыня, перейдем, однако, к делу. Несмотря на всю свою признательность вам за усердные заботы, которыми вы, будучи служанкой, окружили его сына, Ламбуа, разумеется, не может допустить, чтобы такое положение продолжалось. Сегодня пятнадцатое, время удобное, и я сегодня же откажусь от этой квартиры, а завтра распоряджусь отправить мебель. Остается теперь уладить с вами денежный вопрос. Ламбуа полагал, и я присоединяюсь к его мнению, что при выказанных вами отменном прилежании и добронравии Жюль должен был столь преданной служанке платить по меньшей мере сорок пять франков в месяц, цена высокая, как вам известно, даже для Парижа. Ну, а мы, жители деревенские, нанимаем наших прислуг гораздо дешевле, — но дело не в этом. Нынче пятнадцатое, что составляет пятнадцать дней, да я прибавляю вам еще восемь дней льготных, итого, если не ошибаюсь, вам следует тридцать три франка семьдесят пять сантимов. Благоволите расписаться в получении этой безделицы.

Женщина встала, испуганная.

— Но я не служанка, сударь. Вы прекрасно знаете, кем я была для Жюля. Я беременна, писала даже.

— Простите, я перебыю вас, — отразил мэтр ле Понсар. — Если я только верно понял, вы были любовницей Жюля. Тогда разговор совсем другой. Вам не причитается ни гроша.



Ее оглушил этот ловкий удар.

— Так вот как, — заговорила она, задыхаясь, — вы выгоняете меня без денег, с ребенком, который появится на свет.

— Вовсе нет, сударыня, вовсе нет, вы передергиваете. Я не думал гнать вас как любовницу, напротив, я предоставляю вам ваши льготные дни как служанке, это не одно и то же. Прошу, выслушайте меня внимательнее: Жюль как служанку представил вас отцу. Все время, пока проживал здесь Ламбуа, вы играли эту роль. Ламбуа не знает или, во всяком случае, вправе не знать тех отношений, которые связывали вас с его сыном. Теперь он занемог, прикован к дому припадком подагры и, поручив мне поехать вместо себя в Париж для улаживания неотложных дел с наследством, естественно, решил отказаться от услуг служанки, ибо нет больше в живых единственного лица, которое могло бы ими пользоваться.

Софи разрыдалась.

— Я так ходила за ним, ночей не спала, если бы можно, я поставила бы его на ноги... Жюль ведь любил меня. Ах! сердце было у него доброе, он скорее отказал бы себе во всем, но не причинил бы мне горя. Нет, верьте, он не выгнал бы женщины, которая от него беременна!

— О! — суетливо возразил нотариус, — знаете, оставим лучше вопрос этот в покое. Допустим, что вы действительно беременны, как утверждаете, от Жюля; но согласитесь сами, не приличествует человеку моих лет исследовать тайны вашего алькова. От этой задачи я отказываюсь наотрез. Кстати, — вдруг спохватился он под наитием неожиданной мысли, — сколько месяцев вы беременны?

— Четыре месяца, сударь.

Мэтр ле Понсар глубокомысленно продолжал:

— Четыре месяца! Но в то время Жюль уже болел и, следовательно, здоровья ради воздерживался, очевидно, от сношений, которые могут позволять себе люди лишь здоровые. Сомнительно, чтобы от него...

— Но он не лежал в постели четыре месяца тому назад, — воскликнула Софи, возмущенная этими предположениями. — Даже врач не навещал его... Он слишком любил меня и...

Мэтр ле Понсар простер руку:

— Хорошо, хорошо, этого довольно. И слегка уязвленный тем, что попал на ложный путь и что числом месяцев ему не удалось сбить с толку женщину, он резко привосовокупил: — Еще ранее подозревал я, что излишества послужили причиной болезни Жюля и ускорили его смерть. Но теперь больше не сомневаюсь в этом. Истинное несчастье для людей вроде бедного мальчика, для людей болезненных, натолкнуться на особу, как бы это выразиться... слишком цветущую, слишком брюнетку, — закончил он, чрезвычайно довольный последним наименованием, которое счел и убедительным и точным.

Ошеломленная обвинением, смотрела на него Софи. Боялась даже отвечать, до того неслыханным показался ей возводимый на нее поклеп. Устрашенная мыслью, что ее чувству можно приписывать смерть человека, о котором она пеклась денно и ночью, женщина задыхалась, и обильнее хлынули пересохшие на миг слезы. Тем временем нотариус подумал, что слезы ее не красят, и даже забавным нашел живот, колыхавшийся в судороге рыданий.

Не располагали его к снисхождению эти мысли. Но разрасталось отчаяние бедняжки, навзрыд плакавшей, закрыв голову руками, и он чуть-чуть смягчился, сознавая в душе, что, пожалуй, жестоко так врасплох выбрасывать женщину на мостовую. Недовольный собою, разгневался — недовольный как своим образом действий, так и призраком затеплившейся в нем жалости.

Невольно подыскивал он решающий довод, который довершил бы ненавистность этой твари, довод, который укрепил бы и оправдал его жестокость, загасил бы вспыхнувшее в нем тревожное, тягостное чувство.

Предложил два вопроса и, чтобы выпытать правду, начал со лжи, обманывал самого себя и в предвзятом самовнушении добивался от женщины желанного ответа.

— Не спорю, голубушка, я не забываю отношений, которые вас связывали с моим внуком. Ничуть не обесценивая ваших заслуг, позвольте заметить вам, что не он первый сорвал цвет этих прелестей. — И нотариус послал ей приветственный, любезный жест. — Или, как принято говорить у нас, юристов: где нет ущерба, там нет и возмещения.

Софи по-прежнему тихо плакала и не ответила ни слова.

Отлично, подумал мэтр ле Понсар, она не спорит. Я не ошибся, Жюль был не первый любовник ее, а с такой...

— Во-вторых, — продолжал он, — вы, конечно, понимаете, что не могла длиться беспорядочная связь, в которой вы проживали с моим внуком. Так или иначе, но вас ожидал разрыв. Жюль был бы назначен супрефектом в провинцию, женился бы почетно и выгодно или покинул бы вас, был бы, наконец, покинут вами по причинам, которые известны единому лишь будущему: в обоих случаях вашим отношениям уготован был вынужденный конец.

— Нет, сударь, — пылко возразила она, подняв голову. — Нет, Жюль не бросил бы меня. Он женился бы на матери своего ребенка, сколько раз он мне это обещал.

Какова негодница попалась мне! — подумал нотариус. Рассеялись его сомнения. Девка, не могшая оправдаться хотя бы тем, что она отдалась внуку девственницей, осмелилась питать брачные замыслы.

Это чудовищно! И такую неряху мы заполучили бы в свою семью!

Он был огорошен. В мимолетном видении представил себе, как Жюль, пройдя весь городок, подводит женщину к порогу его дома, вводит в семью, повергнутую в ужас этим неравным браком. Представил, как, не умея держаться, ни

есть, ни сесть, она молола бы чепуху, компрометируя его положение смехотворностью своего настоящего, позором прошлого!

Хорошо еще, что мы от нее дешево отделались!

И его решение вдруг стало непреклонным.

— Угодно вам подписать расписку или нет? — сухо спросил он.

Она ответила отрицательным жестом.

— Подумайте хорошенько, я открываю вам выход, а вы отказываетесь. Берегитесь, как бы я не закрыл его пред вами сам.

Видя, как она упорно молчит, затаил свою злобу и, скрестив руки, заговорил отеческим тоном:

— Доверьтесь мне, не учиняйте сумасбродств. Прежде всего вам это нисколько не поможет. Поразмыслите, что произойдет, если вы откажетесь подписать расписку. Без крова и без гроша в кармане, не успев устроиться, вы очутитесь на мостовой, и вам будет некогда устраиваться. Ради невинного малютки, которого вы носите, не безумствуйте, отвергая мое предложение. Поверьте, оно единственно приемлемое, ибо примиряет интересы обеих сторон. Ну, в добрый час...

И подсунул ей бумагу. Софи оттолкнула ее рукой:

— Нет, не подпишу, а там посмотрим. Будь что будет, но я хочу воспитать его ребенка, который вместе с тем и мой.

— Немедленно же попросите меня быть крестным отцом и заплатить жалованье кормилице. — Мэтр ле Понсар чуть не издевался, таким нелепым показалось ему это притязание! — Отыскание отца, милая моя, воспрещено, и чтобы знать это право, не надо быть особым законником. Однако пора решать, я тороплюсь. Повторяю вам второй, и последний, раз: или вы служанка Жюля, и значит, вправе получить уплату в размере тридцати трех франков семидесяти пяти сантимов, или вы его любовница, и в таком

случае вам не следует ничего. Выбирайте из других решений то, которое сочтете выгоднее.

«Имя сему — дилемма, если только я в здравом уме и памяти», — очень довольный произнес он мысленно. Взял шляпу и зонт.

Софи негодуяще закричала:

— Хорошо, увидим, что мне остается делать.

— Ничего, верьте мне, красавица, ровно ничего.

В ожидании лучшего, до завтрашнего полудня, вам есть когда подумать. По истечении этого срока я заберу вещи и уеду, а ключ от квартиры верну домовладельцу. Утро вечера мудренее. Позвольте мне распрощаться с вами в надежде, что ночь послужит вам на пользу и завтра вы поведете себя благоразумнее.

Учтиво поклонившись и видя, что она не двигается, словно окаменелая, иронически попросил не беспокоиться провожать его и потихоньку открыл и закрыл дверь, как подобало человеку благовоспитанному.

#### IV

Госпожа Шампань любила внимать собственным речам с высоты своей конторки. Она была женщина перерезлая, астматическая и дородная, распухшая и белая. Морщины и вкривь и вкось, полосовали лоб, сплетались вокруг глаз, бороздили щеки, темными желобками изрыли ее лицо, как будто бы под кожу проникла пыль веков и запечатлелась неизгладимыми нитями на ее поверхности. Госпожа Шампань отличалась велеречивой болтливостью, была убеждена в своей значимости и уважалась в околотке, провозгласившем ее влиятельной и справедливой. И она действительно пеклась о бедняках, составляла прошения, посылаемые на имя великих Франции, которые часто получали их, неведомо зачем.

Хуже зато обстояли ее личные дела. Она владела писчебумажной и газетной лавочкой на улице Старой Голубятни, возле Красного Креста, и выручала ровно столько, чтобы свести концы с концами. Но все же мнила себя счастливой, ибо сбывались интимнейшие ее вожеления, ее страсть к сплетням. Она блаженствовала в этой лавке, воистину походившей на осведомительное агентство, на крошечную полицейскую префектуру, где без преступления и наказания обсуждались в судном разбирательстве домашние измены и распри, уплаченные займы и непогашенные долги.

Во главе бедноты, покровительствуемой ею и рекомендуемой милосердию знатных дам, стояла госпожа Дориатт, шестидесятивосьмилетняя женщина, худая и сгорбленная, с елейными глазами, впалым, беззубым ртом и ханжеским выражением лица. Она слегка походила на одну из тех нищих, которые взывают о милостыне у подножия церковных папертей. И действительно, она посещала храмы, пребывала в наилучших отношениях с духовенством Сен-Сюльпис и благоговела перед Пресвятой Девой.

Восседая на этот раз в лавочке на стуле, госпожа Дориатт жаловалась на свои ноги, которые отказываются служить ей, на свои мозолистые ступни, широкие, надсаженные ступни, без усталости шагающие в просторных башмаках.

Госпожа Шампань покачивала головой в знак соболезнующего понимания, но вдруг воскликнула:

— Постойте, ведь это Софи! Да, но какие глаза!

— Где? — спросила, вытягивая шею, Дориатт.

Лавочница не успела ответить. Звякнул звонок, открылась дверь, вошла Софи Муво с распухшими от слез веками и зарыдала пред обеими женщинами.

— Что случилось? — спросила ее госпожа Шампань.

— Никогда не следует так плакать! — подхватила Дориатт.

Они засуетились около нее, усадили на стул, заставили для подкрепления выпить травяной настойки и, воспользовавшись случаем, пропустили по стаканчику сами.

— А теперь расскажи нам все без утайки, — объявила госпожа Дориатт, проведя по губам обшлагом рукава.

Осаждаемая обеими женщинами, глаза которых горели любопытством, Софи поведала о сцене, имевшей место между ней и дедом Жюля.

Наступило мгновенное молчание.

— Старая образина! — воскликнула госпожа Дориатт, и прорвалось в этом крике негодование, душившее ее старую душу.

Госпожа Шампань, женщина хладнокровная, погрузилась в раздумье.

— Когда он вернется? — спросила она Софи.

— Завтра, до полудня.

Лавочница подняла палец и подобно оракулу изрекла приговор:

— Нам надо спешить, ничего не бойся, говорю я тебе. Ты беременна, не так ли? А значит, семья обязана платить тебе на пропитание. Я не искушена в законах, но кое-чего знаю. Все дело в том, чтобы не позволить себя околпачить. Провались я на этом месте, если не расправлюсь с этим старым крокодиллом! Нет, меня он не надует!

И встала.

— Шляпу и шаль, — обратилась она к застывшей от изумления Дориатт. Надела их. — Я оставляю на вас лавку, голубушка, мы мигом. Ну, а ты, моя девочка, не надрывай слезами глаз и следуй за мной. Пойдем к моему адвокату, это здесь рядом.

Перед такой непоколебимой самоуверенностью Софи подавила свои слезы.

— Он великолепный человек, — говорила госпожа Шампань в пути. — Балло, видишь ли, заставит раскоше-



литься хоть стену. Затруднений для него не существует. Он всезнающ. Сюда, пришли. Нет, подожди, я отдышусь.

Тяжко поднялись на четвертый этаж и остановились перед дверью, украшенной медной дощечкой, на которой была выгравирована красно-черная надпись: «Балло, взыскиваю долги, прошу покорно повернуть ручку». Госпожа Шампань задыхалась, прислонившись к косяку. Глупо быть такой толстой, вздохнула она. Потом отерлась и с сосредоточенным лицом открыла дверь, как если бы входила в церковь.

Они проникли в канцелярию, переделанную из столовой, и увидели окно, перед которым возвышались черные крашенные столы, за которыми сидели двое скрюченных людей: старик, с черепом, покрытым пухом, и молодой — чахоточный, косматый. Ни тот, ни другой писец даже не потрудились повернуть головы.

— Можно видеть господина Балло? — осведомилась Шампань.

— Не знаю, — не поворачиваясь, ответил старец.

— Он занят, — через плечо бросил юноша.

— В таком случае мы подождем.

И госпожа Шампань завладела стульями, которых ей никто не предложил. Молча уселись. Потупив глаза, неспособная связать двух мыслей, сидела Софи, еще плохо оправившаяся от удара, нанесенного ей сегодня утром нотариусом.

Лавочница осматривалась в комнате, меблированной серыми этажерками, на которых лежали папки и бумажные кипы, перевязанные шпагатом. Пахло плохо вычищенными сапогами, пригорелым жиром и подсохшими чернилами. По временам гул голосов доносился из-за зеленой двери, расположенной против окна.

— Там его кабинет, — конфиденциально сообщила госпожа Шампань своей протее, которая не ощутила ни малейшего облегчения от этого любопытного открытия.

Сперва госпожа Шампань обдумывала, что ей следует спросить, затем чтобы убить время, занялась созерцанием башмаков старого писца, их обтрепанными голенищами, резинками, свившимися на-подобие червей, и стоптанными каблуками. Она успела задремать, когда распахнулась зеленая дверь и, с низкими поклонами проводив до площадки посетителя, адвокат вернулся, узнал госпожу Шампань и пригласил ее войти.

На цыпочках последовали за ним обе женщины, вставшие при его появлении. Учтиво указал им на стулья, а сам развалился в полукруглом кресле красного дерева и, небрежно играя огромным веслообразным ножом, предложил клиенткам поведать ему о цели их посещения.

Софи начала свою повесть, но Шампань тоже заговорила вместе с нею, вплетая свои личные размышления в запутанное изложение событий. Наскучив этим словоизвержением, Балло сам начал задавать вопросы последовательно и умолял госпожу Шампань замолчать, позволить высказаться сперва особе, непосредственно затронутой.

— Так вы ныне желаете... — спросил он, ознакомившись с положением.

— Мы желаем, чтобы ей оказана была справедливость! — воскликнула лавочница, сочтя, что настал удобный миг вмешаться. — Несчастное дитя забеременело от этого мальчика. Сам он умер, ничем не может помочь ей, это ясно, но семья обязана, смею думать, выдавать ей небольшую ренту, достаточную хотя бы на уплату кормилице и воспитание малютки. Они гнусные, бессердечные сквалыги, которые обещали завтра вышвырнуть ее на мостовую, и я хочу знать, что нам теперь делать.

— Ничего, почтеннейшая.

— Как ничего! — воскликнула лавочница, остолбенев. — Значит, не у кого беднякам искать управы! Зна-

чит, есть люди, которые, если им заблагорассудится, могут уморить другого с голоду!

Балло пожал плечами.

— Квартира была на имя покойного, мебель тоже, — правда? Хорошо. С другой стороны, у Жюля есть наследники, которые вправе распорядиться его имуществом как им вздумается! Что же касается до ваших упований на посмертного ребенка, который якобы обеспечит права барышни, то это чистейшая ошибка. Ничто, слышите вы меня, решительно ничто не заставит их признать отцовство Жюля по отношению к этому ребенку.

— Господи! Да может ли быть! — задыхалась госпожа Шампань.

— Безусловно. Постановления кодекса бесспорны, — улыбаясь, подтвердил адвокат.

— Нечего сказать, хорош ваш кодекс! Какая цена ему, позволю себе спросить, если в нем не предусмотрены такие случаи!

— Напротив, милейшая госпожа Шампань, напротив — предусмотрены. Сами вы видели, что барышне воспрещено отстаивать свои притязания законными путями.

— Пойдем, пойдем отсюда, дочь моя, — гневно воскликнула лавочница. И встала. — Малое дитя поймет, что законы писаны мужчинами. Все для себя, и ничего для нас. Попадись только мне дедушка Жюля, я бы выцарапала ему глаза. Не увернулся бы он от меня!

И выведенная из себя лукавым смешком Балло, Шампань совсем потеряла голову и объявила, что если бы над ней позволил себе подобное надругательство мужчина, она отомстила бы во что бы то ни стало, пусть ей угрожал бы даже суд присяжных. Прибавила, что плюет на полицию, судей, тюрьмы. Разливалась добрых десять минут, подстрекаемая Балло, который, увидев, что из дела не выжмешь никакой выгоды, чистосердечно развлекался,

в душе симпатизируя этому провинциальному нотариусу и, как знаток, оценив по достоинству его искусную дилемму.

Софи стояла как прикованная, с застывшими глазами. Притупилась после утра мысль, что ей предстоит скитаться без крова и без денег, быть не лучше собаки, выброшенной на мостовую. Горесть жгучая и явная сменилась притихшей туманной тоской. Она спала наяву, неспособная совладать с истомой. Не плакала, смирилась, положилась на Шампань, в ее руки, отдала свою судьбу, отрешилась даже от собственного «я», вместе с лавочницей печаловалась о горе женщины, которая как бы была близка ей, но в которой она уже не признавала самое себя.

Не понимая этой расслабленности, равнодушного оценивания, порожденного избытком слез, госпожа Шампань рассердилась.

— Да встряхнись же, не будь, наконец, такой тряпкой! — И в этом восклицании излила остаток своего гнева. Затем притихла и без самоуверенности обратилась к адвокату: — Итак, господин Балло, это все, что вы нам скажете?

— Увы, высокочтимая, да. Мне жаль, что я бессилен помочь вам в вашей беде, — и он учтиво выпроводил их за дверь, рассыпаясь в своей готовности, уверяя госпожу Шампань в своем особом, глубоком уважении.

Уничтоженные, опомнились они лишь в лавке. Пришел черед возмущаться госпоже Дориатт. Шампань прикорнула за прилавком, закрыв голову руками, по временам вздрагивая под вопли старой подруги, мышление которой сегодня казалось особо непоследовательным. Без всякой разумной связи перескочила с Софи на свою жизнь, заговорила о себе, рассказывала о блаженной памяти Дориатте, своем супруге, общественное положение которого она или забыла, или не знала, ибо, вспоминая, что муж носил на платье золотые галуны, она так и не поведала, был ли он

маршалом Франции или барабанщиком, привратником или продавцом пирогов.

Фонтан повествований усыпил лавочницу, надломленную волнениями дня. Ее пробудила покупательница, спротившая перьев.

Потягиваясь, она вспомнила об обеде. День клонился к вечеру. В «Восемнадцать Котлов», харчевню, расположенную на Драгунской, возле Красного Креста, отрядили Дориатт принести на троих два супа и две порции баранины. «Я сварю кофе, — решила госпожа Шампань, — пока вы сходите за кушаньем, а Софи накроет тем временем на стол».

Двадцать минут спустя они восседали в задней комнате с круглым столом, кувшином, маленькой печью и тремя стульями.

Софи не могла есть. Кусок застревал у нее в горле.

— Нехорошо, красавица моя, — сказала Дориатт, евшая как великан. — Вам следует немного подкрепиться.

Но девушка покачала головой и угостила Тити, собачку-крысоловку, мясом, стывшим на ее тарелке.

Дориатт настаивала.

— Оставьте ее, горе питает, — здраво рассудила госпожа Шампань, которая в тот вечер тоже страдала совершенным отсутствием аппетита, но по крайней мере осушала стаканы, наполненные красной жидкостью.

Дориатт покорно согласилась и с набитым ртом не испустила ни звука, уплетая за обе щеки. Струйки сока змеились по ее подбородку — так стремительно истребляла она снедь.

— Подумаем теперь, — начала лавочница, погасив спиртовку и разведя кофе в кипятке. — Обсудим хорошенько, без лишних слов: Софи, как вы намерены завтра поступить?

Девушка печально пожала в ответ плечами.

— Пожалуй, не мешает сходить к домовладельцу, — размышляла госпожа Шампань, — попросить у него отсрочку на несколько дней.

— Ох! Эти буржуа! Они всегда сталкиваются между собою против бедняков! — молвила Дориатт в туманном проблеске здравого смысла.

Шампань пробормотала:

— Дело в том, что старик, наверно, побывал у него, чтобы забрать завтра мебель. Он, очевидно, способен даже заплатить хозяину, лишь бы тот выгнал вас завтра! О! Жестокосердые! Доведись до меня, я бы не позволила так издеваться над собой, несмотря на все их законы. Нет, я показала бы им!

Вдруг оборвала и, посмотрев на Софи, которая по капельке тянула кофе с чайной ложки, воскликнула:

— Пей так, девочка, это прочищает!

Потом на секунду задумалась, пытаюсь связать нить мыслей, прерванных советом, и не вспомнив, продолжала:

— Довольно сказать тебе, что ты не обьешь меня и кусок для тебя найдется здесь всегда. Я без гроша, девочка моя, но это пустяки. Если тебя выгонят, переезжай сюда, и пока что, я накормлю тебя и дам ночлег. — Новая мысль зародилась вдруг в ее мозгу. — Постой... ты ведь не слишком понятливая, а что, если с дедом Жюля завтра переговорить мне самой? Может быть, я усовещу его и добыю, чтоб он наградил тебя.

Софи благодарно согласилась.

— Ах! какая вы добрая, госпожа Шампань, — обнимала она ее. — Никогда мне бы не справиться одной.

Луч света блеснул в сумраке ее уныния. Убежденная в высокой разумности лавочницы, уверенная в ее основательных познаниях, она не усомнилась счесть для себя завтрашнее присутствие ее благоприятным, утешительным. Знала себе цену, признавала себя бестолковой, неопытной. Потому что покинула родину, деревушку близ Бовэ, ровно

ничего не зная, не получив никакого образования от отца с матерью, которые попросту учили ее побоями. Повесть ее жизни отличалась заурядностью.

Сын богатого фермера обольстил ее и бросил сейчас же после изнасилования. Отец заколотил до полусмерти и попрекал за то, что она не сумела выйти замуж. Девушка бежала и в Париже нанялась няней в буржуазную семью, где чуть не умирала с голода.

Случайно встретилась с Жюлем, и он влюбился в красивую, свежую девушку, несмотря на свою необразованность выказывавшую ласковый нрав и известный такт. Забитая грубым обхождением, сама она увлеклась этим юношей, робким и слегка неуклюжим, который не помыкал ею, но относился с нежностью. Радостно согласилась на его предложение жить вместе. Связь их была неизменно счастливой. Стремясь нравиться любовнику, она отрешалась от своей грубости, отвыкала понемногу от болтливости, приучалась вовремя молчать. Он ненавидел балы, кофейные, развязных женщин, перед которыми окончательно терялся, и с удовольствием сидел дома возле женщины, которая чаровала его своей простодушной прелестью, дарила ощущением уюта.

Но вот настал день, когда она почувствовала себя беременной, и Жюль мужественно встретил будущего ребенка, польщенный, с юной важностью возлагая на себя столь значительные обязательства.

Вдруг неизвестно отчего молодого человека постигла тяжкая болезнь. Иссякло радостное течение их совместной жизни. Помимо тревожений и мук, внушаемых Софи этой болезнью, ее страшил вероятный приезд отца Жюля. Она изобретала средства отсрочить, если уж нельзя отразить, наступление опасности. Любовник посылал в коробе грязное белье к отцу, она стала носить носки и рубашки, чтобы загрязнить их перед отправкой в деревню. Сперва такая хитрость удалась, но вскоре Ламбуа обеспокоился,

изумленный столь долгим отсутствием обычных писем сына. Больной напряг силы и нацарапал несколько строк, своей туманной неуверенностью превративших отцовское удивление в тревогу. С другой стороны, врач, считая пациента погибшим, нашел нужным предупредить семью, и Ламбуа не преминул прибыть.

Она затворилась в кухне, ограничилась скромной ролью служанки, варила микстуры, губ не размыкала и, несмотря на душившие ее рыдания, напускала на себя равнодушие современной прислуги к умирающему, которого смела ласкать только, когда отец уходил к себе в гостиницу.

Но, невзирая на всю бесхитрость, на свою недалекость, не подозревая даже о намеках и рекомендациях врача, она отлично понимала, что ей не обмануть отца своими уловками. Притом же множество мелочей выдавало их сожительство: матрас, совлеченный с постели и посланный на паркет столовой, голая комната служанки, один умывальник, две зубные щетки в стакане, одна банка с помадой на туалете. Предусмотрительно убрав из зеркального шкапа свои платья, она забыла о других предосторожностях, до такой степени ее смутил этот неожиданный приезд отца. Мало-помалу заметила свои оплошности, наивно старалась припрятать смущающие предметы, не догадываясь, что ее хлопоты разогнали последние сомнения Ламбуа.

Он держался с превеликим достоинством. Принимал услуги Софи, бережливости ради заказывал ей обед и даже не гнушался похваливать некоторые кушанья. Никогда не проронил ни единого намека на роль, играемую этой женщиной. Лишь после смерти сына дал понять, что знает истину. Вернул Софи фотографию, найденную им в одном из приотворенных ящиков бюро, и присовокупил: сударыня, я возвращаю вам портрет, которому отныне здесь не место. И как бы забыл о ней, поглощенный хлопотами похорон, перевезением тела в провинцию, не слал ей ни вестей, ни денег.



С этого дня она пребывала в состоянии, близком к оцепенению, выплакала все слезы о своем бедном Жюле, больная от усталости, терзаемая беременностью, тратя по несколько су в день и все еще надеясь, что отец любовника придет ей на помощь. Средства иссякли, она написала ему письмо и в лихорадочном ожидании вся жила надеждой на ответ, которого не дождалась, и вот теперь к ней явился этот страшный старик, выгонявший ее на улицу.

Наконец-то ей улыбнулось счастье. Ей соглашалась помочь госпожа Шампань, с которой она познакомилась, покупая газеты и чернила и предаваясь с ней ежедневным разговорам утром по пути на рынок. У нее язык искусный, думала Софи, хорошо подвешенный, и большой житейский опыт; притом же женщина она положительная, купчиха, была обвенчана в законном браке. Не то что я, бедная, беззащитная девушка, без общественного положения, над которой можно надругаться и которую намерен преследовать нотариус. Перескочив от одной крайности к другой — от подавленного столбняка к пылкой надежде, Софи преисполнилась уверенностью, что ее бедствиям подходит конец, и то самое, о чем молодая девушка подумывала втихомолку, со свойственной ей неслепотой во всеуслышание возгласила Дориатт:

— Дело ваше в шляпе, душечка; поверьте, что люди благопристойные всегда сумеют столковаться, — и прибавила, что, без сомнения, Софи преувеличивает угрозы этого нотариуса, не могущего быть дурным человеком уже в силу своих богатств, которые она в неисповедимом наитии вообразила вдруг неисчислимыми. Измыслив нотариальное богатство, госпожа Дориатт не за страх, а за совесть охвачена была теперь безмерным уважением к старцу, которого до сих пор она столь сурово поносила.

Госпожа Шампань также прониклась, в свою очередь, известной гордостью при мысли, что ей предстоит

разговор с таким почтенным барином, который будет беседовать с ней как со светской дамой. Великой важностью в собственных глазах облекли ее эти полномочия. На целые месяцы такой предмет для разговоров! Какое почитание околотка, который восхвалит ее добросердечие, превознесет ее дипломатическую находчивость, прокричит об ее весе и светскости! И утопала в этом мечтании, блаженно улыбаясь, заранее предвкушая желанные плоды своего за-втрашнего сладкогласия.

— Есть у него орден? — вдруг спросила она Софи. Девушка не заметила красной ленточки на сюртуке этого человека. Лавочница огорчилась, ибо свидание вышло бы тогда еще величественнее.

Но утешилась, повторяя себе, что ни разу в жизни не открывалось ей подобного случая выказать в такой степени свои таланты и явить свои милости.

Печаль первого мгновения сменилась в лавочке излияниями радости.

— Пропустим по стаканчику, красавица моя, — предложила Софи госпожа Шампань. — А вы, голубушка? — спросила она Дориатт.

Эта не заставила долго себя упрашивать. Протянула чашку, надеясь, что, быть может, ее наполнят доверху, но лавочница нацедила ей не больше чем с наперсток, и они выпили все втроем, пожелав друг другу долгого здравия и всяческой удачи.

Приспел час запирать лавку, и ободренная, почти успокоенная после таких тревог, Софи больше не сомневалась в успехе предприятия, гадала о величине суммы, которую получит, наперед распределяла ее на несколько частей: столько-то на акушерку, столько-то на кормилицу, столько-то на себя, пока подыщет место.

— Не худо будет малость отложить на непредвиденные случаи, — благоразумно посоветовала госпожа Шампань, и они засмеялись, подумав, что жизнь не без добра. На

электризованная этими восторгами собачка Тити затыкала, прыгнула на стол как угорелая и, обмахивая радостные лица трех женщин плюмажем своего хвоста, способствовала общему веселью.

— Погодите! — вдруг воскликнула госпожа Дориатт. Встала, нашла старую колоду карт и начала гадать.

— Увидишь, душечка, как тебе завтра повезет. Снимай. Нет, левой, ты ведь незамужняя. — И наугад вытягивала по три карты, смотрела, не попались ли ей в них две одномастные, и тогда выкладывала на столе ряд к ряду ту из них, которая была ближе к ее большому пальцу. — Ты брюнетка, значит, трэфовая дама. Пиковая дама тоже брюнетка, но обязательно или вдова, или дурная женщина, а ты, милочка, совсем напротив.

В таком порядке она трижды перебрала колоду в тридцать две карты, всякий раз откидывая часть карт себе в подол. На столе осталось семнадцать карт.

Непреложное нечетное число. Начиная от своей героини, трэфовой дамы, пальцами отсчитывала госпожа Дориатт справа налево — раз, два, три, четыре, пять, останавливаясь на пятой карте. И торжественно воскликнула:

— Трэфовая девятка — к деньгам! Раз, два, три, четыре, пять, король — человек степенный. Раз, два, три, четыре, пять...

— Шесть, извольте кашу съесть. Семь, восемь, девять, пожалуйста рубашку мерить! — прибавила госпожа Шампань.

Но опьяненная успехом Дориатт пропустила мимо ушей ребяческое вторжение госпожи Шампань.

— Пять! — продолжала она, — бубновая девятка — это бумаги, рядом с трэфовым королем, который законовед. Как по-писаному. Спи всласть, девочка. Судьба хранит тебя.

— А завтра не за горами, — вставила Шампань, перемешивая движением руки все карты. — Пора спать.

Завтра рано вставать. — И пожала руку Дориатт, обещавшей заменить ее сейчас же, как откроется лавка. В щеки расцеловала Софи и посоветовала ей прибраться завтра квартиру, с утра принарядиться. Взволнованная, словно накануне праздничной поездки, размышляла затем госпожа Шампань, как завтра она украсится всеми своими драгоценностями, наденет лучшее платье, чтобы быть на высоте обстоятельств и внушить уважение этому нотариусу, который, конечно, будет польщен, очутившись в обществе подобной дамы, выказавшей столь любезную готовность пойти ему навстречу.

## V

В мои годы! Быть одураченным женщиной, работающей у Петерса! Мэтр ле Понсар сожалел о своем промахе, непонятном порыве, бессмысленном движении, которое как бы принудило его предложить этой женщине угощение и проводить ее до дому.

Заметим, что голова его отнюдь не была затуманена виновными парами. Негодница подседа к нему за стол и, не смотря на его откровенное предупреждение, что она только даром потеряет время, болтала с ним разный вздор. Мужчины входили и кланялись ей, а она здоровалась с ними за руку и говорила вполголоса. Из этого пустяка родилось, быть может, в недрах души его инстинктивное решение обладать ею. Или заговорил голос старшинства, каприз человека, который пришел первым и стремится сохранить свое место. Зашевелилась ли в нем досада старика, увидевшего более молодых соперников, своего рода самолюбие старого сластолюбца, вождеющего женщины, не стесняясь платой! Но нет, совсем не то. Его пронизал неодолимый порыв, независимое от воли движение, ибо в тот миг он отнюдь не был снедаем плотской страстью, и самая наружность этой женщины совсем не отвечала его вкусам.

Погода стояла, с другой стороны, сухая и холодная, так что мэтр ле Понсар в оправдание своего падения не мог сослаться ни на давящую жару, ни на дождливые расплавленные небеса, когда почти беззащитно попадает в руки подстерегающих добычу женщин расслабленный мужчина. Итак, по здравом размышлении, приключение это оставалось необъяснимым.

Дорогой в экипаже он казался себе смешным, называл встречу глупостью, которая чревата неприятностями. Но в то же время чувствовал себя бессильным расстаться с женщиной, движимый тем причудливым наваждением, которое ведомо людям, запоздавшим вечернею порой, и которого не объяснит никакая психология.

Бередил свою рану, повторяя: «Если б видели меня! Я похож на старого волокиту!» Пробормотал, расплачиваясь с кучером, пока женщина звонила у своего подъезда: «Сейчас начнется испытание. Она предложит мне руку, чтобы я не сломал себе шеи в темноте на ступенях, а у себя в комнате начнет вымогать деньги. Бог мой, какая я дубина!» Но тем не менее поднялся к ней, и все разыгралось как по нотам.

Сперва он ощутил, впрочем, некоторое облегчение после предвкушаемых печалей. Квартира была меблирована с роскошью, дурного тона которой он не замечал. Олицетворением возбуждающей изысканности и комфортабельной неги показались ему: камин, закутанный поддельными бархатными тканями, таган с точеными резными шарами, новые медные часы, подсвечники, сжимавшие розовые свечи, которые погнулись от жары, диваны, покрытые вязаными кружевами, мебель туевая и палисандровая, высокая кровать в спальне, консоли, украшенные поддельными саксонскими безделушками, рыночный хрусталь, статуэтки Гревэна. Снисходительно рассматривал он стоявшие часы, пока женщина освобождалась от шляпы.

Повернувшись к нему, она заговорила о делах.

Дрожа выпускал нотариус золотой за золотым, которые женщина невозмутимо тянула с него то вкрадчивыми, то повелительными вымогательствами.

Созерцая корсаж, казавшийся ему тяжелым, теплым, и шелковые красные чулки, в отблесках свечей трепетавшие на полных с виду икрах и упругих ляжках, он слегка мирился со своей старческой слабостью, приведшей его к женщине в столь поздний час.

Чтобы ускорить опустошение кошелька, женщина расположилась у него на коленях.

— Я ведь тяжелая, правда?

Учтиво утверждал обратное, несмотря на свои сгибавшиеся ноги. Тщился подбодриться, убедить себя, что эта тяжесть, — вернейшее доказательство массивного, упитанного тела, которое он почуял. Но тускнела перспектива вволю смять ее, насладиться, его отрезвляли, расхолаживали подсчет расходов, сознание творимой глупости, сопряженное с неизъяснимым оцепенением воли.

Чем дальше, тем женщина становилась ненасытнее. Наряду с сомнительными обещаниями идеальных ласк она, не довольствуясь полученным, требовала все новых золотых. Тупость ее разговора, дружелюбных словечек, вроде «мой жирный песик», «милочка мой», «мой карапузик», довершила унылое отупение старца, ясновидение которого не обольщалось приправой, уснащавшей ее требования. «Будь добренький — увидишь, какая я умница, останешься доволен».

Изнемогший до крайности, убежденный, что самыми заурядными будут возвещаемые ею необычайные утехы, он жадно желал исчерпать их, дабы спастись бегством.

Это желание окончательно преодолело его сопротивление, и он позволил огрابتь себя до ниточки.

Тогда женщина пригласила его снять скюртук, расположиться поудобнее. Сама разделась, сбросила платье, скомкала, что могла. Нотариус приблизился, но увы! Эта зама-

нившая его толстушка оказалась и перезрелой и поддельной. Последнее разочарование она еще усугубила всем, чем только может в постели досадить сердито настроенная женщина. Подчеркивала свое равнодушие к его заигрываниям, отталкивала его голову, ворчала: «Нет, оставь, ты надоедаешь мне». А в ответ на его просьбы отвечала с сухой, презрительной гримасой, что он ошибается, она не из таких, за кого он ее принимает?

Нотариус испустил вздох облегчения, очутившись за порогом двери. Ах! Глупее нельзя быть обокраденным! И кровь залила ему лицо при воспоминании об отвратительных подробностях этой сцены.

Его душили столь злосчастно вымученные деньги. Невольно начал рисовать себе полезные вещи, которые бы можно было приобрести на эту сумму.

Предался обычной праздной думе людей, легковерно поплатившихся своей кошелем, сопоставляя, как из бережливости он не решается купить себе вещь приятную и полезную, а те же деньги не задумываясь бросает бесплодно и бессмысленно.

— Я! ты... советую тебе быть шелковой, — заключил он, вспомнив о любовнице внука, сливая обеих женщин в едином негодующем порыве.

Улыбнулся, уверенный, что уничтожит Софи Муво, безнаказанно подвергнет ее поношениям, выместит на ней обиды, нанесенные ему корыстолюбием ее пола. Домовладелец, прельщенный возможностью немедля же вступить во владение квартирой, выразил нотариусу свою полнейшую готовность во всем ему содействовать, предварительно высказав несколько общих мыслей об опасностях распутства и глубокой развращенности века. Привратник почтительно поклонился, когда мэтр ле Понсар, предварив его, что завтра будет вывезена мебель, распорядился, чтобы тот в случае нужды помог изгнанию женщины и хранил ключ. Две скользнувшие в руку стража пятифранковые

монеты обрызгали елейностью его лицо и смягчили лютеровскую суровость осанки. Тридцать три франка семьдесят пять сантимов и десять франков составляют сорок три франка семьдесят пять, высчитал нотариус. Как раз цифра, которую я наметил моему старинушке Ламбуа — франков пятьдесят, не больше.

Все предосторожности были приняты. Ровно в полдень явятся возчики, вынесут мебель и по железной дороге отправят ее в Бошамп на товарной платформе, в фуре со снятыми колесами.

Висел еще один-единственный вопрос. Софи казалась мэтру ле Понсару исключительно лукавой. Молчание, которым она окутывалась, усвоенная ею система непрерывных слез смущали нотариуса, чувшего хитрость в полной растерянности и подавленном скудоумии девушки. Он был глубоко убежден, что под этим слезливым оцепенением таится засада, и его не покидал страх, что она приедет в Бошамп и учинит там скандал своим появлением. По зрелом размышлении он решил обратиться к дружескому содействию своего старого приятеля, полицейского комиссара, через него познакомился с комиссаром VI округа и заручился обещанием припугнуть женщину карами правосудия, если она вздумает шуметь.

«Пора, надо прихлопнуть западню и круглехонько расправиться с распутницей», — подумал мэтр ле Понсар, сверившись с часами. И пошел к улице Фур, разгоняя свою досаду мыслью, что сядет вечером на поезд и наконец вернется в свое гнездышко. Завидя его, привратник в низком поклоне чуть не облобызал его ноги. Поднявшись, мэтр ле Понсар остановился в коридоре и бессознательно подменил невольным властным, резким ударом тот учтивый, осторожный стук, с которым накануне он толкнулся в дверь. В сопровождении Софи проник в комнату и остановился, изумленный зрелищем дородной дамы.

Дама встала, отвесила поклон и уселась снова. Кто бы это мог быть? — гадал он, созерцая тучную особу, умо-



помрачительно затянутую в яркое ультрамариновое платье, на корсаж которого ниспадал трехэтажный жирный подбородок.

Смотря на капли розовых кораллов, стекавшие с багровых раковин ушей, созерцая нагрудный крест, болтавшийся на шее, он рассудил, что эта старая дама, наверно, торговка, облекшаяся в свои праздничные одежды. Отвратил презрительно глаза и, перенеся их на девушку, нахмурился. Софи тоже разоделась, разукрасилась всеми драгоценностями, подаренными Жюлем, и была очаровательна в своем убранстве, блистала грудью, красиво очерченной корсажем, бедрами, стянутыми кашемировою юбкой. На ее пагубу, эта красота, этот наряд, которые вчера смягчили бы старца, сегодня, напротив, разгневали его, напомнив о проклятом вечере. Ее гнала сама судьба. Сегодня нотариуса мог бы умиловить лишь тот растерзанный вид, который оттолкнул его во время первого знакомства.

Подобно тому, как беспощадность внушали ему сбившиеся тогда на лоб волосы, так теперь к жестокости подстрекала ее тщательно уложенная прическа.

Жестким тоном осведомился, надумала ли она подписать расписку.

Вмешалась жирная дама:

— Бог мой, позвольте мне воззвать, сударь, к вашему добросердечию. Как видите, бедная девочка огорошена всем, что стряслось над ней... и ничего не знает. Я заверила Софи, что вы не бросите ее на муку. Софи, говорю я ей, господин Понсар человек образованный, правосудный. Таких людей бояться нечего... Ведь правда, деточка, говорила я тебе это?

— Простите, сударыня, — прервал нотариус, — я счастлив был бы знать, с кем имею честь...

Толстая дама поднялась и поклонилась.

— Имя мое Шампань, у меня писчебумажное дело в номере четвертом; Шампань, муж мой...

Мэтр ле Понсар жестом оборвал ее речь и более сухим тоном спросил:

— Вы, конечно, сродни барышне?

— Нет, сударь, но это все равно. Я ей как бы мать.

— В таком случае позвольте вам заметить, сударыня, вас вовсе не касается разбираемый нами вопрос. Кроме барышни, я не хочу иметь дела ни с кем другим. — И вынул часы. — Через пять минут здесь будут возчики; предупреждаю вас, что из квартиры я выйду не иначе как с ключом в кармане. А посему, барышня, мне остается лишь просить вас собрать в узел принадлежащие вам вещи и сообщить мне ваш решительный ответ, согласны вы или нет на мое предложение?

— О, Боже! Мыслимое ли дело! — вздохнула уstraшенная госпожа Шампань.

Но мэтр ле Понсар устался на нее своим свинцовым взглядом, и рассеялась ее последняя уверенность. В общем, женщина эта, обычно смелая и велеречивая, словно лишилась сегодня утром своего оружия, утратила отвагу.

И впрямь, еще не успела она встать с постели, как на нее обрушилась одна из тех непоправимых бед, которые, точно по сговору, разят бедняков в минуты горя. Госпожа Шампань носила два вставных передних верхних зуба. Каждый вечер вынимала и опускала их в стакан воды. Нынче утром содеяла оплошность, достав костяшки из воды и положив на ночной мраморный столик, откуда собачка Тити стянула их, без сомнения вообразив, что это кость.

Чуть не обмерла лавочница, видя, как песик грызет коронки, поддельную слоновую кость, словом, весь снаряд. С этой минуты она закусывала губы из страха обнажить пробелы челюсти, брызгая слюной, процеживала слова, была подавлена неотвязной мыслью, что у нее нет денег заткнуть свои щели. Гнетущая забота, в связи с боязнью показать нотариусу амбразуры, вырезанные в ее деснах, обессилила ее способности, повергла почтенную даму в

отупение. Госпожу Шампань вконец расхолодили сухость старца, его властная речь, презрение, которым он не переставал обливаться, несмотря на торжественность ее наряда. Тем более что она ни на миг не сомневалась в приветливом приеме и любезной беседе, в обоюдном излиянии учтивостей.

— Вы поняли меня, не правда ли? — прибавил мэтр ле Понсар, обращаясь к растерявшейся Софи.

Девушка разразилась рыданиями, и, забыв о зубах, госпожа Шампань, потрясенная, ринулась к ней, со слезами утешала ее и обнимала.

Нотариуса передернуло от этого взрыва. Но сейчас же торжествующая улыбка мелькнула на его лице: снаружи донесся топот извозчиков, взбирающихся по ступеням. Кулачный удар упал на дверь, которая загудела подобно барабану. Нотариус открыл. Комната наполнилась вечно пьяными упаковщиками.

— Ого, взгляни, как барынька закатывает глазки!

— Не знаю, она, должно быть, тяжеленька, — ответил другой, поглядывая на ее живот, и с веселыми глазами подскочил, чтобы подхватить в свои объятия Софи, без чувств поникшую на стуле.

Госпожа Шампань жестом отстранила наглецов.

— Воды, воды! — кричала она, вне себя, топчась на месте.

— Не обращайтесь внимания и поторапливайтесь, — сказал рабочим мэтр ле Понсар. — Я займусь барышней... Пожалуйста, без комедий, — гневно подступил он к лавочнице, нервно потрясая ее за плечо. — Потрудитесь отобрать ваше тряпье, или я немедленно прикажу упаковать все без разбору.

И сам поскидал юбки и платья, висевшие на вешалке, и швырнул их в угол, а госпожа Шампань с плачем терла девушке виски.

Та наконец пришла в себя, и когда рабочие под бдительным оком нотариуса, надзиравшего за их выходом,

выносили мебель, госпожа Шампань поняла, что игра проиграна, и попыталась спасти последнюю ставку.

— Сударь, — заговорила она, подойдя к мэтру ле Понсару на площадке. — На два слова, если позволите.

— Я вас слушаю.

— Если у вас нет жалости к Софи, которая убивалась, ходя за вашим внуком, то позвольте мне воззвать, по крайней мере, к вашему чувству справедливости. Раз вы, по словам вашим, смотрите на Софи как на служанку, то согласитесь, что за все прожитое ею у господина Жюля время она не получила ни гроша жалованья, и заплатите ей за месяцы, которые бедняжка провела у него, чтоб ей было на что приютиться у акушерки и отдать ребенка на прокормление.

Нотариус пожал плечами. В задорном смехе расплылся его рот.

— Сударыня, — промолвил он с церемонным поклоном. — С глубоким прискорбием должен я отвергнуть ваши притязания. Боже мой! И по весьма простой причине. Никто в мире не поверит, чтобы прислуга оставалась служить в доме, хозяин которого ей не платит жалованья. На мой взгляд, уже из того самого, что барышня не бросала места, неопровержимо вытекает, что она ежемесячно получала свою плату. Добавлю, что не принято спрашивать расписок у служанок, и потому отсутствие таких расписок никоим образом не дает права на вывод, что наследники Жюля являются должниками барышни. Возвращаясь к тому, с чего начал, и в последний раз, сударыня, — поверьте, что мне надоело бесчисленное число раз повторять одно и то же, — предлагаю Софи Муво выяснить свое положение и в виде исключения из указанного мною правила подписать настоящую расписку. В обмен я выплачу ей сумму, на которую она, по разумению моему, имеет право.

— Но это срам, сударь, низость, грабеж! — иступленно воскликнула госпожа Шампань.

Мэтр ле Понсар повернулся на одной ноге и показал ей спину, даже не удостоив ее хулы ответом.

— Говорю вам, оставьте меня в покое, — крикнул он на лестницу возчикам, пытавшимся выклянчить у него на новый литр. И возвратился в квартиру, нахмурив лоб, заложив руки за спину.

В нем бушевала глухая злоба. Вторжение лавочницы в вопрос, вмешиваться в который, по его мнению, у той не было никаких оснований, укрепило нотариуса в принятом решении, и притом же ему хотелось развязаться, покинуть Париж, ненавистный ему со вчерашнего дня, поскорее вернуться к себе с ночным поездом. Помимо того, он вбил себе в голову, что не перешагнет пятидесяти франков — суммы, предложенной им Ламбуа как максимум. Считал теперь для себя вопросом чести оправдать свои предвидения, еще лишней раз показать, насколько он человек положительный, когда речь идет о делах. В таком сбережении он усматривал также справедливое возмездие своей вечерней расточительности. Пускай, если им угодно, женщины сами устраиваются промеж себя. Наконец, его взбесила жадность возчиков.словно все сговорились пригоршнями черпать в его кошелек. Отлично! Никто не умастит его, никто не получит ни гроша! Эти мотивы громоздились в уме его и, крепко сплотившись, отражали тщетные мольбы и неистовства госпожи Шампань, которая утратила всякое самообладание, когда мэтр ле Понсар вернулся в комнаты, и, видя, что дело проиграно, перешла к угрозам.

— Хорошо же! если так, — шипела она сквозь зубы, — то я, я сама двинусь в ваш город, сударь, хотя бы мне пришлось шествовать пешком, и перетряхну все, вы понимаете меня, все! Я принесу вам ребенка и на улицах во всеуслышанье объявлю всю правду. Расскажу, что вы были настолько бессердечны, что не помогли даже родиться этому дитяти на свет...

— Та, та, та, — прервал нотариус, открывая бумажник. — Не угодно ли взглянуть: повестка полицейского комиссара, который вызывает барышню к себе. Еще слово, и я использую бумажку и обещаю вам, что барышня будет успокоена, если только вздумает тронуться из Парижа. Ну, а что до вас, дражайшая моя, то я сочту себя вынужденным и для вас выхлопотать приглашение к этому чиновнику, который, клянусь, образумит вас, если вы не прекратите своих разглагольствований. Попробуйте, явитесь в Бошамп, если вам это так нравится! Будьте спокойны, я скорехонько упрячу вас.

— Изверг! Чудовище! — уstraшенная, пробормотала госпожа Шампань, пред которой пронеслось видение: анфилады мрачных темниц, крысы, чернѳй хлеб, кружка с водой — словом, вся жалостная декорация мелодрамы.

Довольный своим удачным выпадом, мэтр ле Понсар спустился во двор, где нагружали последнюю мебель. Затем, когда все было уложено, пригласил привратника следовать за собой и вновь преодолел четыре этажа.

— Ага, наконец-то мы одумались! — сказал он, увидя, как госпожа Шампань обмакнула перо в чернильницу и подала его Софи. И в то время, как дрожащие руки обеих женщин соединились, чтобы изобразить росчерк внизу листка, мэтр ле Понсар знаком приказал привратнику связать разбросанные пожитки женщины, а сам взял и сложил расписку, в которой Софи объявляла, что служила в прислугах у Жюля Ламбуа, подтверждала получение сполна своего жалованья и удостоверяла, что отныне никаких денежных притязаний не имеет.

Посмотрим, что ты запоешь, голубушка, с такой бумажкой! И он положил на камине деньги, которые приготовил и отсчитал еще накануне.

— А теперь, сударыни, позвольте мне откланяться... Потрудитесь переправить эти узлы на двор, — продолжал он, обращаясь к привратнику.

— Нет, сударь, нет, это не принесет вам счастья, — простонала, качая головой, госпожа Шампань и повела прочь изнемогшую Софи, поддерживая ее под руку. — Все ли ты забрала свое? — спросила она, поднимая крышку корзины, которую набила сама девушка.

Та подтвердила наклонением головы, и они начали медленно спускаться.

— Уф! Вот так баня! — воскликнул мэтр ле Понсар, в одиночестве оставшись хозяином положения. Закурил сигару, от которой учтиво воздерживался, дабы не обеспокоить дам. Окинул взором нагие стены. По привычке к опрятности носком сапога отшвырнул в камин лоскутки тряпок, клочки бумаги, валявшиеся на полу. Сложенная четверо записка привлекла его внимание. Поднял ее и пробежал. То был аптекарский рецепт. Лавровишневые капли и челибуховая тинктура. На секунду задумался и, как человек женатый и отец семейства, смутно вспомнил, что эта микстура помогает от тошноты, причиняемой беременностью.

— Черт возьми! Но этот рецепт может пригодиться девушке! — И открыв выходящее во двор окно, выждал, пока показались сошедшие вниз женщины, и громко кашлянул. Они посмотрели вверх, а он бросил им бумажку, которая запорхала и упала к их ногам.

Мне не в чем упрекнуть себя, заключил нотариус, затягиваясь сигарой. Обозрел в последний раз квартиру, убедился, что она совершенно пуста, тщательно запер дверь и удалился, возвратив ключ привратнику.

## VI

Восемь дней спустя по возвращении мэтра ле Понсара в Бошамп Ламбуа прохаживался у себя в гостиной, тревожно посматривая на часы. Наконец-то! — мысленно воскликнул он, услыша звякнувший звонок, и устремился в

вестибюль, где нотариус, более невозмутимый, чем когда-либо, вешал на олений рог свое пальто.

— Что случилось? — спросил он, следуя за Ламбуа в гостиную, где был приготовлен стол для виста.

— Дело в том, что я получил из Парижа письмо касательно этой женщины!

— Только-то, — уронил мэтр ле Понсар, презрительно складывая губы. — Я думал, что-нибудь важное.

Такая уверенность, видимо, облегчила Ламбуа.

— Прочтем сперва письмо, пока не подошли эти господа, — предложил нотариус, искоса взглянув на четыре стула, симметрически расставленных перед столом.

Оседлал нос очками и, подсев к столу возле свечи, попытался расшифровать очень бледные каракули, водянистыми чернилами написанные на очень гладкой, местами протекавшей бумаге.

— «Милостивый государь! Осмеливаюсь прибегнуть к вашему добросердечию и умоляю вас принять благосклонное участие в моем положении. После того как господин Понсар приезжал и увез мебель, Софи негде было преклонить голову, и я приютила ее, как родную дочь. Она заслуживала этого, сударь, по своему прекраснодушию, ибо, хотя господин Понсар не оказал ей справедливости, на которую она рассчитывала, но ведь всех, сами знаете, по-своему не переделаешь и на всех не угодишь....»

— Что за стиль, — воскликнул нотариус. — Но пропустим это ненужное словоизвержение и перейдем к делу. Ага! вот оно!

— «С Софи приключился выкидыш, весьма злосчастный. Муки схватили ее в задней комнате, где я занимаюсь разными хозяйственными делишками, чтобы в лавке, куда входит народ, всегда было чисто. Госпожа Дориатт...»

— Кто это — госпожа Дориатт? — осведомился Ламбуа. Нотариус знаком ответил, что ему неизвестно даже имя дамы, и продолжал:



— «Госпожа Дориатт сперва не поверила, что начинается выкидыш. Подумала, что удар, нанесенный девушке выгнавшим ее господином Понсаром, перевернул в ней всю кровь, и побежала к знахарю достать бузины и, вскипятив снадобье, дала Софи вдыхать пары, чтобы отвлечь воду, которая, по мнению ее, прилила у той к голове. Но боли сидели в животе, и она так мучилась, что чуть не задыхалась от воплей. Я тогда перепугалась и побежала на улицу Канет за повивальной бабкой, привела ее с собой, и она сказала мне, что это выкидыш. Спросила, не упала ли Софи и не пила ли абсента и полынной. Я ответила, что нет, но что ее постигло большое горе...»

— К делу! пропустим этот вздор, — нетерпеливо прервал Ламбуа. — Иначе мы не управимся до прихода друзей, а не годится посвящать их в эту глупую историю.

Мэтр ле Понсар пропустил целую страницу и продолжал:

— «Она умерла, было бы вам известно, естественно, не выжил и ребенок. А я заложила мои серьги и шейный крест, чтобы заплатить повитухе и в аптеку. Денег у меня больше нет, также и у госпожи Дориатт, ибо она всегда без денег.

На коленях умоляю вас, милостивец мой, не оставьте меня, прошу вас, не допустите, чтобы ее закопали в общую яму, как бродячую собаку. Господин Жюль так любил ее, поверьте, он расплакался бы, видя, как она несчастна. Прошу вас, пришлите мне денег на погребение.

Полагаясь на ваше великодушие...»

Отлично... «и прочее», — кончил нотариус. — Подпись: «вдова Шампань».

Ламбуа и ле Понсар обменялись взглядами. Затем нотариус, не говоря ни слова, подошел к камину, развел пламя, зацепил письмо госпожи Шампань концами щипцов и спокойно наблюдал, пока оно горело.

— Отнесено в разряд оставленных без последствий, — сказал он, выпрямляясь и водворяя щипцы на место.

— Напрасно только тратила три су на марку, — заметил Ламбуа, окончательно ободренный хладнокровием тестя.

— Этой смертью наконец вопрос исчерпывается, — продолжал мэтр ле Понсар и милостивым тоном прибавил: — Хотя бедняжка наделала нам столько хлопот, но, по совести, мы не должны больше на нее сердиться.

— Нет, конечно, ни вы, ни я не пожелаем смерти грешному. — И после молчания лукаво заговорил: — Надо, впрочем, сознаться, что наше благоговение к ее памяти запятнано, пожалуй, себялюбием. Ибо если не была страшна эта девушка нам лично, то кто поручится, что, будь она в живых, она вновь не поддела бы чьего-либо сынка или не посеяла бы смуты между мужем и женой.

— Сущая правда, — ответил мэтр ле Понсар. — Смерть этой женщины не заслуживает особого сожаления. Но, знаете, на беду честных людей, не та, так другая. Одна погибнет...

— Десять народятся, — подсказал Ламбуа и свое надгробное слово дополнил скорбным наклонением головы.

# ЦАОБОРОТ

Роман

*Я хочу искать радостей вне времени... хотя бы мир и пришел в ужас от моих восторгов и, по своей грубости, не узнал того, что я хочу сказать.*

*Рейсбрук Удивительный*

## ВВЕДЕНИЕ

Судя по некоторым портретам, сохранившимся в замке де Лур, род Флоресса Дез Эссента в былые времена состоял из могучих рыцарей и грубых вояк. Сдавленные старыми рамами, которые распирались их богатырскими плечами, эти воины наводили страх своими неподвижными глазами, своими, как ятаганы, усами и выпуклой грудью, покрытой панцирем, как огромной раковиной.

Это были предки; от последующих же поколений не осталось портретов, и в фамильной галерее этого рода было пустое место. Только одно полотно служило связью между прошлым и настоящим: таинственная и хитрая голова с безжизненными истонченными чертами лица, со скулами, отмеченными пятнами румян, с напыженными и украшенными жемчугом волосами, с набеленной шеей, выступающей из выреза жестких брыжей.

Уже в этом изображении одного из наиболее интимных приближенных герцога д'Эпернона и маркиза д'Обна руживались пороки вырождающегося организма, и видно было преобладание лимфы в крови.

Падение этого древнего рода, без всякого сомнения, шло своим правильным ходом, особенно резко была выражена склонность мужчин к женственности; и, как будто для того, чтобы довершить работу веков, Дез Эссенты в продолжение двух столетий связывали браком своих

детей между собой, ослабляя остаток их сил в единокровных союзах.

Из этого некогда столь многочисленного рода, занимавшего почти все территории Иль-де-Франса и Бри, остался единственный отпрыск, герцог Жан, расслабленный молодой человек, тридцатити лет, анемичный и нервный, со впалыми щеками, со стальным взглядом холодных, голубых глаз, с большим, но прямым носом, с сухими и тонкими руками.

И — странное явление атавизма — последний потомок был похож на древнего предка, «фаворита»: такая же, как у него, острая, белокурая борода, такое же двойственное выражение лица, лукавое и усталое в одно и то же время.

Детство его было печально. Измученный золотухой, одолеваемый упорными лихорадками, он пережил период возмужалости только благодаря чистому воздуху и хорошему уходу; а позднее спасли его нервы: они побороли бессилие и дряблость, происходящую от малокровия, и довели до конца процесс его развития и роста.

Мать, высокая женщина, молчаливая и бледная, умерла от истощения, отец умер от какой-то неопределенной болезни; Дез Эссенту было тогда семнадцать лет.

Он сохранил о своих родителях только жуткие воспоминания, без благодарности, без любви. Отца, жившего обыкновенно в Париже, он едва знал, мать он вспоминал неподвижно лежащей в темной комнате замка де Лур. Изредка муж и жена встречались, и в его памяти вставляли эти дни бесцветных свиданий; отец и мать, сидящие друг против друга за круглым столиком, при одной только лампе с большим, низко опущенным абажуром, так как нервы герцогини не выносили ни света, ни шума; в тени они едва обменивались двумя-тремя словами, затем герцог равнодушно прощался и как можно скорее уезжал.

У иезуитов, куда Жан был отправлен учиться, его жизнь была спокойнее и уютнее. Отцы иезуиты обласкали ребенка, поразившего их своим умом, хотя, несмотря на все старания, они не могли добиться того, чтобы он отдался регулярным занятиям; он хватался за разные предметы, очень быстро и основательно изучил латинский язык, но зато совсем не мог связать двух слов по-гречески, не обнаруживал никаких способностей к новым языкам и оказался совершенно тупым, когда старались втолковать ему элементарные начала наук.

Его семья мало занималась им; изредка отец навещал его в пансионе. «Здравствуй, здравствуй, — говорил он, — будь умным, учись хорошенько». На каникулы, летом, его брали в замок де Лур; присутствие его не выводило мать из ее задумчивости, она едва замечала сына или смотрела на него в продолжение нескольких минут со скорбной улыбкой, затем снова погружалась в искусственную ночь, царившую в комнате благодаря плотным занавесям на окнах. Слуги были скучные и старые. Ребенок, предоставленный самому себе, в дождливые дни рылся в книгах, а в хорошую погоду бродил по полям. Большой радостью для него бывало спускаться в небольшую долину, доходить до деревни Жютины, расположенной у подножия холмов — маленькой кучки домиков в соломенных чепцах, усеянных пучками зеленицы и пятнами мха. Он лежал на лугу, в тени высоких стогов, слушая глухой шум водяных мельниц и вдыхая свежий воздух, струившийся с Вульси. Иногда он спускался до торфяных болот, до черной и зеленой деревушки де Лонгвиль, или же взбирался на косогоры, нанесенные ветром, откуда пространство казалось беспредельным. Там, с одной стороны, под ним, была видна ему долина Сены, убегающая в бесконечную даль, сливаясь с голубым небом; — с другой, высоко на горизонте — церкви и башни Прованса, которые, казалось, дрожали на солнце в золотистой, воздушной пыли. Он читал или грезил, оставаясь до самой ночи в полном одиночестве.

Оттого, что он постоянно был занят одними и теми же думами, его ум сделался сосредоточеннее, а мысли его, еще не оформившиеся стали более зрелыми. После каждых каникул он возвращался к своим учителям более вдумчивым и более самостоятельным; перемены эти не ускользали от них — пронизательные и хитрые, привыкшие, проникать в самую глубь души, они не заблуждались насчет этого живого, но непокорного ума. Они поняли, что этот ученик никогда не будет способствовать славе их учреждения, и так как его семья была богата и, видимо, не интересовалась будущностью ребенка, они перестали готовить его к выгодным поприщам, открытым для их учеников. Хотя он охотно спорил с ними о всяких теологических доктринах, привлекавших его своими тонкостями и казуистическими хитростями, отцы и не думали о том, чтобы посвятить его в орден, так как, несмотря на все их старания, вера его оставалась слабой. В конце концов, из осторожности и из боязни неизвестного, они разрешили ему изучать то, что ему нравится и пренебречь остальным, так как не хотели потерять уважение этого независимого ума из-за насмешек светских пустышек.

Так жил он, вполне счастливый, почти не чувствуя родительской власти монахов; он продолжал свои латинские и французские занятия по собственному усмотрению, и хотя теология не входила еще в программу его уроков, он пополнил свой курс этой наукой, начатой им в замке де Лур, в библиотеке, которую завещал его прадед Дом Проспер, старый приор монахов-каноников Сен-Руфа.

Но настало время, когда нужно было покинуть школу иезуитов; он достиг совершеннолетия став полноправным обладателем своего состояния; двоюродный брат его и опекун граф де Моншеврель сдал ему отчет. Прежние отношения с ним продолжались недолго, так как не было точек соприкосновения между этими двумя людьми, из которых один был стар, другой — молод. Из любопытства, от нечего делать, из вежливости Дез Эссент посещал его семью



и несколько раз попадал в его отеле, на улице де-ля-Шез, на томительные вечера, на которых родственницы, древние как мир, говорили о дворянских фамилиях, о геральдических причудах, о старинных церемониалах. Мужчины, сидящие за вистом, казались еще более застывшими и ничтожными существами, чем эти старухи. Потомки древних рыцарей, последние ветви феодальных родов, являлись Дез Эссенту в образе полупомешанных стариков со слезящимися глазами, пережевывающих пошлые разговоры, столетние фразы. Как будто в этих старых черепах только и было, что цветок лилии, отпечатанный в их размягченных мозгах, как в обрезанном стебле папоротника. Невыразимую жалость чувствовал молодой человек к этим мумиям, погребенным в своих склепах из дерева и камня, во вкусе Помпадур, к этим противным бездельникам со взорами, постоянно устремленным на призрачный Ханаан, на воображаемую Палестину.

После нескольких посещений он, несмотря на приглашения и упреки, решил больше никогда не бывать там.

Затем он сошелся с молодыми людьми своего возраста и своего круга. Одни, получившие воспитание вместе с ним в католическом пансионе, сохранили на себе от этого воспитания особый отпечаток. Они ходили в церковь, на Пасхе причащались, часто посещали католические кружки и скрывали, как преступление, те предложения, которые они, опуская глаза, делали девицам. Это были большею частью неразвитые и лицемерные щеголи, торжествующие лентяи, утомившие терпение своих наставников, но тем не менее удовлетворившие их желание показать обществу послушных и благочестивых людей. Другие, воспитанные в светских коллегиях или в лицеях, были менее лицемерны и более свободны, но и они были так же неинтересны и так же узки. Это были кутилы, увлеченные опереткой и скачками, играющие в ландскнехт и баккара, рискующие всем своим состоянием из-за лошадей, карт и дорогих удовольствий, существующих для пустых людей.

Безграничная скука была результатом годичного пребывания в этой компании; ее удовольствия казались Дез Эссенту низкопробными и дешевыми, переживаемыми ими без разбора, без увлечения, без истинного возбуждения крови и нервов.

Мало-помалу он покинул их и сошелся с литераторами, с которыми его мысль должна была найти больше общего и с которыми он должен был чувствовать себя лучше. Но это был новый обман; его возмущали их злые и жалкие суждения, их разговоры, плоские как церковная дверь, их безвкусные споры, измеряющие ценность произведения количеством изданий и прибыльностью продажи. В то же время он увидел свободных мыслителей, доктринеров буржуазии, людей, проповедывающих полную свободу, чтобы задушить мнения других, жадных и бесстыдных пуритан, которых он уважал как школу, но которые оказались ниже сапожников. Его презрение к людям возростало; он понял наконец что мир в большей своей части состоит из наглых людей и глупцов. Решительно у него не было никакой надежды сойтись с такой душой, которая бы, как он сам, находила удовольствие в созерцательном покое, и подружиться с каким-нибудь писателем или ученым, у которого был бы такой же острый и отточенный ум, как у него. Расстроенный, недовольный, возмущенный ничтожеством мыслей, которыми ему приходилось обмениваться, он стал человеком, о которых говорил Николь, что они всюду грустят; он дошел до того, что стал царапать себе руки, страдать от патриотического и общественного вздора, передаваемого каждое утро газетами, раздражаться от восхищения, которого у всемогущей публики всегда достаточно в запасе для произведений, написанных хотя бы и без мысли и без стиля.

Он стал мечтать об изысканной пустыне, о покойном уединении, о неподвижном уютном ковчеге, где бы он мог укрыться от бесконечного потока человеческой глупости.

Единственная страсть — женщина, могла бы еще удержать его от презрения ко всему миру, душившего его, но и она тоже была исчерпана. Он испробовал чувственные яства — с аппетитом прихотливого человека, одержимого причудами, человека, чувствующего внезапную жадность, но вкус которого быстро утомляется и притупляется. Во время общения с дворянчиками он принимал участие в тех регулярных ужинах, на которых пьяные женщины за десертом расстегиваются и падают головой на стол; бывал он также за кулисами, познал артисток и певиц и испытал на себе помимо врожденной глупости женщин еще и безумное тщеславия каботинок; потом он содержал знаменитых кокоток и способствовал обогащению тех агентств, которые доставляют за плату сомнительные удовольствия. Наконец, пресытившись и уставши от этой однообразной роскоши, от этих одинаковых ласк, он спустился до самых низов, надеясь утолить свои желания благодаря контрасту и думая пробудить свои притупленные чувства возбуждающей грязью нищеты. Что бы он ни пробовал, безграничная скука угнетала его. Он раздражался, прибегал к опасным ласкам профессионалок, но тогда ослабевало его здоровье и обострялась нервная система; затылок становился чрезвычайно чувствительным, и руки дрожали. Они еще держались прямо, когда поднимали тяжелый предмет, но тряслись и опускались, когда держали что-нибудь легкое, например рюмку.

Доктора, с которыми он советовался, испугали его. Настало время покончить с неумеренной жизнью, отказаться от проделок, ослаблявших его силы. Некоторое время он жил спокойно; но вскоре мозжечок возбуждился и призвал опять к оружию. Так же, как иные девочки-подростки, которые при созревании набрасываются на противоестественные и гнусные яства, он стал грезить, прибегать к исключительным любовным страстям и извращенным наслаждениям. Тогда настал конец; как будто удовлетворенные тем, что все исчерпано, разбитые утомлением, его чувства впали в летаргию, бессилие было близко.

Он ощутил себя разочарованным, одиноким, страшно утомленным, потерявшим последнее счастье, достичь которого мешала ему немощь его тела.

Окончательно оформились его мечты спрятаться вдали от мира, запереться в уединении, заглушить неутомонный шум неумолимой жизни так, как для больных покрывают улицу соломой. К тому же настало время решиться; подсчет, сделанный им своему состоянию, испугал его; в любовных связях и излишествах он прожил большую часть своего наследства, а остальная часть, состоящая из земель, приносила ничтожные проценты. Он решил продать замок де Лур, куда он больше не ездил и где не сохранилось для него никаких дорогих воспоминаний, никакого сожаления; он распродал также другие имения, купил государственную ренту и, таким образом, составил себе годовой доход в пятьдесят тысяч ливров; кроме того, он отложил значительную сумму, предназначенную на покупку и отделку домика, где он намеревался окунуться в абсолютный покой.

Он исследовал окрестности столицы и отыскал небольшой домик, который продавался на Фонтенэй-о-Роз, достаточно укюдиненный, без близких соседей, близ леса. Мечта его исполнилась: в этой местности, где редко появлялись парижане, он был уверен в своей безопасности. Трудность сообщения, которая была обеспечена смешной железной дорогой, находящейся в конце города, и маленькими трамваями, отходящими и приходящими по собственному усмотрению, успокоила его. Думая о новой жизни, которую он хотел устроить, он испытывал радость от того, что волны Парижа не будут достигать его, а близость столицы позволит спокойно пребывать в уединении. И действительно, бывает достаточно невозможности поехать туда, куда хочется, чтобы чувствовать особенное желание туда отправиться, Дез Эссент питал надежду, что, не отрезая себе возможности вернуться, он не подвергнется соблазну броситься в опустылевшее общество.

Он нанял каменщиков, а затем, внезапно, не сообщив никому о своих намерениях, развязался с старой обстановкой, отпустил слуг — и исчез, не оставив консьержу никакого адреса.

## I

Прошло больше двух месяцев, прежде чем Дез Эссент получил возможность погрузиться в молчаливый покой в своем доме на Фонтенэй; всевозможные покупки заставляли его бродить по Парижу, обходить город из конца в конец.

К каким только розыскам не прибегал он, каким размышлениям не предавался, прежде чем доверить свою квартиру обойщикам!

Он уже давно был знатоком чистых и неправильных тонов.

В прежнее время, принимая у себя женщин, он устроил будуар, где среди маленькой резной мебели из светлого японского камфарного дерева, под шатром из розового индийского атласа тела принимали нежную окраску от света, который смягчался, просвечиваясь сквозь материю.

Эта комната, где зеркала отдавались эхом и отражали до бесконечности ряд розовых будуаров, славилась среди кокоток, находивших удовольствие купать свою наготу в этой ванне теплого красного света, надушенного запахом мяты, исходящим от мебели.

Но и помимо благотворного действия наrumяненного воздуха, который, казалось, вливал новую кровь под поблекшую и истасканную от привычки к белилам и злоупотребления кожу, он сам забывался в этой расслабляющей обстановке особым весельем и особыми радостями, переходившими всякие границы при воспоминании о прошлых горестях и печалях.

Из ненависти и из презрения к своему детству он привесил к потолку этой комнаты маленькую серебряную клетку, в которой трещал сверчок, как в в замке де Лур; когда он слышал этот треск, в беспорядке проходили перед ним все натянутые и немые вечера у его матери, вся заброшенность страдающей и придавленной молодости, — и тогда порыв женщины, которую он машинально ласкал, ее слова или смех разрушали его видения и резко сводили его к действительности, в будуар, на землю. В его душе поднималось волнение, жажда мести за пережитые печали, безумное, страстное желание загрязнить гнусностью семейные воспоминания, бешеная страсть задохнуться на подушках из тела и исчерпать до последней капли самые сильные и острые чувственные безумства.

Иногда, в дождливые осенние дни, когда его душил сплин и нападало отвращение к улице, к дому, к желто-грязному небу, к тучам, похожим на ровное шоссе, он укрывался в этом убежище, раскачивал слегка клетку и смотрел, как она до бесконечности отражалась в игре зеркал, до тех пор, пока его опьяненным глазам не казалось, что клетка уже неподвижна, а весь будуар колеблется и вертится, наполняя весь дом розовым вальсом. Затем, в то время, когда он находил удовольствие оригинальничать, он создал у себя пышно-странную обстановку, разделив свой салон на несколько уголков, различно обитых, но связанных между собой искусным соответствием, — тающим аккордом радостных и мрачных, нежных и резких тонов, сообразно характеру своих любимых латинских и французских произведений. Он усаживался тогда в том уголке, обстановка которого казалась ему наиболее подходящей к тому сочинению, которое заставлял его читать минутный каприз.

Наконец, он приказал выстроить высокий зал, предназначенный для приема поставщиков; они усаживались рядами на церковных скамьях, и Дез Эссент поднимался на кафедру и произносил проповедь о дэндиизме, заклинающая своих сапожников и портных придерживаться самым

точным образом его требника в деле покроя, угрожая им денежным отлучением, если они не последуют буквально предписаниям, которые содержат в себе эти обращения и буллы.

Он приобрел славу эксцентрика, которую довершил тем, что одевался в белые бархатные костюмы, в золототканые жилеты, прикалывал вместо галстука к низко вырезанному вороту сорочки букет пармских фиалок; давал литераторам производившие шум обеды, из которых один, между прочим в стиле XVIII века, он сделал траурным, чтобы отметить одну ничтожную неприятность.

В обитой черным столовой, выходившей в наскоро переделанный сад — с аллеями, усыпанными углем, с маленьким бассейном, окруженным на этот раз базальтом и купами кипарисов и сосен, — подавался обед на черной скатерти, уставленной корзинами фиалок и скабиоз, при свете светильников с зеленым пламенем и подсвечников с восковыми свечами.

Под звуки оркестра, игравшего похоронные марши, гостям прислуживали голые негритянки в туфлях и чулках из серебряной ткани, усеянной слезинками.

Ели из тарелок с черными каймами черепаховый суп, ржаной русский хлеб, турецкие маслины, икру черную паюсную, копченую франкфуртскую колбасу, дичь под соусом цвета лакрицы и ваксы, паштет из трюфелей, амбровые шоколадные кремы, пудинги, персики, виноградное варенье, тутовые ягоды и черешню; пили из темных стаканов вина Лиманьи и Руссилиона, Тенедоса, Валь-де-Пенаса и Порто; после кофе с ореховым ликером — квас, портер и стэут.

Приглашения на этот обед, даваемый по случаю внезапного упадка сил, были написаны в стиле приглашений на похороны.

Но эти сумасбродства, которыми он некогда славился, сами собой исчезли; теперь у него появилось презрение

к собственному детскому тщеславию, к необычным костюмам и причудливым украшениям комнат. Он просто хотел устроить для собственного удовольствия, а не на удивление другим, уютное, но тем не менее редко отделанное жилище, создать своеобразную и спокойную обстановку, приспособленную к потребностям его будущего одиночества.

Когда дом Дез Эссента на Фонтенэй был готов и оформлен архитектором согласно с его желаниями и планами, когда оставалось только решить расположение мебели и характер отделки, он опять принялся обдумывать, каковы должны быть краски в его жилище.

Он искал такие цвета, которые бы не изменялись при искусственном свете ламп; ему не важно было, каковы они будут при дневном свете, безвкусные или резкие, так как он жил только ночью, думая, что так уютнее, что так он более один и что ум действительно возбуждается и сверкает только в близком соприкосновении с темнотой; Дез Эссент находил также особенное наслаждение в том, чтобы быть в ярко освещенной комнате, одиноко бодрствующей среди спящих и погруженных в мрак домов — своеобразное наслаждение, в которое, может быть, входила доля тщеславия, совсем особенное удовлетворение, которое знают запоздавшие работники, когда, подняв оконные занавеси, они видят, что все вокруг них погасло, все немо, все мертво.

Медленно, один за другим он выбрал цвета. Голубой при свечах переходит в неправильно зеленый; если он темный, как кобальт и индиго, он становится черным; если он светлый, он превращается в серый; если он правильный и нежный, как бирюза, он тускнеет и леденеет. Не могло быть и вопроса в том, чтобы сделать его не только доминирующей нотой в комнате, но даже и второстепенной — в соединении с другим цветом. С другой стороны, серо-железные цвета мрачнют и тяжелеют; серо-жемчужные теряют свою лазурь и превращаются в грязно-белый; коричневые засыпают и охлаждаются; что же касается темно-зеленых,



миртовых и малахитовых — они изменяются так же, как синие, и сливаются с черным; оставались зеленые, более светлые, как цвет павлина, киновари и лака, но свет уничтожает их голубой оттенок и удерживает лишь желтый, который, в свою очередь, сохраняет фальшивый тон и мутный осадок. Нечего было думать о цветах лососевых, майсовых и розовых, женственность которых противоречила бы уединенным думам; наконец, нечего было размышлять и о лиловых цветах, которые линяют; один только красный сохраняется вечером, — но какой красный! — клейкий красный, как противный осадок вина. Впрочем, ему казалось бесполезным прибегать к этому цвету, так как при смеси, в известной дозе, с сантонином, он делается лиловым, и тогда легко изменяется.

Когда Дез Эссент отверг эти цвета, у него осталось только три: красный, оранжевый, желтый.

Всем им он предпочитал оранжевый, подтверждая собственным примером ту теорию, истину которой он доказывал почти с математической точностью: он утверждал, что существует гармония между чувственной природой истинно артистического индивидуума и цветом, который его глаза воспринимают особенно остро. Презирая действительно большинство людей, грубые сетчатые оболочки которых не ощущают ни чистой игры каждого цвета, ни таинственной прелести их затухания и их оттенков; презирая также эти буржуазные глаза, нечувствительные к пышности и ликованиям вибрирующих и резких тонов, едва признавая людей с утонченными зрачками, изошренными литературой и искусством, он был убежден, что глаза тех из них, которые стремятся к идеалу, которые хотят иллюзий, ищут таинственности в объятиях фантазии, большею частью любят голубой цвет и все от него происходящие, как, например, сиреневый, лиловый, жемчужно-серый, лишь бы они оставались смягченными и не переходили границ, за которыми они уже теряют свою особенность и превращаются в чисто фиолетовые и в правильно серые.

Напротив, люди полнокровные, благодушные сангвистики, волокиты, презирающие все случайное и мимолетное, в то же время теряя голову, любят блестящим мерцанием желтых и красных цветов, ударами в цимбалы из киновари и хрома, которые их ослепляют и пьянят.

Наконец, глаза ослабевших и нервных людей, у которых чувственный аппетит ищет острых блюд, глаза чахоточных и слишком возбужденных людей почти всегда любят этот раздражающий и болезненный цвет с фальшивым блеском, с кислотной лихорадкой — оранжевый.

Выбор Дез Эссента не подвергался никаким сомнениям; но бесспорно предстояли еще некоторые затруднения. Если красный и желтый великолепны при искусственном освещении, то не всегда таков оранжевый — их соединение, — который пропадает и часто переходит в красный цвет капуцинов, в огненно-красный.

Он изучил при свечах все его оттенки и нашел один, который не изменялся и отвечал всем его требованиям. Покончив с предварительными приготовлениями, он старался, по возможности, не употреблять, по крайней мере, для своего кабинета восточных материй и ковров, ставших теперь доступными любому нуворишу в дешевых магазинах.

В конце концов он решил переплести стены, как книги, сафьяном с крупными тиснениями, капской кожей, выложенной большими стальными пластинками под тяжелым прессом. Когда стены были уже обиты, он велел покрыть багеты и верхние плинтусы лаком цвета индиго, какой употребляют для окраски карет; в середине потолка, слегка вогнутого, тоже обтянутого сафьяном, как большое круглое окно, в раме из оранжевой кожи, выглядывал небесный свод из голубого шелка с летящими серебряными серафимами, вышитыми братством кельнских ткачей для старинного церковного облачения.

Настал вечер, когда все было расставлено по местам. Все согласовалось, смягчилось, улеглось: замер синий цвет

панелей, оттеняемый и как бы согреваемый оранжевым, который, в свою очередь, сохранялся, не сливаясь с ним, а, напротив, подкрепляясь и разжигаясь тяжелым дыханием синего.

Что касается мебели, Дез Эссенту не нужно было прибегать к долгим розыскам; единственную роскошь этой комнаты должны были составлять книги и редкие цветы; откладывая другие украшения до будущего, он ограничился несколькими рисунками и картинами, оставив стены голыми, устроил на большей части этих стен библиотечные полки из черного дерева, покрыл паркет звериными шкурами и мехом голубого песка; около массивного стола менялы XV века поставил глубокие кресла с подголовниками, старинный церковный аналой из кованого железа, один из тех древних аналоев, на которые диаконы клали некогда книгу антифонов, а теперь на нем лежал один из тяжелых фолиантов де Канжа «*Glossarium mediae et infimae latinitatis*<sup>1</sup>».

Окна со стеклами «краклэ» голубоватыми, бутылочно-зелеными доньшками в золотую крапинку преломляли вид на деревню и пропускали лишь слабый свет, и, в свою очередь, были завешены драпировками из старинных епитрахилей, потемневшее золото которых гасло в порыжевшей, почти мертвой ткани.

Наконец, на камине, тоже задрапированном роскошной материей флорейтинской далматики, между двумя чашами из золоченой меди, в византийском стиле, из древнего аббатства о-Буа-де-Бьевр, — удивительное церковное зеркало, в трех отделениях, под стеклянным колпаком, заключало в себе три произведения Бодлера, написанных на настоящем пергаменте изумительным шрифтом, с великолепными рисунками в красках, — по бокам сонеты «Смерть любовников» и «Враг», в середине — поэма в прозе «*Any where out of the world*»: «Куда угодно прочь из мира».

---

<sup>1</sup> Словарь Средневековой и варварской лексики (лат.).

## II

После продажи своих имений Дез Эссент оставил себе двух слуг, которые ходили еще за его матерью и исполняли в одно и то же время должность управляющих и обязанности привратников замка де Лур, остававшегося до продажи пустым и необитаемым.

Он вызвал в Фонтенэй эту прислугу, привыкшую к должности сиделок, к точности больничных служителей, минута в минуту раздающих ложки лекарств и травяных отваров, к суровому молчанию монахов, живущих без общения с внешним миром, в комнатах с закрытыми окнами и дверями.

Мужу было поручено убирать комнаты и ходить за провизией, жене — готовить кушанья. Дез Эссент предоставил им верхний этаж дома, приказал носить толстые войлочные туфли, велел сделать двойные двери, которые были тщательно смазаны, и обить пол в комнатах толстыми коврами, чтобы никогда не слышать над своей головой шума шагов.

Он условился также о различном значении звонков по числу их ударов, по их краткости, их продолжительности; указал на своем бюро место, куда они должны были, в месяц раз, во время его сна, класть счета. То есть постарался устроить все так, чтобы не видеть их и не говорить с ними. Но, так как служанке все-таки приходилось иногда проходить мимо дома в сарай, где лежали дрова, а он хотел, чтобы ее тень, отражаясь на стеклах окон, не была неприятна, он заказал для нее костюм из фламандского фая, с большим чепцом и глубоким, черным капюшоном, какие еще носят в Генте бегинки.

В сумерках тень этого убора давала ему впечатление монастыря, напоминала молчаливые и благочестивые деревни, мертвые уголки, затаившиеся среди деятельного и живого города.

Он назначил также строго определенные часы для еды; она была, впрочем, несложна и очень легка, так как слабость желудка не позволяла ему есть разнообразные и тяжелые блюда.

В пять часов он завтракал двумя яйцами всмятку, гренками и чаем; около одиннадцати часов он обедал; ночью пил кофе, иногда чай и вино; в пять часов утра, перед тем как лечь в постель, слегка закусывал.

Он принимал эту пищу, распределение и меню которой раз навсегда устанавливалось в начале каждого сезона, на столе посредине маленькой комнаты, отделенной от его рабочего кабинета коридором, обитым войлоком; коридор был плотно затворен и не пропускал ни запаха, ни шума ни в одну из двух комнат, которые он соединял.

Эта столовая походила на каюту корабля — со сводчатым потолком, снабженным полукруглыми перекладинами, с сосновыми перегородками и сосновым полом, с маленьким окном, выходящим в панель, совсем так, как иллюминатор выходит в пушечный порт.

Как японские шкатулки, входящие одна в другую, эта комната также была включена в другую, более обширную, которая и была настоящей столовой, выстроенной архитектором.

В этой столовой было два окна; одно теперь не было видно, так как было закрыто ставней, опускающейся с помощью пружины, чтобы освежать воздух, который тогда мог циркулировать вокруг соснового ящика и проникать в него; другое было видно, так как оно находилось как раз против иллюминатора, сделанного в панели, но было заграждено; все пространство, находящееся между этим иллюминатором и окном, проделанным в настоящей стене, занимал большой аквариум.

Кюта освещалась дневным светом, проникавшим сквозь окно с зеркальными стеклами, сквозь воду и, наконец, сквозь стекло пушечного порта.

В осенние дни, когда солнце совершенно исчезало, или в стеклообразное и пасмурное утро, вода в аквариуме краснела и отражала на желтых перегородках пламенеющий отблеск углей жаровни.

Иногда, когда Дез Эсеенту приходилось случайно проснуться днем и встать, он забавлялся водопроводными трубами, через которые выливалась и наливалась в аквариум чистая вода; он вливал в нее несколько капель красящей эссенции, вызывая, по собственному желанию, зеленые или розоватые, опаловые или серебристые тона, как в настоящих реках, смотря по цвету неба, по силе солнечного света, по более или менее ощутимой близости дождя, одним словом, в зависимости от времени года и состояния атмосферы.

Тогда он воображал себя стоящим на межпалубном пространстве брига, и с любопытством смотрел на чудесных механических рыб, заводящихся как часы, проплывающих перед стеклом пушечного порта и цепляющихся за искусственные травы; или же, вдыхая запах смолы, которым душили комнату перед его приходом, он рассматривал цветные изображения судов, идущих в Вальпараисо и Ла-Плату, развешанные по стенам, как в пассажирских агентствах или в компании Ллойда, и карты, на которые были нанесены маршруты Королевской почтовой службы и компании «Лопес и Валери», фрахты и стоянки Атлантических почтовых служб.

Потом, когда ему надоедало читать расписания стоянок, он отдыхал, глядя на хронометры, компасы и секстанты, бинокли и картины, разбросанные по столу, на котором лежала единственная книга, переплетенная в тюленью кожу — «Приключения Артура Гордона Пима», специально для него напечатанная на роскошном верже с тонкими полосками, с водяными знаками в виде чайки.

Он любовно осматривал рыболовные снасти, тенета, выкрашенные под дубильную кору, свертки рыжих парусов, маленький якорь из пробкового дерева, крашенный

черной краской — все это было свалено в кучу около двери в коридор, ведущий в кухню, обитый ворсистой тканью из шелковых оческов и поглощающий так же, как другой коридор между столовой и кабинетом, все запахи и звуки; он доставлял себе, таким образом, совершенно не двигаясь, быстрые, почти мгновенные ощущения далекого путешествия и то удовольствие передвижения, которое и на самом-то деле существует только в воспоминании, в прошлом, а не в настоящем, не в тот момент, когда оно совершается. Он упивался им вполне, спокойно, без усталости, без хлопот, в этой каюте, где искусственный беспорядок и временная обстановка вполне соответствовали его недолгому пребыванию в ней, ограниченному временем его обеда, она представляла совершенный контраст его рабочему кабинету — продуманно обустроенной комнате, где всегда царил порядок и все было приспособлено для уютной жизни домоседа.

К тому же движение он находил бесполезным, и воображение, по его мнению, легко могло заменить пошлую действительность. Ему казалось, что желания, которые трудно удовлетворить в обычной жизни, могут быть легко удовлетворены с помощью легкой уловки, подделки желаемого предмета. Так, очевидно, всякий знаток вин наслаждается теперь в ресторанах, славящихся превосходством своих погребов, хорошими подделками из дрянного уксуса, изготовленными по методе Пастера. Настоящие и поддельные, эти вина имеют одинаковый аромат, одинаковый цвет, одинаковый букет, а следовательно, удовольствие, которое испытывают, смакуя эти поддельные, искусственные напитки, тождественно удовольствиям, получаемым от настоящего чистого вина, которое нельзя найти ни за какую цену. Перенося эту обольстительную подделку, эту искусственную ложь в мир интеллекта, без сомнения, что можно так же легко, как в материальном мире, наслаждаться химерическими радостями, во всех отношениях

подобными настоящим. Например, можно предаваться продолжительным исследованиям стран, сидя у своего очага, помогая, по мере надобности, упрямому или неповоротливому уму возбуждающим чтением описаний далеких путешествий; несомненно также, что можно, не трогаясь из Парижа, получить благотворное впечатление морского купанья; достаточно просто отправиться в купальню Вижье, устроенную на судне посреди Сены.

Там насыпать в ванну обычной соли и примешать, по рецепту медицинского справочника, соли глауберовой и хлористой, а также извести, вынуть из тщательно закупоренной коробки моток веревки или маленький кусочек шпагата, нарочно разысканный на одной из больших канатных фабрик, обширные магазины и подвалы которых дышат запахом морского прилива и гавани; вдыхать запах, который должна еще сохранить эта веревка или шпагат; рассматривать фотографию приморского казино или пылко читать путеводитель Жоанна, описывающего красоты того пляжа, где хочется быть; отдаваться качанию волн, поднимаемых в ванне следом, остающимся на воде от маленьких лодок, режущих понтон купальни, слушать, наконец, завывающие жалобы ветра под арками и глухой шум омнибусов, катящихся в двух шагах над вами, на Королевском мосту — и иллюзия моря будет неотразима неотвязна и верна!

Все зависит от умения сосредоточить свой ум на одной точке, умения достаточно отвлечься, вызвать галлюцинацию и быть в состоянии заменить грезой о действительности самую действительность. Искусственность, впрочем, казалась Дез Эссенту отличительным признаком человеческого гения.

Он говорил, что природа отжила свое время; она окончательно утомила противным однообразием своих пейзажей и небес внимательное терпение утонченных людей. В самом деле, какая плоскость специалиста, ограниченного



в своей области, какая мелочность лавочницы, торгующей только одним товаром, какой однообразный магазин лугов и деревьев, какое банальное агентство гор и морей!

Кроме того, нет ни одного из ее изображений, считаемых такими искусными и величественными, которого бы не мог создать гений человека; любой лес можно воспроизвести в Фонтенбло, свет луны или восход солнца легко устроить в театральных декорациях с помощью электричества, водопад, низвергающийся посредством гидравлических машин, станет грандиозней настоящего, утес из папье-маше будет возвышаться даже более величественно, а цветы из тонкой бумаги и нежной тафты превзойдут натуральные.

Нет никакого сомнения в том, что природа, эта престарелая пустомеля, использовала добродушное восхищение истинных художников, и настал момент, когда дело идет о замене ее, насколько возможно, искусством.

А посмотреть хорошенько на то из ее творений, которое считается самым превосходным, на то из ее произведений, красота которого, по всеобщему признанию, считается самой оригинальной и наиболее совершенной — на женщину! Разве человек, со своей стороны, не изобрел собственными силами одушевленное и искусственное существо, которое стоит женщины, с точки зрения пластической красоты. Разве есть существо, зачатое в радостях любви и вышедшее из страданий чрева, чей первообраз был бы ослепительнее, великолепнее прототипа двух локомотивов, Северной железной дороги.

Одна из этих паровых машин, Крамптон, очаровательная блондинка, с пронзительным голосом, высокая, хрупкая, закованная в сверкающий корсет из меди, с гибкими и нервными движениями кошки, нарядная и золотистая блондинка, необыкновенная грация которой пугает, когда, вытягивая свои стальные мускулы, напрягая теплые потные бока, она приводит в движение громадную розетку своего тонкого колеса и бросается, вся трепещущая, вперед.

Другая, Анжерт, большая и мрачная брюнетка с глухим и хриплым криком, с крутыми бедрами, сжатая чугушной броней, чудовищное животное с взъерошенной гривой черного дыма, с шестью низкими, соединенными попарно колесами. Какое подавляющее могущество, когда, заставляя дрожать землю, она тяжело и медленно тащит за собой неуклюжий шлейф своих вагонов!

Несомненно, среди хрупких белокурых красавиц и величественных брюнеток нет таких образцов нежного изящества и ужасающей силы: с уверенностью можно сказать, что человек создал их так же хорошо, как Бог, в которого он верует.

Эти мысли пришли к Дез Эссенту, когда ветер донес до его слуха свисток детской железной дороги, между Парижем и Ссо, напоминавшей ему игрушечный заводной поезд; его дом находился в двадцати минутах от станции Фонтенэй, но возвышенность, на которой он был расположен, его изолированность ограждали от шума толпы, которую неизменно привлекает по воскресеньям соседство станции.

Что касается окружающей местности, он ее почти не знал. Ночью, в окне, он видел молчаливый пейзаж, спускающийся до подножия косогора, над которым возвышался Верьерский лес.

В темноте налево и направо громоздились друг над другом неясные массы, за ними вдали поднимались другие чащи, высокие откосы которых казались при лунном свете покрытыми серебром на темном небе.

Сдавленная теньями, падающими от холмов, долина выглядела напудренной крахмалом и намазанной белым кольдкремом; в теплом воздухе, колышущем полинявшие травы и разливающим резкий, пряный запах, деревья, казавшиеся от света луны будто натертыми мелом, распускали свою листву и раздвигали свои стволы, а тени их проводили черные полосы на гипсовой земле, на которой белые жерновые камни блестели как осколки тарелок.

Своей театральностью этот пейзаж нравился Дез Эссенту; но с того дня, когда он отыскивал дом в деревушке Фонтенэй, он никогда днем не ходил по улицам; зелень этой местности не представляла для него никакого интереса, так как в ней не было даже той нежной и грустной прелести, которая есть в трогательной и болезненной растительности, с большим трудом распускающейся на щебне пригородов, близ оград. К тому же он увидел в тот день приезда в деревне толстых буржуа с бакенбардами и разряженных людей с усами, носящих, как святые дары, свои головы судей и военных, и после этих встреч возрос его страх перед человеческими лицами.

В последние месяцы своего пребывания в Париже, всем пресыщенный, изнуренный ипохондрией, подавленный сплином, он дошел до такой чувствительности нервов, что вид неприятного предмета или человека глубоко врезывался в его мозг, и нужно было несколько дней, чтобы хоть немного изгладить впечатление. Слегка коснуться на улице человека было для него острым мучением.

Он положительно страдал при виде некоторых физиономий, считал почти оскорблением покровительственное или суровое выражение некоторых лиц, испытывал желание дать пощечину вот этому господину, фланировавшему с ученым видом, опустив свои ресницы, другому, который покачивался, улыбаясь, перед зеркальными стеклами, наконец, третьему, который казался поглощенным миром мыслей и, сдвинув брови, пожирал в газете длинную пошлую статью и «разные события».

Дез Эссент чуял в них такую закоснелую глупость, такое отвращение даже к своим собственным мыслям, такое презрение к литературе, к искусству, ко всему, что он любил — вросшее, вбитое в эти узкие головы купцов, исключительно занятые мошенничеством и деньгами и доступные только низкому развлечению ограниченных умов — политике, что он в бешенстве возвращался к себе и запирался со своими книгами.

Наконец, он всеми силами ненавидел новое поколение, толстокожих грубых молодчиков, которые в кафе и ресторанах чувствуют потребность громко говорить и смеяться, которые толкают вас на тротуарах, не думая извиниться, которые подкатывают вам под ноги колеса детской коляски, даже не прося прощения, даже не кланяясь.

### III

Часть полок на стенах его сине-оранжевого кабинета была занята исключительно латинскими произведениями из числа тех, которые лица, выдрессированные в Сорбонне, определяют термином «декаданс».

Действительно, латинский язык, каким он был в ту эпоху, которую профессора еще упорно называют великой, не привлекал Дез Эсеента. Этот ограниченный язык со скупыми, почти неизменяемыми оборотами, без гибкости синтаксиса, без красок и оттенков, этот язык, ободранный по всем швам, очищенный от шероховатых, но образных выражений, для прежних веков мог в точности передать величавые банальности и смутные общие места, пережеванные риториками и поэтами; но он не вызывал любопытства и нагонял такую скуку, что нужно было в изучении лингвистики дойти до французского стиля времен Людовика XIV, чтобы встретить такую же добровольно расслабленную, такую же торжественно-утомительную и серую речь.

Среди других нежный Вергилий, которого умники называют Мантуанским лебедем, казался ему одним из самых ужасных педантов, одним из самых злосчастных болтунов, каких когда-либо производили древние века; его чистенькие и разряженные пастухи по очереди выливают вам на голову полные ушаты поучительных и холодных стихов; его Орфей, этот «соловей в слезах», его Аристей, хныкающий над пчелами, его Эней, эта слабая и нерешительная

фигура, блуждающая, как китайская тень, с деревянными жестами, за косоватой ширмой поэмы — бесили Дез Эссента. Он бы стерпел скучный вздор, которым эти марионетки обменивались между собой, стерпел бы и наглые заимствования из Гомера, Феокрита, Энния, Лукреция, простое воровство, которое раскрыл Мокробий во второй песне «Энеиды», указывая, что она списана слово в слово с поэмы Пизандра, и, наконец, всю невыразимую пустоту этой уймы песен; но совершенно выводило его из себя построение гекзаметров, звучащих, как пустая жестяная кружка, гекзаметров, умножающих количество тяжело-весных слов по неизменному предписанию педантичной и сухой просодии. Это были стихи надутые и чопорные, погрязшие в низкопоклонстве перед метрикой, механически разрезанные непреклонной цезурой и замкнутые в конце по одному и тому же неизменному способу ударом дактиля по спондею.

Его терзало убогое стихосложение, формально заимствованное из чеканного стиля Катутла, без фантазии, без жалости напичканное ненужными словами, пустыми и лишними вставками, с одинаковыми и заранее предусмотренными завитками, и эта бедность беспрестанно повторяющихся гомеровских эпитетов, ничего не обозначающих, ничего не открывающих, и весь скудный язык с беззвучным и плоским колоритом.

Нужно добавить, что если почитание Вергилия было более чем умеренным, а влечение к жидким извращениям Овидия весьма сдержанным, то безграничным было отвращение Дез Эссента к слонообразной грации Горация, приводившего его в отчаяние своими неискренними ужимками и старыми клоунскими трюками.

В прозе давно не восхищали его болтливый язык, многословные метафоры, бессмысленные отступления Пуа Шиша. Раздражали Дез Эссента хвастовство его обращений, поток его патристических банальностей, напыщенность его речи, массивная тяжесть его стиля, откормленного,

мясистою, слишком жирною и лишенною мозга и костей, невыносимый шлак его наречий, начинающих фразу, неизменные формулы его жирных периодов, плохо связанных между собой союзами, и, наконец, его утомительная привычка к тавтологии; но не больше нравились ему и Цицерон с Цезарем, известные своими лаконизмами.

Словом, он не находил себе пищи ни среди этих, ни среди тех писателей, которые, между прочим, доставляют наслаждение псевдоученым, как, например, менее других бесцветный Саллюстий, сентиментальный и высокопарный Тит Ливий, тусклый и надутый Сенека, жидкий и бесцветный Светоний и Тацит, самый нервный в своей нарочитой лаконичности, самый сильный, самый мускулистый из всех их. В поэзии Ювенал, несмотря на некоторые туго обутые стихи, и Терсей, несмотря на таинственные намеки, оставляли его равнодушным.

Пренебрегая Тибуллом и Проперцием, Квинтилианом и Плинием, Стацием, Марциалом, даже Теренцием и Платоном, язык которых, полный неологизмов, составных и уменьшительных слов, мог бы ему нравиться, если бы не их низменный комизм и грубоватость, Дез Эссент начал интересоваться латинским языком только с Лукана, ибо его язык обогатился, стал более выразителен и менее жалок. Его пленяли и эта отделанная оправа, и стихи, покрытые эмалью, выложенные драгоценными камнями, хотя исключительная забота о форме, звучность тембра, металлический блеск не скрывали от него пустоты мысли, вздутости нарывов, покрывающих кожу «Фарсалии».

Истинно любимым автором, заставившим навсегда изгнать из круга его чтения гремящие писания Лукана, стал Петроний.

Вот это был пронизательный наблюдатель, тонкий аналитик, превосходный художник; спокойно, беспристрастно, без ненависти описывал он повседневную жизнь Рима, рассказывал в живых, маленьких главах «Сатирикон» о нравах своей эпохи.

Отмечая события, констатируя их в законченной форме, он раскрывал мелочную жизнь народа, его истории, его зверства, его похоти. Вот надзиратель гостиницы, опрашивающий имена только что прибывших путешественников; там лупанарии, где мужчины бродят около голых женщин, в то время как через плохо прикрытые двери видны забавы других пар; дальше еще, сквозь виллы неслыханной роскоши, безумие богатства и великолепия, как и сквозь чередующиеся с ними бедные постоялые дворы с их смятыми постелями, полными клопов, — видно, как живет общество того времени: порочные мошенники, как Асцилт и Эвмольп, ищущие удачной наживы, старые шлюхи в неопрятных платьях, с накрашенными лицами, шестнадцатилетние развратники, пухленькие и завитые мальчишки, женщины в истерических припадках, ожидающие наследства и предлагающие своих детей, сыновей и дочерей в разврат завещателям — все спорят на улицах, сталкиваются в банях, дерутся и, как в пантомиме, пробегают по страницам книги.

И все это рассказано в остром, ясном и красочном стиле, обнимающем все диалекты, заимствующем выражения из всех наречий, занесенных в Рим, раздвигающем все оковы так называемой великой эпохи, заставляя каждого говорить на своем языке: вольноотпущенников без образования — на простонародном латинском уличном языке, иностранцев — на их варварском, ругаться по-африкански, по-сирийски, по-гречески, тупоумных педантов, каким является в этой книге Агамемнон, объясняться риторическим стилем с неуместными словами. Одним штрихом нарисованы эти валяющиеся вокруг стола пьяницы, ведущие пошлые разговоры, изрекающие старческие максимы и глупые поговорки, эти люди с рожами, обращенными к Тримальцию, который ковыряет в зубах, предлагает обществу горшки, беседует с ними о здоровье их чрева, суетится, приглашая своих собеседников расположиться поудобнее. Дез Эссента поражал этот реалистический роман, этот кусок,

вырезанный из римской жизни живым и притом без всяких забот об исправлении общества и о сатире, без подогнанного конца и морали; эта история без действия и без интриги, выводящая на сцену содомские приключения, с спокойной тонкостью анализирующая радости и печали любви и взаимности, великолепным, изысканным языком рисующая пороки дряхлой цивилизации и распадающегося государства, причем автор ни разу не показывается, не одобряет и не порицает поступки и мысли своих действующих лиц; в утонченности стиля, в остроте наблюдений и в постоянстве метода Дез Эссент видел странное сближение, любопытную аналогию с некоторыми новейшими французскими романами, к которым он относился терпимо.

Конечно, он горько сожалел об «Евстионе» и «Альбуции», об этих двух произведениях Петрония, о которых упоминает Плансиад Фульгенций и которые навсегда утеряны, но библиофил, живший в нем, утешал ученого, держа в благочестивых руках превосходное издание «Сатирикона», ин-октаво, которым он обладал и на котором стояло имя И. Дуза, Лейден и 1585 год. Начиная с Петрония его латинская коллекция доходила до II века христианской эры, шагала через декламатора Фронтонна с его неудачно реставрированными старинными словами, перепрыгивала через «Аттические ночи» д'Авла Геллия, его ученика и друга, ума пытливого и пронизательного, но писателя, запутавшегося в вязкой тине, и приостанавливалась на Апулее, которого Дез Эссент имел в первом издании, ин-фолио, напечатанном в 1469 году в Риме. Африканцем Дез Эссент наслаждался; в его «Метаморфозах» латынь достигла расцвета: он катил ил и разнообразные воды, стекающиеся из всех провинций, и все они сливались, соединяясь в причудливый, экзотический, почти новый, изысканный цвет; новые подробности латинского общества вылились здесь в форме неологизмов, созданных потребностями разговорного языка, в римском уголке Африки; затем Дез Эссента забавляла его веселость, очевидно, полного человека, его



южная склонность к излишеству. Он являлся похотливым и веселым добряком рядом с христианскими апологетами, жившими в одном с ним веке — со снотворным Минуциусом Феликсом, псевдоклассиком, изливающим в своем «Octavius» эмульсии, сгущенные еще Цицероном, и даже рядом с Тертуллианом, которого Дез Эссент сохранял, быть может, больше ради своего альденского издания, чем ради самого произведения.

Хотя Дез Эссент был довольно силен в теологии, но диспуты монтанистов против католической церкви и полемики против гностицизма не трогали его: несмотря даже на удивительный стиль Тертуллиана, сжатый, покоящийся на причастиях, полный двусмысленностей и столкновения противоречий, усеянный игрой слов и остротами, испещренный словами, взятыми из науки права и из языка отцов греческой церкви, он не раскрывал уже больше «Апологетики» и «Трактата о терпении» и самое большее читал несколько страниц «Культы женщины», где Тертуллиан отчитывает женщин за то, что они украшают себя драгоценностями и дорогими материями, и где запрещает им употребление косметики, так как все это пытается исправить и украсить природу. Эти идеи, диаметрально противоположные его собственным, вызывали у него улыбку, но роль, которую играл Тертуллиан в своем епископстве в Карфагене, возбуждала в нем тихие грезы; сам человек привлекал Дез Эссента больше, чем его произведения.

Действительно, он жил в зыбкие времена, потрясаемые ужасными смутами, при Каракалле, при Макрине, при странном Эмесском жреце Элагабале; и он спокойно готовил свои проповеди, догматические сочинения, защитительные речи и поучения, в то время как Римская империя шаталась в своих основах, а азиатские страсти и языческая грязь разливались во всю ширь; он с полнейшим хладнокровием советовал плотское воздержание, умеренность в еде, скромность в одежде, в то время когда Элагабал, весь в золоте и серебре, с тиарой на голове, в одеждах,

затканых драгоценными камнями, занимался, среди своих евнухов, женскими рукоделиями, заставлял называть себя императрицей и каждую ночь менял императора, выбирая его преимущественно среди цирюльников, поваришек и цирковых конюхов.

Эта антитеза восхищала Дез Эссента. Затем, латинский язык, достигший своей полной зрелости при Петронии, клонился уже к упадку; появилась христианская литература, принеся с собой новые идеи, новые слова, неупотреблявшиеся построения, неизвестные глаголы, эпитеты с непонятным, туманным смыслом, отвлеченные слова, которые до того времени в римском языке встречались очень редко и которые Тертуллиан одним из первых стал употреблять.

Но эта расплывчатость, продолжаемая после смерти Тертуллиана его учеником св. Киприаном, Арнобием, туманным Лактанцием, не представляла прелести. Это было что-то расслабленное и тухлое. Это были неискусные возвращения к Цицероновской напыщенности, не имеющие еще того особенного аромата, какой в IV, а в особенности в последующие века дух христианства придаст языческому стилю, искрошившемуся и разложившемуся, как дичь, тогда, когда истощится цивилизация старого мира, когда от одного толчка варваров разрушатся империи, гноящиеся сукровицей веков. Искусство III века представлял в библиотеке Дез Эссента единственный христианский поэт Коммодиан Газский. «Апологетические стихи», написанные им в 259 году — сборник поучений, скрученных в акrostихи, в народных гекзаметрах, с цезурами, по образцу героического стиха, составленных без внимания к размеру и гиатусу и сопровождаемых рифмами, многочисленные примеры которым будут впоследствии в церковном латинском языке.

Эти растянутые стихи — мрачные, наполненные терминами из обыкновенной речи и словами со скрытым и примитивным смыслом — привлекали Дез Эссента и ин-

тересовали его больше, чем перезрелый и уже пожелтевший стиль историков Аммиана Марцеллина и Аврелия Виктора, чем эпистолярный стиль Симмаха, компилятора и грамматика Макроба; он предпочитал их даже этим настоящим скандированным стихам, этому разнообразному и превосходному языку, каким говорили Клавдиан, Рутилий и Авзоний. Это были тогдашние мэтры искусства; своими воплями они наполняли умирающее государство: христианин Авзоний, со своим «Свадебным сборником» и изукрашенной поэмой «Мозель», Рутилий — со своими гимнами славе Рима, с анафемами евреям и монахам, с путеводителем из Италии в Галлию, в котором он передает беспредельность пейзажей, отраженных в воде, миражи окружающих горы туманов; Клавдиан, в некотором роде воплощение Лукана, господствующий над всем четвертым веком трубным гласом своих стихов, кующий звучный и сверкающий гекзаметр, одним ударом выбивающий эпитет в снопах искр, достигающий истинного величия, могучим вдохновением созидающий свое произведение. В истлевающей Западной империи, в сумятице постоянной резни и розни, под угрозой варваров, подступающих к воротам Вечного города, Клавдиан воскрешает древность, воспевая похищение Прозерпины. Он наносит мерцающие мазки своих стихов во мраке, объевшем мир, будто факелами освещая наплывающую тьму. Последний глашатай язычества, поднимает он над христианством, захватившим и язык, и литературу, свой рожок, одинокий представитель великого искусства, поддерживаемый только Павлином, учеником Авзония. Испанский священник Ювенкус перелагает стихами Евангелие, Викторин пишет «Маккавеев», св. Бурдигалезий, в эклоге, подражающей Вергилию, заставляет пастухов Эгона и Букулюса оплакивать болезни своих стад; а святых целый ряд: Илер-де-Пуатье, покровитель никейской веры, Афанасий Западный, как его называют, Амвросий, автор неудобоваримых проповедей, скучный христианский Цицерон; Дамас, изготовитель надгробных

эпиграмм, Иероним, переводчик Вульгаты, и его соперник Вигилантий Коммингский, нападающий на культ святых, на обман чудес, на посты и восстающий против монашеских обетов в безбрачии священников с теми аргументами, которые будут повторяться следующими веками.

Наконец, в V веке, Огюстин, епископ Гиппонский. Его Дез Эссент знал прекрасно, так как это был самый известный церковный писатель, основатель христианской ортодоксии, на которого католики смотрят как на оракула, на верховного учителя. Он не совершил великих открытий, хотя и воспел в своих «Исповедях» возвращение к жизни земной, а жалобное благочестие в его «Граде Божьем» пыталось умерить ужасную скорбь времени успокоительными обещаниями лучшей участи. Когда Дез Эссент занимался теологией, он уже был утомлен и сыт его проповедями и иеремиадами, его теориями предопределения и благодати, его борьбой с расколом.

Дез Эссент больше любил перелистывать «Психоматию» Пруденция, аллегорическую поэму, излюбленное чтение Средних веков, и сочинения Сидония Аполлинария, переписка которого, пересыпанная остротами, архаизмами и загадками, нравилась ему. Он с удовольствием перечитывал панегирики, в которых этот епископ, в подкрепление своих хвастливых похвал, призывает языческих богов. Дез Эссент питал слабость к его позерству и двусмысленности, к темноте смысла этих стихотворений, сочиненных искусным механиком, который заботится о своей машине, смазывает ее и изобретает, в случае надобности, многосложные и лишние колеса. После Сидония Дез Эссент часто обращался еще к панегиристу Меробальду, а также к Седулию, автору поэмы в стихах и элементарных гимнов, некоторыми частями которых церковь воспользовалась для службы; к Марию Викторину, мрачный трактат которого об «Испорченности нравов» озаряется местами блестящими, как фосфор, стихами; Павлину Польскому, поэту гремящего «Евхаристикона», епископу Ариенциусу, бранящему

в двустишиях своих «Увещаний» распущенность женщин, лица которых, как он утверждает, развращают народ.

Интерес Дез Эссента к латинскому языку не ослабевал; вконец испорченный язык, теперь он падал, лишаясь своих членов, истекая гноем, с трудом сохраняя, в гниении своего тела, некоторые крепкие части, которые христиане извлекали, чтобы замариновать их в рассоле своего нового языка.

Наступила вторая половина V века, ужасная эпоха, когда страшный толчок потряс землю. Варвары разорили Галлию; парализованный Рим, отданный на разграбление вестготам, чувствовал, что его жизнь застывает, видел, что его окраины — Запад и Восток — бьются в крови и с каждым днем истощаются.

Во всеобщей гибели, в убийствах цезарей, следующих одно за другим, в шуме резни, струящейся с одного конца Европы в другой, гремело страшное «ура», заглушающее вопли, покрывающее все голоса. На берегу Дуная тысячи людей на маленьких лошадках, в плащах из крысиных шкур, ужасные татары, с громадными головами, с расплюснутыми носами, с подбородками, изрытыми рубцами и шрамами, с желтыми безволосыми лицами — несутся во всю прыть, окутывают вихрем территории Нижней империи. Все исчезло в пыли скачки, в дыму пожаров. Наступила тьма, и ужаснувшиеся народы дрожали, слушая проносившийся с громовым грохотом страшный смерч. Орда гуннов снесла Европу, ринулась на Галлию и пала поверженная в шалонских равнинах, где Аэций разгромил ее в ужасающей атаке. Равнина, залитая кровью, пенилась как багряное море; двести тысяч трупов загородили дорогу, помешав разбегу этой лавины, которая, свернувши с дороги, гремя громовыми ударами, упала на Италию, где истребленные города пылали как стога.

Западная империя пала под ударом; умирающая жизнь, влачимая ею в слабоумии и грязи, угасла; конец вселенной казался близким; города, забытые Атилиой, были

выхвачены голодом и чумой; латинский язык тоже, казалось, был зарыт под развалинами мира.

Прошли года; варварское наречие начало регулироваться, выходить из своих жильных пород, создавать настоящие языки. Латинский язык, спасенный в разгроме монастырями, заточился среди обитателей и приходов; кое-где вспыхивали поэты, вялые и холодные: африканец Драконтий, с своим «Гекзамероном», Клавдий Мамерт, с своими литургийными стихами, Авит Вьенский; затем биографы — Эннодий, рассказывающий о чудесах св. Епифания, проницательного и уважаемого дипломата, честного и бдительного пастыря, Эвгиппий, описывающий нам беспримечательную жизнь св. Северина, этого таинственного отшельника, этого смиренного аскета, явившегося неутешным народам, помешанным от страданий и страха, как ангел милосердия; писатели — Вердон из Жеводана, создавший маленький трактат о воздержании, Аврелиан и Ферреол, составлявшие церковные каноны; историки — Ротерий из Агда, известный утерянной историей гуннов.

Произведения следующих веков редели в библиотеке Дез Эссента.

Представителями VI века были, однако, Фортунат, епископ из Пуатье, чьи гимны и «*Vexilla regis*», выкроенные из старой падали латинского языка, подслащенные благовониями церкви, ему иногда вспоминались, Боеций, старый Григорий Турский и Иорданес.

Затем, в VII и VIII веках — как бы сверх испорченного латинского языка летописцев Фредегера и Павла Диакона и стихов, заключающихся в антифонах Бангора, чей алфавитный гимн, написанный в честь св. Комгаллом с одинаковыми рифмами, просматривал иногда Дез Эссент — литература почти всецело замыкалась в жизнеописаниях святых, в легенде о св. Колумбане, написанной отшельником Ионой, и в легенде о блаженном Кутberte, составленной Бедой Достопочтенным по запискам анонимного монаха из Линдисфарна. Дез Эссент ограничивался перелисты-

ванием в минуты скуки произведений агиографов и пересчитывал некоторые эпизоды из жизни св. Рустикумы и св. Радегонды, рассказанные одна Дефенсорием, синодитом из Лигюже, другая скромной и наивной Бодонивией, монахиней из Пуатье.

Но странные произведения латинской литературы англосаксов больше привлекали Дез Эссента. Это была целая серия загадок Альдхельм, Татвина, Евсевия, этих потомков Симфозия, и особенно загадки, написанные св. Бонифацием, акростихами, решение которых заключалось в заглавных буквах стихов.

Увлечение Дез Эссента уменьшалось с концом этих двух веков; наконец, он далеко не был в восторге от тяжелой массы латинистов-каролингов, разных Алкуинов и Эгингардов, и довольствовался, как образцом языка IX века, анонимными хрониками о св. Галле, Фрекульфе и Региноне; поэмой об осаде Парижа, подписанной Аббо Ле Курбе, дидактической поэмой бенедиктинца Валафрида Страбо «Хортулус», глава которой, посвященная прославлению тыквы, символу плодородия, приводила Дез Эссента в веселое настроение; поэмой Эрмольда Черного, прославляющего подвиги Людовика Благочестивого — поэмой, написанной правильными гекзаметрами, в строгом, почти мрачном стиле, железным латинским языком, закаленным в монастырских водах, с разбросанными местами металлических кусками чувства; поэмой «De viribus herbarum» Мацера Флоридуса, который особенно забавлял его своими поэтическими рецептами и очень странными свойствами, которые он приписывал некоторым растениям и цветам: например, от кирказона, смешанного с мясом быка и положенного на нижнюю часть живота беременной женщины, родится мальчик; бурачник, растворенный в настойке, веселит собеседников; толченый корень пиона навсегда излечивает эпилепсию; укроп, положенный женщине на грудь, очищает ее воды и вызывает безболезненность ее периодов.

Исключая нескольких специальных неклассифицированных томов, новейших и без даты, некоторых сочинений по кабалистике, медицине и ботанике, некоторых разрозненных томов патологии де Миня, заключающих в себе утерянные христианские стихотворения, и антологии второстепенных латинских поэтов Вернсдорфа; еще Мерсиуса, руководства классической эротологии Форберга, Устав с диаконалиями для духовников, латинская библиотека Дез Эссента останавливалась на начале X века, с редкими промежутками.

Действительно, интерес и многосложная наивность христианского языка тоже пропали. Царило пустословие философов и схоластов, словопрение Средних веков. Громоздилась куча сажи — летописей и исторических книг, свинцовые круги сборников монастырских грамот; умерли приятный лепет и изящная порой неловкость монахов, приправляющих благочестивое рагу поэтическими остатками древности; изделие вычищенных, усовершенствованных существительных, пахнувших ладаном, причудливых прилагательных, готических драгоценностей, грубо вырезанных из золота с варварским и восхитительным вкусом, было разрушено. Старые издания, берегаемые Дез Эссентом, прерывались; и сделав гигантский прыжок через века, на полках громоздились книги, подходившие прямо к французскому языку нынешнего века, минуя ряд столетий.

#### IV

Ближе к концу дня перед домом на Фонтенэй остановилась карета. Так как Дез Эссент никого не принимал и так как почтальон не отваживался проникнуть в эти необитаемые места ввиду того, что ему не нужно было передать ни газеты, ни журнала, ни письма, — слуги колебались, спрашивая друг друга, нужно ли отпереть; потом, под



звон колокольчика, изо всей силы ударившегося в стену, они решились открыть потайное окошечко, прорезанное в двери, и увидели господина, у которого вся грудь от шеи до пояса была покрыта огромным золотым щитом. Они вошли с докладом к своему хозяину, который в это время завтракал.

— Прекрасно, введите, — сказал он, так как вспомнил, что в свое время дал адрес ювелиру для доставки заказа.

Господин поклонился, положил в столовой на сосновый пол свой щит, который колебался, немного поднимаясь и вытягивая змеевидную голову черепахи; она внезапно испугалась и ушла под свой щит.

Эта черепаха была фантазией, пришедшей Дез Эссенту накануне его отъезда из Парижа. Однажды глядя на восточный ковер с серебристыми отблесками, бегущими по шерстяной ткани, желтой, как смола, и лиловой — цвета сливы, он подумал: хорошо бы положить на этот ковер что-нибудь такое, что двигалось бы и своим темным цветом подчеркивало резкость этих цветов. Охваченный этой мыслью, он бродил по улицам, дошел до Пале-Рояля и перед витриной Шеве ударил себя по лбу: там в бассейне была громадная черепаха. Он купил ее; потом, положив ее на ковер, он сел перед ней и, прищулив глаза, долго всматривался. Цвет этого щита, сырой тон сиены решительно грязнил блеск ковра, нисколько не оживляя его; серебро едва мерцало теперь, сливаясь с холодными тонами ободранного цинка на краях этого жесткого и тусклого щита. Он грыз ногти, отыскивая средства примирить эти несогласия, помешать решительному раздору этих тонов; наконец он открыл, что первая мысль разжечь блеск ткани колебанием положенного на нее темного предмета — была ошибочна; в конце концов, этот ковер был еще слишком ярок, слишком резок, слишком нов. Цвета недостаточно смягчились и ослабли; нужно было перевернуть задачу,

ослабить тона, заглушить их контрастом блестящего предмета, подавляющего все вокруг себя, бросающего золотой цвет на бледно-серебряный. Вопрос, поставленный таким образом, был легко разрешим. Вследствие этого Дез Эссент решил покрыть щит черепахи золотом.

Когда ее принесли от мастера, животное сверкало как солнце, сияло на ковре, отраженные оттенки которого смягчились лучезарностью вестготского щита, с черепацевидной чешуей, сделанной художником с варварским вкусом. Сначала Дез Эссент был очарован этим эффектом; потом он подумал, что эта исполинская драгоценность только начерно набросана; она была бы вполне закончена, если бы была инкрустирована редкими камнями. Он выбрал в японской коллекции рисунок, изображающий букет цветов, выходящих ракетой из тонкого стебля, отнес его к ювелиру, набросал бордюр, который должен заключать этот букет в овальную раму, и объяснил изумленному мастеру, что листья и лепестки каждого цветка должны быть сделаны из драгоценных камней и вставлены в самый щит животного.

Он задумался над выбором камней: брильянт сделался особенно пошлым с тех пор, как все торговцы носят его на мизинце; не так обесценились восточные изумруды и рубины: они испускают лучезарное пламя, но слишком напоминают зеленые и красные глаза омнибусов, несущих фонари этих двух цветов; что касается топазов, сырых или обожженных, — эти дешевые камни дороги мелкой буржуазии, желающей иметь драгоценности в зеркальном шкапу; с другой стороны, хотя церковь и сохранила за аметистом священное значение, но и этот камень опошлен в полнокровных ушах и на пухлых руках лавочниц, желающих за умеренную цену украситься настоящими и тяжелыми драгоценностями; среди этих камней один только сапфир сохранил свой блеск не тронутым промышленностью и денежной глупостью. Его искры, сыплясь на светлую и холодную воду, некоторым образом оберегли от грязи свое

скромное и горделивое благородство. К несчастью - при искусственном освещении его свежий блеск не сверкает больше; синяя вода уходит в себя, кажется уснувшей, для того чтобы с началом дня снова проснуться и сверкать.

Решительно ни один из этих камней не удовлетворял Дез Эссента: они были слишком одцивилизованы и слишком известны; он пересыпал между пальцами более интересные и более причудливые минералы и наконец выбрал серию настоящих и поддельных камней, сочетание которых должно было создать чарующую и поражающую гармонию.

Таким образом он составил букет цветов: в листья были вставлены драгоценные камни определенного резко-зеленого цвета: зеленые александриты цвета спаржи, зеленые перидоты цвета порея, зеленые оливины цвета оливы; и они выходили из веток альмандина и уваровита лиловато-красного цвета, искрящиеся сухим блеском, каким внутри бочек светится слюда винного камня.

Для цветов, оторванных от стебля и отдаленных от основания букета, он употребил голубец, но он решительно отверг эту восточную бирюзу, которую вставляют в брошки и в кольца и которая вместе с банальным жемчугом и гнусным кораллом составляет радость черни. Он отобрал исключительно западную бирюзу, которая, в сущности, не что иное, как ископаемая слоновая кость, пропитанная медяннистыми веществами, бледно-голубой цвет которой загрязнен и непрозрачен — он серый, как бы пожелтевший от желчи.

Покончив с этим, он мог теперь вставлять в лепестки распускающихся цветов в середине букета, ближайших к стволу, прозрачные минералы со стеклянным и нежным блеском, с лихорадочными и острыми лучами.

Он составил их исключительно из цейлонских «кошачьих глаз», хризобериллов и синих халцедонов.

Эти три камня сверкали действительно таинственно и извращенно, с болью вырванные из холодной глубины своей мутной воды.

«Кошачий глаз» зеленовато-серого цвета, испещренный концентрическими жилами, которые как будто колебались, ежеминутно двигаясь в зависимости от освещения; хризоберил с лазоревым волнистым лоском, пробегающим по молочному оттенку, разлитому внутри; синий халцедон, зажигающий синеватые огни фосфора на шоколадном темно-коричневом фоне.

Мастер отметил места, где должны быть вставлены камни. «А бордюр щита?» — спросил он Дез Эссента.

Дез Эссент подумал сначала о некоторых опалах и гидрофанах; но эти камни, интересные колебанием своих цветов, сомнительностью своего блеска, слишком непокорны и неверны; у опала совершенно ревматическая чувствительность: игра его лучей изменяется от сырости, жары или холода; что касается гидрофана, то он горит только в воде и пышет своим серым жаром, только когда его намочат.

Наконец он остановился на таких минералах, которые чередовались бы своим отблеском: на красном акажу, компостельском гиацинте, на зеленом аквамарине, бледном рубине цвета розового уксуса и зюдерманландском рубине цвета бледного сланца. Их слабой игры было достаточно, чтобы осветить темноту щита и обнаружить ценности цветения камней, окружавших его узкой гирляндой неясных огней.

Спрятавшись в углу столовой, Дез Эссент смотрел теперь на черепаху, светящуюся в полутьме.

Он чувствовал себя совершенно счастливым, он упивался блеском горящих венчиков на золотом фоне. И вдруг, вопреки привычной меланхолии, почувствовал аппетит. Он макал гренки в чашку с чаем, в настой безупречной смеси привезенных из Китая через Россию Ши-а-Фаюн и Мою-тан с уместным дополнением желтых и ханских сортов.

Как всегда, он пил эту душистую жидкость из китайских фарфоровых чашек, называемых яичной скорлупой: так они были прозрачны и легки. И точно так же, как он

признавал только эти восхитительные чашки, он нечуждо употреблял для стола только настоящее позолоченное серебро, которое было чуть-чуть видно под тяжелым слоем слегка стертой позолоты, имеющей в этом виде оттенок старинной нежности, истощенной и умирающей.

Допив последний глоток, он вошел в свой кабинет и велел слуге принести черепаху, которая упорно не хотела двигаться.

Шел снег. При свете ламп за голубоватыми стеклами распускались льдистые травки, и иней, как рассыпанный сахар, искрился на оконных стеклах — в бутылочных донышках с золотыми крапинами.

Глубокое молчание окутывало домик, онемевший в темноте. Дез Эссент задумался; полная дров жаровня наполняла комнату горячими испарениями; он приоткрыл окно.

Как огромная обивка из серебряного горностаея на черном фоне, поднималось перед ним черное небо, усеянное белыми пятнами. Пронесся холодный ветер, ускорил взбурдаженный полет снега и нарушил порядок красок.

Геральдическая обивка неба вывернулась, стала настоящим горностаем, белым с черными хвостиками, — от черных пятен ночного неба, разбросанных между хлопьями.

Он закрыл окно; слишком резкий переход от чрезмерной жары к холоду полной зимы оказался неприятен; он съежился около огня, и ему пришла мысль выпить, чтобы согреться.

Он пошел в столовую, где в шкапу, вделанном в одной из стен, стояли маленькие бочонки с серебряными кранами, на полочках из сандалового дерева.

Он называл это собрание бочонков с ликерами органом для рта.

Трубочка могла соединить все краны, подчинить их одному движению таким образом, что когда прибор уже на месте, — стоит только нажать кнопку, скрытую в панели, чтобы все краны одновременно повернулись и наполнили напитком незаметно подставленные под них бокалы.

В это время орган был открыт. Ящики с надписями «флейта», «валторна», «целеста» — были выдвинуты и готовы к маневрам. Дез Эссент пил по глотку то тут, то там, разыгрывал внутренние симфонии, вызывая в горле ощущения, аналогичные с теми, какие музыка доставляет слуху.

Впрочем, каждый напиток, по мнению Дез Эссента, соответствовал своим вкусом звуку какого-нибудь инструмента. Сухой кюрасо, например, соответствовал кларнету, певучесть которого кисловата и бархатиста; кюммель — гобою: его звонкий тенор гнусавит; мятная и анисовая водка — флейте, она подсахарена и подправлена перцем, мягка и щиплет в одно и то же время; а для полноты оркестра — вишневка яростно трубит в трубу, джин и виски горчат небо своими пронзительными взрывами корнет-а-пистонов и тромбонов; виноградная водка гремит оглушительным шумом труб, в то время как от хиосского раки и других крепких напитков во рту катятся громовые удары цимбал и барабана.

Он думал также, что эта ассимиляция могла распространяться дальше, что под сводом неба могли разыгрываться квартеты струнных инструментов: со скрипкой — старой водкой, крепкой и тонкой, острой и нежной; с альтом — замененным ромом, наиболее крепким, хриплым и глухим; с ратафией, раздражающей и тягучей, меланхолической и ласкающей, как виолончель, и, наконец, с контрабасом, вкусным, солидным и черным, как настоящий старый биттер. Можно было бы даже, если бы хотелось устроить квинтет, прибавить пятый инструмент — арфу, к которой подходил по своему правдоподобному сходству вибрирующий вкус и серебристый, сухой и порывистый тон тминной водки.

Соответствие шло еще дальше: в музыке ликеров существовало родство тонов; так, чтобы определить одну только ноту, — бенедиктин представляет, так сказать, минорный тон того алкоголя, мажорный тон которого

винные карты — партитуры обозначают знаком зеленого шартреза.

Приняв однажды эти принципы, Дез Эссент мог уже, благодаря своей богатой опытности, разыгрывать на своем языке молчаливые мелодии, немые похоронные марши, слушать в своем рту соло на мятной, дуэты на ратафии и роме. Он даже исполнял во рту настоящие музыкальные отрывки, следуя шаг за шагом за композитором, передавая его мысль, его эффекты и оттенки близкими соединениями или контрастами напитков, приблизительной и искусной смесью.

Иногда он сам сочинял мелодии, разыгрывая пасторали с легкой черносмородиновой, выводившей в его горле переливы жемчужных песен соловья с нежным шоколадным ликером, напевавшем паточные старинные мелодии: «Песня Эстеллы» и «Ах, матушка, узнай».

Но в этот вечер у Дез Эссента не было никакого желания слушать вкус музыки; он ограничился лишь одной нотой клавиатуры своего органа, взяв маленький бокальчик, который он предварительно наполнил настоящим ирландским виски.

Он опустил в кресло и глотал этот сок, настоящий на овсе и ячмене; резкий запах креозота наполнил его рот. С каждым глотком мысль его следила за оживлявшимся теперь ощущением его нёба, шла по следам, оставленным вкусом виски и, благодаря фатальному сходству запахов, пробудила давно забытые воспоминания.

Этот едкий аромат невольно напомнил ему такой же запах, каким был наполнен его рот, когда дантисты работали в его деснах. Раз попав на этот след, его думы, сначала рассеянные по всем докторам, которых он знал, собрались, сосредоточились на одном из них, особенно запечатлевшемся в его памяти.

Это было три года назад; охваченный среди ночи отвратительной зубной болью, он завязал щеку, бросался на стулья, бегал как сумасшедший по своей комнате. Болел

уже запломбированный коренной зуб; никакое лечение было невозможно; только щипцы дантиста могли устранить боль. Весь в лихорадке он ждал дня, решившись перенести самую тяжелую операцию, лишь бы она положила конец его страданиям.

Держа челюсть, он спрашивал себя, как быть. Дантисты, лечившие его, были богатые негоцианты, которых нельзя было видеть когда вздумается; нужно было условиться с ними относительно визитов, часов свиданий.

— Это невозможно, я не могу дольше медлить, — сказал он и решил идти к первому попавшемуся дантисту, бежать к народному зубодеру — к одному из тех людей с железным кулаком, которые если и не знают искусства, впрочем бесполезного, чистить костоед и заделывать дыры, то умеют вырывать с корнем с неподражаемой быстротой самые неподатливые обломки зубов; у этих открыто с самого утра, и они не заставляют ждать. Пробило наконец семь часов. Он поспешно вышел и, вспоминая знакомое имя механика, называвшего себя народным дантистом и жившего на углу набережной, бросился по улицам, кусая платок и едва удерживая слезы.

Подойдя к дому, который он узнал по громадной вывеске из черного дерева, на которой огромными буквами цвета тыквы красовалась фамилия «Гатонакс», и еще по двум стеклянным шкапчикам, где искусственные зубы были тщательно выравнены в челюстях из розового воска, скрепленные медными механическими пружинками, Дез Эссент вспотел и задохнулся. Ужасный страх охватил его, дрожь побежала по коже, наступило успокоение; боль прекратилась; зуб замолк. Он в оцепенении стоял на тротуаре; но наконец он поборол боязнь, поднялся по темной лестнице и, шагая через несколько ступенек, вскарабкался на третий этаж. Там он очутился перед дверью, на которой эмалевая дощечка повторяла имя, бывшее на вывеске, написанное небесно-голубыми буквами.



Он позвонил, но потом, испугавшись больших красных плевков, замеченных им на ступеньках лестницы, быстро повернулся было, решив страдать зубами всю свою жизнь, но вдруг заего спиной послышался раздирающий крик, который наполнил всю лестницу и приковал испугавшегося Дез Эссента к месту; в это время отворилась дверь, и старушка попросила его войти.

Страх его сменился стыдом; его ввели в столовую; хлопнула другая дверь, пропустив страшного гренадера в черных брюках и сюртуке; Дез Эссент последовал за ним в другую комнату.

С этой минуты его ощущения стали неясны. Смутно вспоминал он, что опустился в кресло против окна; что, положив палец на зуб, пробормотал: «Он уже запломбирован; боюсь, что ничего нельзя сделать».

Мужчина пропустил мимо ушей эти объяснения, воткнув ему в рот громадный указательный палец; затем, ворча что-то в свои большие нафабранные усы, он взял со стола инструмент. Началась главная сцена. Уцепившись в ручки кресла, Дез Эссент почувствовал в щеке холод, потом глаза его видели тридцать шесть свечей, и переноса неслыханные боли, он начал бить ногами и блеять, как животное, которого режут.

Послышался треск — при выдергивании сломался коренной зуб; Дез Эссенту показалось тогда, что ему отрывают голову, раздробляют череп; он потерял рассудок, вылез из всех сил, яростно защищался от мужчины, который опять бросался на него, как будто хотел запустить ему руку до самого живота.

Дантист порывисто отступил на шаг и, подняв тело, прикрепленное к челюсти, грубо бросил его в кресло, а сам, стоя у окна и тяжело дыша, тряс на кончике щипцов синий зуб, на котором висело что-то красное. Смирившись, Дез Эссент наплевал полную чашку крови, отказал жестом вошедшей старушке, принесшей обломок его зуба, который она хотела было завернуть в газету, и, заплатив два франка, убежал, в свою очередь оставляя на ступеньках кровавые

плевки; он очутился на улице радостный, помолодевший на десять лет, интересуясь малейшими вещами.

— Брр, — сделал он, опечаленный от наплыва этих воспоминаний. Он поднялся, чтобы разрушить ужасные чары этого видения, и, вернувшись к действительности, вспомнил о черепахе. Она все еще не двигалась; он потрогал ее — она была мертва. Конечно, привыкши к сидячей жизни, к жалкому существованию, проведенному под несчастным щитом, она не могла вынести ослепительной роскоши, наложенной на нее, лучезарного облачения, в которое ее одели, драгоценных камней, которыми ей вымостили спину, как дароносицу.

## V

В это же время, когда особенно обострилось желание Дез Эссента забыть эту ненавистную эпоху мерзких рож, более властно заговорила и потребность не видеть больше картин, которые изображают человеческие лица, копошащиеся в Париже в четырех стенах или бродящие по улицам в поисках заработка.

Потеряв интерес к современной жизни, он решил не впускать в свою келью масок отвращения и жалости; он хотел тонкой и изящной картины, поэтической в античной извращенности, далекой от наших нравов, далекой от наших дней.

Он хотел для услаждения своего ума и для утехи глаз несколько возбуждающих произведений, которые переносили бы его в неведомый мир, наводили бы его на след новых догадок, расшатывали бы его нервную систему многообразными истериками и кошмарами, беспечными и ужасными видениями.

Был один художник, талант которого приводил Дез Эссента в восхищение, Гюстав Моро. Дез Эссент приобрел два его шедевра, и перед одним из них по ночам он от-

давался грезам. Это было изображение Саломеи следующего содержания.

Во дворце, похожем на базилику мусульманско-византийской архитектуры, возвышался трон, подобный главному престолу собора, под бесчисленными сводами, из которых коренастые колонны струились, как романские столбы, украшенные разноцветными камнями, выложенные мозаикой, инкрустированные ляпис-лазурью и сардониксом.

В центре скинии, возвышаясь на престоле, к которому вели полукруглые ступени, сидел Тетрарх Ирод, опершись руками на колени.

Лицо желтое, пергаментное, испещренное морщинами, истощенное годами; его длинная борода развевалась, как белое облако над звездами из драгоценных камней, которыми сияла надетая на нем златотканая одежда.

Вокруг этого изваяния неподвижного, застывшего в священной позе индусского бога курились благовония, разливающие облака дыма, сквозь которые, как фосфорические глаза животных, просвечивали огни камней, вставленных в стенки трона; дым поднялся и застыл под сводами, где смешался с голубой пылью ярких дневных лучей, падающих из купола.

В развращающем запахе благовоний, в разгоряченной атмосфере этой церкви Саломея с вытянутой левой рукой — жестом повеления, с согнутой правой рукой, держащей против лица большой лотос, медленно на носках подвигается под звуки гитары, струны которой перебирает женщина, сидящая на корточках.

С сосредоточенным, торжественным, почти священным лицом начинает она похотливый танец, который должен пробудить притупленные чувства старого Ирода; ее груди волнуются, и от трения крутящихся ожерелий соски их приподнимаются. На ее влажной коже сверкают алмазы, ее запястья, пояса, кольца сыпят искры; верх ее праздничной одежды, обшитой жемчугом, затканной

серебряными разводами, украшенной золотой битью — панцирь из драгоценностей, на котором каждое звено из камня горит, скрещивает огненные змеи, шевелится на матовом теле, на коже, цвета чайной розы, как великолепное насекомое, с ослепительными крыльшками, золотоцветными точками, голубовато-стальным и зеленым, цветом павлина.

С устремленными в одну точку глазами, подобно сомнамбуле, она не видит ни трепещущего Тетрарха, ни следящей за ней матери, жестокой Иродиады, ни гермафродита, быть может, евнуха, стоящего с саблей в руке у подножия трона, страшную фигуру, закутавшую свою грудь скопца, которая висит, как желвак, под туникой с оранжевыми полосами.

Этот образ Саломей, к которому так часто обращаются художники и поэты, уже несколько лет владел Дез Эссентом. Сколько раз читал он в старой Библии, изданной Пьером Варике, в той, переведенной доктором богословия Лувенского университета, Евангелие св. Матфея, рассказывающее в наивных и коротких фразах об усекновении главы Предтечи. Сколько раз он задумывался над этими строками.

«В день пиршества, по случаю дня рождения Ирода, дочь Иродиады танцевала перед собранием и понравилась Ироду.

Который обещал ей, поклявшись, дать ей все, чего бы она ни попросила.

Она же, подученная своею матерью, сказала: дай мне на блюде главу Иоанна Крестителя.

И царь был огорчен, но ради клятвы и возлежавших с ним повелел дать ей.

И послал отсечь Иоанну голову в темнице.

И принесли его голову на блюде и отдали девушке, а она отдала своей матери».

Но ни св. Матфей, ни св. Марк, ни св. Лука, ни другие евангелисты не проникали в исступленные чары, в на-

стоящую порочность танцовщицы. Она оставалась неясной, исчезла таинственная и замирающая в далеком тумане веков; неуловимая для положительных и слишком наивных умов, понятная только пошатнувшимся мозгам, утонченным, сделавшимся от невроза как бы духовидцами; непокорная живописцам тела, Рубенсу, преобразившему ее в фландрскую лавочницу, непостижимая для всех писателей, никогда не бывших в состоянии передать беспокойного возбуждения танцовщицы, утонченного величия убийцы.

В произведении Гюстава Моро, написанном на основании всех данных Нового Завета, Дез Эссент видел, наконец, воплотившуюся Саломею, сверхчеловеческую и чудесную, о которой он мечтал. Она не была уже только лицедейкой и кривлякой, вырывающей у старика развращенными движениями своих боков крик желания и похоти, разбивающей несокрушимую волю царя волнениями груди, сотрясениями живота и содроганием бедер; она стала в некотором роде символическим божеством нетленного Сладострастия, богиней бессмертной Истории, проклятой Красотой, одержимой каталепсией, напрягающей ее тело и делающей твердыми ее мускулы — чудовищным животным, равнодушным, безответным, бесчувственным, отравляющим, как античная Елена, всех, кто к ней приближается, кто ее видит, до кого она дотрагивается.

Понятая таким образом она принадлежала к мировоззрению Древнего Востока; она не воскрешала больше библейских преданий, даже не могла уже быть уподобленной живому изображению Вавилона, царственной Апокалипсической Блуднице, наряженной, как она, в пурпур и драгоценности и, как она, нарумяненной и набеленной, потому что та не была брошена вещим могуществом, высшей силой в притягательную бездну разврата.

Казалось, впрочем, что живописец хотел закрепить свою волю — остаться вне веков, не обозначать точно происхождения, страны и эпохи; он поставил Саломею

среди этого необыкновенного дворца, смешанного, но величественного стиля, одев ее в роскошные и химерические одежды, увенчав ее голову неизвестной диадемой в виде Финикийской башни, какую носила Саламбо, дав, наконец, ей в руки скипетр Исиды, священный цветок Египта и Индии — большой лотос.

Дез Эссент искал смысла этой эмблемы. Имел ли лотос фаллическое значение, приписываемое ему первобытными культами Индии; предвещал ли старому Ироду жертвоприношение девственницы, обмен крови, приношение дара, под непременною условием убийства; или изображал аллегория плодородия, индусский миф о жизни — существование, находящееся в руках женщины, сорванное и смятое трепещущими руками мужчины, которого охватило безумие, которого позывы тела свели с ума.

Может быть также, что, вооружая свою загадочную богиню чтимым лотосом, живописец думал о танцовщице, о смертной женщине, об оскверненном сосуде, причине всех грехов и всех преступлений; может быть, вспомнил он образы Древнего Египта, погребальные церемониалы бальзамирования, когда химики и жрецы укладывают труп умершей на яшмовую скамью, вынимают у нее кривыми иглами мозг через ноздри, внутренности через прорез, сделанный в ее левом боку; затем прежде, чем золотить ей ногти и зубы, прежде, чем намазать ее горькой смолой и эссенцией, вводят ей в половые части, чтобы очистить их, целомудренные лепестки божественного цветка.

Как бы там ни было, неотразимое обаяние исходило от этого полотна. Но акварель под названием «Явление» была, может быть, еще более тревожащей. Там дворец Ирода возвышался, как Альгамбра, на легких радужных колоннах из мавританских плиток, спаянных как бы серебряным бетоном и золотым цементом; арабески уходили косоугольниками из лазури и тянулись вдоль куполов, где на перламутровой мозаике стлались отблески радуги, сияние призмы.

Убийство совершилось; теперь палач стоял безучастный, опершись на рукоятку своего длинного меча, запятнанного кровью. Отрубленная голова святого была приподнята с блюда, поставленного на плиты, и он глядел, синеватый, с побледневшим, открытым ртом, с ярко-малиновой шеей, с которой капали слезы. Мозаика окружала лицо, от которого исходило сияние, сливаясь с лучами света, идущего от портиков, освещая страшную приподнятую голову, зажигая стеклянные зрачки, судорожно впившиеся в танцовщицу.

Жестом испуга Саломея отгалкивает ужасающее видение, которое приковывает ее к месту, неподвижно, на носках; ее глаза расширяются, рука судорожно сжимает горло. Она почти голая; в разгаре танца покровы расстегнулись, парча упала; на ней надеты только золотые вещи, яркие минералы; нагрудник, как латы, сжимает ее стан, и как великолепная застежка, чудесная драгоценность сверкает в ложбине между грудей; ниже, на бедрах пояс охватывает ее, скрывает верхнюю часть ее ног, на которые спускается исполинская подвеска с целым водопадом карбункулов и изумрудов; наконец, на месте, оставшемся голым, между нагрудником и поясом, выступает живот, прорытый пупком, отверстие которого кажется печатью, выгравированной из оникса молочных тонов, с оттенком розовых ногтей.

Под пламенными лучами, исходящими от головы Предтечи, загораются все грани драгоценностей; камни оживляются, чертят женское тело огненными штрихами; впиваются ей в шею, в ноги, в руки, пламенными пятнами — алыми, как угли, фиолетовыми, как свет газа, синими, как пламя спирта, и белыми как лучи звезд. Страшная голова пламенеет, истекая кровью, оставляя темно-пурпуровые сгустки на конце бороды и волос. Видная только одной Саломее, она не угнетает своим мрачным взглядом ни Иродиаду, думающую о своей оконченной, наконец, ненависти, ни Тетрарха, который, наклонившись немного вперед, опершись руками на колени, еще задыхается, сведенный с ума этой

женской наготой, пропитанной благовониями, умащенной бальзамами, дышащей фимиамом и миррой.

Так же, как старый царь, Дез Эссент оставался подавленным, уничтоженным, с головокружением перед этой танцовщицей, менее величественной, менее надменной, но более волнующей, чем Саломея на картине в масляных красках.

В бесчувственном и безжалостном изваянии, в невинном и опасном идоле, являлся эротизм, ужас человеческого бытия; большой лотос исчез, исчезла богиня; безобразный кошмар душил теперь фигурку, опьяненную вихрем танца, куртизанку, окаменевшую и загнипнотизированную ужасом.

Здесь она, действительно, была девой; она повиновалась своему темпераменту пламенной и жестокой женщины; она была более утонченной и дикой, более гнусной и изящной; сильнее будила притупленные чувства мужчины, увереннее околдовывала, покоряла его хотения своими чарами большого венерического цветка, распустившегося на преступном ложе, взрожденного в нечестивой теплице.

Дез Эссент говорил, что никогда, ни в какую эпоху акварель не достигала такого блеска колорита; никогда бедные химические краски не обрызгивали бумагу блеском, подобным камням, отблесками, похожими на залитые солнечными лучами стекла, таким баснословно сказочным, таким ослепительным великолепием тканей и тел.

И углубившись в свое созерцание, он искал корней этого большого художника, этого мистического язычника, этого мечтателя, который мог достаточно отвлечься от мира, чтобы увидеть сияющими среди Парижа жестокие видения, волшебный апофеоз других веков.

Дез Эссент едва улавливал его происхождение: там и здесь неясное напоминание о Монтеньи и де Барбари; кое-где смутное влияние Винчи, лихорадочные краски Делакруа; но влияние этих мастеров, в конце концов, было незаметно: истинно было то, что Гюстав Моро ни от кого



не происходил, без настоящих предшественников, (иногда возможных последователей, в современном искусстве он был единственным. Исходя из этнографических источников, из начал мифологии, кровавые загадки которых он подвергал сравнениям и разгадываниям; соединяя, сливая в одно легенды, вышедшие из крайнего Востока и перевоплощенные верованиями других народов, он оправдывал таким образом свои зодческие соединения, роскошную и неожиданную амальгаму материй, священные и зловещие аллегории, обостренные тревожной ясностью новейшей нервозности; и он навсегда остался мучительным, снедаемым символами разврата и сверхчеловеческой любви и божественных прелюбодеяний, совершенных без забвения и без надежды.

В его безнадежных и ученых произведениях было страшное очарование, волнующее вас до глубины сердца, как известные поэмы Бодлера; и остаешься изумленным, мечтающим, смущенным перед этим искусством, переступающим границы живописи, заимствующим у искусства писать его самые тонкие возможности: у Лимозенов их самый восхитительный блеск, у искусства ювелира или гравера его самые изящные тонкости.

Эти два образа Саломеи, которыми Дез Эссент безгранично восхищался, жили перед его глазами, повешенные на стене его рабочего кабинета между книжными полками.

Но этим не ограничивались покупки картин, сделанные Дез Эссентом с целью украсить свое одиночество.

Хотя он пожертвовал весь верхний этаж, в котором он сам не жил, но и для одного нижнего этажа нужна была многочисленная серия рам, чтобы украсить стены.

Этот нижний этаж был так расположен: туалетная, сообщающаяся со спальней, занимала один из углов постройки; из спальни — в библиотеку, из библиотеки — в столовую, это образовывало другой угол.

Эти комнаты, составляющие один из фасадов дома, шли по прямой линии, с окнами, выходящими на Онэйскую

долину. Другой фасад жилища состоял из четырех комнат, совершенно одинаковых по расположению с первыми. Так, кухня выходила углом и соответствовала столовой; большой вестибюль, служащий передней дома — библиотеке, будуар — спальне, уборная, замыкающая другой угол — туалетной.

Все эти комнаты получали свет со стороны, противоположной Онэйской долине и смотрели на башню Круа и Шатийон.

Что касается лестницы, она была приделана к одному боку дома, с внешней стороны; шаги слуг, шатаая ступеньки, доходили таким образом до Дез Эссента менее внятными и более глухими.

Он велел обить будуар ярко-красным и на всех стенах комнаты повесил в рамках из черного дерева гравюры Люйкена, старинного голландского гравера, почти неизвестного во Франции. Из произведений этого причудливо-грустного и пылко-дикого художника Дез Эссент обладал серией его «Религиозных гонений» — ужасающих картин, содержащих все муки, изобретенные безумием религий, гравюр, с которых вопило зрелище человеческих страданий, тел, поджариваемых на горящих угольях, черепов, обдираемых саблями, трепанируемых гвоздями и распиливаемых, внутренностей, вынутых из живота и намотанных на катушки, ногтей, медленно выдираемых клещами, выкальваемых зрачков, век, выворачиваемых шилами, вывернутых членов тела, заботливо переломленных, обожженных костей, медленно соскабливаемых ножами. От этих произведений, полных гнусных изобретений, смердящих гарью, сочащихся кровью, залитых воплями ужаса и анафем — в красном кабинете Дез Эссента мороз подирал по коже и захватывал дыхание. Но помимо дрожи, в которую они бросали, помимо ужасного таланта этого человека, необычайной жизни, одушевлявшей его фигуры, у этой удивительной кишашей толпы, в этих народных волнах, поднимаемых ловкостью кисти, напоминающей лов-

кость Калло, но с могуществом, какого никогда не было у него, — открывалось замечательное воссоздание среды и эпохи; архитектура, одежды, нравы времен Маккавеев, в Риме — во времена гонений на христиан, в Испании — во времена господства инквизиции, во Франции в Средние века и во время Варфоломеевской ночи и Драгоннад, — все было воспроизведено с робким старанием и отмечено поразительным знанием.

Эти эстампы были источниками знаний; на них можно было смотреть без утомления, по несколько часов. Глубоко возбуждающие к размышлениям, они часто помогали Дез Эссенту убивать те дни, когда ему надоедали книги. Жизнь Льюкена еще больше привлекала его; притом же она объясняла галлюцинацию его творчества. Ревностный кальвинист, закоснелый сектант, увлеченный гимнами и молитвами, он сочинял религиозные стихотворения, которые сам же иллюстрировал, перефразировал стихами псалмы, углублялся в чтение Библии, откуда выходил исступленным, свирепым, с головой, наполненной кровавыми сюжетами, со ртом, искривленным проклятиями Реформации, и песнями ужаса и гнева.

Он презирал мир, раздал свое имущество бедным, довольствуясь куском хлеба; он кончил тем, что сел со старой, фанатизированной им служанкой на судно, всюду проповедуя Евангелие, пытаясь совсем не есть, сделавшись совершенно сумасшедшим и диким.

В соседней, большой комнате, в вестибюле, обитом кедровым деревом, цвета сигарного ящика, громоздились друг над другом другие страшные рисунки.

«Комедия Смерти» Бредена — невероятный пейзаж, состоящий из деревьев лесосеки, кустарников, принимающих формы демонов и привидений, покрытых птицами с крысиными головами, с хвостами в виде овощей, ползущих по земле, усеянной позвонками, ребрами, черепами; над ними поднимаются узловатые ивы с дуплами, над которыми возвышаются качающиеся скелеты с распростертыми

руками — букет, поющий победную песнь в то время, как Христос улетает в облачное небо. В глубине пещеры сидит в размышлении отшельник, закрыв лицо руками, а у лужи, распростершись на спине и растянувшись к ней ногами, умирает бедняк, истощенный голодом и изнуренный лишениями.

«Добрый самаритянин» того же художника — громадный рисунок пером: нелепая смесь пальм, рябин, дубов, растущих вместе вопреки времени года и климату — девственный лес, населенный обезьянами, филинами, сычами, совами, покрытый старыми пнями, такими же уродливыми, как корни мандрагоры, высокий, волшебный лес, с просветом посредине, где вдалеке за верблюдом и группой из самаритянина и раненого, неясно видна река, за ней фантастический город, взбирающийся на горизонт, поднимающийся в страшное небо, изрезанное птицами, пенящееся волнами и как бы вздутое тюками туч.

Сказали бы, что это рисунок-примитив какого-нибудь несформированного Альберта Дюрера, созданный в мозгу, опьяненном опиумом; но, хотя Дез Эссент любил тонкость деталей и величественную манеру этой гравюры, он больше уделял внимания и более подробно останавливался перед другими рамами, украшавшими комнату. Эти рамы были подписаны — Одилон Рэдон. Они заключали в своих багетах из старого грушевого дерева, окаймленного золотом, невообразимые явления: голова в стиле Меро-вингов, положенная на чашу; бородатый мужчина, держащий зараз бонзу и оратора публичного собрания, трогаящий пальцем ядро громадной пушки; ужасный паук, у которого посреди туловища помещается человеческое лицо; затем бересклеты шли еще дальше в ужасные сновидения человека, мучимого приливом крови. Здесь была огромная игральная кость, на которой мигало грустное веко; там пейзажи — сухие, безводные, сожженные равнины, движения почвы, вулканические извержения, цепляющи-

еся за мятежные тучи, стоячее и синеватое небо; иногда же сюжеты казались заимствованными у кошмара науки и восходили к доисторическим временам. На скалах распускалась чудовищная флора, повсюду валуны ледникового происхождения, ледниковые осадки, люди, обезьянообразный тип которых, толстые челюсти, выдавшиеся дугообразные брови, покаты́й лоб, сплюснутая макушка, напоминали голову прародителей, голову человека первого, четвертичного периода, еще плодоядного и не знающего слов, человека современного мамонту, носорогу и пещерному медведю. Эти рисунки были вне всего; большей частью они переходили за пределы живописи, вводили что-то новое, совершенно особенное, фантастические страсти и бред.

И действительно, эти лица, съедаемые громадными безумными глазами, эти тела, чрезмерно выросшие или изуродованные, как сквозь графин, вызывали в памяти Дез Эссента воспоминания о тифе и все еще сохранившееся воспоминание о жгучих ночах и об ужасных призраках его детства.

Охваченный неизъяснимым беспокойством перед этими рисунками, как перед известными «Пословицами» Гойи, которые они напоминали, как после чтения Эдгара По, чьи миражи, галлюцинации и впечатления страха Одилона Рэдон, казалось, перенес в свое искусство, Дез Эссент тер себе глаза и смотрел на лучезарную фигуру, встающую среди этих беспокойных картин, ясную и спокойную фигуру меланхолии, сидящую перед диском солнца на скалах, в подавленной и мрачной позе.

От этого очарования мрак рассеивался. Мысли Дез Эссента становились полны прелестной грусти и несколько смягченной печали, и он размышлял перед этим произведением, которое своими пятнами гуаши, рассеянными среди густо наложенного карандаша, было просветом цвета зеленой воды и бледного золота среди непрерывной черноты этих бересклетов и гравюр.

Кроме этой серии произведений Рэдона, занимающей почти все стены вестибюля, он повесил в своей спальне бесформенный набросок Теотокопулоса — Христа, странных цветов, шаржированного рисунка, жестких красок, бесформенной силы, — картину второй манеры этого живописца, того времени, когда он был мучительно озабочен тем, чтобы не походить на Тициана.

Эта зловещая картина, в тонах трупно-зеленых и ваксы соответствовала известному порядку идей Дез Эссента относительно мебелировки.

По его мнению, было только два способа устроить спальню: или сделать из нее возбуждающий альков, место ночного наслаждения, или же место уединения и отдыха, убежище мысли, нечто вроде часовни.

В первом случае изнеженным людям, особенно истощенным раздражениями мозга, представляется стиль Людовика XV; действительно, один только XVIII век сумел окружить женщин порочной атмосферой, округляя мебель сообразно с формами их прелестей, подражая волнистыми изгибами дерева и меди их сладостному сжиманию, завиткам их спазм, приправляя слащавую томность блондинки резкими и живыми тонами убранства, смягчая острый вкус брюнетки — обивками приторных, водянистых, почти безвкусных тонов.

Раньше в парижской квартире у Дез Эссента была такая комната, с большой белой лакированной кроватью, которая, сверх того, была возбуждающим пряным напитком для старого сладострастника, который издевается над притворной непорочностью, перед лицемерной стыдливостью молодых грёзовских девушек, перед искусственным целомудрием грязной постели, когда в ней ощущает ребенка или молодую девушку.

В другом случае — теперь, когда он хотел порвать с раздражающими воспоминаниями своей прошлой жизни, и этот способ был единственно возможным; нужно было отделать комнату, как монастырскую келью; но тут являлись

затруднения, так как ему претила суровая некрасивость убежищ покаяния и молитвы.

Рассмотрев вопрос со всех сторон, он решил, что желаемая цель могла быть достигнута следующим образом: отделать веселыми предметами печальную комнату, или, скорее, сохраняя вполне характер некрасивости, сообщить ансамблю комнаты, трактуемой таким образом, изящество и ценность, перевернуть театральную оптику, где дешевая мишура кажется роскошными и дорогими тканями, — и получить совершенно противоположный эффект: пользуясь великолепными материями, дать впечатление тряпья, словом, устроить хижину картезианца, которая имела бы вид настоящей, не будучи, разумеется, таковой на самом деле. Он поступил таким образом: чтобы подражать стенной окраске охрой, административному и клерикальному желтому цвету, он велел обить свои стены шафранным шелком; чтобы передать панель шоколадного цвета, обычного в таких комнатах, он обшил стены деревянными полосами темно-лилового цвета амаранта. Впечатление было пленительно, и он мог вызывать в памяти, особенно издали, скучную суровость модели, которой он следовал, преобразовывая ее; потолок был затянут белым шелком-сырцом, симулирующим штукатурку, только без резкого блеска; что же касается холодной настилки пола кельи, он удачно достиг подражания ей благодаря ковру с рисунком из красных плиток и беловатых мест на шерсти, дающих иллюзию ветхости, мест, протертых туфлями и сапогами.

Он поставил в этой комнате железную кровать, поддельную кровать монаха, сделанную из старинного, кованого и полированного железа, возвышающуюся в изголовье и ногах ветвистыми орнаментами, распускающимися тюльпанами, обвитыми виноградными ветвями, переходящими в перила великолепной лестницы старинного замка. Вместо ночного столика стоял старинный аналой, на котором лежал молитвенник. Напротив у стены стояла скамья

с ажурным балдахином, украшенным рыцарскими кинжалами, вырезанными из цельного дерева; в церковных светильниках были вставлены настоящие восковые свечи; он покупал их в специальном магазине, предназначенном для потребностей богослужения, так как чувствовал искреннее отвращение к керосину, сланцу, газу, стеариновым свечам, ко всему новейшему освещению, такому яркому и такому грубому.

Утром, лежа еще в постели, прежде чем заснуть, Дез Эссент смотрел на своего Эль Греко, ужасные краски которого слегка отталкивали улыбку желтой материи и вызывали в ней более суровый тон, и тогда он легко представлял себе, что живет в ста милях от Парижа, вдали от света, в глубине монастыря.

Словом, иллюзия была нетрудна, потому что он и вел жизнь, почти аналогичную жизни монаха. Но у него были преимущества в заключении, и он избегнул всех неудобств, как, например, солдатской дисциплины, отсутствия забот, грязи, сообщества с людьми и монотонной праздности.

Он устроил из своей кельи уютную и теплую комнату и сделал свою жизнь нормальной, спокойной, окруженной благосостоянием, занятой и свободной.

Как отшельник, он уже созрел для одиночества, утомленный жизнью, ничего уже не ожидающий от нее; и, как монах, он был подавлен безграничной усталостью, нуждался в сосредоточенности, не желал иметь ничего общего со светскими людьми, бывшими для него утилитаристами и глупцами. Короче, хотя он и не испытывал никакой склонности к состоянию благодати, но чувствовал действительную симпатию к этим людям, заточенным в монастырях, преследуемым ненавистным обществом, которое не прощает им ни их справедливого презрения к нему, ни их желания искупить долгим молчанием все возрастающее бесстыдство его нелепых и пустых разговоров.



Погрузившись в широкое кресло с ушками, пристроив ноги, обутые в туфли, на позолоченные выпуклости каминной решетки, согреваемые поленьями, которые трещали и бросали горячее пламя, как бы подгоняемые бешеным дыханием трубы, Дез Эссент положил на стол старое инквартро, которое он читал, вытянулся, закурил папиросу и погрузился в приятные грезы, устремясь вслед воспоминаниям, изгладившимся уже несколько месяцев из головы и внезапно вызванным одним именем, которое, впрочем, пробудилось в его памяти без всякой причины.

Он увидел опять с положительной ясностью затруднительное положение своего товарища д'Эгюранда, когда в обществе убежденных холостяков он должен был признаться в последних приготовлениях к женитьбе. Подняли крик, описали ему все омерзение сна на одном белье — ничто не помогало; потеряв голову, он верил в ум своей будущей жены и надеялся найти в ней исключительные качества преданности и нежности.

Среди этой молодежи только один Дез Эссент поощрял его намерение, когда узнал, что его невеста желала поселиться на углу нового бульвара, в одной из этих новых квартир, выстроенных в виде ротонды.

Убежденный в безжалостном могуществе мелочных бед, более губительных для закаленных характеров, чем большие несчастья, и основываясь на том факте, что у д'Эгюранда не было никакого состояния и за его женой не было приданого, — в этом простом желании Дез Эссент увидел бесконечную перспективу нелепых, но губительных неприятностей.

Действительно, д'Эгюранд купил мебель, сделанную полукругом, консоли, срезанные сзади, образующие круг, карнизы аркой, ковры, выкроенные полумесяцем, и всю обстановку сделал на заказ. На это он истратил вдвое больше, а потом, когда его жена, не имея денег на свои туалеты, не

хотела больше жить в этой ротонде и когда они заняли четырехугольную квартиру, подешевле, никакая мебель не подходила и не устанавливалась. Мало-помалу эта громоздкая мебель сделалась источником нескончаемых неприятностей; согласие и мир, треснувшие от совместной жизни, истощались с каждой неделей; супруги раздражались, упрекая друг друга в том, что невозможно жить в этом салоне, где диваны и консоли не прислонялись к стенам и, несмотря ни на какие подпорки, шатались, как только к ним прикоснешься. Не было средств для их переделки, впрочем почти и невозможной. Все стало предметом неудовольствий и ссор, все, начиная с ящиков, которые совсем не задвигались, и до воровства горничной, пользовавшейся ссорами для того, чтобы обкрадывать хозяев; словом, жизнь для них стала невыносимой; он развлекался вне дома, она искала забвения своей несчастной и плоской жизни в адюльтере. По взаимному согласию они добились развода.

— Мой план битвы был верен, — сказал себе Дез Эссент, испытывая удовлетворение стратега, заранее предусмотренные маневры которого удались.

И думая теперь у своего камина о разбитой семье, которой он своими советами помог сочетаться, он подбросил новую охапку дров в камин и опять унесся в свои думы.

Теперь толпились в голове другие воспоминания, принадлежащие к тому же разряду мыслей.

Несколько лет тому назад он встретился вечером на улице Риволи с мальчиком лет шестнадцати, бледным и лукавым ребенком, соблазнительным как девочка. Он с трудом сосал папироску, бумага которой прорывалась от крупного табаку. Ругаясь, он зажигал об колено кухонные спички, которые совсем не загорались; он извел их все. Заметив в это время Дез Эссента, смотревшего на него, он приблизился, приложил руку к козырьку своей фуражки и вежливо попросил у него огня. Дез Эссент предложил ему ароматную папиросу Дюбека, затем начал разговор и побудил ребенка рассказать свою историю.

Она была из самых обыкновенных; звали его Огюстом Ланглуа, работал он у картонщика, потерял мать и имел отца, который нещадно его бил.

Дез Эссент задумчиво слушал его.

— Пойдем выпьем, — сказал он и повел его в кафе, где велел подать ему крепкого пунша. Ребенок пил, не говоря ни слова. — Слушай, — вдруг сказал Дез Эссент, — хочешь повеселиться сегодня вечером? Я за тебя заплачу. — И он повел мальчика к мадам Лауре, даме, у которой был большой выбор прелестниц на улице Монье, в третьем этаже, в целом ряду красных комнат, украшенных круглыми зеркалами, обставленных диванами и вазами.

Здесь Огюст, очень изумленный, смотрел, теребя свою фуражку на батальон женщин, накрашенные уста которых все вместе произнесли:

— А! мальчик! Он очень мил!

— Но скажи, мой мальчик, ты еще несовершеннолетний, — прибавила большая брюнетка с большими глазами на выкате, с вытянутым носом, исполнявшая у мадам Лауры неизбежную роль прекрасной еврейки.

Дез Эссент, чувствуя себя как дома, тихо болтал с хозяйкой.

— Не бойся, глупенький, — сказал он, обращаясь к ребенку. — Пойдем, выбери, я заплачу.

И он слегка толкнул мальчика, который упал на диван между двух женщин. Они прижались немного, по знаку мадам, окутывая колени Огюста своими пеньюарами, подставляя ему под нос свои плечи, напудренные одуряющим и тепловатым инеем, и он уже не двигался; с раскрасневшимися щеками, с сухими губами, смущаясь, искоса он разглядывал их прелести. Ванда, прекрасная еврейка, обняла его, давала добрые советы, приказывала ему слушаться своих родителей, но в то же время ее руки медленно блуждали по ребенку, изменившееся лицо которого закинулось и замерло на ее шее.

— Значит, ты не для себя пришел сегодня, — сказала Дез Эссенту мадам Лаура. — Но где, черт возьми, взял

ты этого мальчишку? — прибавила она, когда Огюст исчез, уведенный прекрасной еврейкой.

— На улице, моя милая.

— Ведь ты не пьян, — пробормотала старая дама. Затем, подумав, прибавила с материнской улыбкой: — Понимаю, скажи-ка, дерзкий, тебе ведь они нужны, молодые-то!

Дез Эссент пожал плечами.

— Не то, о! совсем не то, — сказал он, — просто я стараюсь приготовить убийцу. Следи хорошенько за моим рассуждением. Этот мальчик — девственник, но уже в таком возрасте, когда кровь кипит; он мог бы бегать за девочками своего квартала, быть честным, даже предаваясь веселью, иметь, в конце концов, свою маленькую частицу монотонного счастья, отпущенного беднякам. Напротив, приведя его сюда, в обстановку роскоши, о которой он даже не подозревал и которая поневоле запечатлится в его памяти, если я буду предоставлять ему такой клад через каждые две недели, он привыкнет к этим наслаждениям, которых его средства не позволяют ему. Допустим, что понадобится месяца три, чтобы они стали для него совершенно необходимы, и распределяя их таким образом, как я это делаю, я не рискую пресытить его. Итак, в конце третьего месяца я отменяю маленький доход, который я дам тебе вперед для этого доброго дела, и тогда он совершит кражу, лишь бы быть здесь. Он сделает сто девятнадцать глупостей для того, чтобы валяться на этом диване, под этим газом.

Идя дальше, он, надеюсь, убьет попавшегося под руку господина в то время, когда будет пытаться взламывать его бюро. В моих средствах создать одним негодяем, одним врагом этого гнусного, обирающего нас общества, больше.

Женщины широко раскрыли глаза.

— Ты здесь? — сказал Дез Эссент, увидя Огюста, который входил в гостиную, красный и сконфуженный, прячась за прекрасную еврейку. — Пойдем, шалун, уже поздно, прощайся с дамами.

И на лестнице он объяснил ему, что он каждые две недели может отправляться к мадам Лауре, не открывая кошелька. Затем уже на улице, на тротуаре, глядя на изумленного ребенка, сказал:

— Мы больше не увидимся. Возвращайся как можно скорее к твоему отцу, у которого уже рука чешется без дела, и помни эти своего рода евангельские слова: делай другим то, чего ты не хочешь, чтобы они делали тебе; с этим правилом ты далеко пойдешь. Покойной ночи. Главное, не будь неблагодарным, дай мне как можно скорее о себе весть через судебные отчеты.

— Маленький Иуда, — пробормотал теперь Дез Эссент, мешая угли; — ведь я никогда не встречал его имени в отделе разных известий. Правда, мне было невозможно действовать очень осторожно, я мог только предвидеть, но не мог уничтожить некоторый риск, как, например, хитрость мадам Лауры, способной забирать деньги без обмена на товар, или слабость одной из этих женщин к Огюсту, который, может, к концу своих трех месяцев покорила ее, или даже протухшие пороки прекрасной еврейки, которые могли испугать этого мальчишку, слишком нетерпеливого и слишком молодого для того, чтобы отдаваться медленным вступлениям и поражающим окончаниям этого искусства. Если только у него не было столкновений с правосудием с тех пор, как я в Фонтенэй и не читаю газет, — я обманут.

Он встал и прошелся несколько раз по комнате.

— Все-таки жаль, — сказал он, — потому что, поступая таким образом, я осуществил бы параболу мира, аллегория всемирного прозрения, заключающуюся в том, чтобы всех людей превратить в Ланглуа. Вместо того чтобы решительно из сострадания выколоть беднякам глаза, умудряются насильно широко их открыть им, чтобы они видели вокруг себя более счастливую участь людей, ничем ими не заслуженную, более тонкие и острые радости, а следовательно, более желанные и дорогие.

Дело в том, — продолжал Дез Эссент свои рассуждения, что раз горе есть результат образования, так как оно растет по мере того, как рождаются мысли, то чем больше постараются развить ум и утончить нервную систему бедняков, тем больше откроется в них чрезвычайно живучих зародышей нравственного страдания и злобы.

Лампы гасли, он поправил их и посмотрел на часы. Три часа утра. Он закурил папиросу и погрузился в прерванное думами чтение старой латинской поэмы «*De laude castitatis*<sup>1</sup>», написанной во времена царствования Гондальба Авитусом, архиепископом Вьеннским.

## VII

С этой ночи, когда без всякой очевидной причины Дез Эссент вызвал в себе меланхолическое воспоминание об Огюсте Лангуа и пережил всю свою жизнь, он не мог понять ни одного слова в просматриваемых книгах, и даже глаза его не читали; ему показалось, что его ум, насыщенный литературой и искусством, отказывается их больше воспринимать. Он жил собой, питаясь своим собственным существом, подобно впавшим в спячку животным, которые прячутся на зиму в норе. Одиночество подействовало на его мозг как наркотическое средство. Оно сначала приподняло и возбуждало его, а затем принесло оцепенение, волнуемое иногда смутными грезами; оно уничтожало его намерения, разбивало желания, навевало вереницу видений, которым он пассивно отдавался, даже не пытаясь освободиться от них.

Беспорядочность чтения и художественных созерцаний, накопленных им со времени своего уединения в виде плотины, останавливающей течение прежних воспоминаний, была внезапно снесена, и поток пришел в движение, опро-

---

<sup>1</sup> Похвала добродетели (лат.).

кидывая настоящее и будущее, затопляя все под различным прошлым, занимая ум бесконечным пространством грусти, на котором, подобно смешным обломкам, плавали неинтересные эпизоды и бессмысленные пустяки его жизни.

Книга, которую он держал в руках, упала на колени; он отдавался витающим перед ним годам своей прошедшей жизни, глядя на них с отвращением и тревогой; теперь они вращались и струились вокруг воспоминаний о мадам Лауре и Огюсте, как вокруг вбитой в эти движения крепкой сваи. Какая это эпоха! Это было время вечеров в свете, скачек, игры в карты, любви, заранее заказанной и поданной в самую полночь, в его розовый будуар. Он припоминал лица, выражения, взгляды, ничего не означающие слова, осаждавшие его с цепкостью пошлой песенки, от которой невозможно отвязаться и которую вдруг забываешь, как и не было.

Этот период недолго продолжался; другая фаза следовала почти тотчас же за первой — фаза воспоминаний о детстве, особенно о годах, протекших у отцов иезуитов.

Эти воспоминания были отдаленнее и вернее, будучи запечатлены в более резкой и твердой форме: густой парк, длинные аллеи, клумбы цветника, скамейки, все вещественные подробности встали в его комнате.

Потом сады наполнились, он услышал крики учеников, смех учителей, вмешавшихся в их рекреационное время и играющих в мяч с подобранными сутанами, зажатыми между колен, или болтающих под деревьями с молодежью без всякой позы, без спеси, как товарищи одних лет.

Он вспомнил это отеческое попечение, которое едва мирилось с наказаниями и воздерживалось от того, чтобы задавать в виде наказания 500 и 1000 стихов, довольствовалося «исправлением» провинившихся, в то время когда другие веселились; еще чаще это попечение прибегало к простому выговору, окружало ребенка деятельным, но нежным надзором, стараясь быть ему приятным, соглашаясь по средам на прогулки туда, куда им хотелось,

пользуясь всеми маленькими праздниками, не признаваемыми церковью для того, чтобы к обычному обеду прибавить пироги и вино, чтобы угостить их прогулкой; отеческое попечение состояло в том, чтобы не превратить воспитанника в животное, чтобы спорить с ним, обращаться с ним как со взрослым человеком, в то же время всецело предоставляя ему баловство изнеженного мальчика.

Этим они достигали влияния на ребенка, возможности образовать в известной мере такие умы, которые они культивировали, двигать их в известном направлении, прививать им специальные идеи, укреплять рост их мыслей путем вкрадчивой и лукавой системы, которую они продолжали и в жизни, стараясь следить за ними и поддерживать их в карьере, обращая к ним с такими сердечными посланиями, какие доминиканец Лакордер умел писать своим прежним ученикам.

Дез Эссент знал по себе, что вынесенная им операция казалась ему безрезультатной; его характер, не поддающийся советам, обидчивый и склонный к ссорам, помешал тому, чтобы он оказался вылепленным по их образцу, поработанным их уроками; по выходе из коллегии скептицизм его возрос; его пребывание в мире легитимистов, нетерпимых и ограниченных, его разговоры с неинтеллигентными церковными старостами, с аббатами, невежество которых срывало покров, сотканный иезуитами с таким искусством, еще больше укрепили в Дез Эссенте дух независимости и усилили его недоверие к какой бы то ни было вере.

Вообще он думал о себе, что избавился от всяких уз и от всякого принуждения; он просто сохранил вопреки всем людям, воспитанным в лицеях или же в светских пансионах, превосходное воспоминание о своей коллегии и о своих учителях; и вот он спрашивал себя, не начали ли теперь всходить те семена, которые до этого дня казались ему упавшими на бесплодную почву.

Действительно, уже несколько дней он находился в неопишемом состоянии души, то он верил, инстинктивно шел



к религии, но затем при малейшем размышлении плеснул его к религии пропадало; однако, несмотря на все это, он был полон тревоги.

Он все-таки хорошо видел, заглядывая в себя, что у него никогда не будет истинно христианского духа смирения и раскаяния. Он знал и нисколько не сомневался в том, что та минута, о которой говорит Лакордер, та минута благодати, «когда последний луч света проникает в душу и опять приводит к общему центру рассеянные там истины», для него никогда не придет. Он не чувствовал этой потребности в скорби и молитве, без которой, если послушать большую часть священников, никакое обращение невозможно; он не испытывал никакого желания молить Бога, милосердие которого казалось ему маловероятным; а между тем симпатии, сохраненные им к своим прежним учителям, заставляли его интересоваться их трудами и учением. Эти убеждения и доказательства, эти пылкие голоса людей высокого ума опять вставали перед ним и приводили его к сомнениям в собственном уме и силах. Среди этого одиночества, в котором он жил, без новой пищи, без свежих впечатлений, без обновления мыслей, без обмена ощущений, приходящих извне от общения с миром и от жизни в обществе, в этом упорном лишении природы, все вопросы, забытые за время его пребывания в Париже, вставали опять перед ним как раздражающие проблемы.

Чтение любимых им латинских произведений, почти исключительно написанных епископами и монахами, несомненно способствовало этому кризису. Окутанный монастырской атмосферой, опьянявшим его запахом ладана, с возбужденными нервами, он по ассоциации идей, вызванных этими книгами, вспомнил о своей жизни молодым человеком, о своей молодости у отцов-иезуитов.

«Нечего сказать, — думал Дез Эссент, пытаясь образумить себя и следить за ходом этого вторжения иезуитского элемента в Фонтенэй. — У меня с детства есть эта закваска, которая еще не перебродила, и я этого даже не

знал; быть может, даже моя всегдашняя склонность к религиозным предметам есть доказательство этого», — думал он.

Но он старался убедить себя в противном, недовольный тем, что больше не властен над собою. Он нашел себе объяснение: он невольно должен обратиться к духовенству, так как одна только церковь сохранила искусство, сохранила утерянную форму веков; она сделала неизменными, даже в дешевом, новейшем воспроизведении, очертания золотых и серебряных сосудов, сохранила красоту высоких, как петунии, чаш, дароносиц с правильными боками; даже в алюминии, в поддельной эмали, в окрашенных стаканах сберегла изящество отделки прежних времен. Вообще большая часть драгоценностей, хранимых в музее Кюни и чудом спасенных от презренной дикости санкюлотов, происходит из древних аббатств Франции. Так же, как в Средние века, церковь предохранила от варварства философию, историю и науки, она спасла пластическое искусство и сберегла до наших дней эти дивные образцы тканей, драгоценные ювелирные изделия, которые изготовители священных вещей портят насколько могут, не будучи в состоянии, однако, совершенно исказить великолепную основную их форму. Поэтому не было ничего удивительного в том, что Дез Эссент отыскивал эти древние безделушки, что в числе других коллекционеров он приобретал эти реликвии у парижских антиквариев и у деревенских торговцев подержанными вещами. Но, хотя он и ссылался на все эти доводы, вполне убедить себя ему не удавалось. Конечно, если резюмировать все, он упорно смотрел на религию как на прекрасную легенду, как на упоительный обман, и, между тем, вопреки всем объяснениям, скептицизм его начинал колебаться.

Очевидно, что этот странный факт существовал: теперь он был менее верующим, чем в детстве, когда попечение иезуитов было непосредственно, когда их наставления неминуемы, когда он был в их руках, принадлежа

им душой и телом, без семейных связей, без каких-либо влияний, которые могли бы им извне противодействовать. Они также внушили ему известную любовь к прекрасному, медленно и смутно разраставшуюся в его душе, любовь, распутившуюся теперь в уединении и оказывающую свое действие на молчаливый, замкнутый ум, блуждающий в ограниченном своих навязчивых идей. Изучая работу своей мысли, стараясь отыскать в ней связующие нити, открыть источники их и причины, Дез Эссент пришел к убеждению, что образ его действий, за время светской жизни, вытекал из полученного им образования. Например, стремления к искусственности, потребность его в эксцентричности, не были ли, в конце концов, они результатом уроков отрешенных от земли утонченностей — теологических умозрений. В сущности, это были порывы, стремления к идеалу, к неведомому миру, к далекому блаженству, желанному, как блаженство, обещанное нам Священным писанием.

Дез Эссент вдруг остановился и оборвал нить рассуждений. «Ну, — сказал он себе с досадой, — я ушел еще дальше, чем я думал; я убеждаю сам себя, как казуист». Взволнованный глухим страхом, он задумался; конечно, если теория Лакордера верна, магический толчок обращения вовсе не происходит внезапно: чтобы произвести взрыв, необходимо долго и постоянно минировать почву. Но если романисты говорят о взрыве любви, то некоторые богословы также говорят о взрыве веры; если предположить, что это правило истинно, никто не может быть уверен в том, что устоит против него. Не было бы больше ни самоанализа, ни предчувствий, не нужно было бы в них разбираться, их искать в определенных границах; психологии мистицизма не оказалось бы вовсе. Это было бы так, потому что так вот, и все.

«Э! я становлюсь глуп, — сказал себе Дез Эссент, — если это будет так продолжаться, то боязнь этой болезни разрешится появлением самой болезни».

Он постарался немного встряхнуться. Его воспоминания утихли, но появились другие болезненные симптомы: теперь его осаждали только предметы прежних споров. Парк, уроки, иезуиты были далеко, — он весь был во власти отвлеченностей; он, помимо своего желания, думал о противоречивых интерпретациях догматов, о забытых вероотступничествах, занесенных в сочинение о Соборах отца Лабба. Вспомнились ему разные речения расколов, остатки ересей, разделявших в течение веков Западную и Восточную церковь. Здесь Несторий, оспаривающий у Пресвятой Девы титул Богородицы, потому что в таинстве Воплощения она носила в своем чреве не Бога, а человеческое создание; там Евтихий, объявляющий, что образ Христа не может быть похож на изображение других людей, потому что в его теле Бог избрал местопребывание, и следовательно, совершенно изменил его форму. Там еще вздорные спорщики утверждали, что у Искупителя совсем не было тела, что это выражение священных книг должно пониматься иносказательно, тогда как Тертуллиан высказывал свою известную аксиому квазиматериалистическую: «Ничто так не бесплотно, как то, чего не существует, все, что существует, имеет плоть, свойственную ему». Наконец, старый вопрос, дебатиремый в продолжение долгих лет, — вопрос о том, один ли Христос был распят на кресте, или и Троица, одна в трех лицах, страдала в тройной ипостаси на голгофской виселице, — мучил и давил Дез Эссента, и он машинально, как некогда выученный урок, ставил самому себе вопросы и давал себе на них ответы.

В продолжение нескольких дней в его мозгу кишели парадоксы, тонкие соображения, неуловимый свиток правил, самых казуистических и странных, таких же сложных, как статьи в своде законов — перенесенные в небесную юриспруденцию — дающие повод ко всяким мнениям и ко всякой игре слов. Затем абстрактная сторона воспоминаний исчезла, и ее сменила пластическая сторона. Это

произошло под влиянием висящих на стенах произведений Гюстава Моро.

Он увидел проходящую перед ним процессию прелатов: архимандритов, патриархов, поднимающих для благословения коленапрклоненной толпы золотые светильники, с развевающимися во время чтения и молитв белыми бородами; видел молчаливые ряды кающихся, сходящих в темные подземные пещеры, видел возвышающиеся громадные соборы, где ораторствовали белые монахи на кафедре. Как после приема опиума де Квинси, одно только слово из «*Consul Romanus*» вызывало целые страницы из Тита Ливия; он видел торжественное шествие консулов, пышное движение римских войск. На каком-нибудь богословском выражении он останавливался и, задыхаясь, созерцал народные волны, появления епископов, выделяющихся на воспламененном фоне базилик. Эти зрелища, проходя из века в век и доходя до новейших религиозных обрядов, очаровывали его, укачивая в волнах бесконечной, жалобной и нежной музыки.

Ему не нужно уже было рассуждать и поддерживать прения; это было непонятное впечатление благоговения и страха; художественное чувство было поработчено этими видениями. Эти сцены были так хорошо обдуманы католиками, что они покоряли художественное чувство; при этих воспоминаниях нервы Дез Эссента содрогались, потом, вследствие внезапного возмущения, в нем рождались чудовищные мысли, мысли о святотатствах, предусмотренных руководством священников, о бесчестных и непристойных злоупотреблениях святой водой и елеем. Против всемогущего Бога поднимался в это время соперник, полный силы, Дьявол, и ужасное величие, казалось ему, должно было произойти из преступления, совершенного посреди церкви человеком верующим, но остервенившимся и в порыве безумного восторга и совершенно садической радости богохульствующего, осыпающего оскорблениями и покрывающего бесчестием чтимые

вещи. Поднимались безумства магии, черной мессы, шабаша, ужасы беснований и наваждений; он стал спрашивать себя, не совершил ли он святотатства тем, что некогда обладал освященными предметами, церковными канонами, церковными облачениями и алтарными завесами. И эта мысль о греховности принесла ему некоторую гордость и утешение; он отделял истинные святотатства от своих святотатств, спорных или во всяком случае маловажных, потому что он, в конце концов, любил эти предметы и не осквернял их употреблением; он убаюкивал себя таким образом осторожными и трусливыми мыслями; подозрения его души удерживали от явных преступлений, отнимая у него храбрость, необходимую для совершения страшных, желаемых, реальных грехов. Мало-помалу наконец эти тонкие хитросплетения рассеялись. Он увидел, как бы с высоты своего ума, панораму церкви, ее наследственное влияние на человечество в течение многих веков; он представил ее себе опустошенной и величественной, возмущающей человеку ужас жизни, непреклонность судьбы, проповедующей терпение, раскаяние, стремление к самопожертвованию; старающейся перевязать раны, показывая на сочащиеся кровью раны Христа; подтверждающей божественные преимущества, обещая страждущим лучшую участь в раю; увещающей человека страдать, представлять Богу, как жертву, свои скорби и обиды, свои превратности и муки. Церковь стала действительно красноречивой матерью бедняков, жалостливой для угнетенных, грозной для притеснителей и деспотов.

Здесь Дез Эссент остановился. Конечно, он удовлетворился этим признанием социальной грязи, но тогда он протестовал против неопределенных средств надежды на другую жизнь. Шопенгауэр был более точен; его доктрины и доктрина церкви исходили из общей точки зрения. Он также основывался на несправедливости и гнусности мира, и в «Подражании Иисусу Христу» он также бросал этот мучительный вопль: «Правда, это несчастье — жить

на земле». Он также проповедовал отрицание жизни и преимущество уединения; он видел, что человечество, каково бы оно ни было, в какую бы сторону оно ни повернулось — несчастно: бедный — от страданий, рождающихся от лишений, богатый — от скуки, происходящей от избытка. Но он не проповедовал никакой панацеи, не убаюкивал никакой приманкой, для того чтобы помочь вам в неизбежных бедствиях. Он не поддерживал перед вами возмутительную систему первородного греха, совсем не пытался доказывать, что этот Бог неограниченно добр, защищает негодяев, помогает дуракам, губит детство, делает глупой старость, карает невиновных; не восхвалял благодеяния Провидения, которое изобрело бесполезную, непонятную, несправедливую, нелепую мерзость — физическое страдание; будучи далек от попытки оправдать, как это делает церковь, необходимость мучений и испытаний, он воскликнул в своем возмущенном милосердии: «Если Бог создал этот мир, я не хотел бы быть Богом; несчастье мира терзало бы мне сердце». Ах, он один познал истину! Чем были все евангелические фармакопеи рядом с его трактатом о духовной гигиене! Он ничего не намеревался излечивать, не предлагал больным никакой награды, никакой надежды, но его теория пессимизма была, в конце концов, великой утешительницей для избранных умов и возвышенных душ. Она показывала общество как оно есть, настаивала на глупости женщин, указывала вам на избитые дороги, спасала вас от разочарований, предостерегая от того, чтобы по возможности сократить ваши упования, не питать их совершенно, если есть у вас на это сила, и, наконец, считать себя счастливым, если неожиданно не свалится вам на голову грязная черепица. Исходя из этой же точки зрения, из какой исходит «Подражание», эта теория приводит в то же место, к покорности и к непротивлению, не блуждая по невероятным дорогам и таинственным лабиринтам.

Если эта покорность, исходящая просто из признания несчастно сложившихся обстоятельств и из невозможности

их изменить, была доступна богатым духом, то она была труднее понимаема нищими духом, требования и гнев которых благодетельная религия легче тогда успокаивала.

Эти размышления избавили Дез Эссента от большей тяжести, афоризмы великого немца успокоили дрожь его мыслей, между тем как точки соприкосновения двух доктрин помогли ему вспомнить, и он уже не мог его забыть, католицизм, такой поэтический, такой острый католицизм, в который он окунулся с головой и из которого он некогда впитал его эссенцию всеми своими порами. Эти возвраты веры, эти религиозные идеи беспокоили его особенно в то время, когда происходили ухудшения в его здоровье; они совпадали с недавно появившимися нервными болями.

С ранней молодости Дез Эссента мучили непонятные ощущения; дрожь пробегала у него по спине и сжимались зубы, когда он видел, например, мокрое белье, которое прислуга выжимала; эти впечатления были неотвязчивы. Еще и теперь он положительно страдал, когда слышал, как рвут материю, трут пальцем по куску мела, ощупывают рукой кусок муара.

Излишества его холостой жизни, преувеличенное напряжение мозга еще больше отягчили природную нервность и ослабили уже истощенную кровь его рода. В Париже он должен был лечиться водой от дрожания пальцев и от страшных невралгических болей, раздиравших лицо, стучавших продолжительными ударами в виски, стрелявших в веки и вызывавших тошноту; с ними он мог бороться лишь в темноте и притом вытягиваясь на спине.

Припадки постепенно исчезли, благодаря более правильной и спокойной жизни. Теперь они опять появились, меняя форму, блуждая по всему телу. Боли оставили голову, ушли в раздувшийся живот, в кишки, пронизываемые, как раскаленным железом, в бесполезные и сильные напряжения; потом нервный кашель, мучительный, сухой, начинающийся ровно в известный час и продолжающийся всегда одинаковое количество минут, будил его в постели



и душил; наконец, пропал аппетит, газообразная изжога пробегала в желудке; он распухал, задыхался после попытки поесть, не переносил застегнутых брюк, узкого жилета.

Он лишил себя алкоголя, кофе, чая, пил молоко, прибег к обливаниям холодной водой, пичкался вонючей асафетидой, валериановыми каплями и хинином; он даже выходил из своего дома и прогуливался немного по деревне, когда настали дождливые дни, делающие деревню молчаливой и пустой. Он принуждал себя ходить, делать моцион, наконец он отказался на время от чтения и, съедаемый скукой, для того, чтобы занять свою ставшую праздной жизнь, он решил привести в исполнение один проект, который, с тех пор как поселился в Фонтенэй, беспрестанно откладывал из лени и из отвращения к беспокойству. Не будучи больше в состоянии упиваться очарованием стилей, приходив в волнение от восхитительного волшебства дивных эпитетов, которые, оставаясь постоянно определенными, открывают воображению посвященных бесконечные дали, он решил довершить отделку квартиры, достать изысканных оранжерейных растений и доставить себе таким образом физическое занятие, которое бы его развлекало, дало покой его нервам и успокоило его мозг; он надеялся также, что вид их необыкновенных и великолепных оттенков заменит ему несколько химерические и реальные краски стилей, которых его литературная диета заставляла на некоторое время лишиться и забыть.

## VIII

Он всегда безумно любил цветы, но эта страсть, которая в первое время его пребывания в Жюитиньи распространялась на цветы без различия их рода и вида, с течением времени стала разборчивей и сосредоточилась только на одной группе.

Он уже давно презирал вульгарные растения, распускающиеся на лотках парижских площадей в мокрых горшках, под зелеными палатками или под красноватыми зонтиками.

В то же самое время, когда его литературные вкусы и занятия искусством сделались утонченнее, тяготея только к избранным произведениям, дистиллированным изысканными и острыми умами, когда у него появилось утомление от общераспространенных идей, любовь Дез Эссента к цветам освободилась от мутных осадков и, так сказать, очистилась.

Он любил сравнивать магазин садоводства с микрокосмом, в котором представлены все категории общества: бедняки и чернь — цветы маленьких конурок, чувствующие себя на своем месте, только когда они покоятся на балкончиках мансард; коренья, посаженные в ящиках для молока и в старых мисках, как, например, левкой; жеманные, приличные, глупые цветы, которым место только в фарфоровых горшках, разрисованных молодыми девицами, например, розы; наконец, цветы высокой породы, как нежные, прелестные, трепещущие и зябкие орхидеи, экзотические цветы, сосланные в Париж, в тепло, в стеклянные дворцы, принцессы растительного царства, живущие в стороне от всех, не имеющие уже ничего общего с уличными растениями и буржуазной флорой.

В конце концов, он чувствовал еще некоторый интерес и некоторую жалость только к простонародным цветам, истощенным в бедных квартирах от дыхания сточных желобов и помойных труб; зато он гнушался букетов, которые так идут к кремовым и золотым салонам новых домов. Для полного наслаждения глаз он оставил исключительные, редкие растения, привезенные издалека, сохраняемые путем хитрых забот, под искусственными экваторами, достигаемыми посредством определенного тепла печей. Но этот решительный выбор, который остановился на тепличных цветах, сам собой изменился под влиянием его общих идей

и мнений, ставших теперь особенно прочными и укоренившимися. Раньше, в Париже, свойственная ему склонность к искусственности привела его к тому, что он оставил настоящий цветок ради его изображения, в точности исполненного благодаря чудесам каучука и проволоки, перкаля и тафты, бумаги и бархата.

Таким образом, у него образовалась восхитительная коллекция тропических растений, сработанных руками великих мастеров, умеющих следовать за природой шаг за шагом, воссоздавать ее, взять цветок с его рождения, довести его до зрелости и подделать его увядание, отметить бесчисленные оттенки и самые беглые черты его пробуждения и сна, сохранить посадку его лепестков, закрученных ветром или смятых дождем, бросить на их утренние венчики капли росы из камеди, создать его в полном расцвете в то время, когда ветви сгибаются под тяжестью сока или вытягивают свой сухой стебель, свои засохшие плюски, когда чашечки опадают и падают листья.

Это удивительное искусство долго пленяло Дез Эссента; но теперь он мечтал о другой флоре.

После искусственных цветов, подражающих настоящим, он хотел натуральных цветов, похожих на поддельные.

Задумавшись в этом направлении, ему не нужно было долго искать и далеко ходить, так как его дом был расположен как раз в местности крупных садов. Он просто отправился посетить оранжереи на улице Шатийон и в Онэйской долине, и вернулся утомленный, с пустым кошельком, но в восхищении от виденных безумий растительности, думая только о приобретенных им сортах, охваченный неотвязными воспоминаниями о великолепных и причудливых корзинах.

Через два дня прибыл заказ. Со списком в руках Дез Эссент проверял одну за другой свои покупки. Садовники сняли со своих тележек коллекцию каладиумов, огромных

листьев в форме сердца, опиравшихся на вздутые и мохнатые стебли; сохраняя между собой сходство родства, ни один цветок не повторялся. Среди них были необыкновенные цветы; розоватые, как девственник, казавшиеся выкросшими из покрытого лаком полотна намазанной камедью английской тафты; совсем белые, как Альбан — белоснежный, казавшийся вырезанным из прозрачной подреберной пленки быка, из прозрачного мочевого пузыря свиньи; некоторые, особенно Мадам Мэм, имитировали цинк, казались пародией на куски штампованного металла, окрашенные в царский зеленый цвет, выпачканные каплями масляной краски, пятнами сурика и свинцовых белил. Одни, как Босфор, давали иллюзию накрахмаленного колленкора, подбитые ярко-малиновым и миртово-зеленым цветом; другие, как Аврора Бореаль раскидывали листья цвета сырого мяса, продавленные пурпуровыми ребрами, синевато-красными жилками, распухшие листья, сочащиеся багровым вином и кровью.

Альбан и Аврора представляли собой две крайности темперамента, апоплексию и малокровие этого растения.

Садовники выгружали все новые разновидности; одни производили впечатление искусственной кожи, изборожденной фальшивыми венами; а большая часть из них была как бы изъедена сифилисом и проказой, вытягивая синеватое мясо с узорчатыми лишаями; некоторые имели ярко-розовый цвет закрывающихся рубцов или темный оттенок образующихся струпьев; одни будто покрыты ожогами, у других еще обнаруживалась косматая кожа, изрытая язвами и пробитая шанкрами; наконец, некоторые казались обтянутыми повязками, промасленными черной ртутной и зеленой белладоновой мазью, как пылинками исколотые желтой слюдой йодоформовой пудры.

Когда их поставили вместе, эти цветы засверкали перед Дез Эссентом и показались более чудовищными, чем когда он увидел их среди других, в стеклянных залах теплиц, подобных анатомическим залам.

Черт возьми, сказал он в восхищении. Новое растение, экземпляр Алоказии Металлической, сходный с каладиумом — привел его в еще больший восторг. Это растение было покрыто зелено-бронзовым слоем, на котором скользили серебристые отливы; это был шедевр подделки, можно было бы сказать, что это кусок печной трубы, вырезанной искусным печником в форме копья. Люди выгрузили затем пучки косоугольных листьев бутылочно-зеленого цвета; в середине поднимался прут, в конце которого держал большой червонный туз, покрытый лаком, как индейский перец; как бы глумясь над всеми известными видами растений, из середины этого туза густого алого цвета показывался мясистый хвостик, пушистый, белый с желтым, прямой у одних и закрученный на самом верху туза, как у свиньи — у других. Это был антуриум — аронниковое растение, недавно привезенное во Францию из Колумбии; оно было из того же семейства, к которому принадлежал также аморфофаллос, кохинхинское растение, с листьями в виде лопаточки для рыбы, с длинными черными стеблями, покрытыми шрамами, похожими на поврежденные конечности негра.

Дез Эссент ликовал.

С повозок сняли новых монстров. Эхинопсис с отростками, подобными мерзко розовым кульям, выпирающим из раздутых ватных повязок. Нидуларии, раскрывшие глотки, окаймленные бритвенно-острыми краями. Тилландсии, вытягивающие колосовидные соцветия цвета винного сусла. Венерин башмачок, переплетший стебли так, что рябило в глазах. Цветы его напоминали и маленькое сабо, и анатомическое пособие для изучения болезней горла: слишком один из лепестков был похож на завернутый внутрь человеческий язык с туго натянутой жилкой. Пара крылышек багрово-красного цвета, будто украденных с детской мельницы, странно сочетались с губой цвета мокрой черепицы, сочащейся липким соком.

Он не мог оторвать глаз от этой невероятной орхидеи, вывезенной из Индии. Садовники, которым надоела его медлительность, начали сами громко называть ярлыки, приклеенные к приносимым ими горшкам.

Дез Эссент смотрел не отрываясь и внимал омерзительным названием: энцефалартус ошетиненный, исполинский артишок цвета ржавчины, какая бывает у замков, призванных защищать амбары от вторжения воров; кокосовая пальма, зубчатая и тонкая, окруженная со всех сторон высокими листьями, похожими на весла; замия, громадный ананас, головка честерского сыра, посаженная в землю, поросшую вереском, и покрытая на верхушке щетиной зубчатых дротиков и острых стрел; циботиум, превосходящий однородные с ним цветы нелепостью своей структуры, превзошедший мечту, поднимающий в лапчатой листве громадный хвост орангутанга, мохнатый и темный, искривленный в конце в виде епископского посоха.

Но он едва смотрел на них, с нетерпением ожидая серии растений, пленивших его больше всех остальных: это были злые духи, пожирающие тела погребенных — мясоядные растения. Антильские мухоловки, с бархатистыми отгибами, выделяющими пищеварительную жидкость, вооруженные кривыми иглами, примыкающими одна к другой и образующими таким образом решетку, в которую они ловят насекомых; дроцеру торфяную с железами, покрытыми волосками, саррацению и цефалотуса, чьи алчные ротки способны переварить настоящее мясо, наконец, кувшиночника-непетуса, чьи формы потрясают своей эксцентричной причудливостью. Дез Эссент поворачивал в руках горшок, не переставая удивляться причудам флоры. Листья различных оттенков зеленого цвета, словно отлитые из каучука, кончались тоненькими хрящиками, на которых покачивались мешочки, покрытые пурпурными крапинками, формой напоминавшие не то немецкую фарфоровую трубку, не то гнездо ткачика. Внутренняя их поверхность пушилась тонкими волосками.

— Да, этот всех переплюнул, — пробормотал Дез Эссент.

Он принужден был оторваться от своего удовольствия, потому что садовники, спешившие уйти, опорожнили до дна повозки и поставили как попало клубневидные бегонии и черные кротоны с листьями цвета свинца с красными крапинками.

Тогда он заметил, что в его списке осталось еще одно название: катлея, орхидея из Новой Гранады; ему указали на перистый колокольчик слинявшего, тускло лилового цвета; он подошел, понюхал, но сразу отошел; она испускала запах елочных игрушек, рождественской ели и напоминала ему новогодние ужасы. Он подумал, что следует избавиться от нее, пожалел, что допустил в компанию непахучих растений эту орхидею, пахнувшую самым неприятным воспоминанием. Оставшись один, он загляделся на волны растений, бушевавшие в его вестибюле; они перемешивались, скрещивали свои шпаги, свои малайские кинжалы, свои пики, изображая пирамиду зеленых орудий, над которыми, как варварские значки у пик, развевались цветы ослепительно резких тонов. Освещение в прихожей смягчилось; вскоре он заметил, что в темноте одного угла над паркетом стелется мерцающий белый свет. Он подошел к нему и увидел, что это ризоморфы бросают отблески ночника.

И все-таки эти растения поразительны, сказал он себе; потом он окинул взглядом всю коллекцию — его цель была достигнута; ни одно растение не казалось реальным; материя, бумага, фарфор, металл, казалось, человек одолжил их природе для того, чтобы дать ей возможность создать своих монстров. Когда природа была не в состоянии подражать человеческому творению, она была принуждена имитировать внутренности животных, заимствовать живые краски их гниющих тел и пышные мерзости их гангрэн.

«Все это сифилис», — додумал Дез Эссент, не отрываясь глядя на ужасные каладиумы, ласкаемые лучом солнца.

И перед ним неожиданно встал призрак человечества, беспрерывно мучимого болезнетворным ядом древних веков. С начала мира от отцов к детям все существа передавали друг другу неизносимое наследство, вечную болезнь, отравившую далеких предков человека. Она шествовала через века, никогда не истощаясь: еще теперь она свирепствует, прячась в скрытых страданиях, скрываясь под симптомами мигреней и бронхитов, истерик и подагр; по временам она взбирается на поверхность, нападая преимущественно на людей с плохим уходом и плохо питающихся, проявляясь в виде золотых монет, надевая, из иронии, убор из цехинов Ост-Индской танцовщицы на лоб бедняков, запечатлевая, к довершению несчастья, на их коже изображение денег и благосостояния.

И вот она снова появилась в своем прежнем блеске на темно-красной листе растений.

«Правда, — продолжал Дез Эссент, возвращаясь к исходной точке своего рассуждения, — правда, что чаще природа сама по себе не способна породить такие нездоровые и такие извращенные виды; она только доставляет нужный материал, зародыш и почву, и элементы растения, которое человек выращивает, лепит, раскрашивает и ваяет затем по-своему.

Эта упрямая, нестройная, ограниченная природа наконец покорена, и ее властелин достиг возможности изменять путем химических реакций произведения земли, пользоваться давно назревшими соединениями, медленно приготавливаемыми помесями, и производить методические прививки; он заставляет теперь природу возвращать на одной и той же ветви цветы различной окраски, изобретает для нее новые тона, изменяет по своей прихоти вековую форму ее растений, шлифует глыбы, оканчивает черновые наброски, клеймит их своей пробойкой, отпечатывает на них свой штампель искусства.

Нечего говорить, — подумал он, резюмируя свои размышления, — человек может в несколько лет создать тот



подбор, который ленивая природа способна проинстали только через несколько веков; решительно в настоящее время садоводы единственные настоящие художники».

Он немного устал и задыхался в атмосфере находящихся здесь растений; прогулки, которые он совершал уже несколько дней, сломили его; переход от теплой квартиры к чистому открытому воздуху, от неподвижности затворнической жизни к движению свободного существования был слишком резок. Он покинул свой вестибюль и пошел лечь на кровать; но ум, поглощенный одним предметом, хотя и заснул, но как будто заведенный пружиной, продолжал разматывать его нить и вскоре покатился в мрачные безумства кошмара.

Дез Эссент очутился в чаще леса, в аллее, в сумерки; он шел рядом с женщиной, которую никогда не знал и не видал. Она была худая, с льняными волосами, с лицом бульдога, с пятнами муки на щеках, с кривыми зубами, выступающими вперед под плоским носом. На ней был надет белый фартук служанки, длинная косынка, переходящая на груди в кожаную амуницию, полусапожки прусского солдата, черный чепчик, украшенный оборками и бантом. Она имела внешность приезжей, ярмарочной комедиантки.

Он спросил себя, кто эта женщина, которая давно уже вошла в его жизнь и так тесно срослась с ней; он тщетно искал ее происхождение, ее имя, ее ремесло, ее образ жизни; ни одно воспоминание не приходило к нему об этой необъяснимой, но все-таки достоверной связи.

Он рылся в памяти, когда вдруг явилась перед ним верхом на лошади странная фигура, которая одну минуту ехала рысью и сразу повернулась на своем седле.

Тогда кровь в Дез Эссенте остановилась и он, как вкопанный, остался от ужаса на месте. Эта двусмысленная бесполоя фигура была зеленого цвета; в лиловых веках она открыла светло-голубые, холодные, ужасные глаза; прыщи окружали ее рот, чрезвычайно худые руки, руки скелета, голые до локтей, выходили из рукавов в лохмотьях и

дрожали в лихорадке, костлявые ноги тряслись в слишком широких сапогах.

Странный взгляд впился в Дез Эссента и пронизывал его до мозга костей; еще более обезумевшая женщина-бульдог прильнула к нему и страшно выла, закинув голову назад.

И тотчас же Дез Эссент понял значение ужасного видения. Перед его глазами был образ Великого Сифилиса.

Гонимый страхом, вне себя, он пустился бежать по прямой тропинке, добежал со всех ног до павильона, возвышавшегося среди альпийских ракитников на левой стороне; там он в узком проходе бросился на стул.

Через несколько мгновений, когда он начал приходить в себя, рыдания заставили его поднять голову; женщина-бульдог была перед ним. Жалобно и смешно она горько плакала, говоря, что, когда бегала, потеряла свои зубы; она вынимала из кармана своего фартука глиняные трубки, разламывала их и втыкала куски белых трубочек в дыры своих челюстей.

Ах, как она глупа, сказал себе Дез Эссент; никогда эти трубки не могут держаться — и действительно, все они одна за другой выпали из челюсти.

В эту минуту приблизился лошадиный галоп. Чрезвычайный ужас охватил Дез Эссента; его ноги подкосились, галоп все стремился. Он бросился на женщину, топтавшую теперь головки трубок, умолял ее молчать, не выдавать их шумом своих сапог. Она отбивалась, он увлек ее в глубь коридора, душил ее, чтобы помешать ей кричать; вдруг он увидел дверь курительной комнаты с решетчатыми ставнями, выкрашенными в зеленый цвет, без запора, толкнул ее, разбежался и остановился.

Перед ним посреди обширной лужайки, при свете луны, громадные белые паяцы прыгали, как кролики.

Слезы отчаяния выступили у него на глазах; никогда, никогда он не будет в состоянии перешагнуть порог этой двери. Меня раздавят, думал он, и как бы в подтверждение

его страха ряд громадных паяцев увеличился; их кутырка нья заполнили теперь весь горизонт, все небо, в которых они ударялись поочередно то головами, то ногами. Тогда шаги лошади остановились. Она была там, за круглым слуховым окном в коридоре; ни жив ни мертв Дез Эссент повернулся, увидел в круглое окно прямые уши, желтые зубы и ноздри, выдыхающие две струи пара и пахнущие карболовой кислотой.

Он опустил, отказываясь от борьбы и от бегства; он закрыл глаза, чтобы не видеть страшного взгляда Сифилиса, тяготевшего над ним, но и под закрытыми веками он чувствовал его; взгляд слегка касался его влажной спины, его тела, на котором волосы поднимались в холодном поту. Дез Эссент приготовился ко всему, даже думал, что умрет от смертельного удара; прошла целая вечность, длившаяся, конечно, одно мгновение; он дрожа открыл глаза. Все исчезло; без перехода — как перемена видов и декоративных эффектов — ужасный ископаемый пейзаж убежал вдаль, тусклый, пустынный, изрытый дождевыми потоками, мертвый пейзаж; свет озарял опустошенную местность, спокойный беглый свет, напоминающий мерцание фосфора, растворенного в масле.

На земле что-то двигалось, затем превратилось в женщину, очень бледную, голую, с литыми ногами в зеленых шелковых чулках. Он с любопытством ее рассматривал; ее волосы свисали кудельными кудряшками, сожженными перекаленными щипцами. Вазочки непентусов висели в ее ушах; в ее полуоткрытых ноздрях сверкали тона жареной телятины. Потупив взгляд, женщина полупшепотом позвала его.

Он не успел ответить, так как женщина изменилась; в ее зрачках переливались пылающие цвета; ее губы были окрашены безумно красным цветом антуриумов; соски груди сверкали, покрытые лаком, как два стручка красного индейского перца.

Внезапная интуиция осенила его: это цветок, сказал он себе, и мания рассуждений, продолжая упорствовать, перешла, как и днем, от растительности на яд сифилиса.

Тогда он ощутил ужасное волнение груди и рта, обнаружил на коже пятна меди и темно-бурой краски и в смущении отступил; но глаза женщины зачаровывали его, и он медленно приближался, пытаясь погрузиться каблуками в землю, чтобы идти, не падая, чтобы идти к ней; он почти коснулся ее, когда черные аморфофалосы брызнули со всех сторон, бросились к ее животу, который поднимался и спускался как море. Он отстранил и оттолкнул их, испытывая безграничное отвращение, видя, как шевелились эти теплые и твердые стебли; затем вдруг гнущиеся растения исчезли и две руки попытались обвить его. Невероятная тоска заставила его сердце тяжело биться, потому что глаза, ужасные глаза женщины сделались ужасными, блекло-голубыми, безумными. Он совершил сверхчеловеческое усилие, чтобы вырваться из ее объятий, но непреодолимым движением женщина удержала его, схватила, и он в ярости увидел, как под ее ляжками в воздухе распускался дикий нидулариум, сочась кровью в лезвиях сабель.

Он касался своим телом отвратительной раны этого растения, он чувствовал, что умирает, но внезапно проснулся, пораженный и обезумевший от страха, и вздохнул: — Ах! слава Богу, что это только сон!

## IX

Кошмары возобновлялись, и Дез Эссент боялся засыпать. Он по целым часам лежал в кровати, то в упорной бессоннице и лихорадочном возбуждении, то видя отвратительные сны, прерывавшиеся резкими толчками, какие бывают от испуга, когда человек, будто, потеряв почву,

летит вниз по лестнице и падает на дно пропасти, не в состоянии удержаться.

Нервное состояние, было ослабевшее, снова усилилось, сделалось более жестоким и упорным, приняло новые формы.

Теперь его стесняли покровы; он задыхался под простынями, чувствовал мурашки по всему телу, огонь в крови, жжение в голенях; к этим симптомам вскоре присоединилась глухая боль в челюстях и такое ощущение, будто тиски с винтами давили ему виски. Беспокойство его возросло еще более, к несчастью, не было средств укротить неумолимую болезнь. Он безуспешно пытался поместить в своей уборной гидротерапевтические аппараты. Его остановили невозможность поднять воду на ту высоту, на которой возвышался дом, и сложности с доставкой воды из деревни, где ее было явно недостаточно, и выкачивалась она только в определенные часы. Без массажа острыми струями воды, который прогнал бы бессонницу и вернул покой, если направить его на позвоночник, он ограничился ванной и простыми холодными обливаниями, сопровождаемыми энергичными растираниями, которые производились его слугой при помощи волосяной перчатки.

Но подобие душа несколько не останавливало хода болезни. Успокоение наступало на час или два, а ценой за них были припадки, все более и более жестокие.

Тоска его сделалась безграничной, цветы не радовали, он уже пресытился их сочетаниями и их оттенками. К тому же, несмотря на те заботы, какими он окружил их, большая часть растений погибла. Он велел вынести их из своих комнат. Перевозбуждившись, он пришел в раздражение, что не видит их больше. Чтобы развлечься и убить бесконечные часы, он прибег к своей папке с эстампами и привел в порядок Гойю. Первые экземпляры некоторых гравюр «Капричос», первые оттиски, узнаваемые по их красноватому тону, купленные некогда на аукционах

на вес золота, развлекли Дез Эссента, и он погрузился в них, следя за фантазиями художника, влюбленный в его головокружительные сцены, в его колдуний, разъезжающих верхом на кошках, в его женщин, стремящихся вырвать зубы у повешенного, в его бандитов, в шлюх, в демонов, в карликов.

Затем он пересмотрел все другие серии его офортов и акватинт, его притчи такого мертвящего ужаса, его «Бедствия войны» такого зверского неистовства, наконец, лист из его «Гарроты», чудесный первый оттиск которого, отпечатанный на толстой полосатой бумаге, он так берег.

Дикое вдохновение и иступленный талант Гойи приводили Дез Эссента в восторг, но всеобщее восхищение, которое вызывали его произведения, оттолкнули его несколько, и Дез Эссент уже в течение нескольких лет не хотел вставлять их в рамы из боязни, что когда он вставит их напоказ, первый пришедший дурак найдет нужным наболтать глупостей и восторгаться перед ними по общепринятому обычаю.

То же самое было с его Рембрандтом, которого он просматривал время от времени тайком от других. И действительно, самая красивая в мире ария становится вульгарной и невыносимой в тот момент, как ее все начинают напевать; и произведение искусства, к которому не остаются равнодушны псевдоартисты, которое совсем не оспаривается дураками, которое не довольствуется тем, что возбуждает восторг только у некоторых, становится благодаря этому для посвященных оскверненным, пошлым, почти отталкивающим. Всеобщее восхищение было, между прочим, одним из самых больших огорчений его жизни; непонятный успех навсегда портил для него некогда дорогие ему картины и книги. Перед всеобщей похвалой толпы он кончал тем, что открывал в них незаметные недостатки и отвергал их, спрашивая себя, не притупилось ли его чутье. Он закрыл свои папки и снова

впал в сплин. Чтобы изменить течение своих мыслей, Дез Эссент попробовал успокаивающего чтения, чтобы охладить мозг, он испробовал щадящее искусство, он прочел романы Диккенса, такие милые для выздоравливающих и плохо себя чувствующих, которых утомили бы возбуждающие произведения.

Но эти книги произвели действие противоположное тому, что он ожидал: целомудренные влюбленные и героини-протестантки, закрытые до шеи, любили друг друга среди звезд, ограничиваясь тем, что опускали глаза, краснели, плакали от счастья и пожимали друг другу руки. Тотчас же эта преувеличенная чистота в силу закона контрастов перенесла его в противоположную крайность; он вспомнил вибрирующие и соблазнительные сцены, стал грезить о способах любовного общения, о смешанных поцелуях, о голубиных поцелуях, как их именует церковное целомудрие.

Он прервал свое чтение и думал, далекий от неприступной Англии, на тему распутных грешков и похотливых приготовлений, осуждаемых церковью; его охватило волнение.

Он встал и задумчиво открыл коробочку из золоченого серебра, с крышкой, усыпанной авантюринами.

Она была наполнена фиолетовыми конфетами; он взял одну, пощупал ее пальцами, думая о странных свойствах этой глазированной в сахаре, словно заиндедевшей конфеты; раньше, когда он впал в бессилие, когда он думал о женщине без досады, без сожаления, без новых желаний, он клал себе на язык одну из этих конфет, давал ей растаять, и тогда внезапно, с бесконечной сладостью, вставали совсем изгладившиеся и очень слабые воспоминания прежних сладострастий.

Эти конфеты, изобретенные Сиродэном и носящие смешное название — «Пиренейский жемчуг» — наполнены были капелькой сакранта, некой женской эссенцией,

кристаллизованной в куске сахара. Они проникали в поры рта, напоминая воду, смешанную с редкими уксусами, глубокие благоуханные поцелуи.

Он улыбался, вдыхая этот любовный аромат, эту тень ласк, которые открывали ему в мозгу уголок наготы и оживляли на мгновение недавно еще обожаемый запах некоторых женщин; сегодня они не действовали нежно и мягко, не ограничивались оживлением образа далеких и неясных распутств; напротив, они разорвали завесу и развернули перед его глазами неумолимую плотскую и грубую действительность.

Из вереницы любовниц, которую вкус этой конфеты помог ему ясно нарисовать, предстала одна, показав свои длинные белые зубы, с атласной кожей, вся розовая, с горбатым носом, с мышинными глазами, с белокуроыми, острыми как у болонки волосами.

Это была мисс Урания, американка, с хорошо сложенным телом, с нервными ногами, со стальными мускулами, с чугунными руками.

Она была одной из самых знаменитых цирковых акробаток. В течение долгих вечеров Дез Эссент внимательно следил за ней; сперва она показалась ему такой, какой она и была, то есть крепкой и красивой, но его не охватывало желание сблизиться с ней; в ней не было ничего, что бы рекомендовало ее вождению пресыщенного человека, но между тем он снова приходил в цирк, привлекаемый чем-то, чего не знал сам, толкаемый трудно определимым чувством. Мало-помалу наблюдения за ней породили очень странные мысли: по мере того, как он восхищался ее гибкостью и силой, он видел, как в ней происходило искусственное изменение пола; ее грациозные проказы, ее женственные шалости самки постепенно исчезли, и вместо них обнаруживались ловкость и могучие силы самца.

Так же, как сильный здоровяк влюбляется в хрупкую девушку, эта клоунесса должна любить слабое, вялое соз-



дание, подобное мне, сказал себе Дез Эссент. Глядя на себя, заставляя действовать свою способность сравнения, он стал испытывать впечатление, будто сам становится женственным; он решительно хотел обладать этой женщиной, как малокровная девочка желает грубого богатыря, руки которого могут смять ее в своих объятиях.

Этот обмен полов между ним и мисс Уранией приводил его в восхищение. Мы предназначены друг для друга, уверял он. К тому внезапному восхищению перед грубой силой, к которой он до сих пор чувствовал отвращение, присоединилась, наконец, чудовищная привлекательность грязи, низкой проституции, довольной тем, что дорого оплачивает скотские ласки сутенера. Решившись соблазнить акробатку, он упрочивал мечты, вкладывая ряд своих собственных мыслей в бессознательные уста женщины, читая ее желания, которые вкладывал он в неизменную и неподвижную улыбку фиглярки, вертящейся на своей трапеции.

В один прекрасный вечер он решился, наконец, отправить капельдинершу. Мисс Урания сочла нужным не поддаваться без предварительных ухаживаний; вместе с тем она не показала себя очень неприступной, зная по слухам, что Дез Эссент богат и что одно его имя бросало к нему женщин.

Но как только его мольбы были услышаны, разочарование его превзошло все границы. Он воображал американку тупой и скотской, как ярмарочный борец, а ее глупость оказалась, к несчастью, чисто женской. Конечно, ей недоставало воспитания и такта, не было у нее ни здравого смысла, ни ума, и за столом она выказывала чисто животный пыл, но все детские чувства женщины жили в ней; она была боязлива и кокетлива, как проститутка; превращения мыслей в мужские в ее женском уме совершенно не было.

К тому же у нее была пуританская сдержанность и не было ни одной грубости атлета, которых он желал и вместе

с тем боялся. Испытывая всю пустоту своих вожелений, он, однако, увидел свою склонность к нежному и слабому существу, к темпераменту, совершенно противоположному свосму, иначе он отдал бы предпочтение не девочке, а веселому болтуну, забавному и худому клоуну.

Дез Эссент неизбежно вошел снова в свою роль мужчины, на время забытую им; его ощущения женственности, слабости, купленного квазипокровительства, даже страха исчезли. Иллюзия была больше невозможна. Мисс Урания была самой обыкновенной любовницей, не оправдывая никаким образом умственного любопытства, которое она породила.

Хотя прелесть ее свежего тела, ее великолепной красоты сначала поразили и удерживали Дез Эссента, он постарался, однако, поскорее отделаться от этой связи и ускорил разрыв, так как его преждевременное бессилие еще больше увеличивалось от холодных ласк, от целомудренного равнодушия этой женщины.

И все-таки она первая вспомнилась ему в непрерывном ряду его страстей. Но в сущности, если она запечатлелась в его памяти глубже множества других, приманки которых были менее обманчивы, а наслаждения менее ограничены, эта владела им благодаря своему благоуханию сильного и здорового животного; обилие ее здоровья было антиподом анемии, возбуждающейся от этих духов, острый и затхлый запах которых он нашел опять в нежной конфете Сиродэна.

Как благоуханная антитеза, мисс Урания неотразимо вставала в его памяти, но почти сейчас же, под влиянием этой неожиданности естественного и неочищенного аромата, Дез Эссент вернулся к смягченным запахам и невольно стал думать о своих других любовницах: они толпились в его мозгу, но над всеми возвышалась теперь другая женщина, чудовищность которой так удовлетворяла его в продолжение нескольких месяцев. Это была небольшая, сухая

брюнетка с черными глазами, с волосами, как будто кисточкой примазанными к голове, с пробором, как у мальчика, около виска.

Он увидел ее в кафе-концерте, где она давала представление в качестве чревовещательницы.

К изумлению толпы, которая от этих упражнений чувствовала себя не совсем спокойно, она заставляла по очереди говорить картонных детей, рассаженных по стульям, в виде флейты Пана; она разговаривала с почти живыми манекенами, и даже в самой зале мухи жужжали вокруг люстры, и слышно было, как шумела безмолвная публика, которая удивлялась, что сидит на своих местах, и инстинктивно отодвигалась назад, когда раскаты воображаемых карет касались их по пути от входа до сцены.

Дез Эссент был очарован. Масса мыслей зародилась в нем. Прежде всего при помощи банковских билетов он постарался покорить чревовещательницу, которая понравилась ему уже своим контрастом с американкой. От нее пахло нездоровыми, опьяняющими духами, и она вся горела, как кратер; вопреки всем своим уловкам Дез Эссент, истощил свои силы в несколько часов. Он добровольно отдался ей на съедение, так как феномен привлекал его больше, чем любовница.

К тому же созрели намеченные им планы. Он решил исполнить свои проекты, до тех пор неосуществимые. Он велел однажды вечером принести маленького сфинкса из черного мрамора, лежащего в классической позе, с вытянутыми лапами, со строгой и прямой головой, и химеру из разноцветной глины, размахивающую щетинистой гривой, сверкающую страшными глазами, обвеивающую лучами хвоста свои раздувшиеся, как кузнечные меха, бока. Он поставил этих животных на одном конце комнаты. Погасил лампы, оставив в комнате краснеющие угли, которые чуть-чуть освещали комнату, увеличивая предметы, почти утонувшие в тени. Потом он лег на диван около женщины,

до неподвижной фигуры которой достигало мерцание угля, и ждал.

Со страшными интонациями, которые он долго и терпеливо заставлял перед этим репетировать, она оживила эти два чудовища, даже не шевеля губами, даже не глядя на них.

И среди молчания ночи начался удивительный диалог химеры и сфинкса, произносимый гортанными и глубокими голосами, хриплыми, затем пронзительными, как бы сверхчеловеческими.

«Здесь, химера, остановись».

«Нет; никогда».

Убаюкиваемый дивной прозой Флобера, он задыхаясь слушал страшный дуэт, и дрожь пробежала по нем с ног до головы, когда химера произнесла торжественную и магическую фразу: «Я ищу новых благоуханий, более крупных цветов, неиспытанных наслаждений».

А! Это ему говорил голос, таинственный, как колдование, это ему рассказывал он про его лихорадочную жажду неизвестного, про его неутоленный идеал, про его потребность удалиться от ужасной действительности, переступить границы мысли почти ощупью, никогда не достигая уверенности в потусторонних туманах искусства. Все ничтожество его усилий заняло его сердце. Нежно он обнял безмолвную женщину, прячась около нее, как неутешное дитя, даже не замечая скучающего вида комедиантки, обаянной разыгрывать сцену, показывать свое ремесло дома, в минуты отдыха, вдали от рампы.

Их связь продолжалась, но вскоре слабосилие Дез Эссента возросло; его мозговое возбуждение не растопило больше холодности тела, нервы не повиновались уже воле, им овладели страстные безумства стариков. Чувствуя себя около любовницы неуверенным, он прибег к вспомогательному средству, самому сильному из старых и испытанных возбуждений — к страху.

Когда он держал женщину в объятиях, за дверью раздался хриплый голос: «Открывай, я знаю, что ты с другом, дождешься у меня, распутница».

Так же, как эти распутники, возбуждаемые страхом быть застигнутыми на месте преступления на воздухе, на откосе дороги, в Тюильрийском саду, в кустарниках или на скамейке, он вскоре опять находил силу и бросался на чревоушательницу, голос которой продолжал раздаваться вне комнаты, и он испытывал неслыханную радость в этой растерянности, в этой панике человека, бегущего от опасности, застигнутого в позоре.

К несчастью, эти сеансы продолжались недолго. Несмотря на увеличенную сумму, которую Дез Эссент ей платил, чревоушательница бросила его и в тот же вечер предложила себя здоровяку, требования которого были менее сложны, а поясница более крепка. Дез Эссент о ней сожалел, а при воспоминании об ее искусстве другие женщины казались ему лишенными вкуса. Испорченные прелести детства казались ему пресными, его презрение к их однообразным кривляньям дошло до того, что он не решался им отдаваться.

Когда однажды Дез Эссент гулял на улице Латур-Мобур, задумавшись над этим своим отвращением, к нему около Инвалидов подошел совсем еще молодой человек, прося указать ему кратчайшую дорогу на улицу Бабилон. Дез Эссент указал ему дорогу, и, так как он тоже переходил через площадь, они пошли вместе.

Голос молодого человека, который стал настаивать на том, чтобы ему подробнее объяснили дорогу, — сделался вдруг застенчивым и робким, очень тихим и нежным. «Так вы думаете, что если взять налево, будет дальше, но меня уверяли, что если свернуть, то можно срезать путь».

Дез Эссент посмотрел на него. Он казался убежавшим из коллегии, был бедно одет — в шевиотовую курточку, сжимавшую ему бока и едва доходившую до поясницы, в черные брюки, из пышного и синего галстука торчал

отложной воротничок с белыми крапинками, фасона Ля-Вальер. Он держал в руке учебник в бумажном переплете, а на голове у него была темная шапочка с гладкими краями, лицо было тревожное, бледное и худое, довольно правильное; под длинными черными волосами оно освещалось черными влажными глазами с веками, окруженными синевой, с узкой переносицей, покрытой веснушками, и с маленьким ртом, с толстыми губами, прорезанными посредине ямочкой, как вишня.

Одну минуту они прямо посмотрели друг на друга, потом молодой человек опустил глаза и приблизился; его рука вскоре прикоснулась к руке Дез Эссента, который замедлил свои шаги, задумчиво разглядывая раскачивающуюся походку этого молодого человека.

И из этой случайной встречи возникла сомнительная связь, продолжавшаяся несколько месяцев; Дез Эссент не мог думать об этом без содрогания. Никогда не переживал он более притягательного и более властного союза, никогда не знал он подобных опасностей, но также никогда не чувствовал себя более мучительно удовлетворенным. Среди осаждавших его в уединении воспоминаний воспоминание об этой взаимной привязанности господствовало над другими. Все дрожжи разврата, могущего держать мозг в раздраженном от невроза состоянии, были в брожении и, находя удовольствие в этих воспоминаниях, в этих мрачных утехах, как теология называет это возвращение старых бесчестий, он примешивал к физическим видениям еще духовный пыл, подогреваемый чтением казуистов Бузембаума и Дианы, Лигюори и Санчеса, трактующих о грехах против VI и IX заповедей.

Храня внечеловеческий идеал в своей душе, которую омыла религия и которую наследственность, начинающаяся с царствования Генриха III, может быть, предрасположила к тому, Дез Эссент был часто осаждаем приступами распутства и мистицизма, переплетающихся между собой.

Он был охвачен упорным желанием избавиться от мирских пошлостей вдали от чтимых обычаев и погрузиться в свои своеобразные восторги, в небесные или порочные забвенья, одинаково разрушительные вследствие потери фосфора.

Теперь он избавился от своих грез, расслабленный, разбитый, почти умирающий, и тотчас же зажег свечи и лампы, погружаясь в свет и, таким образом, надеясь слышать менее внятно, чем в темноте, глухой, упорный, не-носный шум артерий, бившихся удвоенными ударами под кожей шеи.

## Х

Во время страшной болезни, опустошающей народы до последней капли крови, за кризисами следуют внезапные успокоения; не будучи в состоянии объяснить себе почему, Дез Эссент проснулся в одно прекрасное утро совсем здоровым; не было больше мучительного кашля, клина, вбитого колотушкой в затылок, но было невыразимое ощущение приятного чувства, легкости мозга; мысли прояснились и из мутных стали текучими и радужными, как мыльные пузыри самых нежных оттенков.

Такое состояние продолжалось несколько дней; но затем внезапно в один из полдней появились галлюцинации обоняния.

Его комната наполнилась запахом франгипани, эссенции цветов плюмерии; он посмотрел, не стоит ли откупоренным флакон, но в комнатах вовсе не было флакона; он прошел в свой рабочий кабинет, в столовую, — запах упорно держался.

Он позвонил слуге:

— Вы ничего не чувствуете? — сказал он.

Тот потянул носом и сказал, что ничем не пахнет; сомнения не могло быть, невроз возвращался еще раз, под видом новой иллюзии чувств.

Утомленный упорством мнимого запаха, он решился погрузиться в настоящие ароматы, надеясь, что эта носовая гомеопатия излечит его или по крайней мере задержит преследование назойливого франгипани.

Он пошел в свою уборную. Там, около старинной крестильницы, служившей ему умывальником, под большим зеркалом, заключенным в серебристую кованую раму, которая как колодезный сруб обрамляла мертвую зелень неподвижной воды, на полках из слоновой кости громоздились флаконы разной величины и формы.

Он поставил их на стол и разделил на две серии: одна — простых духов, то есть экстрактов и спиртов, другая — составных духов, обозначенная родовыми терминами букетов.

Он опустил в кресло и предался размышлениям.

Уже несколько лет он хорошо знал науку обоняния; он полагал, что обоняние может дарить наслаждения, равные наслаждениям слуха и зрения; каждое чувство способно, вследствие естественной склонности к развитию и усовершенствованию, воспринимать новые впечатления, удесятерять их, приводить их в соответствие, создавать из них все то, что составляет произведение искусства. В конце концов, искусство, выделяющее благоуханные жидкости, было бы не менее нормальным, чем искусство, извлекающее звуковые волны или поражающее различными окрашенными лучами сетчатую оболочку глаза; в самом деле, если никто не может различить без особой интуиции, развитой изучением, картину великого мастера от плохой мазни, музыку Бетховена от арии Клапписсона, то никто не может без предварительного посвящения в таинства не смешать букет, созданный настоящим художником, с пурри, изготовленным ремесленником для продажи в бакалейных лавках и на базарах.

В этом искусстве запахов одна сторона больше всех прельщала Дез Эссента — сторона искусственной точности.



Действительно, почти никогда духи не выделяют из цветов, названия которых они носят; художник, который осмелится заимствовать свои элементы у одной только природы, создаст незаконнорожденное произведение, без истины, без стиля, так как эссенция, полученная от перегонки цветов, сможет дать лишь очень отдаленное и очень пошлое сходство с настоящим ароматом живого цветка, разливающего свои испарения над землей.

Так, за исключением неподражаемого жасмина, не поддающегося никакой подделке и никакому уподоблению, все цветы точно представлены соединением алкоголята и спирта, присваивая у оригинала его индивидуальность и прибавляя к нему еще крепость, опьяняющий запах и этот налет, служащий признаком произведения искусства. Одним словом, в парфюмерном искусстве художник довершает начальный запах природы, из которой он высекает благоухание и оправляет его так же, как ювелир очищает воду камня и делает его ценным.

Мало-помалу тайна этого самого заброшенного из всех искусств открылась Дез Эссенту, который дешифровал теперь этот разнообразный язык, такой же вкрадчивый, как литературный язык, этот стиль, содержащий под расплывчатым и неопределенным наружным видом необыкновенную сжатость.

Поэтому ему сначала нужно было работать над грамматикой, усвоить себе синтаксис запахов, хорошо проникнуться правилами, управляющими ими, и уже раз освоившись с этим диалектом, сравнивать произведения мастеров Аткинсона и Любена, Шардена и Виоле, Леграна и Пиеса, расчленив построение их слога, взвесить соотношение их фраз и размещение их периодов.

Затем в этом языке жидкостей опыт должен был помогать теориям, зачастую неполным и банальным.

Классическое парфюмерное искусство было, действительно, не слишком разнообразно; почти бесцветно и монотонно текло оно в русле, созданном старинными химиками;

запертое в своих старых ретортах, оно болтало вздор, но когда расцвел романтический период, он изменил и его, сделав его более молодым, мягким и гибким.

История этого искусства, шаг за шагом, следовала за историей нашего языка. Стиль духов Людовика XIII, составленный из дорогих в ту эпоху элементов, из ирисовой пудры, мускуса, порея, миртовой воды, уже названной «водой ангелов», едва был в состоянии выразить рыцарскую грацию, несколько вольный колорит времени, который нам сохранил Сен-Аман в своих уверенных сонетах. Позже с миррой, лучшим ладаном, сделались почти возможны мистические духи, сильные и суровые, как пышная манера великого века, многословное красноречие ораторского искусства, широкий, плавный и возвышенный слог Боссюэ и церковных учителей. Еще больше усталая и искусная грация французского общества времен Людовика XV легче нашла своего выразителя в франгипани и угле, давших, некоторым образом, самый синтез этой эпохи; затем после пошлости скучной и неинтересной Первой Империи, злоупотреблявшей одеколонами и составами из розмарина, парфюмерия устремилась вслед за Виктором Гюго и Готье на восток; она создала восточные благовония, тягучие напевы, сверкающие пряностями, открыла новые интонации, антитезы, на которые до тех пор еще не отваживались, выбрала и усвоила старинные оттенки, которые она сделала сложнее и тоньше; наконец, она решительно отбросила добровольную вялость, к которой привели Малерб, Буало, Андрие, Баур-Лормиан, простые дистилляторы ее поэм.

Но этот язык не остался со времен 1830 года в застое; он развивался и, сообразуясь с ходом века, шел вперед параллельно с другими искусствами; он также покорялся желаниям любителей и художников, бросаясь на китайскую и японскую парфюмерию, изобретая альбомы благоуханий, имитируя букеты цветов Такеоки, получая от соединения лаванды и гвоздики запах ронделлеции; от смешения пачули и камфары — особенный аромат китайской туши; из со-

става лимона, гвоздики и померанцевого эфирного масла — запах японской овении.

Дез Эссент изучал, анализировал звучание этих ароматов, толковал их тексты; находил удовольствие в том, чтобы для собственного удовлетворения играть роль психолога, разбирать и приводить в движение конструкцию произведения, развинчивать отдельные части, образующие состав сложного запаха, и в этом упражнении его обоняние достигло верности непогрешимой. Как торговец винами узнает плохое вино, глотнув одну только каплю, как продавец хмеля, которому стоит только понюхать мешок, чтобы сейчас же определить его точную стоимость, как китайский негодьянт тотчас же может определить сорт чая, который он нюхает, сказать, на каких плантациях Бохайских гор и в каких буддистских монастырях он был выращен, указать время, когда были собраны его листья, точно выяснить степень сушки, влияние, которому он подвергся в соседстве цветов сливы, кохинхинского прутняка, пахучего мускатного масла, всех этих запахов, которые изменяют его свойства, прибавляют к нему неожиданный привкус и вводят в его несколько сухой букет затхлый запах далеких и свежих цветов, — так и Дез Эссент мог, вдыхая капельку духов, сообщить вам дозы их рецепта, объяснить психологию их смешивания, почти назвать имя художника, создавшего их и запечатлевшего на них клеймо своего личного стиля.

Разумеется, он владел коллекцией всех продуктов, употребляемых парфюмерами; у него была даже настоящая меккская мята, та редкая мята, которая родится только в некоторую частях каменистой Аравии и монополия на которую принадлежит-турецкому султану.

Сидя теперь в своей уборной перед столом, он думал создать новый букет и был охвачен минутой колебания, очень знакомой писателям, которые после нескольких месяцев отдыха готовятся начать новое произведение.

Как Бальзак, одержимый настоятельной потребностью пачкать массу бумаги, прежде чем начнет писать, Дез

Эссент познал необходимость набить сначала руку на каких-нибудь незначительных работах; задумав составить гелиотрон, он взвесил на руке флаконы с миндалем и ванилью, но потом изменил намерение и решил приступить к душистому горошку. Характер и выражение запаха ускользали от него, и он недоумевал; в запахе этого цветка преобладает померанец: он попробовал несколько соединений и в конце концов добился верного тона, прибавив к померанцу туберозы и розы, которые он связал каплей ванили. Сомнения рассеялись; его охватила легкая лихорадка — он был готов к работе; он составил еще чай, смешав душистую акацию с ирисом; затем, будучи уже уверен в себе, он решился идти дальше, нагромождать гремучие фразы, надменный шум которых разрушит шепот этого коварного франгипани, кравшегося по комнате.

Он держал в руках амбру, тонкинский мускус со странным блеском, пачули — самый резкий из растительных запахов, — цветок которого в сыром состоянии испускает затхлый запах плесени и ржавчины.

Как бы там ни было, им часто овладевал XVIII век; платья с фижмами и оборками кружились перед его глазами; вспоминались «Венеры» Буше; все они — из тела без костей, набитые розовым пухом — расположились на его стенах; его преследовали отголоски романа Фемидора, неистовое отчаяние изящной Розетты. Он в бешенстве вскочил и, борясь с наваждением, вдохнул чистую эссенцию нарда, любимую восточными народами и очень неприятную для европейцев из-за его слишком резкого запаха валерьяны. У него закружилась голова от силы этого толчка; филигрань нежного запаха исчезла, как будто растолченная молотком. Он воспользовался внезапным перерывом, чтобы вырваться из плена умерших веков, туманов прошлого, и очутиться в области творений менее ограниченных и более новых.

Бывало, он любил убаюкивать себя аккордами ароматов; он использовал эффекты, аналогичные с эффектами

поэтов; оживлял приемы некоторых сочинений Бодлера, каковы «Непоправимый» и «Балкон», где последний из пяти стихов, составляющих строфу, есть эхо первого и повторяется, как припев — чтобы погружать душу в бесконечность меланхолии и томления.

Он блуждал в сновидениях, вызываемых этими ароматными стансами, внезапно приводимый к исходной точке, к основному мотиву своих размышлений, благодаря возвращению главной темы, появляющейся в интервалах, и сопровождении благоуханной оркестровки поэмы.

Теперь он хотел скитаться по удивительному и изменчивому пейзажу, и поэтому он начал с пространной и полнозвучной фразы, сразу открывая вид вольного деревенского простора.

При помощи своих сосудов для выпаривания жидкостей он вспырынул комнату эссенцией, составленной из амброзии, лаванды митчамской и душистого горошка, эссенцией, которая в руках художника заслуживает данного ей названия — «экстракт цветущего луга»; потом в этот луг он ввел соединение туберозы, цветка померанцевого и миндального деревьев, и от них тотчас же родилась искусственная сирень и, кроме того, заблагоухали липы, опуская на землю свои бледные испарения, которые симулировались экстрактом апельсиновых корочек. В эту декорацию, поставленную несколькими крупными штрихами и убегающую вдаль настолько, насколько можно видеть и закрытыми глазами, он добавил легкий дождь человеческой и как будто кошачьей эссенций, пахнущих юбками, вызывая к жизни напудренную и нарумяненную женщину, «стефанотис» «айяпана», «опопонакс», «шипр», «шампака» «саркант», к которым он прибавил каплю «жасмина», чтобы в искусственной жизни искусственных ароматов оживить настоящий цветок смеха и веселой возни, доводящей до пота на солнечном припеке.

Потом, с помощью веера, он рассеял душистые волны, сохранив только аромат сельского простора, который он

вызвал снова, усилив дозу ароматических веществ, чтобы заставить его звучать навязчивым припевом.

Постепенно женщины исчезли, деревня стала пустынной; тогда на прелестном горизонте поднялись заводы, грозные трубы которых пылали на верхушках, как чаши пунша. Вместе с ветром, который он поднял при помощи вееров, пронеслось дыхание фабрик и химических продуктов, а природа среди этого гниения воздуха разведала свои нежные испарения.

Дез Эссент держал и согревал в руках катышек стираксы; комнату наполнил очень странный запах, отталкивающий и вместе с тем превосходный, похожий на восхитительный запах нарцисса и скверную вонь гуттаперчи и каменноугольного масла. Он протер руки, укупорил в герметичеую коробку свою камедь — фабрики исчезли. Тогда он впустил в ароматы лип и лугов несколько капель свежескошенного сена, и среди волшебного пейзажа, на мгновение лишенного сирени, поднялись снопы сена, приведя с собой новое время года, разливая свои тонкие испарения в запахах лета.

Наконец, когда достаточно насладившись своей фантазией, Дез Эссент принялся рассеивать экзотические духи, опорожнять сосуды для выпаривания жидкостей, разбрызгивать сгущенные спирты и разливать бальзамы, и в тяжелой духоте комнаты водворилась знойная, величественная природа, неестественная, усиленная экзотическими приправами, парадоксально соединяющая индейский перец тропиков, ветер, приправленный перцем, китайский сандал, ямайскую гедиосмию, французский запах жасмина, боярышника и вербены, природа, распускающая, не образуясь с климатом и временами года, деревья разных сортов, цветы самых противоположных окрасок и запахов, создающая посредством столкновения и слияния этих тонов один доминирующий запах без названия, неожиданный и странный запах, за которым снова, как упрямый припев, звучала начальная декоративная фраза — запах большого луга, обвеянного сиренью и липами.

Вдруг острая боль пронзила Дез Эссента; ему показалось, что коловорот сверлит ему виски. Он открыл глаза и увидел себя сидящим в своей уборной за столом; с трудом, как оглушенный, подошел он к окну и приоткрыл его. Порыв ветра освежил удушающую атмосферу, окружавшую его; он прошелся взад и вперед, чтобы размять ноги — глядя на потолок, где напудренные солью крабы и водоросли прилепились рельефами на шероховатом фоне, таком же светлом, как песок пляжа. Такие же светлые плинтусы окаймляли панели, обитые жатым японским креном бледно-зеленого цвета, симулирующим поверхность реки, которую рябит ветер, в этом легком течении плавал лепесток розы, а вокруг увивались маленькие рыбки, нарисованные невесомыми штрихами пера.

Головная боль не хотела отступить, Дез Эссент перестал шагать по короткому пространству между купелью и ванной и прислонился к подоконнику; головокружение улеглось. Он решил немедленно привести в порядок свои туалетные принадлежности, до которых совсем не дотрагивался со времени приезда в Фонтенэй, и был почти удивлен, увидев эту коллекцию, возбуждавшую интерес стольких женщин. Флаконы и банки громоздились друг над другом: вот фарфоровая банка из зеленого комплекта, содержащая в себе шнуд — чудесный белый крем, который будучи раз положен на щеки, переходит под действием воздуха в нежно розовый цвет, а затем имитирует настоящий румянец, создавая полную иллюзию природной свежести; вот лакированные ящики, инкрустированные перламутром, содержащие японское золото и афинскую зелень цвета крыла шпанской мушки, золото и зелень, превращающиеся в ярко-пурпуровые, если их намочить; рядом с банками, наполненными эмульсиями из кашмирской лилии, лосьонами из земляники и бузины для освежения лица, рядом с маленькими бутылками, полными растворенной туши и розовой воды для глаз, располагались инструменты из слоновой кости, перламутра, стали и серебра вперемешку со

щетками из люцерны для десен — щипцы, ножницы, бан-  
ные скребницы, растушевки, ленточки, пуховки, чесалки,  
рукавицы для спины, мушки и пилочки.

Он разобрал все эти предметы, купленные когда-то по  
настоящему одной любовницы, падавшей от некоторых аро-  
матов и бальзамов в обморок; эта нервная и расстроенная  
женщина любила духи, но впадала в восхитительный и из-  
нурительный экстаз только тогда, когда ей чесали голову  
гребенкой или когда во время ласк она могла вдыхать за-  
пах сажи, штукатурки строящихся под дождем домов или  
пыли, прибитой крупными каплями летнего ливня.

Он рылся в воспоминаниях, и ему вспомнился один  
день, проведенный из праздности и любопытства в обще-  
стве этой женщины у одной из ее сестер; это воспоминание  
напомнило ему забытый мир старых мыслей и прежних за-  
пахов. Пока две женщины болтали между собой и показы-  
вали друг другу платья, он подошел к окну и сквозь запы-  
ленные стекла смотрел на расстилающуюся улицу, полную  
грязи, и слушал шум мостовой и мерное шлепанье калош,  
хлюпающих по лужам.

Эта далекая картина вдруг встала перед ним с особен-  
ною живостью. Перед ним был Пантэн, оживший в этой  
зеленой и как будто мертвой воде зеркала, окаймленной  
луной, куда бессознательно были устремлены его глаза.  
Галлюцинация унесла его далеко от Фонтенэй; зеркало от-  
ражало его мысли так же, как улица, которая их некогда  
родила, и, погруженный в свои думы, он стал повторять  
свой остроумный, меланхолический, утешительный анти-  
фон, написанный им по возвращении в Париж.

«Да, настало время ливней, глотки водосточных труб  
оплевали тротуары жижей кофе с молоком. Вот она сте-  
кает в ямы, и прохожие в нее попадают, в этих ямах ждет  
размоченный навоз. Небо низко, небо хмуро, по стенам  
стекает грязь, и отдушины воняют. Как же жить не уда-  
вьясь? Сплин охватывает душу на губительных посевах. На



попойках богатеи лечат воспаленье нервов. А простые работяги и ученые педанты точат нож, у них желанья как у старых арестантов. Ну а я устроюсь в кресле возле жаркого камина. Аромат цветов вдыхаю, на столе стоит корзина, роснѣй ладан, нард, герани в середине ноября. Рю Пантен, Париж, я молод, я смеюсь: зачем бежать на Антибы или в Канны, чтоб природу победить. Плод искусства, он поможет осень в ноябре забыть. Из тафты цветы, из шелка, их искусствен аромат. Жизнь подобие, ну полно. Парфюмер устроил сад».

Ввиду того, что в настоящее время нет больше здоровых веществ, вино, которое пьют, и свобода, которую провозглашают — поддельны и смешны, и, в конце концов, оказывается, что нужно чуть-чуть желанья, чтобы поверить, что правящий класс достоин уважения, а угнетаемый заслуживает забот и сожаления, мне не кажется ни более смешным, ни более нелепым, решил Дез Эссент, требовать от своего ближнего немного иллюзии — ровно столько, сколько он ежедневно расточает для разных глупых целей — для того, чтобы вообразить себе, что город Пантэн есть искусственная Ницца, поддельная Ментона.

— Однако мне стоит остерегаться этих чудных, но страшных опытов, ибо они мне вредны, — сказал Дез Эссент, оторвавшись от размышлений и почувствовав слабость во всем теле. Он вздохнул. — И этому удовольствию конец, придется принять предосторожности. — И он ушел в рабочий кабинет, надеясь таким образом избавиться от назойливых запахов.

Открыв настежь окно, он предвкушал прилив свежего воздуха, но долгожданный ветер принес волну бергамотовой эссенции, в которую вплетались запахи жасмина, душистой акации и розовой воды. Дез Эссент задышался и спрашивал себя, не одержим ли он одним из тех бесов, которых заклинали в Средние века.

Запах изменился, но не потерял стойкости. Неопределенные тона толутанской краски, перуанского бальзама и шафрана, смешанные с несколькими каплями амбры и мускуса, поднимались от деревни, раскинувшейся по косогору; и вдруг произошло превращение: все отдельные запахи слились — и от Фонтенэйской долины до самого леса разливался снова франгипани, флюиды которого обоняние Дез Эссента сразу почувствовало и подвергло анализу; запах вторгался в измученные ноздри, бил по расстроенным нервам Дез Эссента и погрузил его в такую протрацию, что он почти замертво, в обмороке упал на подоконник.

## XI

Испуганные слуги побежали за фонтенэйским доктором, который решительно ничего не понял в состоянии Дез Эссента. Он пощупал у больного пульс, посмотрел язык, пробормотал несколько медицинских терминов, попытался, но безуспешно, заставить его говорить, назначил успокоительное лекарство и полный покой и обещал прийти на следующий день. Но Дез Эссент нашел в себе достаточно силы, чтобы выразить порицание усердию своих слуг и отказать непрошеному гостю; тот ушел и отправился рассказывать по всей деревне про странности этого дома, обстановка которого поразила его.

К удивлению слуг, не смевших выходить из буфетной, через несколько дней их хозяин выздоровел, и они увидели, что он стоит у окна, барабанит по стеклам и с беспокойством глядит на небо.

В один прекрасный день раздались отрывистые звонки, и Дез Эссент приказал приготовить чемоданы для далекого путешествия.

Пока муж и жена отбирали по его указаниям нужные для поездки вещи, он лихорадочно шагал по своей каюте-столовой, смотрел на часы пакетбота, проходил в рабочий

кабинет, откуда продолжал исследовать тучи с нетерпеливым, но довольным видом.

Уже в продолжение недели погода стояла ужасная. Реки грязи не переставая текли с серых равнин неба, из глыб туч, похожих на вывороченные из земли скалы.

Временами разражался ливень и поглощал долину потоками воды.

В этот день небо изменилось. Чернильные потоки рассеялись и испарились, шероховатости туч сгладились; небо расчистилось, будто покрытое розоватой пеленой, которая, казалось, медленно спускалась вниз; густой туман окутал деревню. Дождь больше не обрушивался водопадами, как накануне, а шел без остановки, мелкий, пронизывающий, разжижая аллеи, портя дороги, соединяя бесчисленными нитями небо с землей; свет сделался мутным; синеватый день осветил деревню, превратившуюся в озеро грязи, в которое падали серебристые капли с водяных игл. В грустной природе все цвета поблекли; одни лишь крыши блестели над тусклыми тонами стен.

— Какая погода, — вздохнул старый слуга, раскладывая на стуле полный костюм своего господина, сделанный в Лондоне. Вместо ответа Дез Эссент потер руки и остановился перед стеклянным шкафчиком, в котором был разложен веером подбор шелковых носков. Он колебался над выбором цвета, но приняв во внимание пасмурный день, темный цвет своего платья, думая о цели, к которой он стремился, выбрал пару носков блекло-желтого цвета, надел их, обулся в полусапоги с пряжками и тупыми носками, надел клетчатый костюм мышинового цвета, отделанный куницей, маленькую шапочку, закутался в плащ цвета льна и в сопровождении слуги, гнувшегося под тяжестью чемодана, дорожного мешка, шляпной картонки и чехла с зонтами и тросточками, добрался до станции. Там он объявил слуге, что не может точно назначить дня своего возвращения; может быть, он вернется через год, через месяц, через неделю, а может быть, и раньше; приказал, чтобы ничего не

перемещали в квартире, передал приблизительную сумму, необходимую для поддержания хозяйства во время его отсутствия, и вошел в вагон, оставив остолбеневшего старика с опущенными руками и разинутым ртом, около барьера, за которым раскачивался поезд.

Он был один в купе; расплывающаяся грязная деревня, видимая как будто сквозь аквариум с мутной водой, быстро бежала за поездом, по которому хлестал дождь. Погруженный в свои мысли, Дез Эссент закрыл глаза.

Опять одиночество, так страстно желанное и наконец достигнутое, привело его в состояние страшной тоски; молчание, прежде казавшееся ему вознаграждением за выслушанные в течение нескольких лет глупости, давило его теперь невыносимой тяжестью. В одно утро он проснулся взволнованный, как узник, заключенный в одиночную камеру; его слабые губы шевелились, чтобы произнести слова, на глазах выступили слезы, — он задыхался, как человек, рыдавший в продолжение нескольких часов.

Охваченный желанием ходить, видеть человеческие лица, говорить с другими людьми, вмешаться в общую жизнь, он стал удерживать около себя слуг, позванных под каким-нибудь предлогом. Помимо того, что эти старые люди, придавленные годами молчания и привычками сиделок, были почти немые, Дез Эссент всегда держал их на таком расстоянии, которое вовсе не способствовало тому, чтобы заставить их разжать зубы. К тому же их мозги были слишком косны, и они способны были отвечать на предложенные им вопросы лишь односложными словами.

Он не мог получить от них никакой помощи, никакого утешения; но произошло новое явление. Диккенс, которого он недавно перечитывал, чтобы успокоить нервы, произвел действие, противоположное действию гигиеническому, на которое он надеялся, и стал воздействовать в неожиданном направлении, вызывая видения английской жизни, над которыми Дез Эссент часами размышлял.

Мало-помалу в эти созерцания вкралась мысль о действительности, о путешествии, об осуществленных мечтах, к которой присоединилось желание испытать новые впечатления и избавиться, таким образом, от изнуряющих распутств ума, одуряющего бесплодным созерцанием.

Отвратительная, туманная и дождливая погода еще больше способствовала его мечтательности, поддерживая впечатления от книг, представляя глазам верную картину страны тумана и грязи, не давая желаниям уклониться от исходной точки, отдалиться от их источника.

Ничто не удерживало его, и в один прекрасный день он вдруг решился. Он так спешил, что уехал очень рано, желая как можно скорее убежать от настоящего, почувствовать себя замешанным в уличной толкотне, в шуме толпы и вокзала.

— Я дышу, — сказал он себе, когда поезд, замедляя свой вальс, остановился в ротонде дебаркадера де-Ссо, выбивая свои последние пируэты отрывистом грохотом поворотных платформ.

На бульваре д'Ансфер он позвал извозчика, радуясь, что так завален чемоданами и чехлами. Путем щедрого обещания на чай он условился с человеком в брюках орехового цвета и красном жилете:

— На час, — сказал он, — на улице Риволи вы остановитесь перед «Galignani's Messenger», — он хотел купить перед отъездом путеводитель по Лондону Бедекера или Муррея.

Карета тяжело двинулась, поднимая вокруг своих колес обручи грязи; плыли по болоту; серое небо, казалось, опиралось на крыши домов; по стенам сверху донизу текли ручьи; вода переливалась через кровельные желоба; мостовые были покрыты разводами грязи, в которой скользили прохожие. На тротуарах, мимо которых проезжали омнибусы, останавливались прохожие; женщины, подобрав юбки, прикрывшись зонтиками, прижимались к витринам, чтобы избежать брызг.

Косой дождь хлестал в дверцы кареты; Дез Эссент должен был поднять стекла, исчерченные водяными полосками; брызги грязи блестели, как фейерверк, со всех сторон фиакра. Под монотонный шум ливня, как будто сыплющийся из мешка горох на чемоданы и крышу кареты, Дез Эссент мечтал о своем путешествии; это уже был аванс Англии, получаемый им в Париже в виде этой ужасной погоды. Дождливый, колоссальный, необъятный Лондон, воняющий раскаленным чугуном и сажей, постоянно дымящийся в густом смоге, развернулся теперь перед его глазами; ряды доков тянулись, теряясь вдаль, заполненные портовыми кранами, лебедками, тюками, кишашие людьми, вскарабкавшимися на мачты, сидящими верхом на реях; а на пристанях мириады других, согнувшись, вкатывали в подвалы бочки.

Все это волновалось на берегах, в гигантских амбарах, омываемых гнилой и темной водой воображаемой Темзы, в лесу мачт и рей, разрывающих бледные тучи, в то время, как одни поезда мчались на всех парах вверх, в небо, а другие катились в сточные трубы, издавая истошные крики, изрыгая клубы дыма из своих пастьей, когда на всех бульварах и улицах, где сверкали в вечных сумерках чудовищно яркие и наглые рекламы, катились волны карет среди рядов занятых, молчаливых людей, с устремленными вперед глазами и прижатými локтями.

Дез Эссент приятно вздрагивал, чувствуя себя вмешавшимся в этот ужасный мир негоциантов, в этот непроницаемый туман, в эту непрерывную деятельность, в безжалостную систему зубчатых колес, раздавливающих миллионы обездоленных бедняков, которых филантропы, под предлогом утешения, заставляют читать Библию и петь псалмы.

От толчка фиакра, заставившего его подпрыгнуть на сиденье, видение исчезло. Он посмотрел через дверцы; настала ночь; в густом тумане газовые рожки мигали в желтоватых кругах; ленты огня плыли в лужах и,

казалось, вертелись вокруг колес экипажей, прыгающих в жидком грязном пламени. Он пришел в себя, увидел Карузель, и вдруг беспричинно, или, может быть, вследствие резкого перехода из вымышленных пространств, его мысль вернулась к обыкновенному случаю: он вспомнил, что слуга забыл положить, приготавливая чемоданы, его зубную щетку среди других принадлежностей его дорожного туалетного несессера. Он просмотрел список уложенных вещей: все было в порядке уложено в чемодане; но его досада, что щетка забыта, продолжалась до тех пор, пока толчок остановившейся кареты не прервал его мыслей и сожалений.

Он был на улице Риволи перед «Galignani's Messenger».

Две большие витрины, разделенные дверью с матовыми стеклами, покрытыми надписями, вырезками из журналов и голубыми полосками телеграмм, были заполнены альбомами и книгами. Он подошел, привлеченный видом бумажных папок ярко-голубого и нежно-зеленого цвета с вытисненными золотом и серебром узорами, коленкоровых переплетов цвета светло-коричневого, травянисто-зеленого, гусиного пера и красной смородины с выдавленными черными полосками на крышках и корешках. Все переплеты несли совершенно не парижский меркантильный оттенок, грубый, но столь же дешевой, как стиль дрянных французских переплетов.

Среди открытых альбомов с юмористическими сценами Дюморье и Джона Лич или несущимися через равнины неистовыми кавалькадами Кальдекота видно было несколько французских романов, смешивающихся с этими незрелыми тонами, — добродушные и самодовольные пошлости.

Наконец он оторвался от витрины, толкнул дверь и вошел в большую библиотеку, полную народа. Сидящие там иностранки развертывали папки и на незнакомых языках бормотали замечания. Продавец принес ему целую коллекцию путеводителей. Дез Эссент тоже сел, разбирая

принесенные книги, гибкие переплеты которых гнулись в его руках. Просмотрев их, он остановился на одной странице Бедекера, где описывались лондонские музеи. Он заинтересовался лаконичными и точными описаниями путешеводителя; но его внимание уклонилось от старой английской живописи к новой, которая была ему интересней. Он вспомнил некоторые образцы, виденные им на международных выставках и мечтал, что, может быть, опять увидит их в Лондоне: из картин Милле, «Бдение св. Агнессы», серебристо-зеленого лунного оттенка, картины Уоттса в странных красках с пятнами гуммигута и индиго, как будто набросанные больным Гюставом Моро, доотделанные анемичным Микеланджело и подправленные утопающим в синеве Рафаэлем. Вспомнил он и другие полотна: «Осуждение Каина», «Ида» и «Ева», в которых в странной, таинственной атмосфере этих трех мастеров выступала квинтэссенция грубой личности заумного и мечтательного англичанина.

Все эти полотна неожиданно всплыли в его памяти. Продавец, удивленный забывшимся покупателем, спросил его, который из этих путеводителей он выберет. Дез Эссент удивленно посмотрел на него, потом извинился, купил Бедекера и вышел. Сырость охватила его. Ветер дул с одной стороны и хлестал дождем по аркам. «Поезжайте туда», — сказал он кучеру, указывая на помещение в конце галереи, на углу улицы Риволи и Кастильоне, которое своими беловатыми оконными стеклами, освещенными изнутри, походило на гигантский ночник, горящий в болезненной тумане, среди бесприютности большой погоды.

Дез Эссент вошел в длинный узкий проход винного погреба, свод которого поддерживали чугунные подпорки. Вдоль стен на полках громоздились бочки.

На этих бочках, с королевскими гербами, с железными обручами посредине, украшенных деревянными зубцами, симулирующими решетку из трубок, на зарубках которых



висели стаканы в виде тюльпанов, с каменными кранами в нижней части, — на этих бочках помещены были цветные ярлыки с названием и ценой вина, покупаемого бочками, бутылками или отведываемого стаканами.

В проходе между бочками, под огнями газа, жужжавшего в рожках безобразной люстры, выкрашенной в серо-железный цвет, среди двойного ряда стульев до самого конца погреба, загроможденного другими бочками, на которых лежали боком маленькие дубовые бочонки, с выжженными на дереве названиями, тянулись столы, заставленные корзинками с бисквитами «Пальмерс», с солеными и сухими пирогами, тарелками, на которых громоздились бутылочки приправ и сэндвичи, под безвкусной оболочкой которых таилась острая горчица.

Запах алкоголя охватил Дез Эссента, когда он уселся в этом зале, где дремали крепкие вина. Он посмотрел вокруг себя: вот выстроились емкости разнообразных портвейнов, крепкие или сладкие вина, цвета акажу или амаранта, отмеченные похвальным эпитетом «old port, light delicate, cockburn's very fine, magnificent old Regina»; там, выставя вперед свои страшные брюха, теснились бок о бок громадные бочки с воинственными испанскими винами — хересом и его разновидностями, — цвета обожженного или сырого топаза: *san lucar, pasto, pale dry, oloroso, amontilla*, — сладкими или сухими.

Погреб был полон. Облокотившись на стол, Дез Эссент ждал стакана портвейна, заказанного джентльмену, который в это время откупоривал шипучую содовую воду в овальной бутылке, напоминающей в увеличенном виде капсулы из желатина и клейковины, которые употребляют фармацевты, чтобы скрыть вкус некоторых лекарств.

Вокруг него все были англичане: неловкие, бледные клерки, с головы до ног одетые в черное, в мягких шляпах, в зашнурованных ботинках, в бесконечных сюртуках, сияющих на груди маленькими пуговичками, с бритыми подбородками, в круглых очках, с жирными гладкими

волосами; продавцы требухи с мордами догов, с апоплексическими шеями, с ушами, как помидоры, с налившимися кровью идиотскими глазами, с бородами, как у некоторых крупных обезьян; дальше, в конце погребца высоченный колбасник с волосами, как пакля, с подбородком, покрытым белым пухом, как середина артишока, разбирал через увеличительное стекло мелкий шрифт английской газеты; против него с сигарой, воткнутой в волосатую дыру рта, дремал похожий на американского капитан-командора, коренастый, закопченный мужчина с носом в виде луковицы, направив его на развешанные по стенам объявления шампанских марок Перье и Редерера, Хайдзик и Мумма, на голову монаха в капюшоне с готической надписью: «Дом Периньон в Реймсе».

Какая-то расслабленность охватила Дез Эссента в этой атмосфере гауптвахты; оглушенный болтовней англичан, беседующих между собой, он грезил, вызывая перед стаканами пурпурового портвейна так любящих его пить персонажей Диккенса, наполняя воображением погреб новыми лицами; здесь он видел белые волосы и разгоряченное лицо господина Уикфельда, там — флегматичную и хитрую наружность и непримиримый взгляд господина Талкинхорна, угрюмого стряпчего из «Холодного дома». Все они выплывали из его памяти, размещались в «Bodega» со своими поступками и движениями; его воспоминания, оживленные недавним чтением, достигли невероятной ясности. Город романиста, ярко освещенный дом, уютный и тепло натопленный, бутылки, медленно разливаемые маленькой Доррит, Дорой Копперфильд, сестрой Тома Пинча, казались ему теплым ковчегом, плавающим среди потопа грязи и сажи. Он разнежился в этом фиктивном Лондоне, чувствуя себя счастливым от того, что находится под кровом, слушая, как плывут по Темзе буксирные суда, испускающие зловещие завывания за Тюильри, около моста. Его стакан стоял пустым; несмотря на пар, плывший в погребе, нагреваемом еще курящимися сигарами и

трубками, возвращаясь к действительности, он чувствовал легкую дрожь из-за мерзкой погоды.

Он спросил стакан амонтильядо, и от этого сухого и светлого вина отлетели размягченные, невинные повести английского автора, но возникли жестокие и болезненные, раздражающие произведения Эдгара По; от амонтильядо Дез Эссента охватил холодный кошмар человека, заключенного в подземелье. Добродушные, обыкновенные лица американских и английских пьяниц, сидящих в зале, показались ему выражающими непроизвольные и ужасные мысли, инстинктивные гнусные намерения. Потом он увидел, что все расходятся, что приближается час обеда; расплатившись, он соскочил со своего стула и совершенно ошеломленный дошел до двери. Сейчас же по выходе он получил мокрую пощечину; залитые дождевыми шквалами фонари колебали свои маленькие огненные веерки, не давая свету; небо спустилось еще ниже, до середины домов. Дез Эссент вгляделся в арки улицы Риволи, утонувшие в темноте и залитые водой, ему показалось, что он стоит в темном туннеле, прорытом под Темзой. Голодные спазмы в желудке вернули его к действительности. Отыскав свою карету, он назвал кучеру адрес трактира в улице д'Амсертдам, близ вокзала, и посмотрел на часы: семь вечера. Ему как раз хватало времени пообедать; поезд отправляется без десяти девять, и считая часы переезда из Дьеппа в Нью-Хейвен, он пробормотал:

— Если данные путеводителя верны, то завтра я буду в Лондоне ровно в двенадцать с половиной часов дня.

Фиакр остановился перед трактиром; Дез Эссент вышел и прошел в длинный темный зал, разделенный не доходящими до потолка перегородками на ряд отделений, напоминающих стойла. В этом просторном зале, около входа, на прилавке стояли полные помпы пива рядом с закопченными, как старые скрипки, окороками, будто выкрашенными суриком омарами, маринованной макрелью

с кружочками лука и сырой моркови, ломтиками лимона, букетами лавровых листьев и тимьяна, можжевеловыми ягодами и крупным перцем, плавающими в мутном соусе.

Одно из сто́йл было пусто. Он занял его и подозвал молодого человека в черном фраке, тот поклонился, произнося непонятные слова. Пока накрывали стол, Дез Эссент рассматривал соседей; так же как и в «Bolega», островитяне с безжизненными глазами, багровыми лицами, с расудительным или надменным видом читали газеты; только женщины обедали одни, без мужчин, — могучие англичанки с мальчишескими лицами, с широкими лопатками зубов, с щеками румяными, как яблоко, с длинными руками и ногами. Они с истинным усердием набрасывались на ромштеспай, на горячее мясо, сваренное в грибном соусе, вроде пирога, покрытого хлебной коркой.

Давно потерявший аппетит, Дез Эссент смутился перед этими здоровячками, прожорливость которых возбудила в нем голод. Он заказал горячее: окстейл — маслянистый, жирный и крепкий суп из бычьего хвоста; потом он просмотрел карточку рыбных блюд и спросил хэддок, нечто вроде копченого мерлана, которое нашел нужным похвалить, и, глядя, как объедались другие, почувствовал острый голод и съел ростбиф с картофелем и выпил две кружки эля, возбуждаемый легким мускусным запахом коровника, который исходит от этого тонкого светлого пива.

Утолив голод, он отведал голубого сыра стилтон, сладость которого парадоксально отдавала горечью, откусал пирога с ревенем, а потом, для разнообразия, утолил жажду портером, черным пивом, пахнувшим неподслащенной лакрицей.

Он отдыхал; уже несколько лет он не ел и не пил столько; неожиданное изменение в привычках, выбор новых сытных кушаний пробудили его желудок. Развалившись на стуле, он закурил папиросу и приготовился смаковать чашку кофе, в которую влил джина.

Дождь продолжался; Дез Эссент слышал, как он бился в стеклянный потолок комнаты и водопадом стекал по во-

досточным трубам; никто не двигался в зале; все нежились в тепле, перед своими рюмками.

Языки посетителей развязались; из-за того, что почти все англичане, разговаривая, подняли глаза кверху, Дез Эссент заключил, что они говорят о скверной погоде; никто из них не смеялся, к его восторгу все они были одеты в серый шевииот с желтой или розовой искрой. Он удовлетворенно глядел на свое платье, которое ни цветом, ни покроем ничуть не отличалось от других, и порадовался что, некоторым образом, принят в число лондонских граждан.

Вдруг он спохватился: во сколько поезд? Он посмотрел на часы: без десяти восемь; у меня есть еще почти полчаса, чтобы посидеть здесь; и он принялся размышлять о своих планах.

Слабую натуру Дез Эссента влекли только две страны — Голландия и Англия.

Первое из своих желаний он исполнил; недолго думая, в один прекрасный день он покинул Париж и посетил несколько нидерландских городов. Результатом этого путешествия было жесточайшее разочарование. Он составил себе представление о Голландии по произведениям Тенирса и Стена, Рембрандта и Остаде, создавая заранее, по своему обыкновению, экзотические богатства, позолоченные солнцем, как кордовские кожи; воображая себе развеселые ярмарки, непрерывные пирушки в деревнях, ожидая патриархального добродушия, веселой гульбы, воспетой старыми мастерами.

Конечно, Гарлем и Амстердам очаровали его; простой народ, который он видел в деревнях, был очень похож на народ, написанный Ван Остаде, — с его неотесанными детьми, заплывшими жиром кумушками, с их торчащими толстыми грудями и животами; но не было необузданного веселья, семейных попоек, словом, он должен был признаться себе, что голландская школа в Лувре ввела его в заблуждение; она просто послужила толчком его

воображению, бросила его на ложный путь, и он блуждал в неосуществимых мечтах, не находя на земле этой волшебной и реальной страны, где на лугу, усеянном бочками, танцуют крестьяне и крестьянки, плача от радости, топая ногами от счастья, изнемогая от смеха.

Нет, решительно ничего этого не видел он; Голландия была такая же страна, как и другие, менее примитивная, менее добродушная, потому что в ней свирепствовало протестантство со своим строгим лицемерием и торжественной суровостью.

Он вспомнил свое разочарование; посмотрел на часы: до отхода поезда оставалось десять минут. «Уже пора спросить счет и уходить, — сказал он себе. Он чувствовал страшную тяжесть в желудке и во всем теле. — Ну, — сказал он, чтобы придать себе бодрости, — выпью рюмку на прощанье», — налил стакан бренди и потребовал счет.

Появилась личность в черном фраке с салфеткой на руке, нечто вроде дворецкого, с острым лысым черепом, жесткой проседью и бородой без усов, с карандашом за ухом, вставши, как певец, выставив одну ногу вперед, он вынул из кармана записную книжку и, не глядя на бумагу, устремив глаза на потолок около люстры, записал и подсчитал расход. Вот, сказал он, вырвав лист из своей книжечки и передав Дез Эссенту, который с любопытством смотрел на него, как на редкостное животное. Какой удивительный Джон Буль, думал он, рассматривая сию флегматичную особу, которой его бритые губы придавали некоторое сходство с рулевым американского флота.

В это время отворилась дверь таверны, вошедшие принесли с собой запах мокрой псины, к которому примешивался дым каменного угля, заносимого сквозняком в кухонную дверь без щеколды. Дез Эссент не был в состоянии двинуться; приятная слабость скользила по всем членам, мешала даже протянуть руку, чтобы закурить сигару; он сказал себе: «Ну, встать и убираться», — но множество

возражений препятствовали его намерению. К чему дингаться, когда можно великолепно путешествовать на стуле? Если вдуматься, он уже был в Лондоне, запахи, атмосфера, жители, пища, посуда которого окружали его? На что мог он надеяться, кроме новых разочарований, как в Голландии?

Ему как раз было время бежать на вокзал, но бесконечное отвращение к путешествию, властное желание остаться спокойным овладевали им все сильней и упорней. Задумавшись, он тянул время и говорил себе: «Теперь нужно бы было бросаться к кассе, толкаться с багажом, какая скука! Как бы это было обременительно!» Потом еще раз повторил себе: «Я уже испытал и видел все, что хотел. Я насытился английской жизнью со времени моего отъезда; нужно быть дураком, чтобы из-за неразумного перемещения лишиться неумирающих впечатлений. Что это было бы за заблуждение, если бы я попытался отказаться от выношенных идей, предал выпестованные фантазии и наивно поверил, что поездка интересна».

«А! — сказал он, смотря на часы, — уже пора возвращаться». Быстро встал, вышел, приказал кучеру отвезти его обратно на станцию де-Ссо, и вернулся с своими чемоданами, сундуками, узлами, чехлами, зонтами и тросточками в Фонтенэй, чувствуя физическое утомление и нравственную усталость человека, возвратившегося домой после продолжительного и опасного путешествия.

## XII

В течение следующих после его приезда дней Дез Эссент просматривал свои книги и при одной мысли, что он мог бы надолго расстаться с ними, испытывал такое же удовольствие, какое бы он испытал, увидя их после действительно продолжительного отсутствия. Под влиянием этого

чувства все его вещи показались ему новыми, он увидел в них красоту, забытую с тех пор, как их приобрел.

Книги, безделушки, мебель получили в его глазах особенную прелесть. Кровать представилась ему мягче в сравнении с кушеткой, на которой бы он спал в Лондоне; молчаливая сдержанность слуг привела его в восхищение, когда он представил себя, уставшего от шумной болтливости слуг отеля; методичность его жизни показалась еще более завидной с тех пор, как совершил удивительное свое странствие.

Он снова окунулся в свои привычки, и воображаемые сожаления придали ей какое-то тонизирующее свойство.

Но, главным образом, его заняли книги. Он разобрал их, переставлял на полки, просматривая, не испортили ли жара и дожди их переплетов и замечательной бумаги со времени его приезда в Фонтенэй.

Он сначала разобрал свою латинскую библиотеку, потом поставил в новом порядке сочинения Архелауса, Альберта Великого, Луллия, Арнольда Виллановы, трактующих о кабалистике и оккультических науках; наконец, пересмотрел все, одну за другой новейшие книги и с радостью убедился, что все сухи и целы.

Его коллекция стоила ему очень дорого, он не допускал, чтобы любимые авторы в его библиотеке, как у других, были напечатаны на обыкновенной бумаге.

Прежде, в Париже, он давал печатать, для себя одного, некоторые книги, специально нанятым рабочим на ручных печатных станках; обращался к Перрэнну из Лиона, тонкий и чистый стиль которого соответствовал архаическому перепечатыванию старинных книг; выписывал из Англии и Америки новые шрифты для сочинений настоящего столетия или же обращался к типографии в Лилле, которая истари обладала полным комплектом готических шрифтов; онотыскал старинную печатню Аншедэ в Гарлеме, литей-



ная которой хранит пуансоны и матрицы, так называемого гражданского шрифта.

То же делал он и с бумагой. Утомленный серебристой китайской, перламутровой и золоченой японской, белой ватманской, темной голландской, турецкой и желтой сейшельской и чувствуя отвращение к бумаге, изготовленной машиной, он заказал особенную полосатую на старинных Вирских мануфактурах, где треплют коноплю вручную, специальными толкушками. Чтобы внести немного разнообразия в свою коллекцию, он несколько раз выписывал из Лондона наложенные ткани, бумагу с ворсом, репсовую, а один торговец из Любека, поощряя его презрение к библиофилам, изготовил для него усовершенствованную бумагу, искристую, звонкую, немного хрупкую, в составе которой соломинки были заменены золотыми блестками, похожими на взвесь, искрящуюся в данцигской водке.

При таких условиях он обладал единственными книгами необыкновенных форматов, которым он отдавал переплетать Лортику, Гро-Бозоннэ, Шамболю, преемникам Кане, в безукоризненные переплеты из старинного шелка, из тисненой воловьей кожи, из кожи капского козла, — в гладкие переплеты, с узорами, мозаикой, подбитые обьярью или муаром, украшенные по-церковному застежками и углами, иногда даже покрытые блестящей финифтью и оксидированным серебром работы Грюэль-Энгельмана.

Так, он дал напечатать сочинения Бодлера удивительными епископскими буквами старинной типографии Ле-Клер, в широком формате, напоминающем формат требников, на очень легкой японской бумаге, ноздреватой, нежной, как сердцевина бузины, слегка розоватого цвета. Этот единственный экземпляр, отпечатанный черной бархатной тушью, был переплетен в чудесную свиную кожу, выбранную из тысячи образцов, телесного цвета, с крапинками на месте щетины, украшенную черным кружевом из стали, чудесно исполненным великолепным мастером.

Дез Эссент снял с полки эту бесподобную книгу, благоговежно прикасаясь к ней, произведения, которые он перечитывал, показались ему проникновеннее, чем обыкновенно, в этой простой, но бесценной раме. Его восхищение Бодлером было безгранично. По его мнению, до сих пор литература ограничивалась исследованием поверхности души или проникновением в ее доступные и освещенные глубины, приподнимая иногда залежи смертных грехов, изучая их рудные жилы, их нарастание, отмечая, как, например, Бальзак, наслоение души, одержимой мономанией страсти, честолюбием, скупостью, отцовской глупостью, старческой любовью. Это было превосходное изучение добродетелей и пороков, спокойная деятельность тривиальных мозгов, практическая действительность общих мест, без идеала болезненного расстройств, без стремления ввысь; словом, открытия аналитиков останавливались на добрых или злых мыслях, классифицированных церковью; это было простое исследование, обыкновенное наблюдение ботаника, который следит за предусмотренным развитием нормальных цветов, посаженных в настоящую землю.

Бодлер ушел дальше; он спустился в глубину неистощимого рудника и, через заброшенные или неведомые переходы, проник в те области души, где разветвляются чудовищные произрастания мысли.

Там, за этими пределами, где царят болезненные уклонения, мистические столбняки, горячка сладострастия, тиф преступления, он нашел страшные извилины чувств и мыслей, тлеющих под мрачным колоколом скуки.

Он открыл болезненную психологию ума, достигшего осени своих ощущений; показал симптомы душ, отмеченных скорбью и тоской; поведал о возрастающем гниении впечатлений, когда иссякли энтузиазм и вера молодости, когда не остается ничего, кроме бесплодного воспоминания о перенесенных несчастьях, о пережитых, под гнетом бессмысленной судьбы, оскорблениях.

Он следил за каждой фразой этой грустной осени, глядя на человеческое существо, готовое ожесточиться, способное обманываться, заставляющее свои мысли обманывать друг друга, чтобы сильнее страдать, заранее портя всякую радость анализом и наблюдением.

И в этой раздраженной чувствительности, в этой жесткости размышления, отталкивающего неуместный пыл самопожертвования, благодетельные оскорбления любви к ближнему, он видел, как постепенно возникал ужас старых страстей, созревшей любви, когда один еще отдается, а другой уже насторожился. Когда утомление заставляет искать сыновних ласк, мнимая юность которых кажется новой, и материнской искренности, нежность которой успокаивает и придает, так сказать, интересные угрызения совести за воображаемое кровосмешение. А потом в великолепных страницах рассказывает о своей извращенной любви, раздраженной бессилием, этой опасной лжи, наркотике, призванном на помощь, чтобы усыпить страдание и скуку.

В эпоху, когда в литературе скорбь жизни приписывали исключительно несчастьям неразделенной любви или ревности прелюбодеяния, он пренебрег этими детскими болезнями и нащупал более неизлечимые, долговечные и глубокие раны, нанесенные пресыщением, разочарованием и презрением разрушенным душам, которых настоящее мучит, в которых прошлое вызывает отвращение, будущее пугает и приводит в отчаяние.

Чем больше Дез Эссент читал Бодлера, тем больше признавал невыразимое очарование этого писателя; в то время, когда стихи служили лишь для описания внешнего вида существ и вещей, он сумел выразить невыразимое, благодаря мускулистому и мясистому языку, и обладал более, чем все, чудесной мощью фиксировать с удивительным здоровьем выражений самые неуловимые, трепетные, болезненные состояния изнуренных умов и грустных душ.

Кроме Бодлера французских книг на его полках было довольно мало. Он оставался равнодушен к тем произведениям, над которыми считается хорошим вкусом умирать со смеху. «Великий смех Рабле» и грубый комизм Мольера не могли развеселить его, и его антипатия к этим фарсам была настолько сильна, что он не боялся сравнивать их, с точки зрения искусства, с шутовскими проделками паяцев, кривляющихся на ярмарке.

Из старой поэзии он читал только Вийона, меланхолические баллады которого трогали его, и иногда отрывки из д'Обинье, который возбуждал его невероятной ядовитостью своих обращений и проклятий.

В прозе его не интересовали Вольтер и Руссо, а также Дидро, столь превозносимые салоны которого казались ему переполненными нравоучительным вздором и глуповатыми поучениями. Из ненависти ко всем этим пустякам он ограничивался почти исключительно чтением христианского красноречия, чтением Бурдалу и Боссюэта, звучные и нарядные периоды которых производили на него особенное впечатление; но преимущественно он наслаждался эссенциями, сгущенными в тех строгих мощных фразах, какие рождал Николь и особенно Паскаль, суровый пессимизм и болезненная скорбь которого производили на него трогательное впечатление. За исключением этих нескольких книг, французская литература в его библиотеке начиналась с нынешнего столетия.

Она делилась на две группы: одна группа заключала в себе светскую литературу, другая — католическую, специальную литературу, почти неизвестную, но собранную старинными букинистами в четырех концах света.

У него хватило смелости бродить по этим склепам, и так же, как в светском искусстве, под гигантской грудой пошлостей он нашел несколько произведений истинных мастеров.

Отличительным свойством этой литературы была постоянная неизменность ее идей и языка; как церковь уве-

ковечила первоначальную форму предметов, так же и она сохранила мощи ее догматов и благоговейно охраняла раку, вмещающую их, — ораторский язык великого века. По словам одного из этих писателей, Озолама, христианскому стилю нечего было делать с языком Руссо; приходилось пользоваться исключительно диалектом, выработанным Бурдалу и Боссюэ.

Вопреки этому мнению, церковь довольно терпимо закрывала глаза на некоторые выражения и обороты, заимствованные у светского стиля того же века, и католический стиль был немного очищен от массивных фраз, особенно тяжелых у Боссюэ, от длинных вводных предложений и утомительной связи местоимений; но этим только и ограничивались уступки, другие же, конечно, ни к чему не привели, так как эта проза, облегченная таким образом, принуждена была довольствоваться очень ограниченными темами, которые церковь бралась обсуждать.

Стиль, неспособный слиться с современной жизнью, сделать видимым и осязаемым самый обыкновенный вид людей и вещей, объяснить сложные ухищрения ума, безразличного к состоянию благодати, отличался, однако, отвлеченными темами; как ни один другой язык, он годился для словопрений, для доказательств сомнительных теорий и обладал авторитетом, необходимым для обоснования бесспорной ценности доктрин. К сожалению, и в нем, как и везде, бесчисленная армия педантов заполнила святилище и своим невежеством и отсутствием таланта загрязнила его строгую, благородную осанку; к довершению несчастья, сюда вмешались богомолки, а ограниченные ризницы и глупые салоны превозносили как гениальные творения жалкую болтовню этих женщин.

Из подобных сочинений Дез Эссент, ради любопытства, прочел произведения госпожи Свечиной, русской генеральши, жившей в Париже, с которой самые ревностные католики домогались знакомства; ее сочинения наводили на него убийственную скуку, так плохи, так ничтожны были;

они напоминали собой эхо, отдающееся в маленькой домовой церкви, где надутые и законсервированные молящиеся бормочут молитвы и в то же время потихоньку спрашивают друг друга о новостях, с таинственным и глубокомысленным индолом повторяют друг другу общие места о политике, о предсказаниях барометра и о погоде.

Но были и хуже: лауреатка госпожа Огюста Кравен, премированная французским Институтом, авторша «Рассказа сестры», «Элианы», «Флеранж», поддержанных всей апостольской прессой, возносившей осанны и аллилуйи. Дез Эссент представить себе не мог, что можно писать подобные ничтожности. По мыслям эти книги были так глупы, написаны таким скучным языком, что благодаря этому становились, пожалуй, единственными в своем роде.

Не обладая нетронутой душой и не будучи от природы сентиментальным, конечно, не среди женщин мог найти Дез Эссент литературное убежище, подходящее к его вкусам.

Все же он умудрился с терпеливым вниманием отведать сочинений гениальной девицы из группы синих чулков; но все его усилия были напрасны; он уже не мог дотронуться до этого «Дневника» и до этих «Писем», в которых Эжен де Герен без всякой скромности прославляет чудесный талант своего брата, кропавшего стихи, и с таким простодушием, с такой грацией, что нужно дойти до произведений де Жуи и Экушар Лебрэн, чтобы встретить такие же новые и смелые сочинения. Также тщетно старался он понять наслаждение от сочинений, в которых встречаются, например, такие места:

«Сегодня утром я повесила над кроватью папá крест, который дала ему вчера одна маленькая девочка»; «Мими и я приглашены на завтра присутствовать у г-на Рокьэ на освящении колокола; эта поездка мне нравится»; или отмечают следующие важные события: «надела себе на шею медальон с изображением Пресвятой Девы, присланный мне Луизой, для предохранения от холеры»; или же поэзия такого рода: «О прекрасный луч луны, упавший на

Евангелие, которое я читала», — наконец, такие тонкие и остроумные наблюдения: «Когда я вижу проходящего мимо креста человека, который снимает шляпу и крестится, я говорю себе: вот идет христианин».

Так продолжается без перерыва до тех пор, пока не умирает Морис де Герен, и сестра оплакивает его на новых страницах, написанных водянистой прозой, пересыпанной местами отрывками из поэм, жалкая скудость которых разжалобила наконец Дез Эссента.

Нельзя сказать, что католическая партия обладала художественным вкусом и была очень разборчива в выборе своих протеже. Эти безцветные существа, которые она так лелеяла, писали, как монастырские пансионеры, вялым языком, с таким извержением фраз, которого не могло бы остановить никакое вяжущее средство.

Дез Эссент в негодовании отвернулся от этой литературы, но и новейшие духовные писатели не могли вполне вознаградить его за это отвращение. Это были проповедники или безгрешные и корректные полемисты; но в их речах и книгах христианский язык сделался безличным, застыл в риторическом спокойствии, с заранее рассчитанными движениями, в ряде периодов, построенных по одинаковому образцу. И действительно, все духовенство писало одинаково, лишь с большей или меньшей небрежностью или напыщенностью; и не было почти никакой разницы между однообразными текстами, написанными Дюпанлу или Ландрио, Ла-Буйри или Гомом, Дон Геранже или отцом Ратисбоном, монсеньором Фреппелем или монсеньором Перро, преподобными отцами Равиньяном или Гатри, иезуитом Оливэном, кармелитом Дозите, доминиканцем Дидоном или старцем приором Св. Максимиана — преподобным Шокарном.

Дез Эссент часто думал: нужен истинный талант, очень глубокая оригинальность, твердая вера, чтобы растопить замерзший язык, оживить народный стиль, которого не может поддержать на высоте никакая мысль, как бы

нова она ни была, никакая диссертация, как бы она ни была смела. Было несколько писателей, пламенное красноречие которых растапливало и разламывало этот язык, — главным образом, Лакордер, один из тех немногих писателей, которых за много лет породила церковь.

Замкнутый, как и все его собратья, в узкий круг ортодоксальных теорий, обреченный топтаться на одном месте и касаться только идей, пущенных в обращение и освященных Отцами Церкви и развитых церковными учителями, он сумел обновить их, заменить более индивидуальной и живой формой. Местами в его «Беседах Богоматери» смелость выражений, новые слова, прыжки и крики радости, выражения любви, исступленные излияния заставляли дымить под его пером вековой стиль. Кроме ораторского таланта, каким обладал этот способный и кроткий монах, искусство и старания которого истощались в невозможных усилиях примирить свободные доктрины общества с авторитетными догматами Церкви, — в нем была горячая любовь и дипломатическая нежность. Так, в его посланиях к молодым людям проглядывала ласковость отца, увещающего своих сыновей, выговоры с улыбкой, радушные советы, снисходительные прощения. Те послания, где он признавался в своем чревоугодии, были обворожительны; другие, в которых он поддерживал бодрость духа и рассеивал сомнения своей непоколебимой верой, — были величественны. Словом, это отеческое чувство, получавшее под его пером нежный, почти женственный оттенок, делало его прозу несравненной среди всей клерикальной литературы.

После него очень мало было священников и монахов, обладавших хоть какую-нибудь индивидуальностью. Еще можно было прочесть несколько страниц его ученика, аббата Пейрейва. Он оставил трогательную биографию своего учителя, несколько милых писем и статей, написанных звучным языком речей, сочинил несколько панегириков, в которых слишком преобладал декламаторский тон. Конечно, у аббата Пейрейва не было ни вдохновения, ни пыла Лакордера. Он был слишком священником и очень мало



человеком; но местами в риторике его проповедей сверкали интересные сопоставления, широкие и солидные фразы, почти величественные подъемы.

Но нужно было дойти до писателей, не посвященных в духовный сан, но преданных интересам католицизма, чтобы найти прозаиков, на которых стоило бы остановиться.

Епископский стиль, с которым так пошло обращались прелаты, снова закалился и вновь приобрел мужественную силу, благодаря графу де Фаллу. У этого академика, под его сдержанной наружностью, просачивалась желчь; его речи, произнесенные в 1848 году, многословны и бесцветны, но статьи его, напечатанные в «Корреспондан» и собранные потом в книгу, язвительны и резки, несмотря на преувеличенную вежливость формы. Написанные в виде речей, они заключали в себе несколько горькое вдохновение и поражали нетерпимостью своих убеждений.

Полемист, опасный своими засадами и увертками, хитрый логик, нападающий врасплох, граф де Фаллу написал проникновенные страницы на смерть госпожи Свечиной, сочиненьица которой он собрал и которую чтит как святую.

Но особенно темперамент писателя обнаружился в двух брошюрах, появившихся одна в 1846 году, другая в 1880 году, — последняя под заглавием: «Национальное единство»:

Возбужденный холодным бешенством, непримиримый легитимист, вопреки своему обыкновению, сражался теперь открыто и в заключении своей речи бросал неверующим эти грозные ругательства:

«И вы, систематические утописты, не принимающие в соображение человеческой природы, зачинщики атеизма, вскормленные химерами и злобой, вы — освободители женщин, разрушители семьи, генеалоги обезьянообразной породы, вы, имя которых еще недавно было ругательством — радуйтесь; вы были пророками, и ваши ученики будут первосвященниками гнусного будущего».

Другая брошюра под заглавием «Католическая партия» была направлена против деспотизма «Юнивер» и против Вейо, имя которого она отказывалась произнести. Здесь снова начинались увертливые нападения, яд просачивался из-под каждой строчки, в которых дворянин в синем отпечатал презрительными сарказмами на удары старым башмаком противника.

Они оба были представителями двух партий церкви, где разногласия разрешаются в непримиримой ненависти; де Фаллу, более надменный и коварный, принадлежал к той либеральной секте, к которой примкнули Монталамбер и Кошен, Лакордер и де Брольи; он весь принадлежал идеям «Корреспондан» — журналу, старавшемуся покрыть лоском терпимости повелительные теории церкви. Вейо, более простой и откровенный, сбросил маски и, не колеблясь, разоблачал тиранию ультрамонтанских вождельний и вслух заявлял о немилосердном гнете их догматов.

Вейо выработал для борьбы особый язык, в котором Ла Брюйер смешивался с жителем предместья Гро-Кайу. Этот полуторжественный, полупростонародный стиль, отмеченный грубой индивидуальностью, получил грозную тяжесть палицы. Страшно упорный и храбрый, он немилосердно бил этим ужасным орудием и свободомыслящих, и епископов, ударяя с размаху, бросаясь, как бык, на своих врагов, к какой бы партии они не принадлежали. Находясь в недоверии у церкви, не признававшей ни контрабандного языка, ни нелепых запретов, этот религиозный борец поражал своим крупным талантом, поднимая за собой всю прессу, которую он избил до крови в своих «Ароматах Парижа», не сдаваясь ни на какие атаки, отделяваясь ударом сапога от всех низких писак, пыгавшихся прыгнуть ему под ноги.

К сожалению, его несомненный талант обнаруживался лишь в кулачном бою; в мирное время Вейо был посредственным писателем; его стихотворения и романы вызывали жалость. Его острый язык от бездействия выдыхался;

католический берсерк на покое превращался в художочного писателя, который кашлял банальными литаниями и лепетал детские гимны.

Более сдержанным и важным был любимый защитник церкви, инквизитор христианского языка, Озомам. Хотя его довольно трудно было понять, но Дез Эссент всегда поражался апломбом этого писателя, говорившего о неисповедимых путях Бога, тогда как следовало бы еще доказывать те невероятные тезисы, которые он выдвигал; с величайшим хладнокровием он искажал события, наглее панегиристов других партий оспаривал факты, признанные историей, удостоверял, что церковь всегда выказывала уважение к науке, называл ереси порочными миазмами, трактовал буддизм и другие религии с таким презрением, что даже намеками на их доктрины боялся осквернить католическую прозу.

Иногда религиозная страсть вдыхала некоторый жар в его ораторский язык, под внешним льдом которого глухо кипел бурный поток. В своих многочисленных сочинениях — о Данте, о святом Франциске, об авторе «Stabat», о францисканских поэтах, о социализме, о торговом праве, — он всюду защищал Ватикан, который признавал вечным, и без критики оценивал все его поступки, сообщаясь лишь с тем, приближались ли они к его защите или расходились с ней.

Эта манера смотреть на все вопросы с одной точки зрения была также у другого жалкого писаки, которого некоторые противопоставляли ему, как соперника, — у Неттмена; но этот был менее натянутым и высказывал менее надменные и более светские притязания; неоднократно выходил он из литературного монастыря, куда заточил себя Озомам, и просматривал светские сочинения, чтобы судить о них. Он вошел туда оцупью, как входит ребенок в погреб, видя вокруг себя лишь темноту, чуя среди этого мрака только мерцание восковой свечи, бросающей свет на несколько шагов вперед. В этой темноте, не зная места, он поминутно

спотыкался, говоря о Мюрже, «заботившегося о чеканном и тщательно законченном стихе», о Гюго, который высказывал зараженное и нечистое и с которым он осмеливался сравнивать де Лапрада, Делакруа, презиравшего всякие правила, Поля Деларюша и поэта Ребуля, которых он восхвалял, потому что они казались ему верующими.

Дез Эссент не мог удержаться от того, чтобы не пожать плечами над жалкими мыслями, прикрытыми прозой, изношенная ткань которой цеплялась и рвалась по всем швам фраз.

С другой стороны, сочинения Пужоля и Генуда, Монталамбера, Николя и Карне не больше возбуждали в нем интерес. Его любовь к истории, трактуемой с большой эрудицией и приличным языком герцогом де Брольи, его склонность к социальным и религиозным вопросам, разбираемым Анри Кошеном, который открылся в одном письме, где он рассказывает о трогательном пострижении в монахи в Сакре-Кёр, не были вполне удовлетворены. Давно уже он не дотрагивался до этих книг, давно уже бросил в старые бумаги жалкие плоды кропотливого труда мертвенного Понмартена и несчастного Феваля и отдал прислуге для всеобщего пользования историйки Обино и Лассера, эти пошлые описания чудес Дюпона Турского и Пресвятой Девы. Словом, Дез Эссент не находил в этой литературе даже кратковременного развлечения. Он сдвинул в дальний угол своей библиотеки целую грудку книг, которые он изучал, когда вышел от отцов-иезуитов. «Мне бы следовало оставить это в Париже», — сказал он себе, доставая книги, которых он особенно не любил, — сочинения аббата Ламоннэ и непроницаемого сектанта, столь менторски, столь высокопарно скучного и пустого, графа Жозефа де Местра.

Только один том остался на полке — «Человек» Эрнста Элло, бывшего совершенной антитезой своих собратьев по религии. Почти одинокий среди благочестивой группы, которую пугали его выходки, Эрнст Элло, в конце концов,

покинул этот путь великого общения, ведущий с земли на небо. Почувствовав отвращение к избитости этого пути, к толкотне этих литературных пилигримов, идущих гуськом, шаг за шагом, в течение веков, по одной и той же дороге, останавливаясь на одних и тех же местах, чтобы обменяться общими местами о религии, об отцах церкви, о верованиях, об учителях, — он пошел поперечными тропинками, вышел на мрачную прогалину Паскаля, где он остановился, чтобы отдохнуть, потом опять продолжал свой путь и гораздо раньше янсениста, которого он, впрочем, осмеивал, вошел в область человеческой мысли.

Натянутый и изысканный, докторальный и сложный Эрнст Элло пронизательными тонкостями своего анализа напоминал Дез Эссенту глубокие и тонкие исследования некоторых неверующих психологов прошлого и настоящего столетия. Как будто он был католическим Дюранти, но более догматичным и резким, — опытный инженер души, искусный часовщик ума, находящий удовольствие изучать механизм страсти и подробно объяснять его сложное устройство.

В этом причудливо устроенном уме являлись неожиданные сочетания мыслей, непредвиденные сближения и противоречия; затем очень интересный прием — делать из этимологии слов трамплин для идей, ассоциации которых становились иногда неуловимыми, но почти всегда оставались остроумными и живыми.

Несмотря на плохое равновесие построений, он с необыкновенной пронизательностью разбирал такие понятия, как «скупость», «обыденность», анализировал «моду», «страсть быть несчастным», отыскивал интересные сравнения, напоминающие отношения фотографии к воспоминаниям.

Но искусство владеть усовершенствованным орудием анализа, украденное им у врагов церкви, представляло лишь одну сторону темперамента этого человека.

В нем жил еще другой человек: этот ум раздваивался, и из-за писателя был виден религиозный фанатик и библейский пророк.

Как Гюго, которого он иногда напоминал своими вывихнутыми мыслями и фразами, Эрнст Элло любил играть в святого Иоанна на Патмосе; он был архиереем и пророчествовал с вершины скалы, изготовленной на улице Сен-Сюльпис, приветствуя читателя апокалипсическим языком, приправленным горечью Исайи.

Когда он заявлял неумеренные претензии на глубину, некоторые угодливые люди кричали о гении, притворялись, что считают его великим человеком, смотрят на него как на кладезь знаний века, — может быть, и кладезь, но дно у него совершенно сухо.

В своей книге «Божье слово», в которой он парафразирует Священное Писание, стараясь запутать его ясный смысл, в другой книге, «Человек», и в брошюре «День Господень», написанной темным и отрывистым библейским языком, он выставляет себя карающим апостолом, гордым, разъедаемым желчью, и в то же время священником, страдающим мистической эпилепсией, де Местром, который бы обладал талантом, мрачным и яростным сектантом.

«Только болезненная распушенность этого казуиста, — думал Дез Эссент. — С его нетерпимостью, достойной Озаналя, которая затмевает его великолепные находки, его неприятие посторонних влияний, его кристальные аксиомы, его мнение, что “геология вернулась к Моисею”, что естественная история, химия и вся современная наука проверяла научную точность Библии; на каждой странице был вопрос о единой истине, о сверхчеловеческой учености церкви, — и все, все пересыпано более чем опасными афоризмами и неистовыми проклятиями, искусства последнего столетия.

С этой странной смесью соединялась любовь к набожной нежности, к переводу книги «Видений» Анжель де Фолиньо, не имеющей равной себе по своей жидкой глупо-

сти, к избранным произведениям Жана Рейсбрука Удлин-тельного, мистика XIII века, проза которого представляла непонятную, но притягательную амальгаму мрачных вос-торгов, нежных откровений и резких порывов.

Вся поза высокомерного архиерея, каким был Элло, вылилась в чепухе предисловия, написанного к этой книге. В нем говорилось: необычайные вещи могут быть выражены только лепетом, и он действительно лепетал, говоря, что «священная тьма, в которой Рейсбрук простирает свои орлиные крылья», — его океан, его добыча, его слава, и все четыре горизонта были бы для него слишком узким одеянием.

Как бы то ни было, Дез Эссента увлекал этот неуравновешенный, но пронзительный ум, искусный психолог не мог слиться в нем с благочестивым педантом, и эти столкновения, эта дисгармония составляли индивидуальность этого человека.

Вокруг него собралась небольшая группа писателей, стоявших на передовой линии клерикального лагеря; они не принадлежали к большинству, а были, собственно говоря, разведчиками религии, которая не доверяет талантливым людям, таким, как Вейо и Элло, находя их недостаточно обращенными, недостаточно покорными; в сущности, ей нужны солдаты, которые бы совсем не размышляли, рать слепых воинов — посредственностей, о которых Элло говорит с яростью человека, хорошо с ними знакомого. Также католицизм поспешил вычеркнуть из своего списка одного из своих партизан, бешеного памфлетиста, писавшего раздраженным и изысканным языком, Леона Блуа, и выбросил из своих библиотек, как прокаженного, другого писателя, — Барбе д'Оревиля. Правда, он был слишком непокорен и слишком компрометировал католицизм; другие, в конце концов, опускали головы перед выговорами; он же был баловнем, и партия его не признала. В своих сочинениях он бегал за женщинами и, растерзанных, приводил

в святилище. Нужно было безграничное презрение, каким католицизм покрывает талант, чтобы отлучение от церкви в приличной и должной форме не поставило совершенно вне закона этого странного служителя, который под видом почитания своих учителей разбивает окна часовни, жонглирует дароносицами и исполняет вакхические танцы вокруг дарохранительницы.

Два произведения Барбе д'Оревильи особенно волновали Дез Эссента, — «Женатый священник» и «Дьявольские истории». Другие его сочинения, «Заколдованный», «Рыцарь неудач», «Старая любовница», были уравновешеннее и цельнее, но они не трогали Дез Эссента, интересовавшегося только произведениями, изнуренными и раздраженными лихорадкой.

В этих, почти здоровых, книгах Барбе д'Оревильи постоянно лавирует между двух крайностей католической религии, которые в конце концов сливаются: мистицизмом и садизмом. В этих книгах, которые перелистывал Дез Эссент, Барбе утратил всякое благоразумие, и понесся, сломя голову, неизвестно куда.

Весь таинственный ужас Средних веков носился над этой невероятной книгой — «Женатый священник»; магия перемешивалась с религией, черная книга — с молитвой, и Бог первородного греха, более немилосердный, более дикий, чем сам дьявол, мучил невинную Калисту, проклятую им, заклеив ее красным крестом на лбу, как некогда он велел одному из своих ангелов отметить дома неверующих, которых он хотел убить. Сцены, написанные постыющимся монахом в бреду, развертывались в причудливом стиле буйнопомешанного; к сожалению, среди таких больших созданий, как гальванизированная Олимпия Гофмана, некоторые, как, например, Ноэль де Негу, казались созданными в минуты изнеможения, следующими за припадками, и противоречили пляскам мрачного безумия, в который они невольно вносили комизм, какой возбуждает вид малень-



кого цинкового человечка в шлепанцах, играющего на валторне на цоколе часов.

Пережив яркие мистические видения, писатель обрел успокоение, сменяющееся очередным страшным припадком.

Его мнение, что человек — буриданов осел, существо, разрываемое двумя равными по могуществу силами, которые по очереди остаются то победительницей его души, то побежденной им; его убеждение, что человеческая жизнь — лишь переменная борьба, происходящая между небом и адом; его вера в два противоположные существа — Сатану и Христа, — неизбежно должны были породить внутреннюю распрю, в которой душа, исступленная в непрерывной борьбе, воспламененная обещаниями и угрозами, ослабевает, наконец, и отдается той из сторон, которая упорнее преследовала ее.

В «Женатом священнике» Барбе д'Оревиля возносит хвалу Христу, достойному поклонения; в «Дьявольских историях» автор сдается дьяволу, прославляет его, и тогда является сатанизм — незаконнорожденное дитя католицизма, которое эта религия под разными формами преследовала в течение веков заклинаниями бесов и кострами.

Это извращенное и необъяснимое состояние не может, в сущности, зародиться в душе неверующего; оно вовсе не заключается в желании погрязнуть только в распутствах плоти, обостренном кровавыми насилиями, ибо тогда оно было бы простым извращением чувств сатириазиса, дошедшего до крайних пределов. Прежде всего оно заключается в святотатственных обрядах, в нравственном мятеже, в духовном развороте, в чисто идеальном, чисто христианском заблуждении; оно проявляется также в смягченной страхом радости, аналогичной со злым удовлетворением непослушных детей, играющих запретными вещами только потому, что родители решительно возбрали даже приближаться к ним.

На самом деле если бы в сатанизме не было совсем святотатства, то для него не было бы поводов; с другой стороны, святотатство, вытекающее из самого существа религии, может быть умышленно совершено только верующим, так как человек не испытывал бы никакой радости, оскверняя ту веру, которая для него безразлична или неизвестна.

Вся сила сатанизма, все его очарование всецело состоит в запрещенном наслаждении приносить Сатане благоговение и молитвы, которые предназначены Богу; в неисполнении католических заповедей, которые даже исполняют наоборот, чтобы сильнее оскорбить Христа, совершают грехи именно те, которые Он проклял: осквернение религии и чувственные оргии.

В сущности, это преступление, которому маркиз де Сад передал свое имя, так же старо, как сама церковь; оно свирепствовало в XVIII веке, восстанавливая путем простого атавизма нечестивые обряды средневековых шабашей и нисколько не идя дальше их.

Просмотрев «Молот ведьм», страшный кодекс Якоба Шпренгера, попустившего церковь истребить огнем тысячи некромантов и колдунов, Дез Эссент находил в шабаше все непристойные обряды и богохульства сатанизма. Поток порочных насмешек, грязных бесчестий ярко выражался у маркиза де Сада, который свое страшное сладострастие приправлял оскорбительными святотатствами.

Барбе д'Ореви́льи касался именно этого состояния. Если он не заходил так далеко, как де Сад, если, более осторожный и более робкий, он всегда старался чтить церковь, то не меньше, чем в Средние века, обращал свои моления к дьяволу и, чтобы поразить Бога, спускался в демоническую эротоманию, измышляя чувственные извращения, заимствуя даже у «Философии в будуаре» один эпизод, который прикрасил новыми приправами в своей сказке «Обед атеиста».

Дез Эссент наслаждался удивительной книгой; он велел напечатать фиолетовым епископским цветом, окайм-

ленным кардинальским пурпуром, на настоящем пергаменте, один экземпляр «Дьявольских историй», набранный гражданским шрифтом, крючковатые буквы и росчерки которого, в виде закрученных хвостов и когтей, напоминали сатанинские формы.

После известных произведений Бодлера, которые, имитируя песни, раздававшиеся на ночных шабашах, звучали адскими молебнами, среди всех произведений современной апостольской литературы один этот том свидетельствовал состоянии духа, набожном и нечестивом одновременно, в которое часто впадал Дез Эссент, благодаря возвращением к католицизму, к которым приводили его нервные припадки.

С Барбе д'Ореви́льи в библиотеке кончались книги религиозных писателей. Следует отметить, что Дез Эссент считал его скорее парией, принадлежащей к светской литературе, нежели к религиозной, в которой он требовал себе незаслуженное место. Язык растрепанного романтизма, полный неловких выражений, необычайных оборотов, преувеличенных сравнений, ударами кнута заставлял фразы звенеть суматошными бубенцами в продолжение всего текста. Словом, д'Ореви́льи был заводским жеребцом среди меринов, заполняющих ультрамонтанские конюшни.

Дез Эссент размышлял об этом, перечитывая некоторые места своего экземпляра, сравнивая нервный, изменчивый стиль с блеклым и предсказуемым стилем его собратьев по перу; размышлял о том, что язык также подвержен эволюции, вполне в соответствии с учением Дарвина.

Смешавшись с профанами, воспитанный в романтической школе, в курсе всех новых произведений, завсегда́тай в магазине модных изданий, Барбе поневоле был во власти диалекта, перенесшего многочисленные и глубокие изменения и обновленного великим веком.

Напротив, церковнослужители, запертые на своей территории, заточенные в однообразном и старом чтении, не знающие литературного движения веков и по необходимости

решившиеся выколоть себе глаза, чтобы не видеть его, были вынуждены пользоваться неизменным языком восемнадцатого столетия, на котором потомки французов, поселившихся в Канаде, еще до сих пор говорят и пишут, так как никакой перебор оборотов и слов не может произойти в их наречии, изолированном от прежней метрополии и со всех сторон окруженном английским языком.

В это время серебристый звон колокола, благовестившего Angelus, возвестил Дез Эссенту, что пора к столу. Он отложил свои книги, потер лоб и направился в столовую, говоря себе, что среди всех книг, которые он только что разобрал, сочинения Барбе д'Оревилю были единственными, идеи и стиль которых достаточно выражали гниль, болезненные пятна, перезрелый вкус, которыми он так наслаждался у декадентских писателей старых веков, латинских ли, монашеских ли.

### XIII

Погода стала портиться; все времена года перемешались в этом сезоне; после сильных ветров и туманов с горизонта поднималось раскаленное добела небо, похожее на листовое железо. После двух дней сырых холодных туманов, потоков дождя вдруг настала страшная жара и духота. Как будто размешанное громадной кочергой, разверзлось солнце, как печное устье, бросая почти белый свет, обжигавший зрение; огненная пыль поднималась с обожженных дорог, опаляя сухие деревья, обжаривая пожелтевшую траву; отражение солнца на оштукатуренных стенах, световые фокусы, горящие на цинковых крышах и на стеклах окон, слепили глаза; над домом Дез Эссента стояла температура растопленной плавильни.

Полураздетый, он открыл окно, и его обдало, как из горнила; в столовой, куда он укрылся, было жарко, и разреженный воздух кипел. Он сел, совсем ослабевший, возбуждение, поддерживавшее его, пока он находил удовольствие грезить, разбирая книги, — кончилось.

Как и всех людей, страдающих неврозом, жара угнетала его; анемия, сдерживаемая холодом, началась снова, обессиливая изнуренное тело обильным потом.

С сорочкой, прилипшей к мокрой спине, с потными ногами и руками, мокрым лбом, с которого текли по щекам соленые капли, Дез Эссент в подавленном состоянии сидел на стуле; вид мяса, поданного на стол, вызывал у него тошноту; он приказал убрать его, заказал яиц всмятку и попытался проглотить тоненькие ломтики хлеба, но и они стали у него поперек горла; тошнота подступала ему к горлу; он выпил несколько глотков вина, которые обожгли ему желудок, как огненные иглы. Он вытер лицо, холодный пот выступил у него на висках; тогда он стал сосать кусочки льда, чтобы уничтожить тошноту; все было тщетно.

В безграничном изнеможении он приник к столу; задыхаясь, встал, но ломтики хлеба разбухли и медленно поднималась к горлу, перекрывая его. Никогда он не чувствовал себя так беспокойно, таким расстроенным, так не по себе. В глазах у него помутилось; он видел все предметы раздвоенными, вертящимися на одном месте; вскоре исчезли расстояния; его стакан показался ему в одной миле от него; он подумал, что сделался жертвой иллюзий; он лег на диван, но в это время его закачала килевая качка, и тошнота усилилась; он поднялся и решил посредством слабительного избавиться от яиц, которые душили его.

Он вернулся в столовую и грустно сравнил себя с пассажирами, страдающими морской болезнью; он направился,

спотыкаясь, к шкафу, посмотрел на «орган для рта», даже не открыл его, а взял с верхней полки бутылку бенедиктина, которую любил за ее форму, казавшуюся ему возбуждающей нежно-сладострастные и в то же время неопределинно мистические мысли.

Но в первую минуту он отнесся к ней равнодушно, глядя неподвижными глазами на коренастую бутылку темно-зеленого цвета, которая в иное время вызывала перед ним видения средневековых приорств своим старинным монашеским брюшком, своей головой и горлышком, покрытыми капюшоном из пергамента, своей печатью из красного воска с тремя серебряными митрами на лазоревом фоне, прикрепленной к горлышку, как булла, свинцовой пломбой, своим ярлыком, написанным звучным латинским языком на пожелтевшей и как будто выцветшей от времени бумаге: *Liquor Monachorum Benedictinorum Abbatiae Fiscanensis*.

Под этой аббатской одеждой, помеченной крестом и церковными инициалами: Р. О. М., обтянутый пергаментными как хартиями и обвешанный печатями-панегиями, дремал ликер шафранного цвета, превосходного тонкого вкуса. Он издавал сгущенный аромат дегтя и синего зверобоя, смешанный с морскими травами, с йодом и бромом и смягченный сахаром; он раздражал небо спиртным жаром, скрытым под сладостью, совершенно девственной и неопытной, ласкал обоняние остротой извращенности, прикрытой детской и набожной лаской.

Это ханжество, происходящее от удивительного противоречия между видимым и сущим, между литургическим контуром флакона и его содержимым, чисто женским и современным, в прежнее время возбуждало его мечты. Он подолгу грезил над этой бутылкой о монахах, о бенедиктинцах аббатства де Фекам, конгрегации свя-

того Мавра, известной своими историческими трудами, что служили под уставом св. Бенедикта, но вовсе не следовали ни уставам белых монахов де-Сито, ни черных монахов де-Клюни. Он представлял их себе такими, как в Средние века, разводящими лекарственные травы, нагрывающими реторты, выгоняющими из колб чудодейственные бальзамы и эликсиры высшего порядка.

Он выпил одну каплю этого ликера и на несколько минут почувствовал облегчение; но вскоре огонь, который капля вина зажгла в его желудке, снова сделался невыносим. Дез Эссент бросил салфетку, ушел в свой кабинет и стал ходить взад и вперед; ему казалось, что он находится под плотным колпаком, откуда медленно выкачивают воздух, слабость охватила все его тело. Он сдержался и в первый раз, может быть, с своего приезда в Фонтенэй, пошел в свой сад и спрятался под деревом, от которого падала круглая тень. Сидя на траве, он тупо смотрел на грядки овощей, посаженных его прислугой. Он смотрел на них и только к концу часа увидел их, перед его глазами носился зеленоватый туман, который позволял ему видеть, как в глубине воды, только неопределенные образы, с меняющимися тонами и очертаниями.

Наконец, он овладел равновесием и ясно различил лук и капусту, дальше поле латука и на заднем плане, вдоль всего забора, ряд белых лилий, неподвижных в душном воздухе.

Он осмотрел сад, интересуясь растениями, засохшими от жары, и раскаленной почвой, дымившейся в воздушной пыли; потом за изгородью, отделяющей сад от дороги, поднимающейся к лесу, он увидал мальчишек, валявшихся на солнце.

Он сосредоточил на них свое внимание, когда появился новый, поменьше, на которого было противно

смотреть: волосы у него были, как водоросли, полные песку, два зеленых пузыря под носом, отвратительные губы, выпачканные творогом, намазанным на хлеб и посыпанным рубленым луком.

Дез Эссент потянул в себя воздух; позыв к необыкновенным вещам, извращение вкуса охватило его; при виде этого грязного ломтя у него потекли слюни. Ему показалось, что его желудок, отказавшийся от всякой пищи, переварил бы это ужасное кушанье и он наслаждался бы им, как лакомством.

Он вскочил, побежал в кухню, приказал отыскать в деревне булку, творогу, луку-резанцу, распорядился, чтобы ему приготовили точно такой же бутерброт, какой грыз ребенок, и опять вернулся под свое дерево.

Мальчишки уже дрались. Они вырывали друг у друга объедки хлеба, которые запихивали за щеки, обсасывая пальцы. Сыпались удары ногами и кулаками, и более слабые, упавшие на землю, брыкались и плакали.

Это зрелище оживило Дез Эссента; интерес к мальчишеской возне отвлек его мысли от собственной болезни. Глядя на ожесточение мальчишек, он думал о жестоком и отвратительном законе борьбы за существование, и хотя эти дети были для него чернью, он все-таки интересовался их судьбой и думал, что было бы гораздо лучше для них, если бы мать не родила их.

Действительно, их судьбой были сыпь, колики и лихорадки, корь и колотушки с раннего возраста; удары сапогами и одуряющий труд до тринадцати лет; обманывание женщин, болезни и ношение рогов в зрелом возрасте; к старости новые недуги и борьба со смертью в доме призрения нищих или в больнице. И будущее, в конце концов, было одинаковое для всех, и ни те, ни другие, если есть у них хоть немного здравого смысла, не могли бы завидовать друг другу. Но и богатым были доступны, в более изящной обстановке, те же страсти, те же беспокойства, то же



горе, те же болезни и те же посредственные наслаждения, будь то алкоголические, литературные или чувственные. Правда, было некоторое вознаграждение за все эти беды, некоторая справедливость, восстанавливающая равновесие несчастья между классами, избавляя скорее бедных от физических страданий, которые обременяют более неумолимо слабое и немощное тело богатых.

Какое безумие рожать детей. А уж причислить к лику святых Винсента де Поля, который провозгласил нечистыми невинных младенцев, не удостоившихся крещения.

Но он требовал заботиться о детях нищих, расслабленных, дебилах, недоумках, коль скоро их осенило таинство крещения.

И с тех пор как умер этот старик, его идеи восторжествовали; собирали брошенных детей, вместо того чтобы предоставить им тихо погибать, так, чтобы они этого и не заметили; а жизнь, которую им сохранили, становилась изо дня в день суровее и бесплоднее. Под видом свободы и прогресса общество изобрело новое средство увеличить жалкое состояние человека, отрывая его от дома, одевая его в смешной костюм, раздавая ему особенное оружие, лишая его разума, отдавая в рабство, сходное с тем, от которого некогда из сострадания освободили негров, и все это для того, чтобы заставить его убивать своего ближнего, не рискуя эшафотом, как обыкновенные убийцы, действующие одни, без мундиров, с оружием менее страшным и быстрым.

Что это за странная эпоха, говорил себе Дез Эссент, которая, ссылаясь на благо человечества, усовершенствует анестезирующие средства, чтобы уничтожить физическое страдание, и prepares в то же время такие методы усиления нравственного страдания.

Следует уничтожить нежелательное появление детей, хотя бы из жалости. И немедленно, не смотря на законы Порталиса и Омэ.

Правосудие не замечало обманы в деле рождения; это был признанный, допущенный факт; не было больше семьи, как бы богата она ни была, которая не вытравляла бы своих детей или не употребляла бы средства, свободно продаваемые, и никому не приходило в голову порицать это. И все-таки, если эта предосторожность или эти уловки оказались бы недостаточны, если обман не удавался и, чтобы исправить его, прибегали бы к более сильным мерам. Не хватило бы тюрем и острогов, чтобы заключить в них людей, которых осудили, впрочем, совершенно искренне те лица, которые в тот же вечер на брачном ложе исхитрились избежать рождения новых малышей.

Обман сам по себе не был преступлением, но искоренение этого обмана было бы преступлением. Словом, для общества считалось преступлением убийство существа, одаренного жизнью; и однако, изгоняя зародыш, уничтожают животное менее совершенное, менее жизненное и, конечно, менее разумное и более безобразное, чем собака, кошка, которых можно позволить себе безнаказанно душить после их рождения.

Нужно прибавить, что для большей справедливости неловкий мужчина, большею частью спешит скрыться, а женщина, жертва этой неловкости, искупает преступление, спасши от жизни невинного.

Нужно ли также искоренить такие естественные поступки, которые первобытный человек или дикарь Полинезии совершает под влиянием одного своего инстинкта.

Слуга нарушил альтруистичные размышления Дез Эссента, принеся ему на золоченом блюде долгожданный бутерброт.

У него не хватило храбрости откусить хлеба, болезненное возбуждение желудка прошло; ощущение ужасного

упадка сил снова вернулось к нему; он должен был встать; солнце двигалось и приближалось мало-помалу к его убежищу; жара стала сразу тягостнее и ощутительнее.

— Бросьте его, — сказал он слуге, — тем детям, которые дерутся на дороге; пусть самых слабых искалечат, не получают ни одного куска и к тому же порядком будут прибиты своими родными, когда вернутся домой в разорванных штанах и с подбитыми глазами; это даст им беглый взгляд на жизнь, которая их ожидает.

Он вернулся домой и, расслабленный, опустился в кресло.

— Однако мне следует поесть немного, — сказал он себе. Он попробовал обмакнуть бисквит в старое Constantia de J.-P. Cloete, которого у него осталось в погребке несколько бутылок.

Это вино, цвета слегка пережженной луковой шелухи, похожее на старую малагу и портвейн, но со сладковатым, особенным букетом, отзывалось сочным виноградом, возвращенным под горячим солнцем; оно иногда подкрепляло его и вливало новую энергию в его желудок, ослабленный усиленной диетой, которую он соблюдал; но это укрепляющее лекарство, всегда такое верное, не помогло ему. Тогда он понадеялся, что смягчительное средство охладит жар, сжигавший его, и прибег к наливке — русскому ликеру — налитой в бутылку, покрытую матовым золотом, но и этот маслянистый малиновый сироп был тоже бесполезен. Увы, далеко было то время, когда, обладая хорошим здоровьем, Дез Эссент во время каникул катался в санях, закутанный в шубу, заставляя себя дрожать от холода и говорил себе, стараясь не стучать зубами: «Ах, какой холодный ветер, здесь замерзнешь, замерзнешь», и ему почти удавалось убедить себя, что холодно.

Эти средства, к несчастью, больше не действовали с тех пор, как его болезни стали реальнее.

У него не было к тому же возможности употреблять опиум; вместо успокоения это средство возбуждало его до полного лишения сна. Однажды он хотел опиумом и гашишем вызвать видения, но оба эти вещества вызвали рвоту и сильное нервное расстройство; он должен был немедленно отказаться от их употребления и уже без их помощи искать средств только у своего мозга, чтобы унести далеко от жизни, в сновидения.

Какой день, сказал он, вытирая себе шею; лихорадочное волнение не позволяло ему оставаться на месте; он опять бродил по комнатам, пробуя одни за другими все стулья. Утомившись, он опустился, наконец, перед своим бюро и, опершись на него, машинально, ни о чем не думая, стал трогать астролябию, положенную вместо пресс-папье на грудку книг и счетов.

Он купил этот инструмент, из гравированной золоченой меди, немецкой работы, помеченной семнадцатым веком, у парижского антиквара после посещения музея Клюни, где он долго стоял в восхищении перед одной чудесной астролябией, из резной слоновой кости, приведшей его в восторг своим кабалистическим видом.

Это пресс-папье возбудило в нем рой воспоминаний. Мысль его, пробужденная и приведенная в движение видом этой драгоценности, унеслась из Фонтенэй в Париж, к антиквару, который продал ему ее, потом вернулась к музею Терм, и мысленно он опять увидел астролябию из слоновой кости, в то время как его глаза были бессмысленно устремлены, на медную астролябию, стоящую на столе.

Фантазируя, он вышел из музея и, не покидая города, стал фланировать по дороге, бродить по улице Сомрар и по бульвару Сен-Мишель перешел в прилегающие улицы и остановился перед некоторыми магазинами, совершенно особенный вид которых не раз поражал его.

Это мысленное путешествие, начатое по поводу астролябии, привело его в кабачки Латинского квартала.

Он вспомнил обилие подобных заведений во всей улице Месье-ле-Принс и в конце улицы Вожирар, прилегающей к Одеону; они следовали дружной вереницей, возвышаясь над тротуарами почти одинаковыми фасадами, как вереница прогулочных лодок на Селедочном канале в Антверпене.

Ему вспоминалось, как через полуотворенные двери и через окна, плохо закрытые цветными стеклами или занавесками, он видел женщин, одни ходили, раскачиваясь и вытягивая шею, как гуси, другие, растянувшись на скамьях и опершись локтями на мраморную доску стола, жевали и напевали вполголоса, зажав виски кулаками; третьи вертелись перед зеркалами, поправляя свои фальшивые волосы с блеском, наведенным парикмахером; наконец, иные вынимали из кошельков со сломанными пружинами кучки серебряных монет, которые они аккуратно укладывали в маленькие стопки.

У большей части были тупые лица, охрипшие голоса, мягкие шеи и подкрашенные глаза, и все, как автоматы, заведенные одним ключом, бросали одинаковым голосом одинаковые приглашения, произносили с одинаковыми улыбками одинаковые нескладные слова, высказывали одинаковые мысли.

Ассоциация мыслей создалась в уме Дез Эссента, когда он охватил воспоминанием с птичьего полета эту массу кафе и улиц.

Он понял значение этих кафе, которые отвечали состоянию души целого поколения, и извлек из этого синтез эпохи.

Действительно, симптомы были очевидны и достоверны: дома терпимости исчезали и по мере того, как один из них закрывался, открывался кабачок.

Проституция уменьшилась, уступая преимуществам тайной любви, очевидно представляющей для людей, с чувственной точки зрения, некоторую иллюзию.

Как бы чудовищно это ни могло показаться, кабачок удовлетворял идеалу. Утилитарные склонности, переданные по наследству и развитые ранней неделикатностью и постоянными грубостями учебных заведений, сделали современную молодежь особенно плохо воспитанной и особенно расчетливой и холодной, тем не менее она сохранила в глубине сердца старый голубой цветок, старый идеал сентиментальной рыцарской любви.

Теперь, если кровь юношей волновалась, они не могли решиться войти, получить свое, заплатить и уйти, в их глазах это было скотством, похотью собаки. К тому же тщеславие уходило неутоленным из этих домов, где не было и тени сопротивления; не было ни призрака победы, ни ожидаемого предпочтения, ни даже щедрости, добытой у товара, отмеривающего свои ласки сообразно с ценой. Ухаживание за девушкой из пивной сохраняло все прелести любви, все тонкости чувства. Ее оспаривали друг у друга. И те, которым она соглашалась подарить свидание, полученное при помощи щедрой платы, чисто-сердечно воображали, что превзошли соперника, что они предмет особенного предпочтения и редкой благосклонности. Однако эти прелестницы были так же глупы и корыстны, так же подлы и упитанны, как барышни в домах с номерами. Как те, так и эти пили без жажды, смеялись без причины, безумно любили ласки блузников, ругались без надобности, завивали шиньоны; несмотря на все это, парижская молодежь не замечала, что служанки кабачков, с точки зрения пластической красоты, с точки зрения искусных поз и необходимых нарядов, уступали женщинам, заключенным в роскошных салонах. Боже мой, говорил себе Дез Эссент, как глупы эти люди, порхающие вокруг пивных; помимо их смешных иллюзий, они забывают опасность слинявших и подозрительных приманок, не считают истраченных денег поверх назначенных вперед хозяйкой, не считают времени, потерянного в ожидании оплаченных ласк, отсроченных с целью увеличить цену,

радуясь, что могут повременить с платежом для того, чтобы переплатить чаевые!

Этот глупый сентиментализм, соединенный с практическим скотством, представлял доминирующую мысль века; те же люди, которые выкололи бы глаза своему ближнему, чтобы добыть десять су, теряли всякое сознание, всякое чутье перед этими подозрительными девицами, которые дразнили их без сожаления и обирали без отдыха. Фабриканты делали свою работу, семьи грызлись между собой под предлогом торговли, и все для того, чтобы позволить обкрадывать себя сыновьям, которые, в свою очередь, позволяли обманывать себя этим женщинам, которых, в конце концов, обирали их сутенеры.

Во всем Париже, с востока до запада и с севера до юга, прокатывалась непрерывная волна ловушек, вымогательства, организованных грабежей, основанных на том, что мужчин умели заставить терпеть и ждать, вместо того чтобы удовлетворить немедленно.

В сущности, вся человеческая мудрость состояла в том, чтобы тянуть время, сказать сначала нет, а потом наконец да; потому что, действительно, людьми управляли, только водя их за нос.

Ах, если бы было то же самое с желудком, вздохнул Дез Эссент, охваченный судорогой, которая быстро привела в Фонтенэй его блуждавший где-то далеко ум.

#### XIV

Кое-как протекло несколько дней. Благодаря хитростям, посредством которых удалось обмануть недоверчивость желудка, Дез Эссент что-то ел; но в одно утро маринады, маскировавшие запах сала и мясной крови, стали невыносимы, и Дез Эссент с беспокойством спросил себя, не увеличится ли от этого еще больше его слабость и не заставит ли это его слечь в постель. Вдруг он вспомнил в своем

страдании, что одному из его друзей, когда тот был очень болен, удалось с помощью суспензии остановить анемию, удержать истощение, сохранить несколько свои силы.

Он послал своего слугу в Париж отыскать этот драгоценный инструмент и по объяснению, приложенному к нему производителем, он сам указал кухарке, как нарезать ростбиф маленькими кусочками, как подсушить его в оловянном котле, с ломтиками порея и моркови, потом, привинтив плотно крышку, поставить все это на четыре часа кипятить на пару.

После этого следовало отжать волокна и выпить ложку мутного соленого соку, осевшего на дне котла. Впечатление было такое, как будто проглатывался теплый мозг.

Эта эссенция пищи останавливала судороги и тошноту и даже возбуждала желудок, заставляя его принять несколько капель супу.

Благодаря волшебной суспензии невроз притупился, и Дез Эссент сказал себе:

— Это истинная находка; может быть, температура изменится, небо бросит немного тени на отвратительное солнце, которое изнуряет меня, и я доживу до первых туманов и холодов.

В оцепенелости, в праздной скуке он вернулся в библиотеку; приведение ее в порядок еще не было закончено. Он не двигался больше со своего кресла, но у него перед глазами постоянно находились светские книги, наваленные в беспорядке на столике, они опирались друг на друга или валялись, как карточные колоды. Этот беспорядок особенно не нравился ему, представляя контраст с полнейшим порядком религиозных сочинений, тщательно выровненных вдоль стен.

Он попытался исправить беспорядок, но после десяти минут работы его залил пот; небольшое усилие изнурило его; он упал, разбитый, на диван и позвонил слуге.

По указаниям хозяина старик принялся за работу, по-



давая ему по одной книге, которые Дез Эссент просматривал, чтобы назначить им место.

Библиотека Дез Эссента содержала очень ограниченное количество современных светских сочинений, так что времени на наведение порядка потребовалось совсем немного.

Пропустив их в своем мозгу, как пропускают полосы металла через волочильный стан, откуда они выходят тонкие, легкие, превращенные в почти незаметные проволоки, он, наконец, решил отказаться от книг, которым не устоять перед такой операцией, которые были бы закалены так, чтобы выдержать новые прокатные вальцы чтения; желая утончить всякое наслаждение, он ограничил и почти стерилизовал его, еще более подчеркивая непримиримый конфликт, существующий между его идеалами и представлениями мира, в котором случайность заставила его родиться. Он пришел теперь к выводу, что уже не может больше найти произведения, которое удовлетворило бы его тайные желания; его восхищение исчезло даже перед теми книгами, которые несомненно способствовали утончению его ума и сделали его таким скептиком. Однако в искусстве его идеи исходили из особой точки зрения; для него не существовало школ; только темперамент писателя был ему нужен; только работа ума интересовала его, каков бы ни был сюжет, за который взялся писатель. К несчастью, эта истинная оценка, достойная Ла Палисса, была почти неприменима по той простой причине, что каждый, желая освободиться от предрассудков и воздержаться от всякой страсти, тяготеет преимущественно к тем произведениям, которые ближе всего соответствуют его собственному темпераменту, и отторгает все остальные.

Отсев совершался неспешно; еще недавно он обожал великого Бальзака, но когда его организм утратил равновесие, когда им овладели нервы, его склонности и вкусы изменились.

Быстро осознав свою несправедливость по отношению к удивительному автору «Человеческой комедии», он не стал уже больше открывать его книг; здоровое искусство Бальзака раздражало его; другие невнятные желания волновали его теперь.

Вглядываясь в себя, он понимал, что сочинение, могущее увлечь его, должно быть такого странного характера, который был у Эдгара По, но боясь ступить на эту дорогу, он обращался к изощренным построениям и сложной расплывчатости языка; он искал волнующей неопределенности, над которой можно было бы мечтать до тех пор, пока она не сделается еще более неясной и более определенной, по желанию, по сиюминутному состоянию души. Словом, он хотел такого произведения, которое было бы ценно само по себе, но которое способно было видоизменяться; он хотел идти рядом, поддерживаем костью, ведомый неким Вергилием в такие сферы, где острые волнения души принесли бы ему новые, неожиданные, беспричинные ощущения. Отдалившись от современного мира, чему способствовал отъезд из Парижа, он стал испытывать к последнему особенную ненависть. Нынешние литературные и художественные вкусы вызывали у него приступы отвращения, и он отвернулся от картин и книг, сюжеты которых ограничивались жизнью современности.

Утратив способность равно удивляться красоте, в какой бы форме она ни являлась, он предпочитал у Флобера «Искушение святого Антония» — «Воспитанию чувств»; у Гонкура «Фаустину» — «Жермини Ласерте»; у Золя — «Проступок аббата Муре» — «Западне».

Эта точка зрения виделась ему вполне логичной; эти произведения, пусть несовременные, но трогающие душу, человеческие, позволяли ему проникнуть в глубины душ этих мастеров, которые с искренней доверчивостью раскрывали свои таинственные порывы, унося Дез Эссента далеко от утомления этой пошлой жизнью.

И он начал мысленное общение с авторами этих произведений, находя общность в состоянии духа, аналогичном с его настроением.

Действительно, если эпоха, в которую должен жить талантливый человек, плоска и глупа, художник даже помимо своей воли одержим ностальгией по иному веку.

Только в редкие промежутки времени Дез Эссент мог гармонировать со средой, в которой он вращался, не находя больше в изучении и ее, и ее продуктов радостей наблюдения и анализа, способных развлечь его, он чувствовал, что в нем бурлят и рождаются особенные запросы, поднимаются смутные желания переселения в другую эпоху. Инстинкты, ощущения, наклонности, полученные по наследству, пробудились, оформляясь в неодолимую страсть. Он стал вызывать воспоминания о людях и вещах, которых он лично не знал, и настал час, когда он покинул тюрьму своего века и отправился бродить по другим временам, с которыми ощущал большую общность.

У одних — возвращение к прошедшим векам, к исчезнувшим цивилизациям, к умершим временам; у других — стремление к фантастическому и к мечте, более или менее интенсивное видение будущего, явленное как отражение прошедших веков уже существующего, прошлого знания.

У Флобера это были торжественные и необъятные картины, величественная пышность в варварской и великолепной раме, в которую были втиснуты трепещущие и нежные создания, таинственные и гордые женщины, одаренные совершенной красотой и страдающими душами, в глубине которых он улавливал страшный разлад, безумные стремления, приведенные к отчаянию угрожающей посредственностью радостей. Весь темперамент великого художника проявлялся в этих несравненных страницах «Искушения святого Антония» и «Саламбо», где, вдали от нашей жалкой жизни, он вызывал азиатский блеск Средних веков, их мистические порывы и их негу, их праздные

безумия, их жестокости, внушенные той тяжелой скукой, которая вытекает из избытка чувств и молитв, даже прежде их истощения. У Гонкура — ностальгия по прошедшему веку, возвращение к изяществу навсегда исчезнувшего общества. Не было гигантской картины морей, бьющихся об молы, пустынь, развертывающихся до горизонта, под жгучим небом, в его ностальгическом произведении, приютившемся близ придворного парка, в будуаре, согретом сладострастными испарениями женщины, с усталой улыбкой, с непокорными и задумчивыми зрачками. Душа, которой он оживлял своих персонажей, уже не была душой, вдохнутой Флобером в свое творение, этой душой, заранее возмущенной, непреклонной, в уверенности, что никакое новое счастье невозможно; это была душа, возмущившаяся после удара, испытывавшая все бесполезные усилия, для изобретения новых духовных связей, устранения старого наслаждения, отражающегося из века в век, в более или менее искусном удовлетворении любви.

Хотя Фаустина жила среди нас и душой и телом принадлежала нашему времени, она была созданием прошлого века, который ей дал свои душевные пряности, умственную усталость и чувственное изнурение.

Эта книга Эдмонда Гонкура была одной из самых любимых Дез Эссента; и действительно, это произведение было переполнено грезами и возбуждало грезы; под каждой строчкой в нем выступала другая строчка, видимая только душе, обозначенная одним эпитетом, открывающим просветы страсти умолчанием, заставляющим угадывать бесконечности души, которых никакой язык не мог бы заполнить; это уже не был язык Флобера, язык неподражаемого великолепия, — это был проникновенный и болезненный стиль, нервный и лукавый, удачно отмечающий неуловимые впечатления, поражающие чувство и определяющие ощущения, — стиль, способный модулировать сложные нюансы эпохи, которая и сама по себе была очень сложной. Словом, это был язык, необходимый для дряхлых цивили-

заций, которые для выражения своих потребностей, в каком бы веке они не проявлялись, требуют новых значений, оборотов и форм фраз и слов.

В Риме умирающее язычество изменило свою просодию, свой язык с Авзонием, Клавдианом, Рутилием, внимательный и тщательный, опьяняющий и звучный стиль которых являл собою, особенно в изображениях отблесков, теней и нюансов, фатальное сходство с стилем Гонкура.

В Париже произошел единственный в истории литературы случай; умирающее общество XVIII века, имевшее художников, скульпторов, музыкантов, зодчих, проникнутых его вкусами, пропитанных его доктринами, не могло создать настоящего писателя, который изобразил бы его умирающее изящество, выразил бы сущность его лихорадочных радостей, так жестоко искупаемых; нужно было ждать появления Гонкура, темперамент которого сложился из воспоминаний, сожалений, оживленных грустным зрением интеллектуальной бедности и низких стремлений своего времени, чтобы не только в исторических книгах, но и в ностальгическом произведении, в «Фаустине», он мог бы воссоздать саму душу этой эпохи, воплотить ее нервные утонченности в этой артистке, терзаемой необходимостью сдержать свое сердце и обострить мозг, чтобы до истощения наслаждаться болезненными, отвлекающими средствами любви и искусства!

У Золя ностальгия была совершенно другой. У него не было желания перенестись в исчезнувшие культуры, в миры, затерявшиеся во мраке времен; его могучий крепкий темперамент, влюбленный в плодородие жизни, в полнокровие сил, в нравственное здоровье, заставил его отвернуться от искусственных прелестей и подрумяненного малокровия последнего века, так же как и от священных торжеств, грубой жестокости и изнеженных и двусмысленных грез Древнего Востока. Когда его охватила та же ностальгия, та же потребность, — которая, в сущности, и есть сама поэзия, — убежать от этого мира, который он

изучал, он бросился в идеальную деревню, где силы кипели на солнце; он мечтал о фантастических извержениях неба, о неге земли, о плодородных дождях и плодотворной пыльце, падающих в замирающие органы цветов: он дошел до гигантского пантеизма и создал, может быть, даже бессознательно, с помощью этого рая, где он поместил своих Адама и Еву, чудесную поэму, напоминающую своим стилем широких тонов причудливый блеск индийской живописи, — поэму, поющую гимн плоти, одушевленной, живой материи, показывающей человеку, свою страстью размножения, запретный плод любви, его неистовства, инстинктивные ласки, естественные позы.

Во главе с Бодлером эти три мэтра новейшей светской французской литературы сильнее всех проникли в ум Дез Эссента и воспитали его; но не раз перечитывая их, насытившись их произведениями, зная их все наизусть, чтобы быть в состоянии поглотить их еще, он должен бы был суметь забыть их и на некоторое время оставить покоиться на полках.

Когда слуга подал ему эти книги, он даже не открыл их, ограничившись лишь указанием для них мест, чтобы они были в порядке и под рукой.

Слуга поднес ему новую пачку книг, которые еще больше подавляли его. Это были сочинения, к которым его любовь все возрастала; над ними и даже над недостатками их он отдыхал от совершенства более крупных писателей. Желая обострить наслаждение, Дез Эссент, отыскивал в них, среди бледных страниц, фразы, выделяющие нечто вроде электрических разрядов, заставлявших его содрогаться.

Даже самое несовершенство их нравилось ему, ибо не было оно ни заимствованным, ни рабским; и, может быть, была доля истины в теории Дез Эссента, что посредственный писатель эпохи упадка, писатель индивидуальный, но еще не законченный, воздействует порой на воображение мощнее, чем действительно великий и совершенный художник той же эпохи. По его мнению, именно среди их бурных опытов встречались обостренная экзальтация чув-

ствительности, самые болезненные причуды психологии, преувеличенная развращенность языка, который решительно отказывался сдерживаться, но в котором ощущения и мысли следовало бы очистить от излишней ядовитости.

Невольно, после мэтров, он обратился к некоторым писателям, которые были ему дороги и близки из-за презрения, с каким относилась к ним публика. Один из них, Поль Верлен, дебютировал томом стихов «Сатурнические песни», довольно слабыми стихотворениями, где встречались подражания Леконт де Лилю и упражнения в романтической риторике, но где просачивалась уже, сквозь некоторые вещи, как, например, сонет под названием «Заветная мечта», настоящая индивидуальность поэта.

Отыскивая предшественников в его нерешительных эскизах, Дез Эссент узнал уже глубоко впитавшийся в него талант Бодлера, влияние которого позже сказалось еще ярче, но, однако, воздействие этого великого учителя не было слишком жгуче. Позже, в некоторых из его книг «Добрая песня», «Галантные празднества», «Песни без слов», наконец, в его последнем томе «Мудрость», были поэмы, в которых был виден оригинальный писатель, поднимающийся над толпой своих собратьев.

С глагольными рифмами, а иногда с рифмами из длинных наречий, которым предшествовало односложное слово и с которого они падали, как с выступа камня, тяжелым каскадом воды, его стих, обрезанный невероятными цезурами, часто становится непонятным, со своими смелыми эллипсами и страстными неправильностями, которые, однако, не лишены красоты.

Как никто владея стихом, он сумел обновить поэзию. Сонет, который он перевернул кверху ногами, наподобие японских керамических рыбок, стоящих на жабрах вверх хвостиками; или же, нарушая все каноны, сочетая одни мужские рифмы, к которым он, кажется, питал особенную страсть; часто пользовался причудливой формой — строфой в три стиха, из которых средний был без рифмы, и тристишием с одинаковыми рифмами, сопровождаемым

одним стихом вроде припева, который становился собственным эхом, как, например: «станцуюем джигу»; употреблял еще другие размеры, где почти затерявшийся первый стих слышался лишь в дальнейших строфах, как замирающий звон колокола.

Но его индивидуальность состояла в том, что он мог выражать неясные и восхитительные признания вполголоса, в сумерках. Он один умел угадывать тревожные порывы души, тихие шорохи дум, признания, произносимые прерывающимся шепотом, так что ухо, воспринимающее их, остается в нерешительности, переливая в душу эти томления, оживленные тайной вдохновения, которое скорее угадываешь, чем чувствуешь. Вся особенность Верлена заключается в следующих восхитительных стихах из «Галантных празднеств»:

Le soir tombait, un soir equivoque d'automne,  
Les belles se pendant reveuses a nos bras,  
Dirent alors de mots si specieux, tout bas,  
Que notre ame, depuis ce temps tremble ets'etonne<sup>1</sup>.

Это не был необъятный горизонт, открывающийся сквозь ворота, распахнутые Бодлером. Только щелка, приотворенная в интимный мирок, озаренный лунным светом, созданный стихами, которыми Дез Эссент упивался:

Car nous voulons la Nuance encor,  
Pas la couleur, rien que la Nuance  
.....  
Et tout le reste est litterature<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> Спускался вечер, неверный осенний вечер; задумчивые красавицы, опираясь на наши руки, говорили, совсем тихо, такие правдоподобные слова, что с тех пор душа наша дрожит и удивляется.

<sup>2</sup> Так как мы хотим нюансов, не красок, а только нюансов.

.....  
Все остальное — литература.



Дез Эссент охотно шел за ним в его самых разнообразных произведениях. После «Песен без слов», напечатанных в одном журнале в Сансе, Верлен долго молчал, потом снова появился с очаровательными стихотворениями, в которых сквозила нежная и робкая манера Вийона и в которых он воспевал Деву «вдали от наших дней чувственного духа и жалкой плоти». Дез Эссент часто перечитывал эту книгу «Мудрости» и восторгался поэмами тайных грез, вымыслов сокровенной любви к Византийской Мадонне, которая превращалась иногда в «Вакханку», блуждающую в нашем веке, такую таинственную и загадочную, что трудно угадать, бросается ли она в разврат столь чудовищный, что, едва удовлетворенный, он снова становится непреодолимым, или же она отдается мечте, безгрешной мечте, где преклонение перед душой носится вокруг нее в бесконечно недостижимой, бесконечно чистой сфере.

И другие поэты привлекали его к себе: Тристан Корбьер, бросивший в 1873 году в лицо всеобщему равнодушию том самых эксцентричных стихотворений под заглавием «Кривая любовь». Дез Эссент, который, из ненависти к банальному и пошлomu, готов был признать самые откровенные безумия, самые странные нелепости, провел множество приятных часов за этой книгой, в которой смех перемешивался с беспорядочным безумством, а поразительные стихи вспыхивали в поэмах абсолютно непонятных, таких как «Литании сна», которую он называл иногда «Распутным падре нагих богомолков».

Это было почти не по-французски; автор говорил по-негритянски, объяснялся языком телеграмм, злоупотреблял пропусками глаголов, прибегал к насмешкам, предавался шуточкам невыносимого коммивояжера, но вдруг, из этой беспорядочности, из вывертов, острот, из противостественного кривляния, внезапно вырывался крик острой боли, похожий на звук лопнувшей струны виолончели. В этом шероховатом, сухом, безрадостном стиле, усеянном

непроизносимыми словами, неожиданными неологизмами, сверкали находки удивительные, встречались бесподобные стихи, лишенные рифм. В «Парижских поэмах», Дез Эссент нашел глубокое определение женщины: «Чем женственнее, тем фальшивей».

Тристан Корбьер воспевал могущественно сжатым языком море Бретани и его пейзажи, он сочинил молитву святой Анне и местами впадал в ярость и клеймил тех, кого называл «шутами четвертого сентября» за оскорбительные отзывы о «лагере в Конли».

Эту тухлятину, которой он лакомился и которую предоставлял ему этот автор с судорожными эпитетами, с несколько подозрительными красотами, Дез Эссент находил еще в другом поэте, Теодоре Анноне, ученике Бодлера и Готье, вдохновленном особенным чувством изысканного изящества и искусственных радостей. В то время как Верлен происходил по прямой линии от Бодлера своей психологической стороной, обольстительными нюансами мысли и в совершенстве изученной силой чувства, Теодор Аннон наследовал от учителя пластичность стиля, умение проникать в суть людей и предметов.

Его чарующая развращенность прямо соответствовала склонностям Дез Эссента, который в туманные и дождливые дни укрывался в убежище, созданное этим поэтом, и опьянял свое зрение оттенками тканей, огнями камней, исключительно материальной пышностью, которые возбуждали мозг и возносили его подобно шпанской мушке, в облаке теплого ладана к Брюссельской богине с накрашенным лицом и потемневшим от жертвоприношений телом.

За исключением этих поэтов и Стефана Малларме, которого он велел слуге поставить отдельно, вообще поэты не привлекали Дез Эссента.

Леконт де Лиль, несмотря на свою великолепную форму, на величественную манеру своих стихов, написанных с таким блеском, что даже гекзаметры Гюго казались в сравнении с ними темными и глухими, уже не удовлет-

ворял его. Древний мир, так чудесно воскрешенный Флобером, оставался в его руках неподвижным и холодным. Ничто не трепетало в его стихах, которые большею частью не опирались ни на какую идею; все было мертво в этих пустынных поэмах, бесстрастная мифология которых, в конце концов, расхолаживала Дез Эссента. И произведения Готье, которого он раньше любил, уже не интересовали его; его удивление перед этим несравненным живописцем уменьшалось с каждым днем, и теперь его несколько холодные описания скорее удивляли, чем восхищали Дез Эссента. Впечатление предметов было фиксировано его чувствительным глазом, но оно им и ограничивалось, не проникая дальше, в его мозг и тело; как чудесный рефлектор, он неизменно отражал окружающее с безличной ясностью, и только.

Конечно, Дез Эссент еще любил их произведения, так же как он любил редкостные камни, дорогие, старые ткани, но ни одна из вариаций этих совершенных инструментов не восхищала его, они не были способны вызвать в нем грезы и не открывали ему ярких просветов, ускорявших для него медленное течение времени.

Их сочинения более не насыщали Дез Эссента, равно как и сочинения Гюго; там, где были Восток и патриарх, было слишком прилично, слишком пусто, чтобы захватить его; а там, где были няня и дедушка, выводило его из себя. Ему нужно было дойти до «Песен улиц и лесов», чтобы умирать со смеху над безгрешным фиглярством его стихосложения; но с какою радостью променял бы он все эти цирковые номера на одно новое стихотворение Бодлера, равное прежним, Бодлер был почти единственным поэтом, чьи стихотворения, под великолепной оболочкой, содержали в себе ароматное и питательное зерно!

Переходя из одной крайности в другую — от формы, лишенной идеи, к идее, лишенной формы, Дез Эссент оставался сдержанным и холодным. Психологические лабиринты Стендаля, аналитические извилины Дюранти

пленяли его, но отталкивал их бюрократический, бесцветный, сухой язык, их проза, взятая напрокат и годная, самое большее, для балагана. Их изыски в изучении натур, волнуемых страстями, не интересовали Дез Эссента. Ему не было дела ни до всеобщей любви, ни до всеобщих идей тогда, когда истончилась восприимчивость и нежная религиозная чувственность его ума.

Он мог бы наслаждаться произведением, которое соединило в себе и остроту, и глубинный анализ. Только проницательный и странный Эдгар По, любовь к которому у него только возрастала, когда он его перечитывал, мог удовлетворить Дез Эссента. Только такие слова были сродни его самым нежным движениям души.

Если Бодлер расшифровывал тайнопись чувств и мыслей, то По, как сумрачный психолог, исследовал область воли.

Именно он в рассказе с символическим названием «Демон извращенности» исследовал импульсы, которые неодолимо овладевают волей человека под воздействием страха, овладевают как поражение мозга, как убийственно сочащийся кураре, ослабляя тело и поражая дух.

Он сосредоточился на изучении летаргии воли, анализируя действие нравственной болезни, ее симптомы, начинающиеся тревогой, продолжающиеся тоской и разрешающиеся наконец ужасом, сжирающим все проявления воли, не затрагивая целостности потрясенного разума.

Смерть, которую так злоупотребляли все драматурги, он еще более обострил и переосмыслил, введя в нее алгебраический и сверхчеловеческий элемент; но откровенно говоря, это была не столько действительная агония умирающего, которую он изображал, сколько агония остающегося в живых, осаждаемого, перед скорбным ложем, чудовищными галлюцинациями, изнуряющими и причиняющими боль. С жестоким обаянием распространяется он о действиях страха, о надтреснутости воли, хладнокровно

рассуждает о них, ужасая читателя, который задыхается перед этими кошмарами, перед порождениями горячки.

Судороги наследственного невроза, пляски святого Витта нравственности породили его героинь. Мореллы и Лигейи, образованные, эрудированные, отравленные сумраком немецкой философии и кабалистическими тайнами Древнего Востока, более всего походили на ангелов. Какой-то неопределенностью веяло от их мальчишески плоскогрудых фигур.

Бодлер и По, а их часто ставили рядом, сравнивая и сходство поэзии, и общую склонность к исследованию болезней мысли, совершенно расходились в занимавшем такое обширное место в их произведениях понимании любви: у Бодлера — алчущая и грешная, проявления ее заставляют вспоминать о пытках инквизиции; у По — целомудренная, воздушная, бестелесная, в которой нет чувства, а возвышается только мозг, оторванный от органов, которые если и были, то навсегда оставались замерзшими и девственными.

Эта прозекторская, где в спертый атмосфере духовный хирург, производящий вивисекцию, утомив внимание, сам становится жертвой своего воображения, рассыпающего туманные видения, сомнамбулические сны, ангелоподобные лики — была для Дез Эссента источником постоянных догадок. Но теперь, когда его невроз усилился, бывали дни, когда такоечтение расстраивало его, — дни, когда он сидел с дрожащими руками, насторожившись и чувствуя себя как несчастный Ашер, охваченный безотчетным страхом и глухим ужасом.

Ему приходилось едва касаться убийственного эликсира, так же как изредка посещать свою красную гостиную или упиваться мраком Одилон Рэдона и казнями Ян Луйкена.

Но в подобном состоянии всякая другая литература казалась ему безвкусной в сравнении с отравой, привезенной из Америки. И он обращался к Вилье де Лиль-Адану, в

отдельных произведениях которого он отмечал мятежный дух и бунтарство, которые, за исключением его «Клэр Лемуар», поражали подлинным ужасом.

Опубликованная в «Обзоре литературы и искусства» в 1867 году «Клэр Лемуар» начинала серию новелл, известных под общим заглавием «Мрачные истории». На фоне сумрачных умозаключений, заимствованных у старика Гегеля, в них металась и страдала странная люди: то напыщенный и наивный доктор Трибуля Бономе, то смешливая и злобная Клэр Лемуар, в синих очках, размером похожих на монеты в сто су, закрывающих ее почти слепые глаза.

Сюжет новеллы — обыкновенная супружеская измена. Но ужас охватывает читающего, когда Бономе раздвигает на смертном одре глаза Клэр, проникает в них чудовищными зондами и видит в них отражение мужа, держащего в руках отрубленную голову любовника и воющего, подобно канаку, победную песнь.

Сказка, основанная на более или менее верном наблюдении, что глаза некоторых животных, например быков, как фотографические пластинки, некоторое время сохраняют изображения людей и предметов, которые находились в ту минуту, когда они умирали, под их последним взглядом, — эта сказка вытекала, очевидно, из сказок Эдгара По, у которого он перенял остроту исследования страха.

То же было и с «Провозвестником» Вилье, который была позднее присоединен к «Жестоким рассказам» — сборнику несомненно талантливого автора, где находилась новелла «Вера», признаваемая Дез Эссентом маленьким шедевром.

Неизменная галлюцинация в ней была изящно-нежна. Не было в ней сумрачных миражей американца По. Такое сладенькое, почти небесное видение, противовес призрачным Беатрисам и Лигейям, чудовищным порождениям опиума.

В этой новелле не было описаний ослабления или поражения воли под воздействием страха. Напротив,

она описывала экзальтацию, навязчивую идею, указывающую на могущество духа и желаний, на способность создавать вокруг себя особенную атмосферу силой характера.

Другое произведение Вилье, «Изида», в некоторых главах казалось ему любопытным. Философское пустословие «Клер Лемуар» загромождало также и эту книгу, представляющую невероятную путаницу многословных, тусклых наблюдений и аксессуаров старых мелодрам: подземных темниц, кинжалов, веревочных лестниц, всех романтических атрибутов народных песен, которых Вилье вовсе не должен был оживлять в своих «Элен» и «Моргане», забытых вещах, изданных неким господином Франсиском Гюйоном, типографом в Сен-Брие.

Героиня «Изиды», маркиза Туллия Фабриана, сочетая халдейскую премудрость женщин Эдгара По и дипломатическую прозорливость Сансеверины Таксис Стендаля, была сделана, на основе загадочной природы Брадаманты, смешанной с античной Цирцеей.

От этой неудобоваримой смеси исходил чад, в котором сталкивались философские и литературные влияния, не уместившиеся в голове автора в ту минуту, когда он писал пространное предисловие к своему произведению, которое должно было состоять не меньше чем из семи томов.

Был в характере Вилье еще один аспект. Пронизывающая, жесткая насмешка, мрачная шутка в стиле скорее сарказма Свифта, нежели парадоксальных мистификаций Эдгара По.

Серия пьес, «Девушка Бьенфилатр», «Реклама в небесах», «Машина славы» и «Самый прекрасный обед в мире», обнаруживала в нем особенно изощренный и язвительный ум. Вся грязь современных утилитарных идей, весь меркантильный позор века были прославлены в этих пьесах, острая ирония которых приводила Дез Эссента в восторг.

Не было во Франции произведения такого же едкого и столь же убийственного. Разве только новелла Шарля Кро «Наука любви», напечатанная некогда в «Ревю дю Мوند Нуво», могла удивить своими химерическими безумиями, колким юмором и холодными шутовскими замечаниями, но наслаждение от нее было весьма относительным из-за отвратительного стиля.

Сжатый, колоритный, часто оригинальный язык Вилье исчез, чтобы дать место свиному хлёбову, изрубленному по литературному рецепту, придуманному незнамо кем.

Боже мой! Боже мой! как мало книг, которые бы можно перечитывать, — вздохнул Дез Эссент, глядя на слугу, слезавшего со скамейки, на которой он стоял, чтобы дать хозяину возможность окинуть одним взглядом все полки. Дез Эссент одобрительно кивнул головой. На столе остались только две тоненькие книжки. Знаком он отпустил старика и просмотрел листы, переплетенные в шкуру дикого осла, выложенную гидравлическим прессом, покрытую мелкими серебристыми пятнышками акварели, форзацы из старинного шелка с несколько выцветшими узорами обладали той прелестью поблекших вещей, которую Малларме воспел в своей восхитительной поэме.

Девять страниц, извлеченных из редкостных экземпляров публикаций двух первых парнасцев, были отпечатаны на пергаменте и озаглавлены «Некоторые стихотворения Малларме». И заглавие, и буквы были выведены изумительным каллиграфом, раскрасившим и изукрасившим их по канонам древних манускриптов.

Среди одиннадцати пьес, соединенных в этом переплете, некоторые, как, например, «Окна», «Эпилог», «Лазурь», приводили Дез Эссента в волнение, но одна из всех, отрывок из «Иродиады», иногда завораживала его, как колдовство.

Вечерами, под лампой, освещающей своим слабым мерцанием безмолвную комнату, он чувствовал себя захва-



ченным обаянием Иродиады Гюстава Моро. Она, объятая в это время темнотой, была неосязаемой и воздушной, и видно было лишь смутное изваяние, белеющее среди тлеющей жаровни драгоценных камней!

Полумрак скрывал кровь, смягчал отблески золота, окружал мраком глубины храма и прятал немых участников преступления, окутывая их мраком. Из акварели выделялась только белизна женщины в коконе драгоценностей, отчего она казалась более обнаженной.

Дез Эссент поднимал к ней глаза, узнавал ее незабываемые контуры, и она снова оживала, вызывая к жизни причудливые и нежные стихи Малларме:

O miroir!  
Eau froide par l'ennui dans ton cadre gelee  
Que des fois, en pendant des heures, desolee  
Des songes et cherchant mes souvenirs qui sont  
Comme des feuilles sous ta glace au trou profond,  
Je m'apparus en toi comme une ombre lointaine,  
J'ai de mon reve epars connu la nudite!<sup>1</sup>

Дез Эссент любил эти стихи, как любил произведения этого поэта, который в век всеобщего избирательного права и наживы жил в сфере литературы, защищаясь от окружающей глупости своим презрением, наслаждаясь вдали от мира дарами разума, игрой ума, доводил свои мысли до византийской тонкости, сплетая тончайшие философские построения.

Все хитросплетения мысли он связывал клейким языком, полным оглядками и странными оборотами, недомолвками и яркими иносказаниями.

---

<sup>1</sup> О зеркало! Холодная вода, застывшая от скуки в твоей раме, как часто, измученная грезами и целыми часами ища воспоминаний о себе, которые, как листья в глубине под твоим стеклом, я вижу в тебе себя, как далекую тень! Но ужас! в эти вечера в твоём холодном водоеме я из рассеянной мечты познала наготу.

Сопоставляя несопоставимое, Малларме часто обозначал их одним термином, сразу обобщающим сходство, форму, запах, цвет, качество, блеск, предмет или сущность, которым потребовалось бы присвоить многочисленные и разнообразные эпитеты, чтобы выделить из них все виды и все оттенки одним мановением. Одним мановением он уничтожал процесс поиска аналогии символа, дабы внимание не распылялось на различные свойства; и, таким образом, его обозначенные рядами определения, размещенные одно за другим, сосредоточивались на одном слове, на целом, давая общий и полный взгляд, подобный взгляду на картину.

Компактность мысли, густой процеженный отвар искусства; прием, употребляемый в его первых произведениях очень редко, Малларме смело включил в сочинение о Теофиле Готье «Полдень Фавна» — эклогу, в которой утонченность чувственных радостей развертывается в таинственных и ласкающих стихах, неожиданно пронзаемых диким исступленным криком фавна:

Alors m'evelleraï-je a la ferveur premiere,  
Droit et soul saus un flot antique de lumiere,  
Lys! et l'un de vous tous pour l'ingenuite<sup>1</sup>.

Этот стих с односложным отторженным словом «lys» вызывал образ возвышенной белизны, на смысл которого опиралось существительное «простота», которое он выражает аллегорически, одним только словом, страсть, возбуждение, минутное состояние девственного фавна, обезумевшего от желания при виде нимф.

В этой необыкновенной поэме, в каждом ее стихе неожиданно возникали новые, невиданные образы, изображающие порывы и жалобы козлоногого бога, смотрящего,

---

<sup>1</sup> Тогда проснусь и при первой жаре, прямодушный и одинокий, под вечным потоком света. Лилии! и одна из всех вас для искренности.

у края болота, на камыши, сохранившие неверные формы наяд, которые еще недавно их заполняли.

Дез Эссент испытывал также пленительное удовольствие, держа в руках маленькую книжечку, переплетенную в голубовато-белую японскую кожу, перевязанную двумя шелковыми шнурками, палево-розовым и черным.

Черный, прячась за переплетом, соединялся с розовым изящным узлом. Розовый струился по белизне кожи, вызывая воспоминания о китайских шелках и японских румянах, а их союз отождествлялся с печалью и разочарованием, наступающим после чувственного утоления.

Дез Эссент отложил «Полдень Фавна» и перелистал другую книжку, которую он заказал напечатать только для себя, собрание поэм в прозе, — маленькая часовня, воздвигнутая во имя Бодлера, заложенная на фундаменте его поэм.

Эта подборка заключала в себе отрывки из «Ночного Гаспара» причудливого Алоиза Бертрана, который привнес в прозу приемы Леонардо да Винчи и написал металлической окисью маленькие картины, яркие краски которых переливаются, как краски светлой эмали. Дез Эссент присоединил к ним «Глас народа» Вилье, произведение, вышедшее из-под тончайшего резца в манере Леконт де Лиля и Флобера, и несколько выдержек из изящной «Нефритовой книги», в которой экзотический запах жасмина и чая перемешивается с благоуханной свежестью воды, журчащей при лунном свете.

В этом сборнике было еще несколько поэм, спасенных из угасших журналов: «Демон аналогии», «Трубка», «Несчастный бледный ребенок», «Прерванный спектакль», «Грядущий феномен», а главное, «Осенние жалобы» и «Зимняя дрожь», — все это были шедевры Малларме; шедевры среди поэм в прозе, соединяющие язык столь мерный, что он убаюкивал собой, как тихое заклинание, как чарующая мелодия, завораживающие, передающие

трепет души чувствующего человека, возбужденные нервы которого вибрируют с такой остротой, что восхищение пронзает до боли.

Всем литературным формам Дез Эссент предпочитал поэму в прозе. В руках гениального алхимика от литературы она должна была, по его мнению, заключать в своем маленьком объеме мощь романа, бесконечные раздумья и описательное многословие которого она отбрасывала.

Дез Эссент нередко мечтал написать роман, сконцентрированный в нескольких фразах, которые вмещали бы в себе подвергнутый перегонке сок сотен страниц, нужных для обрисовки среды, для описания характеров, для накопления наблюдений и мелких фактов. Тогда избранные слова были бы совершенно незаменимы и они поглощали бы собой все другие; прилагательное, столь искусно и точно примененное, которое не могло бы уже быть перемещено, открывало бы такие перспективы, что читатель вынужден был в продолжение целых недель думать над его значением, ясным и сложным в одно и то же время; оно констатировало бы настоящее, перестраивало бы прошлое, заставляло бы угадывать будущее в душах действующих лиц, раскрытых проблесками этого единственного эпитета.

Роман, написанный таким образом, сжатый в одной или двух страницах, сделавшись бы общением мыслей между искусным писателем и идеальным читателем, стал бы духовным сотрудничеством, которое установилось бы между высшими существами, разбросанными во вселенной, — наслаждением, доступным лишь утонченным людям.

Одним словом, поэма в прозе представляла собой для Дез Эссента эссенцию, выжимкой творчества, самой его сутью.

Эта эссенция, собранная в одну каплю, была и у Бодлера, и в поэмах Малларме, их Дез Эссент впитывал в себя с глубочайшим упоением.

Закрыв антологию, он сказал себе, что его библиотека, остановившаяся на этой последней книге, вероятно, уже больше ничем не пополнится.

Действительно, упадок литературы, дошедший до последнего предела, литературы, обессиленной веками поисков смысла, истощенной излишествами синтаксиса, чувствительной лишь к извращенной изысканности, спешащей все высказать на своем закате, желающей вознаградить себя за все пропущенные наслаждения, передать самые неуловимые оттенки страданий на смертном ложе. Малларме воплотил все это законченно и прекрасно. Квинтэссенция Бодлера и По, доведенная до самого крайнего выражения, их миазмы, их клубящиеся ароматы, их странные упоения.

Старый язык умирал так же, как умерла чеканная латынь, когда она, разлагаясь от века к веку, наконец достигла омерзительного распада в темных и невразумительных конструкциях святых Бонифация и Адельма.

Французский язык распался внезапно. В латинском языке был длинный промежуток, четыре столетия от красочного и превосходного языка Клавдиана и Рутилия до искусственного языка VIII века. Во французском же языке не было никакой разницы во времени, никакой смены веков; и превосходный стиль Гонкура, и искусственный стиль Верлена и Малларме жили бок о бок, в одно и то же время, в одну и ту же эпоху, в одном и том же веке.

И Дез Эссент улыбнулся, глядя на фолиант, раскрытый на церковном аналое, и думая, что придет время, когда какой-нибудь ученый составит словарь времен упадка французского языка, подобный тому, в котором умудренный дю Канж отметил последний лепет, последние спазмы, последние вспышки латинского языка, хрипящего от старости в глубине монастырей.

## XV

Вспышка увлечения Дез Эссента питательным отваром испарилась. Притупленная было нервная диспепсия пробудилась снова, к тому же согревающая эссенция пищи

вызвала у него в кишках такое раздражение, что Дез Эссент вынужден был немедленно перестать употреблять ее.

Болезнь вернулась. Ее сопровождали разнообразные симптомы. Кошмары, обманы обоняния, расстройства зрения, сухой кашель, внезапные аритмии и холодный пот сменились слуховыми галлюцинациями.

Подтачиваемый жестокой лихорадкой, Дез Эссент вдруг услышал журчание воды, полеты ос, потом все слилось в один шум, похожий на скрип токарного станка; затем скрип прояснился, ослаб и постепенно перешел в серебрястый звон колокольчика.

Дез Эссент ощутил, что его бредящий мозг уносится по волнам музыки и катится в мистическом вихре детства. Он услышал песни, выученные у иезуитов, и, восстанавливая в памяти пансион, капеллу, где они раздавались, явственно увидел стекла огромных окон, разрезающих мрак под высоким куполом, почувствовал запах ладана.

Религиозные обряды отцов-иезуитов совершались торжественно и пышно: превосходный органист и ангельские голоса детского хора превращали службу в прекрасное представление, привлекая публику своей красотой и стройностью. Органист предпочитал старых мастеров и в праздничные дни исполнял мессы Палестрины и Орlando Лассо, псалмы Марелло, оратории Генделя, мотеты Себастьяна Баха, играл преимущественно нежные и легкие компиляции отца Ламбилтота, столь любимого священниками, и гимны «Laudi spirituali»<sup>1</sup> XVI века, красота которых пленяла Дез Эссента раз за разом.

Особенную радость Дез Эссент ощущал, слушая, в противоречие новым веяниям, песнопения в сопровождении органа.

То, что считалось пережитком, дряхлой, обветшалой формой христианской литургии, архаизмом, для него было символом, неизменным со времен древней церкви, душой

---

<sup>1</sup> Восшествие духа (лат.).

Средних веков. Возвышенная, вечная молитва, которую поют, взывая к Всевышнему. Вечный гимн, меняющийся только по согласию с порывами души.

Только эта традиционная песнь своими мощными унисонами, своими тяжелыми и торжественными гармониями подходила древним базиликам, только она могла оживить звучание молитвы под романскими сводами.

Сколько раз Дез Эссент был охвачен и подавлен неотразимым вдохновением, когда «Christus factus»<sup>1</sup> григорианского напева поднималось в неф, столбы которого дрожали среди колеблющихся облаков ладана, или когда одногласное пение «De profundis»<sup>2</sup> стеноло заунывно, как сдерживаемое рыдание, мучительно, как безнадежная мольба человечества, оплакивающего свою смертную участь, взывало о милосердии своего Спасителя!

Когда величественно звучал орган, аккомпанируя песнопениям, сочиненным создателями столь же безвестными, сколь безвестен создатель изумительного собрания вздыхающих труб, все остальные мелодии казались Дез Эссенту излишне светскими, мирскими.

В сущности, во всех произведениях Йомелли и Порпора, Кариссими и Дюранте, в самых удивительных конструкциях Генделя и Баха не было пренебрежения к успеху у публики. В них всегда присутствовали некие красоты, позволяющие и в молитве предаться гордыне. Только величественные мессы Лесюэра в Сен-Роше сохраняют религиозный стиль, важный и строгий, почти достигающий суровой простоты древнего церковного пения.

Возмущенный этими подделками под «Stabat»<sup>3</sup>, выдуманными Перголезе и Россини, всем этим коварным вторжением светского искусства в литургийное, Дез Эссент

---

<sup>1</sup> Христос воплотился (лат.).

<sup>2</sup> Из глубины воззвах (Псалом 129).

<sup>3</sup> Стояла <мать скорбящая>» (лат.).

держался в стороне от этих сомнительных произведений, терпимых снисходительной церковью.

Алча доходов, говоря, что все совершается только ради привлечения верующих, церковь позволила себе слабость: зазвучали напевы, заимствованные из итальянских опер, гнусные каватины, непотребные кадрили. Церкви обратились в театральные залы, где визжат на сцене теноры, а дамы блистают туалетами, соперничая друг с другом, в будуары, в которых уже никто не слышит великолепия голоса органа.

Он давно не видел смысла принимать участие в благочестивых вакханалиях, оставаясь верным воспоминаниям детства, сожалея только, что слышал некоторые «Те Деум»<sup>1</sup>, сочиненные великими мастерами, ибо он помнил тот удивительный «Те Деум» для церковного пения, такой простой, такой величественный, написанный каким-то святым Амвросием или святым Иларионом, который вместо сложных оркестровых средств, вместо музыкальной механики, проявлял горячую веру, иступленную радость, вырывающуюся из души целого человечества в проникновенных, убедительных, почти небесных звуках.

Впрочем, идеи Дез Эссента о музыке были в неприимном противоречии с теориями, которых он держался относительно других искусств. В религиозной музыке он признавал лишь монастырскую, средневековую, истощенную музыку, непосредственно действовавшую на его нервы как некоторые страницы древней христианской латыни; кроме этого, — он признавался в этом сам, — он не мог понять хитростей, которые современные мастера вводили в католическое искусство. И вообще, он не изучал музыки с той страстью, какая влекла его к живописи и литературе. Он играл, как все, на рояле; был способен мученически разобрать партитуру, но не знал гармонии и не владел техникой, необходимой, чтобы действительно уловить нюан-

---

<sup>1</sup> Тебя, Бога, хвалим (лат.).



сы, оценить их тонкость и полностью насладиться всеми ее оттенками.

С другой стороны, нет возможности светскую музыку воспринимать в одиночестве, как книгу, укрываясь в собственном жилище. Следует смешаться с толпой, с публикой, которая осаждает театры и цирки, там, где в мелькании бликов, в духоте, надо присутствовать, чтобы послушать, как человек с фигурой плотника своими сомнительными руладами расчленяет Вагнера на радость бессмысленной толпе.

Нет, у него не хватало смелости нырнуть в толпу даже ради Берлиоза, хотя тот пленил его своими нервными, страстными фугами и восторженностью мелодий. И восторженного Вагнера Дез Эссету не хотелось есть по кусочкам.

Отрывки, вырезанные и поданные на блюде концерта, теряли всякое значение, всякий смысл, потому что, как главы романа пополняют одна другую и стремятся к одному заключению, к одной цели, так же и мелодии служили для обрисовки характеров действующих лиц, для воплощения их мыслей, для выражения их побуждений, явных или тайных, а их искусные постоянные возвращения понятны лишь тем слушателям, которые следят за темой с самого ее начала и видят, как постепенно определяются и вырастают действующие лица в той обстановке, из которой их нельзя вырвать, не обескровив их, подобно ветвям, отрезанным от дерева.

— Среди этой толпы меломанов, — думал Дез Эссент, прыгающих от восторга на скамьях по воскресеньям, едва ли двадцать человек знали партитуру, которую уродовали, когда капельдинерши умолкали, давая возможность слушать оркестр.

Если Вагнера не ставят целиком на французской сцене из патриотических соображений то, чтобы проникнуться смыслом его музыки, следует оперы слушать его, отправившись в Байрет. А можно остаться дома. Что Дез Эссент для себя и выбрал.

С другой стороны, более легкая и популярная музыка и самостоятельные отрывки из старых опер не очень привлекали его; жалкие вокализы Обера и Буальдьё, Адана и Флотова и общие риторические места, которых держатся Амбруаз Тома и Базэн, были также противны ему, как и устарелое жеманство и простонародная грация итальянцев. Он решительно отдалился от музыкального искусства, и в течение нескольких лет, пока длилось его отречение, он с удовольствием вспоминал только несколько сеансов камерной музыки, когда он слушал Бетховена и особенно Шумана и Шуберта, которые размягчали его нервы, как самые интимные и самые вымученные поэмы Эдгара По.

Некоторые партии для виолончели Шумана заставляли его задыхаться — так в них мощно звучала его истерия; но особенно песни Шуберта возбуждали его, выводили из себя, потом расслабляли, как после нервного приступа, после мистической пирушки души.

Эта музыка, вибрируя, проникала в него до мозга костей, наполняя сердце безотчетной печалью, оживляя забытые горести и страдания. Эта музыка исходила из глубин души, очаровывала его и ужасала. Никогда не мог он без нервных слез повторить «Жалобы девушки», в этом рыдании было нечто большее, чем сокрушение, что-то своей возвышенностью разрывавшее сердце, как конец любви на фоне грустного пейзажа.

И всегда, когда он вспоминал их, эти изящные и мрачные жалобы вызывали перед ним пейзаж пригорода, скудный, безмолвный пейзаж, где в сумерках бесшумно терялись вдаль, сторбленные, вереницы людей, изнуренных жизнью, а он, напоенный скорбью, напитанный отвращением, чувствовал себя, в неутешной природе, одиноким, совершенно одиноким, подавленным невыразимой меланхолией, упорною скорбью, таинственная сила которых отвергала всякое утешение, всякое сожаление, всякое успокоение. Подобно похоронному звону, эта песнь отчаяния осаждала его теперь, когда он лежал, изнуряемый лихорад-

кой и волнуемый тоской, тем более неисцелимой, что была неясной ее причина.

Затянутый в поток заунывной тоски вспомнившейся музыкой, он отдался течению псалмопения, медленно и тихо подымавшегося в его голове, и ему казалось, что в виски ему ударяют языками колоколов.

В одно прекрасное утро звуки замолкли; Дез Эссент почувствовал себя лучше и приказал слуге подать ему зеркало; но оно сейчас же упало у него из рук: он едва узнал себя. Лицо стало землистого цвета, сухие, распухшие губы, сморщенный язык, морщинистая кожа; волосы и борода, не бритая за все время его болезни, еще больше увеличивали ужас этого ввалившегося лица, расширенных, влажных глаз, горевших лихорадочным блеском на черепе с торчащими волосами. Настолько сильно изменившееся лицо испугало его гораздо больше, чем слабость и рвота, не позволявшие ничего есть, больше, чем маразм, в который он был повергнут. Он посчитал себя умирающим; потом, несмотря на изнеможение, подавлявшее его, сила человека, попавшего в безысходное положение, заставила его подняться, дала ему силу написать письмо своему парижскому доктору и приказать слуге сию же минуту отправиться за ним и привезти его во что бы то ни стало, в этот же день.

Внезапно от самого беспомощного состояния он перешел к укрепляющей надежде: этот доктор был известный специалист, славившийся излечением нервных болезней. «Он, наверное, вылечивал более упорные и опасные хвори, чем моя, — думал Дез Эссент; — вероятно, через несколько дней я буду на ногах».

Но за этой надеждой наступило полнейшее разочарование: какими бы знатоками и пророками не были доктора, они ничего не понимают в нервных болезнях, источники которых им неизвестны.

Этот доктор, как и другие, пропишет ему вечную цинковую окись и хинин, бромистый калий и валерьяну. «Кто

знает, — продолжал он, цепляясь за соломинку, — если до сих пор эти лекарства не помогали мне, это, наверное, потому, что я употреблял их не в надлежащих дозах».

Надежда на облегчение подкрепила его; но вдруг явилось новое опасение: лишь бы доктор был в Париже и согласился приехать, — и неожиданно его охватил страх, что слуга может не застать его. Он снова почувствовал слабость, переходя поминутно от самой безрассудной надежды к самым безумным страхам, преувеличивая и шансы на внезапное выздоровление, и боязнь неминуемой смерти. Часы проходили, и настала минута, когда, отчаявшись, выбившись из сил, почти убедившись, что доктор, наверное, не приедет, он с бешенством повторял себе, что если бы ему вовремя помогли, он был бы спасен; потом его гнев против слуги, против доктора, которого он обвинял в том, что он оставляет его умирать, ослаб, и он рассердился на самого себя, упрекая себя в том, что так долго ждал, вместо того чтоб искать помощи; он уверял себя, что давно бы выздоровел, если бы даже только накануне потребовал себе сильных лекарств и хорошего ухода.

Постепенно эти сменяющие друг друга тревоги и надежды, волновавшиеся в его голове, стихли; но потрясения эти окончательно разбили его; он заснул сном усталости, с бессвязными сновидениями, вроде обмороков, прерываемыми пробуждениями без сознания. Наконец, он настолько утратил понимание своих страхов и желаний, что лежал как оцепевший и не почувствовал ни радости, ни удивления, когда вдруг вошел доктор.

Слуга, конечно, сообщил доктору об образе жизни, какой вел Дез Эссент, и о симптомах, которые он стал наблюдать с того дня, когда поднял своего господина, преследуемого запахами, около окна; доктор мало расспрашивал самого больного, которого знал уже несколько лет. Он осмотрел его, выслушал, внимательно исследовал урину, в которой известные белые волокна открыли ему одну из

самых главных причин нервоза. Он написал рецепт и, не говоря ни слова, ушел, сказав лишь день, когда придет в следующий раз.

Этот визит слегка воодушевил Дез Эссента, который, однако, испугался неизвестности и умолял слугу не скрывать от него правды. Слуга уверил его, что доктор не обнаружил никакого беспокойства, и несмотря на всю свою подозрительность, Дез Эссент не мог уловить какого-либо признака лжи на спокойном лице старика.

Тогда его мысли прояснились; к тому же его страдания утихли, и слабость, которую он чувствовал во всех членах, перешла в какой-то неопределенный, тихий покой, в негу; он удивился и обрадовался, что его не завалят разнообразными аптекарскими товарами, и слабая улыбка шевельнула его губы, когда слуга принес питательный пептонный клистир и сказал ему, что его следует употреблять три раза в сутки.

Операция удалась, и Дез Эссент не мог удержаться от того, чтобы безмолвно не поздравить себя по поводу этого события, которое, некоторым образом, увенчивало существование, созданное им себе; его склонность ко всему искусственному, помимо его воли, была услышана; дальше идти было некуда; питание, получаемое таким способом, было последним уклонением от нормы, какое только можно было придумать. «Было бы восхитительно, — говорил он себе, — если бы можно было, даже будучи здоровым, продолжать такой простой режим. Какая экономия времени, какое радикальное избавление от отвращения, испытываемого людьми, потерявшими аппетит, при виде мяса! Какое решительное облегчение от скуки, происходящей от невольно ограниченного выбора кушаний! Какой энергичный протест против низкого греха чревоугодия! Наконец, какое решительное оскорбление, брошенное в лицо вечной природе, однообразные потребности которой были бы навсегда устранены».

Через несколько дней слуга подал средство, цвет и запах которого были совершенно другие, чем цвет и запах пептона.

— Но ведь это совсем не то! — воскликнул Дез Эссент, очень взволнованный, глядя на жидкость, налитую в аппарат. Он спросил, как в ресторане, карточку и, развернув рецепт, прочел:

«Рыбьего жира.....20 граммов.  
Бульону .....200  
Бургонского вина....200  
Яичного желтка.....1».

Дез Эссент задумался. Он, который из-за слабости своего желудка не мог интересоваться кулинарным искусством, поймал себя на комбинациях притворяющегося гурмана; потом смешная мысль пронеслась в его мозгу. Может быть, доктор подумал, что странный вкус его пациента устал от пептона; может быть, он хотел разнообразить вкус пищи, боясь, как бы однообразие кушаний не привело к полной потере аппетита. Раз напав на эту мысль, Дез Эссент стал составлять новые рецепты; приготавливая постные блюда для пятницы, он увеличивал дозу ворвани и вина, вычеркивая бульон, как скоромное. Но вскоре ему уже не нужно было придумывать эти питательные напитки, так как доктор постепенно достиг прекращения рвоты и заставил его пить обыкновенным способом пуншевый сироп с мясным порошком, который нравился ему из-за легкого запаха какао.

Прошли недели, и желудок начал функционировать; иногда бывала тошнота, которую останавливали имбирное пиво и ривьерское противорвотное.

Наконец, органы понемногу окрепли; с помощью пепсина он переваривал настоящее мясо; силы восстанавливались, и Дез Эссент мог держаться на ногах, пробовал даже ходить по комнате, опираясь на палку и держась за мебель. Вместо того чтобы радоваться этому успеху, он, забыв

свои недавние страдания, сердился на продолжительность выздоровления и упрекал доктора, что тот затягивает лечение. Правда, его замедлили бесплодные опыты; не помогли ни хинин, ни железо, смягченное опиумом, и после двух недель бесполезных усилий, как, теряя терпение, утверждал Дез Эссент, их пришлось заменить мышьяковокислой солью.

Наконец пришло время, когда он мог оставаться на ногах в течение целых дней и без посторонней помощи ходить по комнатам. В это время его привел в раздражение рабочий кабинет; недостатки, к которым он уже почти привык, теперь бросились ему в глаза, когда он вошел в него после долгого отсутствия. Цвета, выбранные, чтобы быть видимыми при свете ламп, при дневном свете показались ему диссонирующими; он решил переменить их и в несколько часов скомбинировал гармонию мятежных оттенков сочетания тканей и кож.

«Решительно я поправляюсь», — сказал он себе, видя возвращение своих прежних интересов и старых увлечений.

Однажды утром, когда он смотрел на свои стены оранжевого и синего цветов, думая об идеальной обивке из эпитрахилей греческой церкви, мечтая о русских золотканых стихарях, о парчовых ризах, украшенных славянскими буквами, выложенных уральскими камнями и жемчугом, — вошел доктор и, следя за взглядами своего больного, стал его расспрашивать. Дез Эссент рассказал ему о своих неосуществленных желаниях, начал было выискивать новые цвета и говорить о конкубинате и разладе тонов, которые он намерен создать, как вдруг доктор словно окатил его холодной водой, заявив ему решительным тоном, не допускающим никаких возражений, что он осуществит свои проекты, во всяком случае, уже не в этой квартире.

И не давши ему времени опомниться, сказал, что он спешил восстановить отправления пищеварительных органов и что теперь нужно остановить невроз, который

вовсе еще не вылечен и требует нескольких лет правильного режима и лечения. Он прибавил, наконец, что, прежде чем испытывать все средства и начинать гидротерапевтическое лечение, невыполнимое к тому же в Фонтенэй, нужно отказаться от этого одиночества, вернуться в Париж, войти в общую жизнь и стараться развлекаться, как другие.

— Но удовольствия других не развлекут меня! — воскликнул возмущенный Дез Эссент.

Не оспаривая этого мнения, доктор уверял, что радикальная перемена жизни, на которой он настаивает, является в его глазах вопросом жизни или смерти, вопросом здоровья или сумасшествия, которое в недалеком будущем может усложниться туберкулезом.

— Тогда лучше смерть или тюрьма! — воскликнул раздраженный Дез Эссент.

Доктор улыбнулся и, ничего ему не ответив, направился к двери.

## XVI

Дез Эссент заперся в спальне, заткнув уши, чтобы не слышать ударов молотков, которыми заколачивали ящики; каждый удар поражал его в самое сердце, вызывал острое страдание. Исполнялся приговор, вынесенный доктором. Боязнь снова подвергнуться только что перенесенным мукам, страх перед ужасной агонией оказались у Дез Эссента сильнее его отвращения к ненавистному существованию, к которому приговорила его медицинская юрисдикция.

«Однако есть же люди, — говорил он себе, — которые живут вдали от мира, не говоря ни с кем, погруженные в полное одиночество, как, например, заключенные и трапписты, и ничто не показывает, что эти несчастные и эти мудрецы становятся расслабленными или чахоточными». Он тщательно приводил эти примеры доктору, который по-



вторял сухим, не допускающим возражений тоном, что его вердикт, подтвержденный к тому же мнением всех невропатологов, таков: только развлечения, веселье и радость могут повлиять на его болезнь, вся духовная сторона которой ускользает от химической силы лекарств. Выведенный из терпения упреками своего больного, он в последний раз заявил, что отказывается лечить его, если он не согласится на перемену воздуха и не будет жить в других гигиенических условиях.

Дез Эссент тотчас же отправился в Париж, консультировался с другими специалистами, беспристрастно рассказал им о своей болезни, и так как все, не колеблясь, одобрили предписания их коллеги, он снял не занятую еще квартиру в одном новом доме, вернулся в Фонтенэй и, бледный от бешенства, приказал слуге готовить чемоданы.

Опустившись в кресло, он думал об этом категорическом предписании, которое разрушало все его планы, разбивало все привязанности его настоящей жизни, хоронило все его проекты.

Итак, кончилось его блаженство! Нужно было покинуть гавань, куда он укрылся, и выйти снова в открытую бушующую глупость, которая некогда сразила его!

Доктора говорили о развлечениях, о веселье; но с кем и в чем хотели бы они, чтоб он веселился и находил удовольствие?

Разве он не сам подверг себя изгнанию из общества? Разве он знал хоть одного человека, который попытался бы уединиться в созерцании, как он, заточиться в мечте? Разве он знал человека, способного оценить изящество фразы, утонченность живописи, квинтэссенцию идеи, — человека, душа которого была бы достаточно отточена, чтобы понять Малларме и полюбить Верлена?

Где, когда, в каком обществе должен он искать ум близнеца — ум, ушедший от общих мест, благословляющий

молчание — как благодать, слабость — как утешение, сомнение — как тихую пристань?

В обществе, среди которого он жил до отъезда в Фонтенэй? Но, вероятно, большая часть тех дворянчиков, которых он посещал, еще больше опошлились в салонах, отупели за игорными столами и среди кокоток. Многие, наверное, женаты; они в течение своей жизни обладали обедами негодяев, теперь их жены обладают обедами негодяек.

«Какое роскошное переkreщение, какой прекрасный обмен — обычаи, принятые чопорным обществом!» — думал Дез Эссент.

Разложившееся дворянство умерло; аристократия впадала в слабоумие или в грязь! Она вымирала в своих зараженных потомках, силы которых понижались с каждым поколением, достигнув умственного состояния горилл инстинктами, бродившими в черепах конюхов и жокеев, или же, как Шуазель-Праслены, Полиньяки, Шеврезы, она утопала в грязи сутяжничества, что равняло ее по гнусности с другими классами.

Исчезли дворцы и замки, вековые гербы, геральдическая осанка и пышный вид этой древней касты. Земли, не приносящие больше доходов, вместе с замками были проданы с молотка, ибо тупым потомкам старинных родов не хватало золота на покупку венерического яда!

Самые энергичные и сообразительные теряли всякий стыд; они окунались в деловую грязь, пускались во все тяжкие, представляли перед уголовным судом в качестве обыкновенных мошенников и служили прозрению человеческого правосудия, которое, не в состоянии всегда быть беспристрастным, в конце концов назначало их библиотекарями в тюрьмах.

Стремление к прибыли, зуд наживы отразились и на другом классе, всегда опиравшемся на дворянство, — на духовенстве.

На четвертой странице газет стали появляться объявления о лечении мозолей священником; монастыри превратились в аптекарские и ликерные заводы. Там продают рецепты или изготавливают: орден цистерцианцев — шоколад, траппистин, семулин и настойку из арники; братья мариисты — целебную известковую двуфосфорнокислую соль и аркебузную воду; доминиканцы — антиапоплексический эликсир; ученики святого Бенедикта — бенедектин; монахи святого Бруно — шартрез.

Торговля охватила монастыри, где на аналоях, вместо антифонов, лежат большие торговые книги. Алчность века, как проказа, обезобразила церковь, согнула монахов над инвентарем и фактурами, превратила настоятелей в кондитеров и шарлатанов, бельцов и послушников — в простых упаковщиков.

И, несмотря на все, только среди духовенства Дез Эссент надеялся найти знакомства, соответствующие его вкусам; в обществе каноников, большею частью ученых и хорошо воспитанных, он мог бы приятно проводить вечера. Но было еще необходимо, чтобы он разделял их верования, чтобы не колебался между скептическими мыслями и порывами веры, поддерживаемые воспоминаниями его детства.

Нужно было иметь одинаковые с ними мнения, не признавать, — на что он охотно соглашался в минуты горячей веры, — католицизма, слегка приправленного магией, как во времена Генриха III, и немного садизмом, как в конце последнего века. Этот специальный клерикализм, этот испорченный и артистически извращенный мистицизм, к которому он временами стремился, не мог быть даже предметом спора со священником, который не понял бы его или же с ужасом прогнал бы его от себя. В двадцатый раз волновала его эта дилема. Он желал, чтобы кончилось состояние подозрения, против которого он тщетно боролся в Фонтенэй; теперь, когда ему приходилось менять образ

жизни, он желал заставить себя верить, уйти в веру целиком, как только он найдет ее в себе, прилепиться к ней всей душой, уберечь ее, наконец, от всех размышлений, которые ее расшатывают и разрушают. Но чем больше он жаждал веры, тем дальше отодвигалось посещение Христа. По мере того как рос его религиозный голод, по мере того как он из всех сил призывал эту веру, как выкуп за будущее, как субсидию новой жизни, — вера являлась временами; расстояние, отделяющее от нее, пугало, мысли толпились в его уме, находящемся всегда в горении, отталкивали его слабую волю и доводами здравого смысла и математическими доказательствами отвергали таинства и догматы!

«Следовало бы удержаться от спора с самим собой, — с грустью подумал Дез Эссент, — нужно бы закрыть глаза, отдаться потоку, забыть проклятые открытия, которые в течение двух веков до основания разрушили религиозное здание. К тому же, — вздохнул он, — это не физиологи, не неверующие разрушают католицизм, — сами священники своими неумелыми сочинениями разрушают самые твердые убеждения».

Доминиканец, доктор богословия, преподобный отец Руар де Кар, сам доказал своей брошюрой «О фальсификации священных даров», что большая часть литургии недействительна, потому что вещества, употребляемые при богослужении, подделаны торговцами.

Уже несколько лет священный елей подделывался из гусяного или куриного жира, воск — из пережженных костей, ладан — из обыкновенной древесной или бензойной смолы. Но хуже всего, что вещества, необходимые для обедни, без которых невозможно причастие, тоже осквернены: вино — различными примесями: ягодами дикой бузины, алкоголем, квасцами, салицилатом, свинцовым глетом; хлеб — хлеб Евхаристии, который должен быть смешан с нежным цветком пшеницы, — мукой из бобов и поташом!

Теперь пошли еще дальше; осмелились совершенно упразднить хлебное зерно, и бесстыдные торговцы почти все облатки изготавливают из картофельного крахмала!

Бог отказался сойти в картофельный крахмал. Это неоспоримый факт; его преосвященство кардинал Гуссе во второй части своего нравственного богословия пространно освещает этот вопрос о подлоге с божественной точки зрения; следуя бесспорному авторитету этого учителя: нельзя освящать хлеб из овсяной муки, гречихи или ячменя, и если рожь, возможно, допустима, то уже не могло быть никакого спора, никаких прений о картофельном крахмале, который, по церковному уставу, не считается надлежащим веществом для таинства.

Благодаря быстрой выделке картофельного крахмала и красивому виду пресных хлебов, сделанных из этого вещества, гнусный обман так быстро распространился, что почти уже не существует таинства пресуществления, и священники и верующие причащаются, не получая истинного причастия.

«Как далеко то время, когда Радегонда, королева Франции, сама приготавливала хлеб для алтаря, когда по обычаю Клуни три священника или три диакона, одетых в стихари и омофоры, натошак, умыв лицо и руки, отбирали по зерну пшеницу, мололи ее, месили тесто с холодной, чистой водой и на ясном огне сами пекли хлебы, при пении псалмов!

Однако, — сказал себе Дез Эссент, — перспектива быть обманутым, даже при причастии, не может служить к укреплению слабой веры; да и как признать всемогущество, которое могут задержать щепоть муки и капля алкоголя?»

Эта размышления еще больше омрачили перспективу его будущей жизни, сделали будущность более грозной и мрачной.

Ему не оставалось никакой гавани, никакого берега. Что будет с ним в Париже, где у него не было ни семьи, ни друзей? Никакие узы не связывали его с Сен-Жерменским

предместьем, которое истлело, рассыпалось прахом ветхости, которое валялось в новом обществе, как старая, пустая скорлупа? Какое соприкосновение могло у него быть с буржуазией, постепенно поднявшейся, пользующейся чужими банкротствами, чтобы разбогатеть, устраивающей всевозможные катастрофы для того, чтобы внушить уважение к своим набегам и грабежам?

Вместо родовой аристократии теперь была аристократия финансовая. Халифат контор, деспотизм улицы Сантья, тирания торгашей, узколобых, тщеславных и лживых.

Более злодейская и подлая, чем разорившееся дворянство и опустившееся духовенство, буржуазия заимствовала у них пустое тщеславие, дряхлое чванство, которые она еще усилила своим неумением жить, переняв их недостатки, превратив их в прикрытые лицемерием пороки; властолюбивая и подлая, лживая и трусливая, она без сожаления расправлялась с необходимым ей обманутым простолюдином, которого, когда ей было выгодно, натравила на прежних хозяев жизни!

Это очевидно, что, использовав народ, высосав его кровь и соки, буржуа, веселый, успокоенный, с силой своих денег и заразой своей глупости, почувствовал себя хозяином народа, который уже окончил свое дело. Результатом стало подавление всякой интеллигентности, отрицание честности, убийство искусства; униженные художники преклонились перед новым хозяином и лизали смердящие ноги высокомерных маклаков и низких сатрапов, милостынями которых они жили!

Вялое ничтожество затопило живопись, а литературу — невоздержанность плоского стиля и жалких идей, которой нужна была честность в аферисте, добродетель в флибустьере, который ищет приданого для своего сына и отказывается дать его за дочь; целомудренная любовь — в вольтерянце, который обвиняет духовенство в

насилиях, а сам глупо и лицемерно, без истинного искусства разврата, уходит в темные комнаты вдыхать соленую воду из лоханок и дурную болезнь из грязных юбок. Большой американский острог, перенесенный на материк; необъятное, глубокое, неизмеримое невежество капиталиста и выскочки, сияющего, как гнусное солнце, над идолопоклонническим городом, извергающим непристойные гимны, павши ниц перед нечестивой скинией банков!

— Разрушайся же, общество! умирай, старый свет! — воскликнул Дез Эссент, возмущенный позором представившееся ему зрелища; это восклицание разрушило угнетавший его кошмар.

«Ах! — подумал он, — это не сон! ведь я должен войти в гнусную, рабскую суматоху века!»

Чтоб успокоиться, он призвал на помощь утешительные максимы Шопенгауэра и повторял грустную аксиому Паскаля: «Душа не видит ничего, что ее сокрушает, когда она думает об этом»; но слова раздавались в его уме как лишённые смысла звуки; его печаль разрушала их, лишала их успокаивающего свойства и всякого значения, истинной, нежной силы. Он понял, наконец, что пессимистические рассуждения были бессильны утешить его и что только вера в будущую жизнь могла бы успокоить его.

Порыв бешенства смел все его попытки покорности и всепрощения. Он не мог скрыть от себя, что не осталось больше ничего, решительно ничего, — все было разрушено. Буржуа причащаются оскверненными облатками под величественными развалинами церкви в Кламаре сделавшейся местом свиданий, превратившейся в груду обломков, оскверненных беспримерными глупостями и скандальными шутками. Неужели страшный Бог Бытия и бледный Распятый на Голгофе, чтоб показать еще раз, что Они существуют, не воскресят потопа, не зажгут огненного дождя, которые истребили некогда проклятые селения и мертвые города? Неужели еще будет течь эта грязь и покрывать

своей заразой старый мир, в котором всходят только посе́вы несправедливости и жатвы позора?

Дверь внезапно отворилась; вдали, в дверях, были видны люди с бритыми щеками и щетиной на подбородках, которые перетаскивали ящики и выносили мебель; потом дверь снова затворилась за слугой, унесшим связки книг.

Дез Эссент обессиленно опустился на стул.

— Итак, — сказал он, — все кончено. Через два дня я буду в Париже. Как морской прилив, волны человеческой посредственности поднимутся до неба и затопят убежище, плотины которого я открыл против моей воли! Ах! мужество изменило мне, сердце замирает! Боже, сжался над христианином, который сомневается, над малове́ром, который хотел бы верить, над мучеником жизни, который пускается в путь один, ночью, под небом, уже не освещаемым больше утешительными светочами прежней надежды!



## Комментарии

### МАРТА

*Повесть опубликована в 1876 г.*

С. 15,37, *Безик* — карточная игра, обычно азартная, для двух партнеров.

С. 15,142,147,154,188. *Гренель* — театральный квартал Парижа в XIX веке.

С. 18. *Амбуаз* — город во Франции, возникший возле одноименного замка на реке Луаре. Известен с 503 года.

С. 22. *Меч Бренна*. — Бренн — вождь галльского племени сенонов, возглавивший поход галлов на Рим. Осадив город Клузий (ныне Кьюзи), Бренн разбил римлян 18 июля 387 году до н. э. у реки Аллия (приток Тибра) и взял Рим. После якобы семимесячного пребывания в Риме галлы покинули завоеванные земли, опасаясь венетов, вторгшихся в Верхнюю Италию. При получении выкупа, когда римляне отвешивали золото победителю, Бренн бросил на одну чашу весов свой меч со словами: «*Vae victis!*» — «Горе побежденным!»

С. 23. *Сиенская глина* (сиена) — краска желто-коричневого цвета.

С. 31,34,95,104,346,377. *Рембрандт ван Рейн* (1606—1669) — Рембрандт Харменс ван Рейн — голландский художник, рисовальщик и гравер.

С. 31. *Боль, Фердинанд* (1616—1680) — голландский художник, гравер и рисовальщик. С 1631 по 1637 год состоял в учениках Рембрандта.

С. 31. *Йорданс, Якоб* (1593—1678) — фламандский художник, представитель фламандского барокко.

С. 32, 305. *Рубенс, Питер Пауль* (1577—1649) — фламандский живописец, представитель европейской живописи эпохи барокко.

С. 32. *Хогарт, Вильям* (1697—1764) — английский рисовальщик, гравер и живописец. Одним из направлений его деятельности было осмеивать и бичевать пороки современного общества. Начало этим живописным произведениям, опубликованным потом в печатных изданиях и имевшим огромный успех при своем появлении, было положено «Жизнью куртизанки».

С. 34, 71. *Цитера* — остров в Средиземном море, в честь богини любви Афродиты на нем был построен храм. В переносном смысле — царство любви.

С. 35. *Луи XIV* — Людовик XIV, здесь: стиль мебели и интерьеров, отличавшийся парадным великолепием, который должен был прославлять могущество монарха. Отличался массивностью, обилием резьбы и позолоты и строгой симметричностью.

С. 35. *Марина* — живописный жанр, изображение морского пейзажа.

С. 37. *Бастилии, площадь* — площадь в Париже, обязанная своим названием крепости Бастилия, разрушенной во время Великой французской революции 1789 г. Находится на границе 3, 4, 11 и 12-го округов. Является местом пересечения более чем десяти улиц и бульваров. В центре площади установлена стела с изображением ангела.

С. 37. *Бриск* — группа карт, выкладываемых при ходе игры в безик.

С. 40. *Конкубинат* — в римском праве постоянное (не случайное), дозволенное законом сожительство мужчины и женщины. В переносном значении — добровольное сожительство партнеров без заключения брака.

С. 47. *Статуя короля* — конная статуя, изображающая короля Генриха IV, при котором был достроен заложенный еще Генрихом III Новый мост.

С. 54. *Обсерватория* — астрономическая обсерватория в Париже. Основана в 1667 году по указу Людовика XIV.

С. 63. *Апплике* — изделия из дешевого металла (железа, меди, латуни), покрытые с лицевой стороны слоем серебра или иного ценного металла.

## ПАРИЖСКИЕ АРАБЕСКИ

*Опубликованы в 1880 г.*

С. 81, 127, 166, 186, 294. *Омнибус* — вид городского общественного транспорта, характерный для второй половины XIX века. Многоместная (15—20 мест) повозка на конной тяге, предшественник автобуса. Постепенно был вытеснен конкой и трамваем.

С. 81. *Империял* — верхняя часть омнибуса с местами для пассажиров.

С. 82. *Данаиды* — в древнегреческой мифологии 50 дочерей царя Дана, убившие своих мужей в брачную ночь. За свое преступление были осуждены в Аиде наполнять водой бездонную бочку. Отсюда выражение «работа Данаид» — бесплодная, нескончаемая работа.

С. 83. *Навзикая* (Навсикая) — дочь фракийского царя Алкиноя и его жены Ареты, героиня одного из эпизодов в Одиссее (VI кн.). По научению Афины она отправилась со служанками на берег моря мыть одежды и здесь веселым криком и игрой со спутницами разбудила Одиссея, спавшего в кустах.

С. 86, 120-122, 124. *Бьевра* (Бьевр) — река, впадает в Сену в 220 метрах от моста Аустерлиц (Париж). В 1910 году ее русло было отведено в канализационную систему на левом берегу Сены.

С. 87, 88. *Ватто*, *Жан Антуан* (1684—1721), более известен как Антуан Ватто — французский живописец и рисовальщик, основоположник стиля рококо.

С. 91. *Фиал* — стеклянный сосуд с узким горлом.

С. 94. *Тьебо*, *Габриэль* — общий знакомый Гюисманса и Эмиля Золя.

С. 94. *Карсель* — лампа, снабженная особым механизмом для подъема масла.

С. 95. *Доу, Герард* (1613—1675) — голландский художник, принадлежащий к кругу «малых голландцев».

С. 95. *Схалкен, Готфрид* (1643—1703) — голландский художник. Одним из первых использовал искусственный свет в написании картин.

С. 95. *Каз, Робер* (1853—1885) — французский поэт и романист.

С. 102. *Спарадрап* — пластырь.

С. 102. *Пифон* — в древнегреческой мифологии дракон, охранявший вход в Дельфийское святилище до занятия его Аполлоном и считавшийся сыном Геи. До появления Аполлона Пифон сам давал прорицания.

С. 104. *Опермент или аврипигмент* — минеральный трехсернистый мышьяк, употребляется как желтая краска в живописи.

С. 104. *Монрозые Эжен* — французский публицист.

С. 105, 358. *Людовик XIII Справедливый* (1601—1643) — король Франции с 14 мая 1610 года. Из династии Бурбонов.

С. 105. *Артаксеркс*, — греческий вариант имени Артакшастра, которое носили три персидских царя из династии Ахеменидов. Имеется в виду Артаксеркс I (правил в 465—424 до н.э.), по прозвищу Долгорукий, который благоволил евреям и издал указ, разрешавший им вновь отстроить Иерусалим и восстановить Иерусалимский храм.

С. 106. *Исаак Лакедем, также Агасфер* — Вечный жид, мифический персонаж, по преданию обреченный на вечные странствия по земле до второго пришествия Христа.

С. 107. *Сеннахериб, Сеннахирим, Си-нахериб* (716—687 до н. э.) — ассирийский царь, завоевавший окрестные царства и направившийся войной на Иудею. Езекия, царь Иудейский, признал его власть и платил ему дань. Но Сеннахерибу это показалось недостаточным. Тогда Езекия противостоял превосходящему во много раз ассирийскому войску. В стане ассирийцев вспыхнула эпидемия, и царь Сеннахериб был вынужден бесславно отступить.

С. 109. *Акведуки, Дюи и Ванский* — сооружения для подачи воды, построенные римлянами.

С. 109. *Бафибий* — желатинообразный, сохраняющийся в алкоголе микроорганизм, покрывающий большие пространства

океанского дна. Обнаружен в 1857 году в Северной Атлантике на большой глубине. Назван так другом и соратником Дарвина, английским биологом Гексли (1825—1895), полагавшим его свободно живущей протоплазмой (веществом, из которого состоят живые организмы).

С. 110. *Бэр, Вильгельм* (1797—1850) — банкир, астроном-любитель. *Медлер, Иоганн Генрих* (1794—1874) — астроном. Работая совместно, проделав микрометрические измерения сотен деталей в качества реперных точек и измерив тени более тысячи гор для определения их высот, они составили в 1836—1837 годах карту Луны с подробным описанием рельефа.

С. 111, 346. *Гойя* (1746—1828), — Франсиско Хосе де Гойя-и-Лусьентес — испанский художник, гравер.

С. 111. *Редон, Одилон* (1840—1916) — французский художник-символист, один из основателей «Общества независимых художников», вдохновлявшийся рассказами Эдгара По, флорберовским «Искушением св. Антония» и романом Гюисманса о Дез Эссенте. Творчество Редона разделяется на два периода: «черный» и «цветной».

С. 111, 112, 113, 114. «*Тангейзер*» — опера Рихарда Вагнера.

С. 111, 114. *Кантика*, кантик — хвалебная песнь Богу и святым.

С. 113. *Аврелий Пруденций Клемент* (348—после 405) — римский христианский поэт.

С. 115. *Фрагонар Жан Оноре* (1732—1806) — французский живописец и гравер.

С. 116, 313, 375, 414, 424, 426, 427, 438. *По, Эдгар Аллан* (1809—1849) — американский писатель, поэт, литературный критик и редактор, представитель американского романтизма. Наибольшую известность получил за свои «мрачные» и детективные рассказы.

С. 116, 271, 309, 381, 382, 383, 384, 392, 418, 419, 420, 422-425, 431, 433. *Бодлер, Шарль Пьер* (1821—1867) — французский поэт и критик.

С. 116, 392. *Делакруа, Эжен* (1798—1863), полное имя: Фердинан Виктор Эжен — французский живописец и график, предводитель романтического направления в европейской живописи.

С. 116, 132, 361. *Опопонакс* — парфюмерный аромат.

С. 117, 414, 416, 417, 433. *Гонкур, Эдмон де* (1822—1896) — французский писатель, историк, художественный критик и мемуарист, работал совместно с братом Жюлем де Гонкуром.

С. 129, 138, 140. «*Фоли-Бержер*» — варьете и кабаре в Париже. Находится по адресу улица Рише, 32. В конце XIX века это заведение пользовалось большой популярностью.

С. 136. *Спаги* — подразделения легкой кавалерии, входившие в состав французской армии, набираемые в основном из местного населения Алжира, Туниса и Марокко. Форма спаги была разработана на основе традиционной одежды тех племен, из которых они набирались. Здесь — стилизованный наряд.

С. 137. *Дебюро, Жан Гаспар Батист* (1796—1846), настоящее имя — Ян Кашпар Дворжак — французский актер-мим, с 1816 года, вместе с братом Францем, — актер театра Фюнамбюль на бульваре Тампль. Развивал традиции комедии дель арте.

С. 138. *Роландсон, Томас* (1757—1827) — английский художник.

С. 139. «*Роберт Дьявол*» — опера Джакомо Мейербера.

С. 140, 306. *Альгамбра* — архитектурный ансамбль мавританского периода, состоящий из мечети, дворца и крепости в южной Испании, расположенный на холмистой террасе в восточной части города Гранада. Альгамбра была построена в XIV веке как резиденция маврских правителей, в настоящее время является музеем исламской архитектуры.

С. 140. *Пеплум* — женская верхняя одежда в Древнем Риме, аналог греческого пеплоса.

С. 142, 148. *Фуляр* — орнаментированная ткань. Здесь: шейные платки.

С. 142. *Трико* — шерстяная или смешанная ткань мелкозорчатого переплетения.

С. 142. *Мадаполам* — тонкая и плотная ткань полотняного переплетения.

С. 142. *Фильдекос* — туго скрученная хлопчатобумажная нить из лучших сортов хлопчатника, имеющая шелковистый блеск, шедшая на изготовление чулок.

С. 143, 298. *Корнет* или корнет-а-пистон — медный духовой музыкальный инструмент, напоминающий трубу, но имеющий более широкую и короткую трубку и снабженный не вентилями, а пистонами. Ведет свое происхождение от почтового рожка. Был сконструирован во Франции около 1830 года.

С. 156. *Ремонтуар* — дорогие часы с особым механизмом завода без ключа.

С. 160. *Бюлье* — танцевальный зал в Париже.

С. 165, 176, 179. *Табльдот* — общий обеденный стол с общим меню в гостиницах, пансионатах и ресторанах.

С. 167. *Глет* — препарат свинца, с помощью которого производится подделка неустоявшихся или кислых вин. Свинец в соединении с кислотами дает очень сладкую соль, которая ослабляет на вкус кислоту вина, но бывает ядом для тех, кто пьет такое вино.

С. 167. *Мамелюк* (мамлюки) — военная квазикаста в средневековом исламском Египте, рекрутировавшаяся из юношей-рабов тюркского и кавказского происхождения. Юношей обращали в ислам, обучали арабскому языку и тренировали в закрытых лагерях-интернатах для несения военной службы.

С. 168. *Арсеник* — арсеник альбум (*Arsenicum album*) — белый мышьяк. Применяется растертым с молочным сахаром или разведенным. Арсеник действует на нервную систему головного и спинного мозга, на кровь и кровеносные сосуды, на секреторные железы, на лимфу, лимфатические сосуды, слизистые, серозные и синовиальные оболочки, на мышцы, кожу.

С. 168. *Раствор Фуллера* — раствор мышьяка в молоке.

С. 168, 333, 439, 443. *Хинин* — основной алкалоид коры хинного дерева с сильным горьким вкусом, обладающий жаропонижающим и обезболивающим свойствами, а также выраженным действием против малярийных плазмодиев. Это позволило в течение длительного времени использовать хинин как основное средство для лечения малярии.

С. 170. *Павильон Флоры* — часть архитектурного комплекса, боковой корпус дворца Тюильри.

С. 171. *Малек-Адель* — герой романа французской писательницы Марии Коттень (1770—1807) «Матильда, или Крестовые походы» (1805). Герой романа был идеалом романтических барышень XIX века.

С. 171, 358, 392, 394, 422, 423. *Гюго, Виктор Мари* (1802—1885) — французский писатель (поэт, прозаик и драматург), глава и теоретик французского романтизма. Член Французской академии с 1841 года.

С. 171, 386. *Институт Франции*, состоящий из 5 академий, главной и самой престижной из которых считается Французская академия, ставшая частью Института в 1803 году.

С. 172. *Фелье, Октав* (1821—1890) — французский писатель. Член Французской академии с 1862 года.

С. 172. *Шербюлье, Виктор* (1829—1899) — французский журналист и беллетрист.

С. 173, 186. *Батиньоль* — деревня, принадлежавшая прежде к департаменту Сены, присоединенная к Парижу в 1859 году и составляющая в настоящее время одну из наиболее населенных частей города.

С. 173. *Мустьерские блюда* — здесь: подделки под изделия среднего и древнего палеолита.

С. 173. *Гоббема, Мейндерт* (1638—1709) — голландский живописец-ландшафтист, ученик, по всей вероятности, Яна ван Рюисдаля.

С. 174. *Бри* — сорт сыра.

С. 180, 181. «*Ричард Львиное Сердце*» — комическая опера в трех актах французского композитора Андре Эрнеста Модеста Гретри. Французское либретто Мишеля Жана Седана.

С. 180, 181. «*Лужайка клерков*» — комическая опера. Впервые поставлена в 1832 году.

С. 180. *Ритурнель* — здесь: вставка в аккомпанементе какого-нибудь вокального номера, наигрыш, исполняемый в начале и конце большого отрывка какого-нибудь сольного номера.

С. 182, 211, 293. *Пале-Рояль* — Королевский дворец.

С. 185. *Люксембург* — Люксембургский сад и дворец, примыкающий к южной части Латинского квартала.

С. 192, 377. *Ван Остаде, Адриан* (1610—1685) — голландский художник и гравер.

С. 192. *Тёрнер, Джозеф Мэллорд Уильям* (1775—1851) — английский живописец и график, представитель романтизма, мастер пейзажной живописи.

С. 196. «*Отверженные*» — роман Виктора Гюго.



С. 200, 217. *Тьер, Луи Адольф* (1797—1877) — французский политический деятель и историк. Автор трудов по истории Великой французской революции. При Июльской монархии — несколько раз премьер-министр Франции. Первый президент французской Третьей республики (временный, до принятия конституции, 1871—1873). Член Французской академии (1833).

С. 207, 212, 213. «*La Vie Parisienne*» — «Парижская жизнь».

С. 209. «*Фигаро*» (*Le Figaro*) — ежедневная французская газета, основанная в 1826 году.

С. 209. *Токвиль, Алексис Шарль Анри де* (1805—1859) — французский, мыслитель, историк и политический деятель, лидер консервативной Партии порядка, министр иностранных дел Франции.

С. 215. *Реставрация* (реставрация Бурбонов) — восстановление власти монархов — представителей династии Бурбонов во Франции на период с 1814 по 1830 год, характеризующаяся противоречивыми приказами монархов, неустойчивой политической ситуацией в стране.

С. 215. *Луи-Филипп I* (1773—1850) — король Франции с 9 августа 1830 по 24 февраля 1848 года, получил прозвище «король-гражданин», представитель Орлеанской ветви династии Бурбонов. Последний монарх Франции, носивший титул короля.

## НАОБОРОТ

*Роман опубликован в 1884 г.*

С. 256, 395. *Рейсбрук Удивительный* (1293—1381) — фламандский теолог. С 1349 года — настоятель августинского монастыря в Грундале. Основное произведение — «Ризы духовного брака».

С. 257. *Жан, герцог д'Эпернон... маркиз д'О* — миньоны французского короля Генриха III (1551—1589). Миньоны — телохранители, друзья, советники, отличающиеся необычайной храбростью и преданностью.

С. 259, 260, 323, 324, 325, 326, 328, 387, 392, 434. *Иезуиты* (орден иезуитов; официальное название «Общество Иисуса») — орден Римско-католической церкви, члены которого дают обет прямого безусловного подчинения Папе Римскому. Иезуиты активно занимались наукой, образованием, воспитанием юношества, широко развивали миссионерскую деятельность.

С. 261. *Стиль Помпадур* в обстановке обозначал все изысканное, игривое, обильно декорированное.

С. 261. *Ханаан* — библейская Земля обетованная.

С. 261. *Ландскнехт и баккара* — карточные игры.

С. 262, 384. *Николь, Пьер* (1625—1695) — французский моралист и богослов, автор трактатов «Логика Пор-Руайяля, или Искусство мыслить» и «Моральные опыты».

С. 263. *Каботинка* — женщина, стремящаяся к артистической карьере, к внешнему успеху, блеску и переносящая актерские манеры в жизнь.

С. 270. *Орден Братьев Меньших Капуцинов* — монашеский орден, ветвь францисканцев. Капуцины — первоначально насмешливое прозвище, относившееся к остроконечному капюшону, носимому членами этого ордена. Основан в 1525 году миноритом Басси в Урбино, утвержден в 1528 году Папой Климентом VII. В 1529 году получил чрезвычайно строгий устав. Одежду капуцинов составляет бурого цвета хабит с пришитым к нему капюшоном, веревочный пояс с узлом, символизирующим нерушимость монашеских обетов, и сандалии на босых ногах.

С. 270, 372. *Индиго* — цвет, средний между темно-синим и фиолетовым.

С. 271. «*Glossarium...*» *Дю Канжа* — «Латинский глоссарий».

С. 271, 433. *Дю Канж, Шарль Рене де* (1610—1688) — французский историк, филолог, лексикограф. Работа над «Латинским глоссарием» велась им свыше сорока лет и потребовала изучения пяти тысяч латинских авторов. Окончательно словарь был отредактирован в 1678 году. Содержит 140 000 слов латинского языка с историческими и философскими экскурсами.

С. 271. *О-Буа де Бьевр* — аббатство в лесах в Бьевре.

С. 272. *Фай* — тонкая плотная шелковая ткань.

С. 272. *Бегинки* — женщины, примкнувшие к религиозному движению, возникшему в XI веке и достигшему общеевро-

пейского размаха в XIII веке. В XV веке оно переживало спад, но просуществовало до Великой французской революции 1789 года. Членами религиозных общин бегинок были в основном мирские женщины, которые вели образ жизни, близкий к монашествующему.

С. 273. *Бумага верже* — белая или цветная бумага с ярко выраженной, видимой на просвет, сеткой из частых полос, пересеченных под прямым углом более редкими полосами.

С. 275. *Пастер, Луи* (1822—1895) — французский микробиолог и химик, член Французской академии с 1881 года.

С. 280, 285, 414. *Вергилий Марон, Публий* (70—19 гг. до н. э.) — древнеримский поэт. Создал новый тип эпической поэмы.

С. 280. *Орфей* — персонаж древнегреческой мифологии, певец и музыкант.

С. 280. *Аристей* — имя древнегреческого героя или божества. Существует сказание, что Аристей — сын Аполлона и Кирены, внучки или дочери Пеня — речного бога в Фессалии — был унесен Гермесом на небо, где Гея питала его нектаром и амброзией. Повзрослевшего сына Аполлон отдал на воспитание Хирону. Музы научили Аристея искусству предсказаний и исцеления. Его называли Аполлон Пастуший. Здесь: герой поэмы Вергилия.

С. 280. *Эней* — сын Анхиса и Афродиты, родился на Иде. Согласно легендам, его вскормили горные нимфы. Плавал в Спарту вместе с Парисом. По Диодору, через три года после падения Трои стал царем латинян и оставался им три года.

С. 281. *Гомер* — легендарный древнегреческий поэт-сказитель, которому приписывается создание «Илиады» и «Одиссеи».

С. 281. *Феокрит* (ок. 300—ок. 260 до н. э.) — древнегреческий поэт III века до н. э., известный преимущественно своими идиллиями.

С. 281. *Энний Квинт* (239 — 169 до н. э.) — древнеримский поэт, по происхождению грек. В 204 г. Марк Порций Катон привез Энния в Рим из Сардинии, где тот нес военную службу.

С. 281. *Лукреций Кар Тит* (ок. 99—55 до н. э.) — древнеримский поэт и философ. Приверженец атомистического

материализма, последователь учения Эпикура. Кончил жизнь самоубийством, бросившись на меч.

С. 281. *Макробий, Амвросий Феодосий* (род. ок. 400 г.) — латинский ученый, писатель и чиновник, противник христианской религии. Автор «Сатурналий» в 7 книгах и комментария к книге Цицерона «Сон Спициона».

С. 281. *Пизандр* (жил в конце VI века до н. э.) — древнегреческий поэт с острова Родос, автор поэмы «Гераклиада» в 2 или 12 книгах. Первым ввел в мифические сказания о Геракле число 12 подвигов и атрибуты героя — львиную шкуру и дубину. Поэма в древности была широко распространена и высоко ценилась. До нашего времени из нее дошли только несколько стихов.

С. 281. *Просодия* — учение об ударении, тоне, интонации.

С. 281, 286. *Цезура* — звуковой сигнал (пауза, смена ритма, интонации и т. д.), членящий стих на некоторое количество частей.

С. 281. *Дактиль* — трехдольный размер античной метрики из одного долгого и двух следующих за ним кратких слогов; в силлабо-тоническом стихосложении ей соответствует стопа из одного ударного слога и двух безударных за ним.

С. 281. *Спондей* — стопа ямба или хорей со сверхсхемным ударением. Как результат, в стопе может быть два ударения подряд.

С. 281. *Катулл, Гай Валерий* (ок. 87—ок. 54 до н. э.) — один из наиболее известных поэтов Древнего Рима и главный представитель римской поэзии в эпоху Цицерона и Цезаря.

С. 281. *Овидий Назон, Публий* (43 до н. э.—17 н. э.) — древнеримский поэт, работавший во многих жанрах, но более всего прославившийся любовными элегиями и двумя поэмами — «Метаморфозами» и «Искусством любви».

С. 281. *Гораций Флакк, Квинт* (65—8 до н. э.) — римский поэт «золотого века». Его творчество приходится на эпоху гражданских войн конца республики и первые десятилетия нового режима Октавиана Августа.

Гюисманс с сарказмом перевел когномен (прозвище) Cicero и получил *Pois Chiche*, «Бородавка». В оригинале: «En prose, la langue verbeuse, les metaphores redondantes, les digressions amphigouriques du Pois Chiche, ne le ravissaient pas davantage».

С. 282, 285, 287. *Цицерон, Марк Туллий* (106—43 до н. э.) — древнеримский политик и философ, блестящий оратор.

С. 282. *Цезарь, Гай Юлий* (100 или 102—44 до н. э.) — император, древнеримский государственный и политический деятель, полководец, писатель.

С. 282. *Саллюстий, Гай Крисп* (86—35 до н. э.) — древнеримский историк.

С. 282, 329. *Ливий, Тит* (59 до н. э.—17 н. э.) — древнеримский историк, автор часто цитируемой «Истории от основания города» из 142 книг, несохранившихся историко-философских диалогов и «Писем к сыну». Уцелело около четверти «Истории..», а именно книги I—X, охватывающие период от легендарного прибытия Энея в Италию до 293 до н. э.; книги XXI—XXX, описывающие войну Рима с Ганнибалом, и книги XXXI—XLV, продолжающие повествование о завоеваниях Рима вплоть до 167 до н.э. Содержание прочих книг известно по краткому их пересказу, составленному в более позднее время.

С. 282. *Сенека, Луций Анней* (4 до н. э.—65 н. э.) или Сенека-младший — древнеримский философ-стоик, поэт и государственный деятель. Воспитатель императора Нерона.

С. 282. *Светоний, Транквилл Гай* (ок. 70—ок. 140) — древнеримский писатель, историк и ученый-энциклопедист.

С. 282. *Тацит, Корнелий* (ок. 56—ок. 117) — древнеримский историк. В 98 году опубликовал трактат «О происхождении германцев и местоположении Германии», в период с 98 по 116 год создал «Историю» (из 14 книг, охватывающих период с 69 по 96 год, сохранились книги I—IV и частично V) и «Анналы» (16 книг, охватывающих период с 14 по 68 год, сохранились книги I—IV и частично V, VI, XI и XVI).

С. 282. *Ювенал, Децим Юний* (ок. 60—ок. 127) — древнеримский поэт-сатирик.

С. 282. *Тибулл, Альбий* (ок. 50—19 до н.э.) — древнеримский поэт. Любовные элегии Тибуллы сохранились в составе так называемого «Тибулловского сборника» в 4 книгах, куда вошли также элегии других поэтов.

С. 282. *Проперций, Секст* (50—ок. 16 до н. э.) — древнеримский элегический поэт.

С. 282. *Квинтилиан, Марк Фабий* (ок. 35—ок. 96) — древнеримский ритор, автор «Наставлений оратору» — самого

полного учебника ораторского искусства, дошедшего до нас от Античности.

С. 282. *Плиний Младший* (61—ок. 114), полное имя Гай Плиний Цецилий Секунд — древнеримский писатель, родившийся в патрицианской семье. Его усыновил дядя — Плиний Старший. В 40 лет стал консулом, а в 111 г. — императорским легатом, послом для особых поручений. Прославился письмами, составившими десять томов, и похвальной речью — «Панегириком императору Траяну». В письмах содержится ценнейший материал по истории, экономике, культуре и быту древнеримского общества.

С. 282. *Стаций, Публий Папилий* (ок. 40—после 95) — древнеримский поэт, автор эпопеи «Фиваида» в 12 книгах.

С. 282. *Марциал, Марк Валерий* (ок. 40—ок. 104) — древнеримский поэт-эпиграмматист. Создатель основ этого жанра.

С. 282. *Теренций, Публий Афр* (ок. 195—159 до н. э.) — древнеримский комедиограф.

С. 282. *Платон* (428 или 427—348 или 347 до н. э.) — древнегреческий философ, ученик Сократа, учитель Аристотеля. Настоящее имя — Аристокл. Платон — прозвище, означающее «широкий, широкоплечий».

С. 282. *Лукан, Марк Анней* (39—65) — древнеримский поэт, значительнейший римский эпик после Вергилия.

С. 282. *Фарсала* — поэма Лукана «Фарсалия, или О гражданской войне» в 10 книгах. Содержание ее — борьба между Цезарем и Помпеем (49—47 до н. э.), воспроизведенная в строго хронологической последовательности до осады Александрии так точно, что поэма имеет ценность и исторического источника. Кульминационный момент поэмы — битва при Фарсале.

С. 282, 284. *Петроний Арбитр, Тит* (ок. 14—66) — автор древнеримского романа «Сатирикон», обычно отождествляемый с сенатором Петронием, о котором писал Тацит. Имя Петроний Арбитр названо во всех рукописных копиях романа. Его подтверждают и позднейшие ссылки и отзывы, в которых, без сомнения, речь идет об авторе «Сатирикона».

С. 283. *Лупанарий* (также лупанар) — публичный дом в Древнем Риме, размещенный в отдельном здании. Название

происходит от латинского слова «волчица» (лат. *lupa*) — так в Риме называли проститутку.

С. 283. *Тримальций* — персонаж «Сатирикона» Петрония.

С. 284. *Фульгенций, Фабиус Плансиад* (VI в.) — латинский грамматик и мифолог.

С. 284. *Фронтон, Марк Корнелий* (ок. 100—170 гг.) — древнеримский грамматик, риторик и адвокат. В 142 году занимал пост консула.

С. 284. *Геллий, Авл* (ок. 130—180) — древнеримский писатель, грамматик и эрудит. Любитель древностей и представитель архаистического направления латинской литературы II века.

С. 284. *Апулей, Луций* (ок. 124—ок. 180) — древнеримский писатель, философ-платоник, ритор. Писал на греческом и латинском языках.

С. 284. *Ин-фолио* (от лат. *in folio*, буквально — в лист) — формат книги или журнала, при котором размер страницы равен половине бумажного листа. На одной стороне листа могут быть отпечатаны две страницы. В XVIII веке использовался для некоторых художественных изданий (отсюда название «фолиант» для изданий большого формата).

С. 285. *Мануций, Альд* (1449—1515) — итальянский гуманист, издатель и типограф, работавший в Венеции. Особенно известен изданием авторов древнегреческой литературы. Настоящее имя знаменитого итальянского книгоиздателя и ученого Альд Пий Мануций.

С. 285. *Тертуллиан, Квинт Септимий Флоренс* (между 155 и 165 — между 220 и 240) — один из наиболее известных раннехристианских писателей и theologов, автор 40 трактатов, из которых сохранился 31. В зарождавшейся теологии Тертуллиан впервые выразил концепцию Троицы. Положил начало латинской патристике и церковной латыни — языку средневековой западной мысли. Основные произведения: «Апологетика», «Трактат о терпении», «Об одежде женщин».

С. 285. *Монтанизм* — религиозное движение в христианстве II века. Первоначальная история монтанизма почти не сохранилась. Его религиозные идеи известны главным образом

из книг обратившегося в эту секту Тертуллиана. Бывший языческий жрец Монтан из Фригии, обратившись в христианство около 156 года, не захотел войти в складывающиеся в то время церковные рамки и стал проповедовать живое духовное общение с Богом, свободное от иерархии и обрядов. Последователи Монтана, особенно две пророчицы, Приска (или Присцилла) и Максимила, признали своего учителя за Параклета (Духа-Утешителя), обещанного в Евангелии от Иоанна. Движение распространилось из Малой Азии по Фракии; отголоски его достигли Карфагена, Рима и Южной Галлии. Учение полагало сущность христианства исключительно в религиозном энтузиазме, в отрицании всякой иерархической и богослужебной формы оно сталкивалось с церковью, а в неприятии умственной стороны религии — с гностицизмом.

С. 285. *Гностицизм* — эклектическое религиозно-философское течение поздней Античности, выступившее одной из культурных форм связи оформившегося христианства с мифо-философским эллинистическим мировоззрением и верованиями иудаизма, зороастризма, вавилонских мистериальных культов.

С. 285. *Каракалла, Септимий Бассиан* (186—217) — римский император из династии Северов. Сын Септимия Севера, брат Геты. Правил с 211 по 217 год.

С. 285. *Макрин, Марк Опеллий* (ок. 165—218) — римский император с 217 по 218 год.

С. 285. *Элагабал* (204—222), настоящее имя Марк Аврелий Антонин — римский император с 218 по 222 год — после Макрина. Происходил из сирийской аристократии, из рода жрецов города Эмеза, где с 217 года был верховным жрецом в храме бога Солнца Элагабала.

С. 286. *Священномученик Киприан*, святая мученица *Иустина* и святой мученик *Феоктист* умерщвлены в Никомидии в 304 году.

С. 286. *Арнобий Старший* (ум. ок. 327) — учитель красноречия в Сикке в Нумидии и потому часто называется африканцем. Около 300 года принял христианство. По словам Иеронима, желая изложить епископу, который должен был его крестить, свое христианское вероисповедание, он написал семь томов под заглавием «Adversus nationes», где опровергал обви-



нения язычников против христианства, но вместе с тем примешивал к христианству платонико-гностические идеи.

С. 286. *Лактанций, Луций Цецилий Фирмиан* (ок. 250—ок. 325) — ритор из Африки, ученик Арнобия, принявший в 303 году христианскую веру. За образованность и красноречие Лактанций заслужил впоследствии от гуманистов эпохи Ренессанса почетное звание «христианского Цицерона». После прихода Константина к власти в западной части Римской империи Лактанций в 317 году был назначен воспитателем Криспа, наследника императора, и проживал в Трире. Творческое наследие Лактанция состоит из целого ряда трудов, написанных изящным стилем с соблюдением классических литературных канонов. Они являются одним из самых ярких образцов не только христианской, но и всей позднеантичной литературы.

С. 286. *Коммодиан Газский* (середина III в.) — один из первых латинских христианских поэтов. Автор «Наставлений» и «Апологетических стихотворений».

С. 286. *Гиатус* — в грамматике и поэтике встреча двух гласных, из которых одна находится на конце слова, а другая в начале следующего.

С. 287. *Аммиан Марцелин* (ок. 330—после 395) — древнеримский историк. Участвовал в войнах Рима с персами в середине IV века, также служил в западной части империи. По происхождению сирийский грек, однако свое единственное произведение, «Деяния», написал на латинском языке. Сохранившаяся часть исторического труда (книги XIV—XXXI) охватывает период 353—378 годов, вообще же повествование начиналось с правления императора Нервы (96 г. н. э.).

С. 287. *Аврелий Виктор Секст* (IV в.) — римский историк, уроженец Африки, автор «О происхождении римского народа» в 23 книгах, «О цезарях» и «О знаменитых людях». Ему приписываются также «Эпитомы о цезарях». При императоре Юлиане в 361 году управлял Нижней Паннонией, в 392—393 годах был префектом Рима.

С. 287. *Симмах, Квинт Аврелий* (ок. 345—403) — римский политик и оратор. В 384—385 годах — префект Рима, с 391 года — консул. Глава «Кружка Симмаха», который объединил представителей аристократии, боровшейся против христианства ради возрождения римской веры и сохранения римского культурного наследия.

С. 287, 417, 433. *Клавдиан, Клавдий* (ок.370—ок.404) — поэт, родом из Александрии Египетской, этнический грек, видимо, из двуязычной семьи, потому что писал и на древнегреческом, и на древнелатинском языках.

С. 287. *Намациан, Клавдий Рутилий* (V в.) — римский дидактический поэт и государственный деятель, родом из Галлии, язычник. Встречается вариант имени Нуманциан.

С. 287. *Авзоний Децим Магн* (IV в.) — древнеримский придворный поэт и ритор, принадлежал к учительской интеллигенции города Бордо.

С. 287. *Прозерпина* — в древнеримской мифологии богиня подземного царства, соответствующая древнегреческой Персефоне, дочь Юпитера (Зевса) и Цереры (Цицеры), племянница и супруга Плутона (Дита), дочь богини зерна. Прозерпина собирала ирисы, розы, фиалки, гиацинты и нарциссы на лугу со своими подругами, когда ее заметил, воспылав любовью, Плутон, царь подземного мира. Он умчал ее на колеснице в подземное царство, заставив бездну разверзнуться перед ними. Плутон был вынужден отпустить Прозерпину к матери, но дал вкусить ей зернышко граната, чтобы она не забыла царство смерти и вернулась к нему. С той поры Прозерпина треть года проводит в царстве мертвых и две трети года — в царстве живых.

С. 287. *Меропий Понтий Павлин из Нолы* (353—431) — латинский христианский поэт из галло-римской аристократии. Оставив активную государственную деятельность, Павлин перешел в христианство, с 393 года вел аскетическую жизнь, основал монастырь в Ноле (Кампания) и с 409 года был там епископом. Из его многочисленных сочинений сохранились стихотворения и письма, в том числе к его учителю Авсонию.

С. 287. *Ювенкус, Кай Веттиус Аквилис* (IV в.) — испанский пресвитер, составил «Евангельскую историю» в 4 книгах и «Ветхозаветную историю» в эпическом размере и с фразеологией римских эпиков, но с нарушенной просодией.

С. 287. *Викторин Петавский* (ум. ок. 304) — первый латинский экзегет, католический святой, священномученик, пострадавший при императоре Диоклетиане.

С. 287, 311. *Маккавеи* — общее имя представителей Хасмонейской династии вождей и правителей Иудеи с 167 по 37 г. до н.э. Имя Маккавей первоначально было прозвищем Иуды,

одного из сыновей Маттафии, однако впоследствии им стали обозначать всех членов его семьи и их сторонников. В настоящее время под Маккавеями подразумевают исключительно потомков Маттафии. Значение слова «маккаби» неизвестно, но обычно считается, что оно означает «молотобоец».

С. 287. *Илер де Пуатье* (315—367) — христианский святой, епископ Пуатье. За важную роль в борьбе с арианством на Западе был назван «Афанасий Западный» по аналогии с Афанасием Великим, боровшимся с арианством на Востоке.

С. 287, 436. *Амвросий Медиоланский*, святой (ок. 340—397) — епископ миланский, проповедник и гимнограф. Один из четырех великих латинских учителей церкви, он обратил в христианство и крестил блаженного Августина. Авторитет Амвросия был настолько велик, что он оказывал влияние на политику императора Феодосия Великого (346—395), тем самым создав значимый прецедент в отношениях государства и церкви.

С. 287. *Дамасий I* (300—384), именуемый также Дамас — святой, папа римский с 1 октября 366 по 11 декабря 384 года. Дамасий I дал распоряжение Иерониму Стридонскому начать перевод Библии, который впоследствии стал известен как Вульгата. Заменял в литургии греческий латынью. Помимо этого, Дамасий занимался церковным строительством и борьбой с арианством.

С. 288. *Иероним Стридонский* (342—419 или 420), полное имя Евсевий Софроний Иероним — церковный писатель, аскет, создатель канонического латинского текста Библии. Почитается как в православной, так и в католической традиции как святой и один из учителей церкви.

С. 288. *Вигилантий Коммингский* (IV—V вв.) — галльский священник, против которого Иероним написал трактат. Вигилантий оспаривал скорее церковные традиции, чем вопросы вероучения. Он принципиально отвергал монашество и почитание святых и мощей.

С. 288. *Августин Аврелий* (354—430) — епископ Иппонийский, философ, проповедник, христианский богослов и политик. Святой католической и православных церквей, при этом в православии обычно именуется Блаженный Августин. Один из отцов церкви, основатель августинизма. Родоначальник христианской философии истории. Христианский неоплатонизм

Августина господствовал в западноевропейской философии и католической теологии до XIII века, когда он был заменен христианским аристотелизмом Альберта Великого и Фомы Аквинского. Некоторая часть сведений об Августине восходит к его автобиографической «Исповеди». Его самый известный теологический и философский труд — «О граде Божием».

С. 288. *Иеремиада* — длинное литературное произведение, в котором автор горько оплакивает состояние общества, обличая его пороки наряду с лживой моралью и, как правило, предсказывая его скорый упадок. Иеремиада обычно пишется в прозе, но иногда встречается и стихотворная форма. В расширенном смысле под иеремиадой подразумевается любое произведение, написанное в пессимистическом тоне или с пессимистической точки зрения.

С. 288. *Пруденций, Клемент Аврелий* (348—после 405) — римский христианский поэт. Его «Психомахия» — изображение борьбы добродетелей и пороков в душе человека.

С. 288. *Сидоний, Аполлинарий Гай Соллий* (ок. 430—ок. 486) — галло-римский писатель, поэт, дипломат.

С. 288, 388. *Панегирик* — похвальная публичная речь: литературный жанр, представляющий собой речь, написанную по случаю чьей-либо смерти (с античности до XVIII века). Позднее — восхваление в литературном произведении (например, в оде) или публичном выступлении. С XIX века — неоправданное восхваление.

С. 288. *Меробальд, Флавий* (IV в.) — римский поэт и ритор. Из его сочинений сохранились только отдельные фрагменты.

С. 288. *Седулий* (IV—V вв.) — латинский христианский поэт. Написал поэму в 5 книгах «Пасхальная песнь».

С. 288. *Марий Викторин, Гай* (275—после 362) также известен как Викторин Африканский — римский грамматик, оратор, философ-неоплатоник.

С. 288. *Ориентус или Ариенциус* (V в.) — епископ Аухский, автор «Мониторий».

С. 289. *Аэций Флавий* (ок. 395—453) — римский полководец, в 451 году возглавлял войска римлян и их союзников — варваров в битве на Каталаунских полях против гуннов Аттилы.

С. 289. *Аттила* (ум. 453) — вождь гуннов с 434 по 453 год, объединивший варварские племена от Рейна до Северного Причерноморья.

С. 290. *Драконций, ЭмилиЙ Блоссий* (V в.) — адвокат, поэт и знаток древнеримской литературы. Кроме поэтических произведений христианского содержания: «Гексамерон» в 3 книгах, «Сатисфакция», обращенная к царю вандалов Гутамунду (484—496) и др., сочинил целый ряд более мелких стихотворений, например: *Nylas, raptus Helenaе, deliberatio Achillis an corpus Hectoris vendat, Medea*.

С. 290. *Мамерт, Клавдий* (ум. 474) — ученый, христианский писатель, богослов, поэт и риторик. Главное сочинение — «Три книги о состоянии души».

С. 290. *Авит Вьенский* (450—518), полное имя Альцим Экдиций Авит — епископ города Вьен, латинский писатель и поэт, один из видных противников арианской ереси на Западе. Автор большого числа не сохранившихся до наших дней эпиграмм, а также прозаических наставлений и большого сборника писем, из которого сохранилась лишь малая часть. Некоторые из этих писем представляют собой развернутые богословские трактаты. Славу ему принесло эпическое произведение на тему библейских книг Бытие и Исход — «Поэма о подвигах духа», описывающая события Священной истории начиная от сотворения мира.

С. 290. *Эннодий, Магнус Феликс* (473—521) — святой, христианский писатель, епископ Павии, поэт, оратор, ритор. Написал «Жизнь святого Епифания» и большое количество произведений в прозе и стихах. Собрание его писем составило 9 книг, что свидетельствует о его многостороннем образовании и большой стилистической плавности и легкости, а также об обширном круге адресатов.

С. 290. *Епифаний* (438 или 439—496) — святой, епископ Павии. Сыграл важную роль в политической жизни своего времени. Основные сведения о нем содержатся в сочинениях его преемника на кафедре, святого Эннодия, и в двух памятниках павийского происхождения — «Краткой хронике о святых епископах Тицинской Церкви» (XIII в.) и зависимой от нее «Похвале Павии» (XIV в.), где указано первоначальное место погребения Епифания — церковь по имени святого Викентия в

Павии, в которой были похоронены также его сестра Гонората и святые девы Луминоза, Специоза и Либерата.

С. 290. *Эвгиппий* (V—VI вв.) — церковный историк, ученик Северина.

С. 290. *Северин* (ум. 482) — святой, апостол Норика, возглавлял оборону города от германцев.

С. 290. *Ферреоль* (530—581) — святой, епископ Юзесский и, вероятно, епископ Нимский. Святой Ферреоль основал монастырь, для которого написал правило, сохранившееся по сей день.

С. 290. *Вердон, Мишель* (?—1521) — житель провинции Безансон, обвиненный церковью в ликантропии (способности обращаться в волка) и в вовлечении христиан в службу дьяволу. Предан аутодафе.

С. 290. *Боэций, Аниций Манлий Торкват Северин* (ок. 480—524) — римский государственный деятель, христианский философ-неоплатоник.

С. 290. *Григорий Турский* (538—594) — святой, франкский историк и писатель; с 573 года епископ Тура. Известен сочинениями о чудесах и «Историей франков» в 10 книгах. Светское имя — Георгий Флоренций.

С. 290. *Иорданес* (VI в.) — историк, принадлежал к духовному сословию; возможно, был епископом Кротонским. Весьма важно его «De origine actibusque Getarum» — история готов до падения итальянских остготов, так как он пользовался не дошедшими до нас источниками, в том числе готской историей Кассиодора.

С. 290. *Фредегер* — предполагаемое имя анонимного автора франкской хроники, составленной в VII веке.

С. 290. *Павел Диакон или Варнефрид* (ок. 720—800) — христианский писатель. Автор «Римской истории», «Истории лангобардов», писем, поэтических произведений и богословских трудов.

С. 290. *Бангор* — один из старейших монастырей Ирландии (Ольстер, округ Норт-Даун). Основан святым Комгаллом в 555 или 559 году.

С. 290. *Комгалл мокку Ариди* (ок. 510—ок. 602) — ирландский святой, основатель монастыря Бангор в Ольстере на территории племени Дал Арайде, к которому принадлежал.

С. 290. *Колумбан* (543—615) — святой. Ирландский монах, проповедник христианства в Западной Европе, в конце V века покинул Ирландию и основал монастыри в Бургундии, Лангобардском королевстве и других местах.

С. 290. *Иона из Боббио* (ок. 600—после 659) — автор нескольких житий святых.

С. 290. *Кутберт Линдисфарнский* (637—687) — епископ крупнейшего бенедиктинского аббатства в Англии — Линдисфарна, апостол Нортумбрии, один из самых почитаемых святых Англии. Житие записано Бедой Достопочтенным.

С. 290. *Беда Достопочтенный* (ок. 643—735) — англосаксонский ученый-монах, историк, написал богословские комментарии, «Жития святых», трактаты по хронологии. Самое значительное сочинение — «Церковная история англов».

С. 291. *Агиограф* — автор жития святого.

*Радегунда* (521—587) — франкская королева, святая. Дочь Бертахара (убит в 525 г.), короля Тюрингии, жена Хлотаря I (ок. 497 — 561). Ушла в монастырь в 550 году после того, как Хлотарь убил в борьбе за власть во Франкском королевстве ее брата. В 552 году Радегунда основала монастырь в Пуатье (впоследствии монастырь Святого Креста). Духовником Радегунды в монастыре был поэт Венанций Фортунат.

С. 291. *Альдхельм Малмсберийский* (639 или 640—709) — святой, епископ Шерборнский. Церковный и литературный деятель англосаксов. Принадлежал к царскому роду Уэссекса. Был монахом в монастыре Малмсбери, затем аббатом. Папа Сергий I пригласил его в Рим и возвел в епископский сан. Альдхельм оставил после себя значительное литературное и эпистолярное наследие, в том числе загадки.

С. 291. *Татвин или Татуин* (ум. 734) — святой, архиепископ Кентерберийский в 731—734 годах. Загадки Татвина отводили уже гораздо больше места христианским понятиям и усилили элемент назидательности. Загадки включают в себя, например, такие темы, как «Адам», «Алтарь», «Крест»; они оперируют абстрактными представлениями вроде «Добродетели» или «Пороков».

С. 291. *Евсевий* (VIII в.) — англосакский поэт, пополнивший сборник Татвина. Он довел количество загадок до ста, в

подражание Альдхельму, причем у него еще больше смешивается наглядное и абстрактное и наблюдается особое пристрастие к противопоставлениям (например, огонь и вода, смерть и жизнь, правда и неправда).

С. 291. *Симфозий* — латинский поэт конца IV века, сохранилось 100 его трехстишных загадок, написанных гекзаметрами, о домашней утвари (ключ, перстень), явлениях природы (дождь, снег, лед), мира природы (крот, черепаха, паук, мак, роза) и т. д.; некоторые из загадок довольно любопытны, например, о женщине, родившей двойню, и о солдате-подагрике.

С. 291, 433. *Бонифаций или Вонифатий*, а также Винфрид (672 или 673—754) — святой, архиепископ в Майнце, наиболее видный миссионер и реформатор церкви в государстве франков, прославившийся как Апостол всех немцев.

С. 291. *Алкуин, Альбин Флакк (735—804)* — англосаксонский ученый, аббат церкви Сан-Мартин де Тур. Учитель Карла Великого и его главный советник в делах просвещения, автор множества латинских поучительных, панегирических, агиографических и литургических стихотворений, а также загадок в излюбленном англо-саксонском жанре в стихах и прозе. Его письма — образец изящного и благозвучного латинского стиля. Кроме того, Алкуин составил учебники по разным предметам (некоторые в диалогической форме).

С. 291. *Эгингард*, также *Эйнгард* или *Эйнхард (770—840)* — средневековый ученый, деятель Каролингского возрождения. Биограф Карла Великого.

С. 291. *Галль (532—627)* — святой, ирландский монах, сопровождавший святого Колумбана в Бургундии и Германии.

С. 291. *Фрекульф (780—850)* — епископ в Лизье, знаток классической литературы; автор хроник.

С. 291. *Регинон Прюмский* или *Регино Прюмский (ум. 915)* — средневековый хронист, аббат Прюмского монастыря в Лотарингии с 892 по 899 год. Автор «Всемирной хроники» в трех книгах, основное содержание которой посвящено истории Франкского государства и особенно Каролингам.

С. 291. *Валафрид Страбон*, также *Валафрид Косой* и *Валафрид из Райхенау (808 или 809 — 849)* — средневековый латинский поэт и богослов, с 838 года — аббат монастыря Рай-



хенау. Известен тем, что записал хронику Тегана, а в Райхенау написал одну из самых известных своих поэм «Садик» или «О садоводстве» («Hortulus», «De cultura hortarum»).

С. 291. *Эрмольд Нигелл* или Эрмольд Черный (ок. 790 — после 838) — аббат Аньена, франкский поэт, написавший поэму «Прославление Людовика, христианнейшего кесаря» (или просто «Прославление Людовика»), а также два стихотворения, обращенные к королю Пипину I Аквитанскому.

С. 291. *Людовик Благочестивый* (778—840) — франкский император с 814 по 840 год. Сын Карла Великого.

С. 291. *Одо из Мена* (X—XI вв.), также Мацер Флоридус — вероятно, врач-практик. Его же считают автором поэмы «О свойствах трав». Поэма написана гекзаметром и состоит из 77 глав. Основными источниками поэмы были произведения Плиния Старшего, Галена и Диоскорида. В ней цитируются 23 греко-латинских автора (некоторые известны только по имени). Поэма «О свойствах трав» была чрезвычайно популярна в Средние века. Уже в XV веке к поэме был составлен комментарий. Парацельс (1493—1541) читал в Базеле лекции о поэме и составил примечания к 36 ее главам. Поэма — предшественник «Салернского кодекса здоровья» — оказала заметное влияние на последующие произведения медиков Салернской школы.

С. 291. *Кирказон* — многолетнее травянистое растение с острым фруктовым запахом. Цветет со второй половины мая до июля.

С. 292. *Патрология* — трактат, посвященный жизни, деяниям и доктринам отцов церкви.

С. 292. *Минь*, *Жак Поль* (1800—1875) — французский аббат, христианский книгоиздатель, чье издание трудов отцов церкви (*Patrologia Latina* и *Patrologia Graeca*) до сих пор считается классическим и неофициально называется «Патрология Минья». Латинская патрология содержит 308 томов, греко-латинская — 168. Всего же им издано 2000 томов «in quatro».

С. 292. *Мерс*, *Ян* или *Мерсиус*, *Ян* (1579—1639) — голландский историк, археолог и юрист.

С. 302. *Моро*, *Гюстав* (1826—1898) — французский художник-символист. Использовал для своих произведений мифологические и библейские сюжеты. Его живопись оказала существенное влияние на фовизм и сюрреализм.

С. 303, 304, 305, 307, 308, 309. *Саломея* — библейский персонаж, дочь Иродиады, бывшей в незаконном сожителстве с Иродом Антипой. За прекрасный танец потребовала голову Иоанна Крестителя. Популярный сюжет искусства конца XIX века (картина Г. Моро, Флобер «Иродиада», Малларме «Иродиада», О. Уайльд «Саломея» и т. д.).

С. 303, 304, 306. *Ирод Антипа* (20 до н. э.—после 39 года н. э.) — правитель (тетрарх) Галилеи и Перее с 4 года по 39 г. н. э. Сын царя Ирода Великого и одной из его жен, самаритянки Малтаки.

С. 304, 307, 429. *Иродиада* — внучка Ирода Великого от его сына Аристовула. С ее именем связывается история смерти Иоанна Крестителя. Она была замужем за своим дядей Филиппом и имела от него взрослую дочь Саломею, но увлеклась преступной связью с его братом Иродом Антипой. Эта преступная связь произвела на всех тяжелое впечатление; народ глухо роптал. Иоанн Креститель явился к Ироду и высказал ему горький укор за поругание нравственных законов, что разъярило Иродиаду, и она добилась того, что голова «величайшего из рожденных женами» пала под мечом палача. Своими интригами Иродиада навлекла бедствие на Ирода Антипу и была сослана вместе с ним в Галлию, где и умерла.

С. 304. *Иоанн Креститель*, он же Иоанн Предтеча — согласно Евангелиям, ближайший предшественник Иисуса Христа, предсказавший пришествие Мессии, жил в пустыне аскетом, крестил в водах Иордана Иисуса Христа, затем был обезглавлен из-за козней иудейской царевны Иродиады и ее дочери Саломеи.

С. 306, 415. «*Саламбо*» — роман Гюстава Флобера.

С. 306. *Исида*, или *Изида* — одна из величайших богинь древности, ставшая образцом для понимания египетского идеала женственности и материнства. Она почиталась как сестра и супруга Осириса, мать Хора, а соответственно, и египетских царей, которые считались земными воплощениями сокологолового бога. Символом Исиды был царский трон, знак которого часто помещается на голове богини. С эпохи Нового царства культ богини стал тесно переплетаться с культом Хатхор, в результате чего изображения Исиды иногда имеют убор в виде солнечного диска, обрамленного рогами коровы. Священным

животным Исида как богини-матери считалась «великая белая корова Гелиополя» — мать мемфисского быка Аписа. Древний культ Исида, вероятно, происходит из Дельты Нила. Здесь находился один из древнейших культовых центров богини, Хебет, названный греками Исейоном (совр. Бехбейт эль-Хагар). В Гелиопольской теологической системе Исида почиталась как дочь бога Геба и богини Нут.

С. 308. *Мантенья, Андреа* (1431—1506) — итальянский художник эпохи Возрождения.

С. 308. *Якопо де Барбари*, по прозвищу Франциск Вавилонский (1450—1515) — живописец и гравер XVI века.

С. 308, 431. *Леонардо да Винчи*, точнее, Леонардо ди сер Пьеро да Винчи (1452—1519) — итальянский живописец, скульптор, архитектор, ученый, анатом, математик, физик, естествоиспытатель, представитель типа «универсального человека эпохи Ренессанса».

С. 309. *Лимозены* — семейство французских художников-эмальеров XVI века, происходили из Лиможа. Наиболее известны Леонар I (ок. 1505—ок. 1577), который прославился сериями: «Двенадцать апостолов», «Жизнь Христа», «Психея» и портретами современников. Всего Леонар I создал около 1840 эмалей.

С. 310, 311. *Люйкен, Ян* (1649—1712) — голландский рисовальщик, гравер, поэт. В 1690-е годы вместе с сыном Каспером он выполнял титульные листы, портреты авторов и иллюстрации ко многим изданиям. Известно более 3200 его листов его работ. Издавал сборники своих стихов, которые сам иллюстрировал. Его поздняя поэзия выдержана в духе христианской мистики, близкой к меннонитам.

С. 311. *Калло, Жак* (1592—1635) — французский гравер и рисовальщик, мастер офорта, работавший в стиле маньеризма.

С. 311. *Драгонады* — жестокие военные экзекуции, устроенные Людовиком XIV над французскими протестантами. В 1681 г. по распоряжению Лувуа в протестантских домах в Пуату было расположено на постой двойное число драгун. Постепенно эта мера стала применяться во всей стране, причем солдатам разрешалось жестокое отношение с упорными приверженцами протестантизма.

С. 311. *Бреден, Родольф* (1825—1885) — французский художник, гравер, мастер офорта и литографии.

С. 312. *Меровинги* — первая династия франкских королей в истории Франции. Короли этой династии правили с конца V до середины VIII века на территории современных Франции и Бельгии.

С. 314. *Теотокопулос, Доминикос* — настоящая фамилия испанского художника Эль Греко (1541—1614).

С. 315. *Картезианцы* (картузианцы) — монашеский орден Римско-католической церкви, основанный в 1084 году святым Бруно Кельнским в Шартрезских горах близ Гренобля (Франция). Официально орден картезианцев был утвержден Папой Римским Иннокентием III в 1133 году. Название ордена происходит от названия первой обители — Великой Шартрезы.

С. 322. «*De laude castitatis*» (лат.) — «Похвала добродетели».

С. 322. *Гондевальд* (ум. 516) — король Бургундии в 480—516 годах.

С. 324. *Лакордер, Жан Батист Анри Доменик* (1802—1861) — французский проповедник, писатель, член Французской академии. Восстановил орден доминиканцев во Франции. Его проповеди публиковались с 1844 по 1851 год.

С. 326. *Музей Клюни* — Клюнийский монастырь, который воскрешал монашеские уставы первых веков христианства. Устав Клюнийского монастыря распространился в других европейских странах, в результате возникла Клюнийская конгрегация, влиявшая на общую политику государств Европы. Расцвет монастыря приходится на XII век. Во время Реформации Клюни потерял свою власть, а в 1790 году был, как и другие монастыри, закрыт Учредительным собранием. В здании Клюнийского аббатства теперь находится музей Клюни.

С. 328. *Несторий* (после 381—около 451) — основатель несторианской ереси, учения о двух самостоятельно существующих природах Христа, архиепископ Константинопольский в 428—431 годы.

С. 328. *Евтихий* (378—451) — родоначальник ереси, по которой все человеческое во Христе совершенно поглощено Божественным. Осужден на пятом Вселенском соборе.

С. 329. *Квинси, Томас де* (1785—1859) — английский писатель-романтик, автор «Исповеди курильщика опиума».

С. 330, 451. *Шопенгауэр, Артур* (1788—1860) — немецкий философ. Один из самых известных мыслителей иррационализма, мизантроп, тяготел к немецкому романтизму, увлекался мистикой, изучал философию Иммануила Канта и философские идеи Востока, Упанишады, а также стоиков — Эпиктета, Овидия, Цицерона и других. Критиковал своих современников Гегеля и Фихте. Называл существующий мир, в противопоставление софистическим, как он сам выражался, измышлениям Лейбница, «наихудшим из возможных миров», за что получил прозвище «философа пессимизма». Основной философский труд — «Мир как воля и представление» (1819), комментированием и популяризацией которого Шопенгауэр занимался до самой своей смерти.

С. 354. *Бузембаум, Германн* (1600—1668) — немецкий иезуит, теолог и моралист.

С. 354. *Диана, Антонио* (1585—1663) — итальянский теолог и казуист.

С. 354. *Лигюори, Альфонс Мари де* (1696—1787) — святой, итальянский теолог и миссионер.

С. 354. *Генрих III* (1551—1589) — последний король Франции из династии Валуа с 30 мая 1574 года. Четвертый сын Генриха II, короля Франции, и Екатерины Медичи, герцог Ангулемский в 1551—1574 годах, герцог Орлеанский в 1560—1574 годах, герцог Анжуйский в 1566—1574 годах, герцог Бурбонский в 1566—1574 годах, герцог Овернский в 1569—1574 годах, король Польши с 21 февраля 1573 года по 18 июня 1574 года.

С. 356, 438. *Бетховен, Людвиг ван* (1770—1827) — немецкий композитор, дирижер и пианист, один из трех «венских классиков».

С. 356. *Клапписсон, Антуан Луис* (1808—1866) — французский оперный композитор.

С. 357. *Аткинсон, Томас Уитлэм* (1799—1861) — английский художник, архитектор, путешественник.

С. 357. «Любен» — парфюмерный дом, основанный в 1798 году в Париже Пьером Франсуа Любеном. Довольно скоро Любен стал официальным парфюмером многих королевских дворов Европы. Фирменные духи «О-де-Любен» прославили Любена и сделали официальным поставщиком французского императорского двора.

С. 357. *Шарден, Жан Батист Симеон (1699—1779)* — французский художник, писал портреты, натюрморты, считался мастером цвета.

С. 357. *Виоле* — парфюмер второй половины XIX века.

С. 357. *Пиесс (или Пьесс), Септимус* — автор «Искусства парфюмерии», разработавший нотную классификацию, связавшую парфюмерию с музыкой — семь классов соответствовали семи нотам гаммы.

С. 358. *Сен-Аман, Марк Антуан Жерар де (1594—1661)* — французский гуманист, поэт. Зная английский, итальянский, испанский языки, игнорировал латынь.

С. 358. *Боссюэ, Жак Бенинь (1627—1704)* — французский проповедник и богослов XVII века, писатель, епископ Мо. Боролся против протестантов.

С. 358. *Людовик XV, официальное прозвище Возлюбленный (1710—1774)* — король Франции из династии Бурбонов с 1 сентября 1715 года.

С. 358. *...по следам Гюго и Готье устремилась на Восток...* — Готье, Теофиль (1811—1872), воспел Восток в нескольких книгах, в частности «Фортунио», «Роман Мумии», в новеллах «Ночь Клеопатры», «Павильон на воде», «Тысяча вторая ночь», а также в стихотворениях. Гюго, Виктор (1802—1885), выпустил сборник восточных стихов «Ориенталии» в 1829 году.

С. 358. *Малерб, Франсуа де (1555—1628)* — французский поэт XVII века, чьи произведения во многом подготовили поэзию классицизма. В то же время многие сочинения Малерба тяготеют к стилю барокко.

С. 358. *Буало-Депрео, Никола (1636—1711)* — французский поэт, критик, теоретик классицизма.

С. 358. *Андрюе, Франсуа (1759—1833)* — французский писатель, автор нескольких комедий, постоянный секретарь Французской академии.

С. 358. *Баур-Лормиан, Пьер Франсуа Мари (1770—1854)* — французский поэт и драматург. Перевел на французский язык поэзию Оссиана.

С. 360. *Буше, Франсуа (1703—1770)* — французский живописец, гравёр, декоратор. Представитель художественной культуры рококо.

С. 360. *Фемидор* — персонаж повести Клода Годара д'Окура, родственника мадам Помпадур (XVIII в.), «Фемидор, или История моя и моей любовницы».

С. 371. *Дюморье, Джордж* (1834—1896) — английский писатель и карикатурист.

С. 371. *Лич, Джон* (1817—1864) — английский иллюстратор и карикатурист.

С. 372. *Милле, Жан Франсуа* (1814—1875) — французский художник, один из основателей барбизонской школы.

С. 372. *Уоттс, Джордж Фредерик* (1817—1904) — английский живописец и скульптор. Родился в семье настройщика фортепиано. В своих картинах стремился к обобщенности и монументализации формы. Пытался возродить фресковую живопись, но не смог преодолеть технические трудности ее исполнения.

С. 372. *Микеланджело Буонарроти* (1475—1564), полное имя: Микеланджело де Франческо де Нери де Миниатодель Сера и Лодовико ди Леонардо ди Буонарроти Симони — итальянский скульптор, живописец, архитектор, поэт, мыслитель. Один из величайших мастеров эпохи Ренессанса.

С. 377. *Тенирс, Давид младший* (1610—1690) — представитель фламандской школы. Специализировался на сценах из крестьянской жизни и изображениях брюссельской картинной галереи эрцгерцога Леопольда, где он служил директором.

С. 377. *Стен, Ян* (1626—1679) — голландский художник, изображал пирушки, свадьбы, бытовые сцены.

С. 377. *Ван Остаде* — семья голландских живописцев из Гарлема. Андриан ван Остаде (1610—1685) — мастер крестьянского бытового жанра; Исаак ван Остаде (1621—1649) — брат и ученик Андриана. Писал жанровые сцены и пейзажи, например «Замерзшее озеро».

С. 378. «*Джон Буль*». *Джон Буль* — нарицательное имя, обозначающее типичного англичанина. Первоначально — персонаж серии памфлетов Джона Арбенота (1667—1735), появившихся в 1726 году.

С. 380. ...*трактаты Альберта Великого, Луллия... о каббале и оккультных науках...* — Гюисманс имеет в виду двухтомную «Оккультную философию» Корнелия Агриппы, опубликованную на французском языке в 1727 году, «Удивительные секреты Альберта Великого», содержащие замечания

о свойствах трав, драгоценных камней, животных и т. д., опубликованные в 1799 году; «Двенадцать ключей» Василия Валентина, опубликованные в 1660 году; «Стенографию» (1721) и «Полиграфию» аббата Тритема; трактаты Парацельса, Раймонда Луллия и др.

С. 380. *Альберт Великий* (1193—1280) — граф фон Больштедт, схоласт.

С. 380. *Луллий, Раймон* (1233—1315) — блаженный, каталанский поэт, ученый, философ, теолог.

С. 382, 413, 414. *Бальзак, Оноре де* (1799—1850) — французский писатель-романист, считающийся отцом натуралистического романа.

С. 384. *Рабле, Франсуа* (между 1483 и 1495—1553) — французский писатель, один из величайших европейских сатириков-гуманистов эпохи Ренессанса, автор романа «Гаргантюа и Пантагрюэль».

С. 384. *Мольер* (1622—1673), настоящее имя Жан Батист Поклен — французский комедиограф, создатель классической комедии, актер и директор театра.

С. 384, 421. *Вийон, Франсуа* (1431 или 1432 — год и место смерти неизвестны, после 1463, но не позднее 1491), настоящая фамилия — де Монкорбье или де Лож — последний из поэтов французского Средневековья.

С. 384. *Обинье, Теодор Агриппа д'* (1552—1630) — французский поэт, писатель и историк конца эпохи Возрождения, автор книг «Трагики», «Всемирная история», «Приключения барона де Фенеста», «Весна», один из самых верных сторонников короля Генриха IV.

С. 384. *Вольтер, Франсуа Мари Аруэ де* (1694—1778) — французский философ-просветитель, поэт, прозаик, историк, публицист, правозащитник; основоположник вольтерьянства.

С. 384, 385. *Руссо, Жан-Жак* (1712—1778) — французский писатель, мыслитель, композитор. Разработал прямую форму правления народа государством (прямую демократию), которая используется и по сей день, например в Швейцарии.

С. 384. *Дидро, Дени* (1713—1784) — французский писатель, философ-просветитель и драматург, основавший «Энциклопедию, или Толковый словарь наук, искусств и ремесел».

С. 384, 385. *Бурдалу* (1632—1704) — французский духовный оратор.



С. 384. *Паскаль, Блез* (1623—1662) — французский математик, физик, литератор и философ. Классик французской литературы, один из основателей математического анализа, теории вероятностей и проективной геометрии, создатель первых образцов счетной техники, автор основного закона гидростатики.

С. 385. *Озомам, Фредерик* (1813—1853) — французский католический историк.

С. 385. *Свечина, Софья Петровна* (1782—1859) — писательница мистического направления, дочь статс-секретаря императрицы Екатерины II, П. А. Соймонова.

С. 386. *Герен, Эжени де* (1805—1848) — французская писательница, известная своими «Письмами».

С. 386. *Жуи, Жюль* (1855—1897) — французский поэт, писал политические песни и сатиры.

С. 386. *Лебрэн, Понс Дени Экушар* (1729—1807), прозванный Лебрэн-Пиндар — французский поэт, член Французской академии.

С. 386, 387. *Герен, Морис де* (1810—1839) — французский поэт.

С. 387. *Дюпанлу, Феликс* (1802—1878) — французский прелат, специалист по катехизации юношей, директор малой семинарии де Сен Никола дю Шардоне.

С. 387. *Гом, Жан* (1802—1879) — французский писатель, теолог. Известен своим трудом «Мучительное беспокойство общества, или Язычество в воспитании».

С. 387. *Геранже, Дом Проспер* (1805—1875) — теолог, реставратор ордена св. Бенуа во Франции. Основные сочинения: «Литургические установления», «Церковный год».

С. 387. *Ратисбон, Теодор* (1802—1884) — католический священник, проповедник и автор ряда сочинений на религиозные темы.

С. 387. *Фреппель, Шарль* (1827—1891) — французский прелат, проповедник.

С. 387. *Гратри, Альфонс* (1805—1872) — французский философ; с 1863 года — профессор этики в Сорбонне в Париже, представитель ортодоксально-католической философии, пытался обосновать христианские догмы с помощью категорий высшей математики.

С. 389. *Фаллу, Альфред Пьер Фредерик* (1811—1886) — граф, историк и французский политический деятель, близкий к

церковным кругам; был докладчиком в Собрании по вопросу о Национальных мастерских и требовал их немедленного закрытия. Сын зажиточного купца в Анжере, за услуги монархии получившего графский титул.

С. 390. *Вейо, Луи* (1813—1883) — французский католический публицист. Критик Т. Готье и Бодлера.

С. 390. *Монталамбер, Шарль-Форб де Трион* (1810—1870) — граф, французский политический деятель, лидер воинствующего французского клерикализма в 1830—1860-е годы.

С. 390, 399. *Ультрамонтаны* — сторонники власти папы не в одной только церковной сфере, убежденные, что папа даже в светских делах должен стоять выше королей и правительств вообще, и не допускающие самостоятельности церкви в различных странах, хотя бы даже в вопросах церковного устройства. Название ультрамонтанов, происходящее от лат. *ultra montes* (за горами, т. е. за Альпами), применялось во Франции и в Германии к папе и его сторонникам уже в Средние века, впервые возникнув на Констанском соборе; но особенно популярным стал этот термин во Франции после 1682 года, когда собор французского духовенства принял выработанную Босюэтом декларацию, ограничивавшую, в известных пределах, власть папы.

С. 391. *Данте Алигьери* (1265—1321), полное имя Дуранте дельи Алигьери — итальянский поэт, один из основателей литературного итальянского языка. Создатель «Комедии» (позднее получившей эпитет «Божественной», введенный Бокаччо), в которой был дан синтез позднесредневековой культуры.

С. 391. *Франциск Ассизский* (1182—1226), также Джованни ди Пьетро Бернадоне — католический святой, учредитель названного его именем нищенствующего ордена францисканцев.

С. 391. «*Stabat Mater...*» — «*Stabat mater dolorosa*» («Стояла мать скорбящая») — католический гимн Деве Марии перед крестом; пелся в католических храмах в Великий четверг на Страстной неделе. Автор слов не установлен, одни приписывают текст итальянскому монаху, поэту XIII века, Джакопоне да Тоди, другие считают автором папу Иннокентия III. Музыка к тексту писали Перголезе, Гайдн, Россини. Первая часть гимна повествует о страданиях Девы Марии во время распятия Иису-

са Христа, а вторая представляет собой страстную мольбу грешника о даровании ему рая после смерти.

С. 392. *Мюрже, Анри* (1822—1861) — французский писатель, был секретарем графа Толстого, чиновника русской миссии в Париже. Известен своим произведением «Сцены из жизни богемы» (1848).

С. 392. *Лапрад, Пьер Мартен Виктор Ришар* (1812—1883) — французский поэт, член Французской академии.

С. 392. *Деларош, Поль* (1797—1856), настоящее имя Ипполит — французский исторический живописец, представитель академизма, родоначальник натуралистического течения во французской исторической живописи.

С. 392. *Ребуль, Жан* (1796—1864) — французский поэт. Был владельцем пекарни в Ниме.

С. 392. *Пужоль, Жан Жозеф Франсуа* (1808—1880) — французский историк.

С. 392. *Генуд, Антуан Эжен* (1792—1849) — французский публицист.

С. 392. *Карне, Луи Марсьен* (1804—1876) — граф, французский политический деятель и историк, член Французской академии. В палате депутатов при Людовике-Филиппе принадлежал к ультракатолической оппозиции.

С. 392. *Понмартен, Арман де* (1811—1890) — французский критик-моралист.

С. 392. *Феваль, Поль* (1817—1887) — французский романист, драматург.

С. 392. *Ламеннэ, Фелисите Робер де* (1782—1854) — французский философ, писатель, христианский социалист.

С. 392. *Местр, Жозеф де* (1753—1821) — французский философ, писатель и политический деятель.

С. 393. *Дюранти, Луи Эмиль Эдмон* (1833—1880) — французский романист и литературно-художественный критик.

С. 394. *Анжель де Фолиньо* (ок. 1248—1309) — блаженная, визионер. Родилась и прожила всю жизнь в умбрийском городе Фолиньо. После смерти мужа обратилась к жизни в нищете и молитве и стала членом третьего францисканского ордена. Имела многочисленные видения, в особенности Страстей Христовых. По настоянию духовника запечатлела свой

мистический опыт в книге «*Liber Visionum et Instructionum*» («Книга видений и наставлений»). Причислена к лику святых папой Иннокентием XII в 1693 году.

С. 395. *Блуа, Леон* (1846—1917) — французский писатель, мыслитель-мистик. Публиковался в газетах и журналах, выступал как страстный полемист.

С. 395, 398, 399, 400. *Барбе д'Оревилю, Жюль Амеде* (1808 — 1889) — французский писатель-романтик и публицист. В 1874 году выпустил книгу «Дьявольские лики».

С. 396. *Гофман, Эрнст Теодор Вильгельм Амадей* (1776—1822) — немецкий писатель, композитор, художник романтического направления. Псевдоним как композитора Иоганн Крейслер. Олимпия — персонаж новеллы Гофмана «Песочный человек».

С. 398. *Сад, Донасьен Альфонс Франсуа де* (1740—1814), вошедший в историю как маркиз де Сад — французский аристократ, писатель и философ, проповедник абсолютной свободы, которая не была бы ограничена ни моралью, ни религией, ни правом, а основной ценностью жизни считал возможность достижения высшего личного наслаждения. По его имени сексуальное удовлетворение, получаемое путем причинения другому человеку боли или унижений, получило в работах сексолога Рихарда фон Крафт-Эбинга название «садизм». Впоследствии слова «садизм», «садист» стали употребляться и в более широком смысле.

С. 398. «*Молот ведьм*» — известнейший трактат по демонологии, написанный двумя германскими монахами, доминиканскими инквизиторами Генрихом Крамером (латинизированный вариант имени — Генрикус Инститорис) и Якобом Шпренгером и опубликованный в городе Шпайере в 1486 году. Инструкция по распознаванию ведьм, выдержавшая в короткий срок множество изданий, стала наиболее популярным обоснованием и руководством в последовавшей вскоре «Охоте на ведьм» конца XV — середины XVII века.

С. 398. *Шпренгер, Якоб* (1436—1495) — известный демонолог, немецкий доминиканец, декан Кельнского университета, считается соавтором книги «Молот ведьм», написанной совместно с приором Генрихом Крамером.

С. 399. *Дарвин, Чарлз Роберт* (1809—1882) — английский натуралист и путешественник, одним из первых осознал и наглядно продемонстрировал, что все живые организмы эволюционируют во времени от общих предков. Идеи и открытия Дарвина в переработанном виде формируют фундамент современной синтетической теории эволюции и составляют основу биологии как обеспечивающие логическое объяснение биоразнообразия. Ортодоксальные последователи учения Дарвина развивают направление эволюционной мысли, носящее его имя (дарвинизм).

С. 400. *Angelus (Анжелюс)* — колокольный звон к утренней, полуденной или вечерней молитве, начинавшейся словами «*Angelus Domini*» («Ангел Господень»).

С. 405. *Винсент де Поль* (1581—1660) — католический святой, основатель конгрегации лазаристов и конгрегации дочерей милосердия.

С. 414, 415, 416, 431. *Флобер, Гюстав* (1821—1880) — французский романист.

С. 419, 420, 424, 445. *Верлен, Поль Мари* (1844—1896) — французский поэт, один из основоположников литературного импрессионизма и символизма.

С. 419, 422, 431. *Леконт де Лиль, Шарль Мари Рене* (1818—1894) — французский и реюньонский поэт, глава Парнасской школы.

С. 422. *Корбьер, Тристан* (1845—1875), также Эдуард Жоакен Корбьер, настоящее имя Эдуар Жоашен — французский поэт-символист, представитель группы «проклятых поэтов».

С. 422, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 445. *Малларме, Стефан* (1842—1898) — французский поэт, примыкавший сначала к парнасцам (печатался в сборнике «Современный Парнас»), а позднее стал одним из вождей символистов.

С. 425. «*Падение дома Ашеро*в» — рассказ Эдгара Аллана По, впервые опубликованный в сентябре 1839 года в Бартонском журнале для джентельменов. Был немного переработан в 1840 году для сборника «Гротески и арабески». Рассказ содержит стихотворение «Обитель привидений», которое было отдельно напечатано ранее в журнале «Балтиморский музей» в апреле 1839 года. Используется также написание фамилии Эшер.

С. 426. *Гегель, Георг Вильгельм Фридрих* (1770—1831) — немецкий философ, один из творцов немецкой классической философии и философии романтизма.

С. 426. *Канаки* — коренные народы Меланезии, проживающие в Новой Каледонии, где составляют 45% населения. Название происходит от гавайского словосочетания «канака маоли», употреблявшегося в прошлом в качестве уничижительного названия для многих неевропейских островитян Тихого океана. До прихода европейцев в Новой Каледонии не существовало объединенного государства, а также общего названия ее обитателей.

С. 427. *Брадаманта* — женщина-рыцарь, персонаж итальянского эпоса, поэм Маттео Боярдо и Лудовико Ариосто, а также романа Итало Кальвино. Согласно итальянской эпической традиции — внебрачная дочь Амона, сестра Ринальдо. Во «Влюбленном Роланде» дается завязка ее романа с Руджьером; влюбленные, однако, вынуждены вскоре расстаться, теперь Брадаманта устремляется на поиски возлюбленного. В конце поэмы Брадаманта засыпает на берегу ручья, ее видит Флордеспина, дочь Марсилия, принимает за рыцаря и пленяется ее красотой.

С. 427. *Цирцея* (Кирка, Киркея) — в греческой мифологии дочь Гелиоса и океаниды Персеиды (или Персы). По другой версии, дочь Аполлона и Эфеи. Колдунья, родственная с Гекатой богиня луны и, как Геката и Медея, представительница чародейства. Она жила на острове Ээе, либо на острове Энария, или Меония (местоположение острова в сказаниях о Цирцее географически неопределимо, существуют и другие мифологические версии расположения волшебного острова). Обращала мужчин, попавших на ее остров, в свиней.

С. 427. *Свифт, Джонатан* (1667—1745) — англо-ирландский писатель-сатирик, публицист, поэт и общественный деятель. Наиболее известен как автор фантастической тетралогии «Путешествия Гулливера», в которой остроумно высмеял человеческие и общественные пороки.

С. 428. *Кро, Шарль* (1842—1888) — французский поэт и изобретатель.

С. 431. *Бертран, Луи* (1807—1841), называвший себя Ллоизием — французский поэт-романтик, автор единственной книги «Ночной Гаспар», опубликованной в 1842 году. Под ее влиянием были написаны стихотворения в прозе Бодлера, Мал-

ларме, Верлена, Рембо, Пера Луиса, Реми де Гурмона, Макса Жакоба и др. «Ночной Гаспар» — одно из французских прозвищ нечистой силы.

С. 433. *Диспепсия* — нарушение нормальной деятельности желудка, затрудненное и болезненное пищеварение.

С. 434. *Палестрина, Джованни Пьерлуиджи да (1514—1594)* — итальянский композитор, автор церковной музыки. Настоящее имя — Джованни Пьерлуиджи.

С. 434. *Лассо, Орландо (ок. 1532—1594)* — франко-фламандский композитор. Представитель нидерландской школы. Работал во многих европейских странах. Обобщил и развил достижения различных европейских музыкальных школ эпохи Возрождения. Мастер культовой и светской хоровой музыки (свыше 2000 сочинений).

С. 434. *Марчелло, Бенедетто (1686—1739)* — итальянский композитор, поэт, а также юрист и государственный деятель. Представитель одного из аристократических семейств, он занимал высокие государственные должности в Венецианской республике. Но его любимым занятием была музыка, к которой он имел склонность с юных лет.

С. 434. *Гендель, Георг Фридрих (1685—1759)* — немецкий композитор эпохи барокко, в течение многих лет живший и работавший в Англии.

С. 434. *Бах, Иоганн Себастьян (1685—1750)* — немецкий композитор и органист, представитель эпохи барокко. Один из величайших композиторов в истории музыки.

С. 434. *Ламбийот, Луис (1796—1855)* — аббат, французский органист, капельмейстер и композитор. Написал 4 мессы, 6 ораторий, пьесы для хора.

С. 435. *Йомелли (Жомелли), Никколо (1714—1774)*, — итальянский композитор. Ученик Дуранте (1684—1755). Оперы его имели в Италии большой успех. Был капельмейстером собора Св. Петра в Риме, потом 20 лет работал в Штутгарте. Подпав под влияние немецкой музыки, написал около 30 опер этого направления, которые имели большой успех в Германии. В то же время в Италии он был практически забыт. В конце жизни Йомелли начал писать духовную музыку: «Miserere», кантаты, оратории, реквиемы и пр.

С. 435. *Порпора, Никола (1686—1768)* — итальянский композитор, профессор пения, капельмейстер. Ученик Греко,

директор Итальянской оперы в Лондоне. Автор опер, месс, кантат, симфоний, псалмов и мотетов. Открыл в Неаполе школу пения, из которой вышли такие знаменитые певцы, как Фаринелли (1705—1782), Каффарели (1703—1783), Порпорино (1719—1783).

С. 435. *Кариссими, Джакомо* (1605—1674) — итальянский композитор. Развил жанр оратории.

С. 435. *Дюранте, Франческо* (1684—1735) — итальянский композитор. Автор месс, гимнов, мотетов, псалмов.

С. 435. *Лесюэр, Жан Франсуа* (1760—1837) — французский композитор, хоровой дирижер и музыкальный писатель, с 1786 года возглавлял капеллу собора Парижской Богоматери. С 1795 года профессор и инспектор Парижской консерватории. Его учениками были Гектор Луи Берлиоз (1803—1869), Шарль Франсуа Гуно (1818—1893), Шарль Луи Амбруаз Тома (1811—1896).

С. 435. *Перголези, Джованни Баттиста* (1710—1736) — итальянский композитор, скрипач и органист, представитель неаполитанской оперной школы и один из самых ранних композиторов оперы-буфф (комической оперы).

С. 435. *Россини, Джоаккино Антонио* (1792—1868) — итальянский композитор, автор 39 опер, духовной и камерной музыки.

С. 436. «*Te Deum laudamus*» (лат.) — «Тебя, Бога, славим!» — начальные слова древнего латинского церковного гимна.

С. 436. *Амвросий Медиоланский* (ок. 340—397) — святой епископ Миланский, один из наиболее известных христианских проповедников.

С. 436. *Илларион* — святой, христианский аскет IV века.

С. 437. *Вагнер, Вильгельм Рихард* (1813—1883) — немецкий композитор, дирижер, драматург (автор либретто своих опер), философ. Реформатор оперной музыки. Оказал значительное влияние на европейскую культуру конца XIX — начала XX века, особенно на модернизм и декадентство.

С. 437. *Берлиоз, Гектор Луи* (1803—1869) — французский композитор, дирижер, музыкальный писатель.

С. 437. *Байрейт* — столица прежнего княжества Байрейт, главный административный и судебный центр Верхней Франконии, на берегах Красного Майна, разделяющегося здесь на два



рукава. На холме близ города располагается «Национальный театр», построенный Рихардом Вагнером, жившим здесь с 1872 года, для постановки его опер (главным образом его трилогии «Кольцо Нибелунгов»). Тут же находится и вилла Ванфрид, в которой жил и умер композитор.

С. 438. *Обер, Даниэль Франсуа Эспри* (1782—1871), французский композитор, один из основоположников жанра французской комической оперы.

С. 438. *Буальдьё, Франсуа Адриен* (1775—1834), французский композитор, автор многочисленных комических опер.

С. 438. *Адан (Адам), Адольф Шарль* (1803—1856) — французский композитор, автор опер и балетов. Сын композитора, пианиста и музыкального педагога Луи Адана (1758—1848).

С. 438. *Флотов, Фридрих* (1812—1883) — немецкий композитор. Писал оперы, наиболее известна «Марта» (1847).

С. 438. *Тома, Шарль Луи Амбруаз* (1811—1896) — французский композитор. С 1871 года он был директором Парижской консерватории.

С. 438. *Базен, Франсуа Эммануэль Жозеф* (1816—1878) — французский композитор и музыкальный педагог.

С. 438. *Шуман, Роберт* (1810—1856) — немецкий композитор, дирижер, музыкальный критик, педагог. Один из самых значительных композиторов первой половины XIX века. Стил — немецкий романтизм, художественное направление — лейпцигская школа.

С. 438. *Шуберт, Франц Петер* (1797—1828) — австрийский композитор, один из основоположников романтизма в музыке. Написал около 600 песен, девять симфоний (в том числе знаменитую «Неоконченную симфонию»), литургическую музыку, оперы, а также большое количество камерной и сольной фортепианной музыки.

С. 448. *Руар де Кар, Пи Мари* — французский теолог.

*Наталья Кулыгина*

## Содержание

<i>Н. Кулыгина. Аромат ядовитых цветов</i> .....	5
<b>МАРТА. История падшей</b> <i>(Пер. И. Б. Мандельштама под ред. Н. Кулыгиной)</i> .....	11
<b>ПАРИЖСКИЕ АРАБЕСКИ</b> <i>(Пер. Ю. Спасского под ред. Н. Кулыгиной)</i> .....	79
Кондуктор омнибуса .....	81
Женщина улицы .....	83
Прачка .....	85
Пекарь .....	87
Продавец каштанов .....	89
Парикмахер .....	91
<b>Интимные фантазии</b> .....	94
Баллада в прозе о сальной свече .....	94
Дамьен .....	95
Прозаическая поэма о говядине, изжаренной в печи .....	98
Кофейная .....	100
Ритурнель .....	103
<b>Natures mortes</b> .....	104
Селедка .....	104
Эпинальский эстамп .....	104
<b>I Парафразы</b> .....	107

Кошмар .....	107
Увертюра Тангейзера .....	111
Подобия .....	114
Наваждение .....	117
Пейзажи .....	120
Бьевра .....	120
Таверна тополей.....	122
Китайская улица.....	125
Вид с валов Северного Парижа.....	127
Парижские наброски .....	129
Фоли-Бержер в 1879 г. ....	129
Бал в Европейской кофейной .....	140
По течению .....	154
Дилемма .....	200
НАОБОРОТ. Роман	
(Пер. М. А. Головкиной под ред. Н. Кулыгиной).....	255
Комментарии.....	453

# Жорис Карл Гюисманс

*Собрание сочинений в трех томах*

ТОМ ПЕРВЫЙ

*Редактор А. Полбенникова*

*Художественный редактор А. Балашова*

*Технический редактор О. Стоскова*

*Корректор В. Дробышева*

*Компьютерная верстка С. Шулаев*

Подписано в печать 19.05.10 г.

Формат 84 × 108<sup>1</sup>/<sub>32</sub>. Бумага офсетная.

Гарнитура «Академическая». Печать офсетная.

Усл. печ. л. 26,04. Уч.-изд. л. 23,55.

Заказ № 4484

Книжный Клуб Книговек.

127206, Москва, Чуксин тупик, 9.

[www.terra.su](http://www.terra.su)